



10/93

ДРУЖБА НАРОДОВ 10/93



ДРУЖБА НАРОДОВ

Вячеслав Пьецух

В чем наша вера

Геннадий Айги

Из книги "Поклон - пению"

Алесь Адамович

Vixi (Прожито).

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Андрей Вознесенский

Россия воскресет.

БЕЗРАЗМЕРНЫЙ МОЛИТВЕННЫЙ СОНЕТ

Алексей Малашенко

Ислам в нашем доме

Игорь Дедков

Объявление вины и назначение казни





ДО КОНЦА 1993 ГОДА И В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ЖУРНАЛ «ДРУЖБА НАРОДОВ» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

ПРОЗА

А.И.КУПРИН. Купол святого Исаакия Далматского.

Произведение, некогда вычеркнутое из творчества писателя-«невозвращенца».

АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ. Расплата.

Окончание эпопеи, начатой знаменитыми «Детьми Арбата».

АЛЕКСЕЙ ПЕСКОВ. Седьмое ноября. Анекдоты и факты.

Историческое повествование об эпохе Павла I. Автор не несет ответственности за могущие возникнуть у читателя ассоциации и параллели.

ЖАН АНУЙ И ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. Вариации на тему

«Красивая жизнь».

ЕЖИ ЖУРЕК. Казанова.

Историко-авантюрный роман. Приключения великого любовника в Польше и России. С польского. Перевод К.Старосельской.

Э.ВИЗЕЛЬ, лауреат Нобелевской премии. Город удачи. Роман.

С французского. Перевод О.Боровой.

ГЕНРИ МИЛЛЕР. Из прозы последних лет («Тихие дни в Клиши», «Sexus»). С английского.

ЛЕВ КОПЕЛЕВ. Рассказы.

ДАВИД САМОЙЛОВ. Из книги «Памятные записки».

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ. Vixi (Прожито). Роман-исповедь.

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ. Голоса Чернобыля. Документальное повествование.

АНАТОЛИЙ ПРИСТАВКИН. Радиостанция «Тамара». Повесть.

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН. Бабья сторона. Повесть.

В разделе ПОЭЗИЯ вы прочитаете:

Одного из крупнейших писателей Германии XX века, поэта-экспрессиониста **ГОТФРИДА БЕННА** (1886—1956) в новых переводах Сергея Морейно. Подборку стихов **ОЛЬГИ СЕДАКОВОЙ**. В одухотворенно возвышенной интонации ее стиха, в полуфантастической ауре его есть обаяние «нежного внимания», неподдельная красота добра.

Впервые в журнале — лирика якутского поэта **АВГУСТА МУРАНА**. Это поэзия романтическая, экспрессивная и глубокая.

Стихи **ВЛАДИМИРА СТРОЧКОВА** необычны и смысловыми сдвигами в строе фраз, и неожиданно эффектными сращиваниями слов — семантических гибридов.

Прочитаете вы и подборки стихов латышской поэтессы **МАРЫ ЗАЛИТЕ**, армянки **СИЛЬВЫ КАПУТИКЯН**, поляка **ЧЕСЛАВА МИЛОША**; русских поэтов: **ВЛАДИМИРА ФРОЛОВА**, **АЛЕКСАНДРА ОЖИГАНОВА**, **АНДРЕЯ СУЗДАЛЬЦЕВА** и многих других.

ДРУЖБА НАРОДОВ



НЕЗАВИСИМЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

10/93

ОСНОВАН В МАРТЕ 1939 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ	В чем наша вера	3
ПРОЗА И ПОЭЗИЯ		
ГЕННАДИЙ АЙГИ	Из книги «Поклон-пению». Вариации на темы чувашских и татарских народных песен (1988—91)	11
АЛЕСЬ АДАМОВИЧ	Vixi. Законченные главы незавершенной книги	14
АРКАДИЙ КАЙДАНОВ	Загоняем сердца, как коней... Стихи разных лет	93
ИРИНА МУРАВЬЕВА	Ляля, Наташа, Тома... Повесть	98
БОЗОР СОБИР	Осень в сердце... Стихи. С таджикского. Перевод М. Синельникова	118
РЕЙН ПЫДЕР	Цветущая комната. Рассказ. С эстонского. Перевод Н. Абашиной	120
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ	Россия воскресет. Безразмерный молитвенный сонет	123
ПУБЛИЦИСТИКА		
АЛЕКСЕЙ МАЛАШЕНКО	Ислам в нашем доме	151
ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ	«Как тяжело мертвецу среди людей...» Три типа сознания в «Преступлении и наказании»	160
НАЦИЯ И МИР		
Ю. КАГРАМАНОВ	Украинский вопрос	175

КРИТИКА		
ИГОРЬ ДЕДКОВ СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ	Объявление вины и назначение казни	185
	«А потом я напишу о любви...» Беседу ведет Н. Игрунова	203
ЭХО		
ЛЕВ АННИНСКИЙ	Еще один «автопортрет человечества»	209
ГОЛОСА		
ДАВИД САМОЙЛОВ	Из книги «Памятные записки». Сны об отце. Подготовка текста и публикация Галины Медведевой	211
SUMMARY		240

Правовую поддержку журнала «Дружба народов» осуществляет Юридическое бюро «Хромцов и партнер».

Тел./факс (095) 161-7455

Главный редактор
Вячеслав ПЬЕЦУХ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, заместитель главного редактора Евгений БЕНЬЯШ, Денис ДРАГУНСКИЙ, Владислав ЗАЛЕЩУК, Наталья ИГРУНОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ, заместитель главного редактора Бронислав ХОЛОПОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Василь БЫКОВ, Альгимантас БУЧИС, Евгений БУДИНАС, Юрий В. ДАВЫДОВ, Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Нафи ДЖУСОЙТЫ, Иван ДЗЮБА, Фазиль ИСКАНДЕР, Грант МАТЕВОСЯН, Геннадий ЛИСИЧКИН, Евгений ПОПОВ, Кнут СКУЕНИЕКС, Константин ЩЕРБАКОВ, Атнер ХУЗАНГАЙ, Лев ХУНДАНОВ

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ

В чем наша вера

Речь пойдет, собственно, не о вере, а о некой промежуточной способности восприятия, которая обретается где-то между чаяньем и гипотезой, знанием и надеждой. Так вот, опираясь на эту еще малоосвоенную способность, можно объявить без особого риска согрешить против истины в основном: дело в том, что Бог есть, и даже бытие Его до такой степени явно для рассудка и всех пяти чувств, что Бога следовало бы определить как объективную реальность, данную нам в ощущениях всего сущего вокруг нас, но, главное дело, самих себя. Да еще Господь Бог неусыпно регулирует повседневную нашу жизнь, например, оберегая детей и пьяных; а неизбежное и по историческим меркам почти моментальное крушение сатанинских режимов? а безукоризненный состав воздуха, о котором не скажешь точно, всё ли живое формировалось под атмосферу, или атмосфера формировалась под всё живое? а вот еще та загадка, что в нашем отечестве невозможно умереть с голоду, даже если палец о палец не ударить? а трансцендентная способность человека к творению, часто не имеющему никакого практического значения? а любовь?..

Разумеется, махровый материалист прищипнет на эти «за» массу весомых «против», к примеру, начав с того, что видимым миром испокон веков управляют жестокие дураки... Да что там махровые материалисты — мудрец Блез Паскаль и тот начертил в укоризну Небу: дескать, если Бога нет, то почему так много на Него намекает, а если Бог есть, то почему Он не заявит об этом прямо? Только в том всё и дело, что Господь Бог прямо о себе заявил, прямее, кажется, некуда, — изваяв из тлена совершенное, себеподобное существо, которому ничего даже приблизительно равного нет в природе.

По сути дела, единственно бесспорное и неопровержимое доказательство бытия Божьего — человек. Самая тайна его происхождения наводит на мысли о сверхъе-

стественном, потому хотя бы, что наука совершила многие чудеса, положим, разобрала вещество до кварков и освободила вещь от всемирного тяготения, а происхождение человека по-прежнему для нее тайна, из тех, о которых сказано, что «тайна сия велика есть». Махровый материалист — тоже по-своему фигура религиозная, только наоборот — прочно стоит на том, будто превращение человекообразной обезьяны в человека есть результат общественного труда, как то: загоновой охоты, совместного собирательства и других коллективных действий; однако на этот счет имеется такое наивное возражение: крокодил куда древнее человека, и охотится он стаями, и прочие коллективные действия ему не противопоказаны, да вот только минуло три миллиона лет, а он так крокодил и есть. Понятно, что человек не мог взяться из ничего и что фундаментом ему послужило какое-то беззащитное существо, легкое на изменчивость, но разве само по себе не чудесно превращение бессмысленного зверя в гидротехника Иванова, который Божью реку способен повернуть вспять; вот если бы толика углерода под воздействием хитро сложившихся обстоятельств могла сама собой превратиться в карандаш фабрики «Красный луч», если бы из грубой гранитной глыбы шальные ветры могли нечаянно сотворить «Давида», — тогда да, тогда Бога нет, а всё одна химия, как говорил известный зоценковский персонаж в минуту душевной смуты. Таким образом, больше всего похоже как раз на то, что в случае с возникновением человека мы имеем прямое чудо, перед которым бледнеют прочие чудеса. Что Учитель хворых исцелял и пятью хлебами накормил несколько тысяч страждущих — это еще сравнительно фокусы, в наши чудесные времена недужных пользуют целыми стадионами, со смертного одра поднимают в районных больницах, а кремлевские чудотворцы почти столетие кормили пятью хлебами двести миллионную голодающую страну, но вот чтобы млекопитающее,

которое пожирает живьем земляных червей, которое из всех животворных благ снабжено только инстинктом самосохранения, превратилось бы по Божескому счету за одно утро в рафинированное существо, способное замышлять и выполнять в металле космические тела, до тонкости изучить мир сопутствующих вещей, тихо и поэтично сходить с ума по чужой жене, заливаясь слезами над какой-нибудь вздорной книгой,— вот это, действительно, чудо из чудес, с которым не идет в сравнение самое дерзкое волшебство: ни трансформации Золушки, ни фантастические события «Тысячи и одной ночи», ни, тем более, каша из топора.

Прежде всего человек есть чудо по той причине, что, сотворенный в природе, из природных же материалов, не выходящих за рамки таблицы Менделеева, он представляет собой решительно внеприродное существо, хотя ему довлеют известные общезначимые отправления, хотя в жилах его течет кровь, а не розовое масло, хотя в некоторых сакраментальных случаях он может передвигаться на четвереньках и у него два уха, как у верблюда, и одна печень, как у слона. В сущности, человек выведен из природы, как математическую формулу выводят, и качественно он что-то совсем другое, нежели былинка, лошадь, ласточка, таракан, и на него не распространяется тот принцип бытийного равенства так или иначе всего живого, который господствует в нашем мире и объединяет его дыхания в строго отлаженную систему. Человек обретается вне этой системы по многим принципиальным статьям (уже потому, что он в силах ее разрушить), совокупность которых обличает в нем как бы существо иного космического порядка. Во-первых, наши меньшие братья не свободны от инстинкта, видовой программы, каковая обеспечивает выживаемость рода, и не могут ставить перед собой цель, самое малейшим образом нарушающую ее, а человек свободен, он даже от Создателя своего свободен и всех Его заповедей, которыми он волен манкировать, как правилами проезда в пригородных поездах, и потому способен ставить перед собой любые, самые несуразные цели, иногда прямо угрожающие его жизни; единственно, человек несколько стеснен той частицей Бога, что он таскает в себе от рождения до кончины, душой, «этим странным и довольно обременительным аппаратом», как аттестовал ее Але-

ксандр Твардовский, уклончивый атеист. Именно поэтому ворон ворону глаза не выклюет, ибо его видовая программа исключает членовредительство, тем паче убийство себе подобных, а человек человека свободно может зарезать за двусмысленную улыбку, враждебные убеждения, кошелек, супружескую измену, стакан водки...— проще сказать, за бесконечное множество самых пустых вещей. Может быть, даже так: первобытному человеку была ужасна его неограниченная свобода и он искал зависимости для необузданной своей воли в Божественном безмолвии окружавшего его мира — то-то кроманьонец, который только-только перестал поедать живьем земляных червей, который еще ничего не имел, мало чего умел и не понимал самых простых вещей, тем не менее верил в духов, сиречь ангелов, Прасоздателя, сиречь Отца Небесного, и чаял загробной жизни; то есть он через эту свою свободу Бога и угадал.

Во-вторых, человек еще тем отличается от прочих дыханий мира, что он изначально, как-то сам по себе, хотя и приблизительно, знает, что есть добро, что — зло. В то время как ни одна тварь земная не обременена этическим знанием и, даже избегая пролития крови, исходит из специфики пищеварения, и африканский пигмей, не имеющий собственности, и амазонский дикарь, слыхом не слышавший о Евангелиях, и годовалый младенец, едва научившийся лепетать, и комсомолец-архаровец из воинствующих атеистов как-то знают, что булку украсть можно и человека ударить можно, но это нехорошо. Разве что некоторые этические понятия свойственны также собакам и лошадям, однако тут нечему удивляться, ибо они очень долго и очень тесно сосуществуют с двуногим богом, каковым в их глазах уповательно представляется человек. Но даже в случае с лошадью и собакой между ними и нами существует невидимая стена; вот и рецепторы у нас одни и те же, но в «чайной» розе мы не корма ищем, а наслаждения, тем более загадочного, что наслаждением сыт не будешь.

В-третьих, единственно род людской наделен божественным даром творения, единственно он способен созидать небывалое, как созидает Податель жизни: раз, то есть два-три миллиона лет, точно одна копейка,— и на земле произрастает финиковая пальма, от которой и глазам радость и желудку польза, раз — и Рейн течет в своих величественных берегах; так же и человек:

раз — и стоит над русской столицей колокольня Ивана Великого, которая по праздникам источает малиновый звон, а так ее не скушать, не истопить, раз — и над Семипалатинским полигоном поднимается страшный гриб, сгустивший в себе гибельную энергию нескольких всемирных потопов, от которого не спасет никакой ковчег. Наконец, если человек способен постичь принципы мироздания и как бы проследить его конструкцию до винтиков и шурупчиков, то, стало быть, могущество человеческого разума приближается к бесконечным возможностям самого Создателя, во всяком случае, законы его разума той же природы, что и законы мира. Таким образом, человек есть явление уникальное, в некотором роде — человекочудо, выведенное Пантократором из системы, создающее себя, творящее, причем не копирующее у Бога, а дополняющее круг вещей именно что новациями, вроде часов, одежды и колеса, обладающее знанием добра и зла, которого нет в природе, — и вот это самое человекочудо, сдается, представляет собой несколько искаженное отражение некоего Высшего существа, чего-то такого изначального, законодательного, вечного и бесконечного, что мы называем — Бог. Можно предположить, что Бог есть отчасти атомарная совокупность всех наших жизней и мы вообразили себе Его по собственному образу и подобию, тем более что в роду человек бессмертен; можно также предположить, что, напротив, Бог воплотился в человечестве, как воплощаются в делах теории и идеи, тем более что среди людей наблюдается таинственная несоразмерность между побуждением и поступком; одно очевидно даже на первый взгляд: человек слишком хорош, чтобы его безболезненно можно было вывести из нуклеиновой кислоты, тем более что он не столько привержен Подателю жизни, грозному Саваофу, сколько Сыну Человеческому — Христу.

Однако далеко не горнее строение нашей жизни, вековая злокозненная деятельность мытарей, кесарей и вождей, бесконечная череда бессмысленных — всегда и при любых обстоятельствах бессмысленных — войн, голодные годы, эпидемии, каковые вроде бы не приходится ожидать от Отца всесправедливого, всеблагого в качестве возмездия даже и за действительные грехи, наконец, сонм личных несчастий и неудач, которые, кажется, ни за что ни про что преследуют нас всю жизнь, настолько притупили остроту нашего духовного зрения, что мы закоснели

в материализме и наше мировоззрение приняло самые непозитические черты. Между тем познание Бога и жизнь по Его закону подразумевают в нашем брате, хомо сапиенс, некую художественную жилку, некую способность к сотворчеству с Отцом и возвышенное сочувствие Его плану, а мы в другой раз повстречаем прохожего на углу Кузнецкого моста и Неглинной улицы и узрим в нем не чудо из плоти и частицы Святого Духа, не существо трансцендентное по своей природе, а вот — скажем — идет своим ходом центнер живого мяса, и способен-то этот огромный ростбиф только на пакости, и всего-то он боится, от сырости до постового милиционера, и сын у него балбес, и жену походя увели, а помрет — положат его в деревянный ящик и закопают: ну, где тут Бог?!

Да здесь он, Бог, здесь, просто чада у Него разные — умные и глупые, добродетельные и грешные, здоровые и больные, как, собственно, во всякой большой семье, только приметнее прочих почему-то именно глупые и больные. Но разве плоскостопие обличает происхождение от инфузории-туфельки, а болванов находят в цветной капусте? То есть злодеи, сиречь падшие ангелы, для которых послужил собирательной аллегорией Люцифер, извечного Подателя жизни нимало не отрицают, поскольку таковые несут в себе не отрицание, но вопрос, поскольку они оттого-то, может быть, и приметнее, что представляют собой патологию, а не норму, поскольку наряду с ними бытуют люди, ощущающие Бога каждой клеткой своего мозга, как-то автоматически всем мирволящие и до такой степени неспособные на злодейство, что ударить или обобрать — деяния для них настолько же неподъемные, как выпить Каспийское море или съесть за завтраком паровоз. Видимо, дело обстоит так: Создатель в каждом посеял душу — недаром дети, ничего не знающие о Боге, так безотчетно счастливы, так божественно хороши, что от них даже ладаном пахнет, — но под таинственным воздействием таинственных обстоятельств этот посев развивается в возвышенную субстанцию, либо развитие ее прекращается на стадии завязи, либо зерно вообще не дает ростка. Тут, конечно, налицо изнурительная загадка, особенно если принять в расчет, что принцип роста единосущ: посади камень — ничего не вырастет, посади морковь — вырастет морковь, а не саксаул, но посеи в человеке душу и с трепетом дожидайся восхода: то ли проклюнется человекочудо,

то ли гидротехник Иванов, который станет поворачивать вспять Божьи реки, то ли человекоподобный зверь, способный на самые омерзительные дела. Означает ли это, что Создатель не всемогущ? Может быть, и означало бы, кабы у первоклассных врачей не рождались неизлечимо больные дети, из семей знаменитых юристов не выходили бы уголовники, выдающиеся педагоги не умудрялись бы воспитывать балбесов, а потомство талантливых писателей читало бы что-нибудь еще, кроме как объявления на столбах. То есть Бог всемогущ, однако и хомо сапиенс всемогущ.

Но тогда зачем так несовершенны внешние обстоятельства, в реакции с каковыми нередко загнивает посев души... В том-то всё и дело, что эти обстоятельства совершенны, вернее, само по себе совершенно то, что мы вольны выбирать подходящие обстоятельства, ставить перед собой любые цели, включая курьезные, и достигать результатов, которые могут только пригрезиться в глупом сне. Александр Македонский, даром что был учеником Аристотеля, например, взял и покорил ойкумену; двадцать восемь русских социал-демократов, отголосовавших себе название «большеви́ков», разрушили могущественную империю и построили на ее руинах искусственное государство, которое, как недоношенное дитя, могло существовать только под колпаком; один выдающийся наш поэт в пятьдесят шесть лет женился на девочке и счастливо прожил предсмертный год. Так что же мешает пресловутому гидротехнику Иванову получить невредное образование, окружить себя людьми, которым свойственны возвышенные интересы, переехать на жительство в какой-нибудь городок, отнюдь не отравленный социалистическим способом производства, выбрать себе подружку, работающую и незлую, заняться каким-то полезным делом и, таким образом, благополучно продержаться до заключительного «прости»? — а ничего не мешает, кроме свободы воли, той самой свободы воли, непредсказуемой и разнузданной, что подбивает неглупых людей на завоевание ойкумены и строительство искусственных государств. Стало быть, мы бесконечно свободны в выборе обстоятельств, которые определяют характер жизни, но только почему-то чаще выбираем поганые обстоятельства, которые определяют поганий характер жизни.

Тогда отчего так нехорош человек, во многих случаях делающий скверный вы-

бор,— ведь это получается, что творение совершенного Бога несовершенно, и даже не то, что несовершенно, а просто налицо некачественный продукт... Вероятно, это по-своему и порок, что у человека всего две руки и одна голова,— может быть, две головы и четыре руки было бы совершенней, да вот четырехрукий и двухголовый не только в два раза больше посеет ржи, но вдвое и украдет, не только выдаст лишнее рационализаторское предложение, но и вместо одной какой-нибудь гадости выдумает целых две. Следовательно,— совершенен. Да еще он поставлен Создателем в такие условия, когда ему гораздо выгоднее и легче выбрать добро, чем зло; выгоднее потому, что добродетельные люди почему-то крайне редко попадают в разные передрыги, точно их окутывает некое пуленепробиваемое облако, прозрачное, как стекло, а легче по той причине, что добро в огромном большинстве случаев предусматривает бездействие, непричастность, в то время как воинствующая добродетель почти всегда приносит губительные плоды, что доказано опытом социалистических революций,— то-то Христос сказал: «Иго мое — благо, и бремя мое легко».

Еще возразят: да где же он, Бог-то, если в пожарном огне заживо гибнут дети, если труженики перебиваются с петельки на пуговку, а жулики лопают сало с салом, если томятся по тюрьмам чистые люди, повинные только в том, что они дожили до тридцати седьмого года, если такой людоед, как Иосиф Сталин, безнаказанно измывавшийся над огромной страной, благополучно помер в своей постели?! Это, конечно, серьезная претензия Провидению, да только того нельзя выпускать из виду, что Бог не брандмейстер и не прокурор, а Творец и Водитель взбалмошного человека, которому, как известно, закон не писан; эта претензия значительно потускнеет если также предположить, что за всенародные грехи причитаются богооставленные периоды, а роду людскому нужно пройти через историю, как подростку через прыщавость, если принять на веру, что ни один гениальный мальчик, обещавший стать другим Пушкиным, не погиб в сражении под Москвой, что зловредный поручик Лермонтов к двадцати семи годам полностью исписался, что, наконец, мало кто из нас заслуживает того, чтобы Бог провел его по жизни, как говорится, под локоток.

Эти гипотезы и уважительные причины сочиняются вовсе не для того, чтобы доказать Бога, а потому, что, с одной сторо-



ны, мир полон зла, а с другой стороны, Бог есть, и зло не отменяет Его, как облачность солнце не отменяет, ну не может Его не быть, если вокруг нас существуют люди, которые подтрунивают над Таинствами, все не ходят в церковь, не верят ни в сон, ни в чох, ни в рай, ни в вороний грай, любят всё, что шевелится, и пьют всё, что горит, а между тем, они физически не способны ударить по лицу ближнего и у них сердце кровью обливается при виде оголодавшего старика. Видимо, дело в том, что мы свободны, слишком, окаянно свободны, но с этим ничего не поделаешь — свободный Бог не мог создать несвободного человека, ибо Он творил его по своему образу и подобию, как женщина при всем желании не может родить волкодава или горшок с геранью. Отсюда беспричинное добро, направленное вовне, а посему убыточное с точки зрения личности, и зло в самом широком ассортименте; отсюда же, между прочим, и некоторый разнобой в исповедании Вседержителя — если бы человек был несвободен, то в мире существовала бы единая Церковь и единственная религия, но поскольку Церковь есть представление о Боге свободного человека, то и рассматривать таковую следует как плод богоданной воли, несомненно обременительной в рассуждении ограниченности человеческого ума. Вот только Бог свободен во благо, а человек и во благо и во зло, чего ради две тысячи лет тому назад свершилось пришествие Иисуса Христа, который дал вконец запутавшемуся человечеству своего рода разъяснения на тот счет, что свобода разбита — рознь. В результате произошла великая этическая революция, однако по той причине, что ума она не прибавила, остается и на Христа уповать и на историю, как мучительный терапевтический курс, намеченный изначально, который предусматривает и совсем уж тяжкие процедуры, и сравнительно безболезненные, и приятные назначения, вроде какой микстурки, и такую исключительно полезную гадость, как рыбий жир.

Положим, мы знаем, что Бог есть, но мы не знаем, что Бог есть, и, сдаётся, никогда не узнаем, но с этим тоже ничего не поделаешь, ибо тут мы сталкиваемся с той самой бесконечностью, которую признают верующие, агностики, неверующие и марксисты. Нам известны, впрочем, некоторые признаки Божества или, вернее, признаки этих признаков, скажем, — слово. Не исключено, что именно слово-то и было вна-

чале, и слово это было у Бога, и это слово был Бог. Во-первых, потому не исключено, что вообще ничего не исключено, а во-вторых, слово Божие можно понимать как некую физическую сверхсилу, даже неизреченную суперволю в самом материалистическом смысле этого существительного, которая не нуждалась в дискретном колебании воздуха, а то и как взрыв грандиозной мощи, закрутивший бесконечный танец Вселенной, сиречь процесс космического, физического, биологического и, наконец, исторического развития, давший культуру, нравственность, высокую мысль и в итоге позволивший сказать одному бордотому немцу, де, Бога нет, а религия — опиум для народа; в-третьих, превращение божественной мысли в слово, а слова в дело, а дела в слово, а слова в новую божественную мысль, которую адекватно воспринимает язычник, христианин, буддист, мусульманин и иудей, — есть, по сути дела, такое чудо, что его следует считать первейшим признаком основного признака Божества. Также нам известны некоторые прочие откровенные, прикровенные и сокровенные обстоятельства, обличающие Творца: беспричинное ощущение счастья, странный восторг, иногда ни с того ни с сего обнимающий человека, всепоглощающая любовь, непонятно чем вызываемое удовлетворение от созидательного труда, стыд и угрызения совести, многие соборные действия, пробуждающие чувство единения в чем-то непостижимом, человеческие лица, которые светятся нефизической красотой, благородные поступки, нелепые с точки зрения здравого смысла, или вот еще то загадочное правило, что когда думаешь о Создателе, как-то тепло и приятно становится на душе, точно кто зажег в тебе ласковый огонек.

Впрочем, материалистически настроенная публика обыкновенно принимает эти знамения Высшей Силы за следствия того или иного биохимического процесса, и, в сущности, делает это по примеру одного чеховского героя, разоблачившего электричество и находившего в нем «одно только жульничество... Всунут туда уголек, да и думают глаза отвести! Нет, брат, уж если ты даешь освещение, то ты давай не уголек, а что-нибудь существенное, этакое что-нибудь особенное, чтоб было за что взяться! Ты давай огня — понимаешь? — огня, который натуральный, а не умственный!» и поэтому любовь для них — голос плоти, восторг — блажь, благородный поступок — дурость. Но это ничего,



поскольку Бог не всем нужен, Он даже не нужен ординарному большинству, у которого божественное в крови, отчего ему и известно, что хорошо, что худо, чего можно, чего нельзя, да и действительно нету Бога ни физически, ни метафизически для тех, кто бытует больше на животный манер, не то что бы уж совсем как крокодил, а как, скажем, — соображающий крокодил. По-настоящему, в градусе «или-или», Бог нужен сравнительно неширокому кругу лиц, которые страдают гармонией в обществе и в себе, ищут, точно спасения, всеосвещающего начала, для которых мир без Бога — бесконечно, непоправимо пуст, каким он, например, представляется со смертью любимого человека, — и тогда Бог есть, и физически и метафизически, как для читателей есть литература, для математиков — интегральное исчисление, для философов — «вещь в себе». Другое дело, что в процессе познания, или вернее сказать, узнавания Бога, априорное, то есть принятое на веру, и апостериорное, то есть приобретенное опытом, сильно перепутываются меж собой, так что вера отчасти принимает характер знания, а знание отчасти принимает характер веры; в результате можно быть совершенно уверенным в том, что Бог следит за каждым поползновением твоей мысли, и временами подозревать, что самая теплая молитва едва ли способна нарушить молекулярное строение вещества. Однако вера и в чистом виде, в качестве упования, остается насущной по той причине, что существуют слишком веские основания верить в недостоверное, скажем, в смерть; или по той причине, что разного рода невзгоды приключаются, как правило, с нечестивцами, хотя у нас и монашеских режут, и церкви безнаказанно разоряют, и процветают мрачные колдуны, и православие, как при Алексее Михайловиче Тишайшем, непреклонно стоит на том, что одно оно правильно служит Богу, а приспешники прочих конфессий, даже и христианских, суть, коли не злые богоотступники, то, по крайней мере, несчастные дураки; или по той причине, что вот ты чувствуешь себя защищенным, оприученным и ведомым, но стоит только зазеваться, переходя улицу в неполюбованном месте да еще и на красный свет, как ты свободно можешь угодить в реанимационное отделение, а то и куда похуже.

Даже так: вера сама по себе есть Бог, сила животворящая, и если бы небеса пустовали, а была бы одна только вера в Бо-

га, то силой ее Вседержитель стал бы объективной реальностью, данной нам в ощущениях и способной руководить жизнью и деятельностью людей. Ведь Создатель, — во всяком случае, не огромный сияющий старец, который восседает на троне из бриллиантово чистых звезд, Он есть прежде всего закон — закон любви, сострадания, незлобivosti, терпимости, закон тяготения ко всему доброму и отторжения всего злого, как бы последнее ни мимикрировало под добро. Отсюда и договор, который фактом рождения от женщины заключен между Богом и человеком: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный», и жизнь обернется продолжительным праздником личного бытия. Вот во всех благоустроенных государствах законопослушному члену общества обеспечено безбедное существование, но стоит ему преступить гражданские установления, как прощай мирное житие, или вот имеются правила дорожного движения, которые гарантируют цивилизованного человека от преждевременной смерти под колесами грузовика, но стоит только зазеваться, переходя улицу в неполюбованном месте... ну и так далее — то есть по этому же самому принципу строится и жизнь в Боге: если ты неуклонно следуешь заповедям Господним, то как свечка, которую проносят через комнаты, где разгуливают сквозняки, так и твоя жизнь будет ровным светом теплиться за пазухой у Христа; и, напротив, любые несчастья, в диапазоне от сумы до тюрьмы, могут преследовать тебя с поразительным постоянством, если ты существуешь, как соображающий крокодил. Конечно, найдется немало людей, которые скажут: вот-де мы живем тихо-мирно, никого не обижаем, а между тем у нас то и дело что-нибудь «ржа истребляет, и воры подкарауливают и крадут», так что же нам остается — только жизни грядущего века чаять? К этим гипотетическим словам напрашиваются следующие примечания: во-первых, и кролики живут тихо-мирно, однако неизбежно идут под нож, во-вторых, где они, те праведники, которые совершенны, как совершенен Отец наш Небесный, ведь ты-то если не ворует, так пишешь доносы, если не пишешь доносы, так поколачиваешь жену, в-третьих, *может быть*, на загробное-то воздаяние и приходится уповать, этого никто не знает и не узнает, а и узнает, то промолчит.

Это именно *может быть*, что в основании всех религий находится тайна смерти, вернее, все они строятся на зависимости



жизни потусторонней от жизни по сию сторону злой гробовой доски. С одной стороны, вера в жизнь вечную, не пресекающуюся со смертью, появилась гораздо раньше учения о карме и заповедей Христа, вероятно, сразу же по пробуждению сознания в человеке, и вместе с тем логично будет предположить, что идея загробной жизни представляет собой, так сказать, технологическое условие всех религий (ибо чем же ты еще примешь буйного хомо сапиенс, как не страхом вечных мук за непотребные земные его дела), поскольку существует нечто неискоренимо притягательное в жизни и бесконечно ужасное в смерти, поскольку сам Иисус Христос не хотел кончины, поскольку Бог живых — это известно и понятно, а вот пробуждение от смертного сна и последующее существование при Отце Небесном находится не только за пределами нашего знания, но и за пределами понимания, — недаром первые христиане чаяли Царствия Божия именно на земле. Значение тождества «жизнь-смерть» в качестве основания для религии тем менее убедительно, что добро творится по самой природе человеческой, а патологического злодея не то что гадательной геенной огненной, самой натуральной смертной казнью не напугать, что представление о вечности становится не таким притягательным, как только представить себя вечно кушающим сладкие пирожки, что простому смертному вовсе ни к чему вечная жизнь, поскольку он не знает, как ему и со временной-то обойтись, наконец, в воздаянии благом за благо сквозит нечто чересчур буржуазное, что в нашем народе названо «дашь на дашь».

Да вот Лев Толстой утверждает, будто «сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью», и это, разумеется, справедливо, но только для Льва Толстого. В поисках своего собственного божества наш великий писатель и отправлялся-то не от банального страха смерти, а похоже, от гордыни гениального человека, которому смерть претит в гораздо большей степени, чем простому, негениальному существу, недаром Толстой берет себе в заочные собеседники не кучера своего, а Соломона, Будду, Екклесиаста и Шопенгауэра, — отсюда и весьма своеобразная исходная точка его исканий: зачем мне жить, если я все равно умру? В итоге — хотел того Лев Николаевич или же не хотел — набрел он на бога обреченных, бога будущих мертвецов, который предлагает

своим неопитам забиться в физическом труде, вегетарианстве и малахое.

А зачем люди завтракают, обедают, ужинают, а кое-кто даже еще и полдничает, если снедь все равно превращается в удобение? — да затем, что организму требуются калории, затем, что вкусно покушать — редкое удовольствие, и на этот предмет существует целая литература, что посидеть за одним столом с милыми людьми — тоже приятно, а вот еще поговорить об этимологии слова «счастье», а полюбезничать, а попеть, а «ты меня уважаешь?». Но нет: Толстой единственно в том случае согласен примириться с глупой модой есть-пить, если таковой акт получает всемирно-историческое значение; между тем всё гораздо проще, коли попробовать без Шопенгауэра обойтись, — человеку, уважающему жизнь в ее настоящем виде, благоговееющему перед ней как перед бесценным даром Создателя, положительно ясно то, что жизнь слишком прекрасна, слишком организована во благо и таровата на разные замечательные события, чтобы служить всего лишь чем-то вроде пристройки при входе в храм. Да еще такому человеку предельно ясно: если бесконечную свободу воли по завету употребить, то не может быть ничего лучше того, что в этом случае может быть. Тем не менее, мы не смеем отрицать жизни будущего века, хотя бы отталкиваясь от того, что дети — наиболее близкие к Богу представители человечества, смерти инстинктивно не принимают, да и у взрослых небытие не укладывается в голове, при том что у них многочисленные вещи, вроде теории относительности, вполне укладываются в голове, да еще душа нашептывает вопрос: «а мне-то куда деваться?», — следовательно, вера в бессмертие по праву обретается где-то между чаянием и гипотезой, знанием и надеждой. Но все-таки больше на то похоже, что Бог-то вечен, а человек конечен, хотя Творец и создал нас по своему образу и подобию, да, видно, мы так отмираем в Нем, как в человеческом организме клетки отмирают, ничуть не умаляя нашего естества. Оттого-то лик смерти нас так и ужасает, что каждый раз умирает частица Бога.

Спору нет, заманчивая это мысль, будто «сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью», но формула, кажется, неверна; ведь смерть упраздняет сознание и футляр, а смысл она не в состоянии уничтожить, то есть, бытуя в ином физическом измерении, смерть отнюдь не

распространяется на тот объем счастья, событий, борений и впечатлений, который наработал наш хомо сапиенс, преследуя некую свою цель, ну разве что объем наработал он неосмысленно — тогда да, тогда справедливы слова Толстого, что жизнь есть «какая-то кем-то сыгранная надомной глупая и злая шутка»; но разве это бессмысленно — прочесть умную книгу, только оттого, что рано или поздно придется ее закрыть, и разве отличный спектакль — «глупая и злая шутка» по той причине, что в последнем акте опускается занавес и зрители расходятся по домам... Именно поэтому толстовскую формулу подмывает укоротить — «сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни смысл», и на этом точка, сколь ни огромно значение личной смерти. Если мы знаем Бога и по мере сил исповедуем предвечный Его закон, то, вне зависимости от кончины и ее следствий, смысл нашей жизни в формальном отношении будет тот, что она есть законченное художественное произведение, хотя бы скучное и длинное, как английский роман, со своей фабулой, со множеством действующих лиц, где главный герой — ты, я или гидротехник Иванов, который непременно умирает в последнем акте, однако не прежде того, как он сполна отыграет избранную им роль; правда, это произведение будет мало кому известно и вскоре позабудется навсегда, но такая уж судьба 99% творений изящной словесности, кисти, музыкальности и резца. Смысл же нашей жизни по существу, должно быть, заключается в достижении того протяженного во времени состояния общности с замыслом Бога, которое мы называем счастьем, и даже в этом основная функция человека, а всё прочее, как говорится, по совместительству, — и тяготы, и гидротехника, и семья. Итак, Бог насущен не оттого, что насущна смерть, а оттого, что насущна жизнь, Он и в договор-то вступает не с усопшими, но с живыми, а насчет покойников Творец прямо распоря-

дился — «оставьте мертвым хоронить своих мертвецов», каковое распоряжение нам передал Христос.

Пусть говорят: всё это сущая чепуха, просто за два миллиона лет какая-то очень человекообразная обезьяна в результате самовитого развития и особо благоприятного стечения обстоятельств выросла до разумного существа, способного музыку сочинять, конструировать и вырезать целые города, по той простой причине, что «ежели зайца бить, он спички может зажигать», — мы им на это: очень может быть. Пусть говорят: Бог Саваоф в шесть дней создал мир, за самовольство изгнал первых людей из рая, дал народам закон через пророка Моисея, после отправил на землю своего Сына — Христа, чтобы Он смертью искупил грехи человечества и тем даровал ему вечную жизнь — мы и на это: очень может быть. Несклонные верить в первое и неспособные безусловно уверовать во второе, мы тем не менее знаем, что: Нечто или Некто избрал нас для жизни из бесчисленных квинтиллионов кандидатов на таковую, снарядил неприятием зла и приверженностью к добру, отправил в долгий-предолгий путь и что-то от нас ожидает, сдается, посильного участия в благоустройстве человеческого общежития, поскольку оно мало-помалу к этому и идет; что если ты человек в полном, богозданном смысле слова, ты воленс-ноленс будешь соответствовать своей миссии и «сеять разумное, доброе, вечное», входя, таким образом в то состояние общности с замыслом Вседержителя, которое мы называем счастьем. Правда, Бог вечен, а ты конечен, но то-то даже и премудро, что это так, — тем благоговейнее, скрупулезнее нам следует относиться к малой частице вечности, дарованной нам Создателем как таинственно бесценная благодать. Аминь¹... то есть хочется верить, что аминь.

¹ Истина (греч.).

ГЕННАДИЙ АЙГИ

Из книги «Поклон-пению»

ВАРИАЦИИ НА ТЕМЫ ЧУВАШСКИХ
И ТАТАРСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН (1988—91)

Посвящается дочери моей Веронике

...Закончив, они смотрели на меня, охваченные
своей песней.

Н. Гарин-Михайловский

Геннадий Айги — привычно наш автор: после долгих лет вынужденного диссидентства (эстетическая новизна его стихов была как красная тряпка для партократов, ведающих литературой), мы, впервые в советской печати опубликовали подборку стихов Г. Айги в феврале 1989 года. Он стал одним из постоянных авторов «ДН». 1993 год особенно удачный для поэта: в Европе опубликовано 11 сборников стихов, творчество его отмечено двумя международными премиями — первая, имени Петрарки, вручена в Перудже

(Италия) в июне; вторая — «Золотой венец» — объявлена в апреле в Скопле (Югославия) — вручена на международном поэтическом фестивале в Струге, на стружских поэтических вечерах в августе. Ранее этой награды были удостоены Пабло Неруда, Андрей Вознесенский, Иосиф Бродский. По традиции, к фестивальному дню выпущена книга стихов обладателя Золотого венца. Сердечно поздравляем Геннадия Николаевича с урожайным годом!

11

* * *

В доме у бабушки
медным огнем освещает лучина,
все равно занимаюсь: золотом
горит рукоделье!
Не надо чужого огня серебряного.

* * *

Встречая меня,
отец мой раскатывается,
как шелковый тюк —
скатывается обратно,
меня проводив.

* * *

Вот уже исчезают
в поле, среди ковылей.
Уже не слышно бубенчиков...
Мы как птицы стоим.

* * *

Мама в гости меня отпустила,
чтоб я покачивалась,
словно жертвенный котел
над огнем,
в пеньи — пред вами.

* * *

Отправилась милая в путь
и черная ласточка
навстречу ночи
мчится — по крыльям лия
ручьи дождевые.

* * *

Мама, на подоле твоём
все следы — от подпрыгиваний
детских ножек моих!
Дай, лицом прикоснусь.

* * *

Мама, начнешь подметать ты
горницу
может быть, вспомнишь меня,
споткнешься,
и перед дверью заплачешь...

* * *

Поплакала ты и притихла,
и теперь одиноко белеешь
в сеньях,
как шелковая нитка
в ушке игольном.

* * *

Ах, и золотистые мы, и алые!
Проехав при свете листа
кленового,
въезжаем
при свете пшеничной стерни.

* * *

Задрожали
верхушки берез,
как белая луна
появляется
невеста в воротах.

* * *

Все настойчивей зов одинокий
иволги — за околицей,
подружки невесты задвигались,
как овсяные снопы золотые.

* * *

Танцуя,
в бусы превратим кирпичи
этой печи,
серебряные в ней загорятся
дрова.

* * *

Точно конопляное поле
отцовское,
ровны лесные вершины,
плывет моя песня над ними,
будто поет это — лес.

* * *

Голос мой тонкий, как голос
кукушки,
ветром потом отнесет
долго звенеть
рядом с оставленным домом.

* * *

По этому полю проедем
от края до края,
каждый лепесток каждой
ромашки
приподымая.

* * *

Если запустить
мое пенье
ладом скользящим,
лучшая песенка выкатится
клубком золотым

* * *

Золотая проволока —
фигура твоя,
о, из алого мельканья
лицо,
выше — шелковый воздух...

* * *

Вышивки — в танце — на вас! —
то ли кланяются васильки,
то ли
щебечут ласточки.

* * *

Хватит, покружились мы здесь,
как звонкие монеты серебряные,
поклонимся —
согнемся пред вами,
как белые деньги бумажные.

* * *

Есть песенка, среди трав,
на лугу,
пойти ли к ней и запеть ли,
иль принести вам сюда
и спеть — на прощанье?

* * *

А там, где
 стояли мы,
пусть останется
свечение —
Нашего благословения.

* * *

А тень ее там, все за той же
оградой,
завтра пойдешь — не застанешь,
тогда-то в тебя
войдет навсегда ее облик.

✱ ✱ ✱

Не уменьшить мне боль,
полдуши в этом поле оставив!
Молчу я, и лишь за холмом,
как ребенок,
громко плачет куница.

• • •

А богата была — девятью
походками:
чередовались-играли!
Потом
жизнь оставила — только одну!

* * *

В поле — зеленого жаль,
жаль — золотого над полем!
Брат мой, стареем,
седеем, как синие бусы...

АЛЕСЬ АДАМОВИЧ

Vixi

ЗАКОНЧЕННЫЕ ГЛАВЫ
НЕЗАВЕРШЕННОЙ КНИГИ

...я живу в последний раз.

Анна Ахматова

Для разбега

14

1943 год, предосенние дожди прибили летнюю сушь, смыли придорожную пылицу с пожухлой травы, но жара вернулась, я лежу у дороги, локтями прижав к земле винтовку, со стороны Козлович ведут плененных немца и власовца (у власовца мундир желтее немецкого, наверное, из запасов венгерской или чехословацкой армии), бабы из нашей Крюковщины выбегают к дороге, встречая и провожая пленников не столько злыми, сколько горькими причитаниями: «Дзе ж твае вочи? А маці недзе свае праплакала по такому сыночку!» Русоголовый красавец-власовец глаз не поднимает, лицо его то бледнеет, то краснеет. Немец, маленький, невзрачный, в очках, с испуганным любопытством смотрит на вооруженных людей. По другую сторону дороги длинный ряд холмиков-могил, четыре из них свежие, несколько дней назад мы хоронили тут своих хлопцев.

Вот-вот начнется «блокада», грозное слово это уже носится в воздухе, окружение, блокировку партизанских деревень и лесов немцы обычно приурочивают к осенней уборке урожая. (Для меня потом стертое газетное выражение «битва за урожай» всегда было наполнено жестокими воспоминаниями.)

Гляжу вслед обреченно удаляющимся нашим врагам, и вдруг подумалось: явись сейчас кто-то и предложи мне, уже прожившему шестнадцать лет: «Хочешь еще две недели? Гарантированные. Беззаботные. Как ты жил в своей Глуше четыре года назад. Ну, а потом, сам знаешь, придется заплатить, умереть».

Я не спешил соглашаться. Но и не гнал прочь этого Кого-то. Я уже научился заглядывать в себя, юношеская рефлексия была подогрета чтением Толстого, постоянным удивлением: да, да, да, и именно так. Когда у него вычитывал свое. «Так это же я, а не Николенька Иртеньев внезапно оглядывался (Толстого тогда еще не было, т. е. не читал), чтобы застать мир не готовым притвориться, что он есть, существует, когда я на него не смотрю!» А когда оглушила в засаде у деревни Устерхи, как колоколом (нет, колом) по башке, автоматная пуля, соскоблывшая кожу и клочок волос на макушке (зимнюю шапку в клочья!), и я удивился: «Кто это меня палкой по голове?» — оказалось, что почти теми же словами подумал и Андрей Болконский на Аустерлицком поле, когда его ранило. (Потом про это я вспомнил и снова поразился.)¹

Так что я уже умел спрашивать себя и себе же отвечать. Две недели — да это же целая жизнь, если уже завтра от тебя, возможно, только и останется, что холмик вон там у дороги! Покопавшись в себе, я кому-то ответил: «Две недели — нет. Но за месяц, за четыре недели — да, согласен». И был вроде даже рад, что, поторговавшись, здорово выгадал: удвоил срок своей жизни.

На днях хирургу, покушавшемуся на мое брэнное тело во имя того, чтобы продлить его существование еще лет на 5—10, я ответил: 5 или 10

Vixi — прожито (латин.).

¹ Перепроверил по «Войне и миру», там: «Как бы со всего размаха крепкою палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову».

под вопросом для меня куда менее важны (нужны), чем один год, но без такого риска: еще несколько завершенных глав незаконченной книги все же сработаю.

5 марта 1993 г.

1. Из-под капельницы

Конец 1991 — первые полгода 1992.

В ночь с 20 на 21 декабря, когда случилось это, было полное лунное затмение. Кроме того — потом узнал — официальная дата рождения И. В. Сталина (Он-то при чем? Да ни при чем.)

Диагноз 7-й клинической больницы г. Москвы: «ИБС, острый трансмуральный инфаркт миокарда в передне-септальной, боковой и верхушечной области ЛЖ с развитием хронической аневризмы».

Из моей записной книжки: «23—25 декабря 91 г. Случилось. Самое серьезное в моей мед. карте. «Большой», «обширный», «с осложнениями» — здесь у врачей правило резать правду-матку в глаза больному. Что касается меня — поступают правильно. Жизнь моя, что ли, так проходила: в 16 могли убить, да и позже подставлялся, но прожитые аж за 60 считаю подарком. Что ж скучить? Кроме того, видно, я из тех, кто себя не очень высоко оценивал. Осуществился, на сколько был запрограммирован, чуть больше, чуть меньше — уже не имеет значения.

Вот и спокойно все воспринял, а со стороны — так и легкомысленно. У человека нет долга родиться. Но умереть — долг каждого. Вот и умри.

26.12.

Хорошо быть записной книжкой Бога! — мысль вылетевшая откуда-то из сна.

29.12.

Смотрю на снежный день за окном. Уют. Ты здесь, а это — там. Смерть что — тоже такой уют? Ты уже здесь, а все — еще там. Да. Об этом Лермонтов мечтал: (чтоб) «вздыхалась тихо грудь»... Но если отсюда туда (смотреть) вослед — волна... которая, сколько можно глубоко проникнув, — когда (с громом) уходят кумиры миллионов или (кто-то) наоборот тихо, но памятные (поминаемые) — не так ли накатывается (намывается) дорога между жизнью и смертью, окошко, дыра в скале (пробивается), пещерные ходы? Древние уже проложили (такую связующую дорогу), для них каждый умерший был преисполнен значительности, а не отдельные избранные¹. Ну, случилось бы это уже несколько дней назад — завихрение чувств в каком-то круге людей, а дальше — вроде ничего и не произошло, вроде ты живешь и дальше, но тише, не столь громогласно, и вот тут-то и начинается исчезновение: из памяти людей, из отношений их, из дел. Вот тут-то и выясняется: жил или не жил, какой след оставил и оставил ли?

Потому-то так хочет человек написать на чем угодно, хоть на НЛЮ: «Здесь был Вася!»

31.12.91 г.

Лежу с инфарктом, смотрю в телевизор на идущих по улице накануне 1992 г. и жалко не себя, а их. Господи, что ждет этих людей?

3.1.1992 г.

Да, жил я последние годы митингами, Съездами, а все-таки, когда услышал про путч — первое, о чем подумал: не закончил повесть! И вот стукнул инфаркт, всё на краю, о чем подумал: хорошо, что закончил повесть!²

6.I.92 г. (с 5 на 6-е).

Ночь перед Рождеством в больнице № 7 жуткая была. Умирал человек. Когда-то (собственная) литература (и война) подсказала мне: некрасив человек умирающий! Что бы ни говорило об этом мировое искусство, как бы ни героизировало (смерть) тысячи лет.

Бедная моя мама, до ужаса в глазах боявшаяся нечистоплотности смерти, и ей пришлось пройти через это...

...Посыпались «шестидесятники» и чаще всего инфаркт — Карякин, Буртин, Окуджава, Баткин, не перечсть. Не с завистью (к уцелевшим) и даже без удивления: настигает это лишь одну половину шестидесятников, ту сторону, где «обстрел особенно

¹ Не очень понимаю теперь, что хотел выразить, но оставляю как написалось. В скобках — теперешние слова-связки.

² «Венера, или Как я был крепостником».

интенсивный», что ли. Ведь и Бондарев, Проскурин, А. Иванов и т. д. того же поколения. Ну, у них нервы из проволоки, как у сталинских членов политбюро. И вообще у чл. политбюро.

В «Сов. писателя» моя долгомученица — книга: «Мы — шестидесятники». Назвал, как чуял. М. б. выйдет.

В «Дне» прочел, прохановском: «ненависть Адамовича», мол, потусторонняя, что-то в этом роде.

Они это хотят называть ненавистью (и в ругательных письмах) — то, что нас сжигало, что шестидесятников (этих) делало тем, кто они есть, были. И именно стали в 80-е дрожжами процесса в стране, переломившего ход истории, которая вот-вот могла кончиться. Да нет, не ненависть двигала и движет. Другие чувства. Совсем-совсем другие. Ну, да об этом что!..

...В. Бондаренко сразу после путча умолял шестидесятников (в том же «Дне»): вы свое дело сделали — уходите! Потом Ципко вот так же уговаривал демократов: спасибо и уходите!

Что ж, уходим. Ну, а что не так — извините.

8.I.92 г.

По «Свободе» снова Коротич. И противно, и стыдно.

...В Глушу! В Глушу! В Глушу!

Рыжов — в Париж, Фильшин — в Австрию, а ты — в смерть. Все дезертиры? Нет, вернуться и дать последний бой — «завтра бой!» — как собирался Сахаров.

...Перевезли меня в Центральную клинику. Сажу с аппаратом, хожу, сплю, как павловская собака.

А сейчас (13.I.92 г. в 18.30) позвонил Горбачев. Поговорили. На столе у меня лежит начатая статья: о том, что наш развал, как ни тяжело, спас мир и нас от неминуемой катастрофы, от срыва в никуда и навсегда. И это связано напрямую с действиями (и бездействием) человека, с которым я только что говорил. Через него сработал инстинкт самосохранения человечества. Через него. А остальное, где-то правота его или неправота — какое это будет иметь значение?

16.I.92 г.

Звонил Ю. Рыжов. До этого — Явлинский, Окуджава, Черниченко, ну, и, конечно, Быков — все (они) мое состояние воспринимают всерьез.

Вчера — философски-фаталистически, а стало легче — как бы и не э т о случилось со мной. Врачи прямо в лоб лупят правду и удивляются: он что, не понимает?!

17.I.92 г.

Как-то забыл, что всего лишь 8—9 лет до 2000 года и мог бы дотянуть. Вот бы, а! Ведь 6,5 млрд. счастливых смогут сказать, что оказались на перекрестке тысячелетий. До следующего вон еще сколько ждать скольким поколениям!

28.I.92 г.

Кажется, Событие откладывается. Теперь будет труднее быть философом-фаталистом. Снова соблазн всё мочь, всего хотеть — жить.

I.2.92 г.

Я это знал, теоретически: чем дальше человек от смерти, к которой (уже) прикоснулся, тем больше боится этого События. Начинает бояться. «Синдром Кочегуры» — наш партизан, контрразведчик, поражающий храбростью, холодным риском, играл своей жизнью, порою без нужды. Провалился под лед, заболел туберкулезом, и какой же это был жалкий человек после войны: ни о чем он не мог говорить, только о своей болезни. Не заболеть бы этой болезнью, этим синдромом.

...Смотришь, как на марсиан, на всех, могущих бежать, плясать, по лестнице подниматься. Но если даже так: голова осталась, это твои ноги, твой бег и танец — садись за стол!

4.2.92 г.

Вдруг сообразил: спокойные сны в т а к о м положении объясняются просто: мышца сердца работает слабо, сосуды мозга не переполнены кровью, а значит, и снами, бредом. И даже те, которые есть сны, заштрихованы, слабо проявлены. 300 метров прогулки — и давление падает до 100 или 95 (а было за 140 — и выше). Зато ночи спокойные.

5.2.92 г.

Упрямо влетает синичка (вот уже 4-й раз за 15 минут) в мою комнату. И к моей кровати всё, хотя остатки обеда на столике в другом конце комнаты. Ну, что хочешь мне сообщить? Знаю и без тебя. Нет, буду считать, что это подарок мне, зов к жизни.

7.2.92 г.

Вошел снова в работу (эссе о трех днях пугча) и снова цена жизни повысилась. Прежде я побаивался самолетов, но лишь до тех пор, когда повесть писалась. Заканчивал, и это чувство пропадало. Ну, а сегодня ситуация послеинфарктная, и всё смещено. Но прежнее поведение и тут проявляется. Хочется закончить — хочется жить.

19.2.92 г.

Вот уже 20 дней в санатории им. Герцена, рядом и вокруг номенклатура. То же самое, как если бы после боя раненых из враждебных войск собрали в одном госпитале. Теперь у нас общий враг — инфаркт, язвы, артриты. О том, что нас вчера разносило в клочья, не разговариваем.

20.2.92 г.

Только Бунин с его неотступной, протестующей мыслью о смерти мог написать про гроб: «положат в то, ни на что в мире не похожее, всему миру чуждое и враждебное» («К роду отцов своих»).

20.2.92 г. (6 часов)

Вся истина в том, что умереть я хочу в Беларуси, а лежать в Глуше. Там я связан со всем. Здесь же только ты. Это — для жизни. А для Вечности — Беларусь.

...Из Плутарха: «Цицерон, приказав казнить заговорщиков, крикнул толпе: «Они прожили». Так говорили римляне о людях, которые умирали, когда не хотели произносить зловещих слов.

А о себе? «Я прожил»? (vixi).

17.5.92 г.

...Умер. Нет, я не умер, Женя! Он все рвался приехать ко мне, заболевшему, а я боялся дороги для него тяжелой. Никогда у нас не было внешних проявлений, в словах, в объятиях (кажется, только мертвого (впервые) поцеловал его, за все время, сколько себя помню), а тут он (иногда) говаривать стал, что мы вот вдвоем остались: мама и отец уже в Глуше. Где и нам лежать. За день до случившегося прислал газету, которая могла быть интересна мне, и клочок-письмо: звал в Минск. За всю жизнь Женя (я не помню случая такого и не представляю его) ни на одного человека даже голоса не повысил, не то что поругаться. (Свои не в счет, в детстве мы дрались и еще как. Впрочем, «лез» я, а не он.) (Следом за Ирой) в комнату вошел Юра (Карякин), с ним Майя (врач из Москвы), санаторные врачи. Поняли, что я поеду, чтобы ни говорили мне. И поэтому не настаивали. (Ира после сказала, что и (литфондовская) Ранса Алексеевна и Полина Андреевна (из «Герцена») были решительно против поездки.) Но о чем тут можно говорить?.. В Минске Вера и Мария сделали все, что требовалось. Не только рожать, но и хоронить Бог поручил женщинам. Мальчики затаились. (На всю жизнь это останется с ними: дед для них был огромным любящим, согревающим солнцем. До анекдотов, наших, семейных, доходила его о них беспредельная забота, ласка.)

Он не мог лечь рядом с отцом и мамой, места там уже нет. Через две могилы...

Если отсортировать все мои (сохранившиеся) желания: что-то увидеть, написать и пр. и пр., на первом месте и главное, которое осталось бы: лежать там, в земле родителей, брата, детства и всего, из чего состоял всю живую жизнь.

20.5.92 г.

И тем не менее каждый день жизни — открытие. Хожу по вечерам, и вдруг обнаружил, то, чего кажется, не замечали (не отметили): когда объявляется соловей, начинает полоскать горлышко, весь птичий лес следом особенно старается: появился Мастер, и все остальные (силится) стараются наперебой каждый хочет поднять планку.

16.6.92 г.

За несколько дней до сороковин мне приснился Женя. Все хотелось дотронуться до его руки, убедиться, что руки у него теплые. Так и оказалось — теплые. Мне на это сказали: значит, он еще здесь.

Из «Подмосковья» до села Битюгово — 3 км., там старая, 16-го века церковь, разрушенная в 1939 г., теперь ее пытается возродить отец Евгений, тезка Жени, молодой священник. Договорились о службе 40-го дня, но он был сильно простужен и, кроме того,

должен был в этот день везти бревна на распиловку. С опозданием — к 17.00 все-таки появился, потом матушка его.

Они и справили службу в пустой церкви: голый кирпич, подтеки и зелень, мох в алтаре (сказал, что грибы там собирает), но что-то вокруг было такое, что я впервые в жизни несколько раз перекрестился — следом за отцом Евгением.

Что помогает человеку переносить потерю ближайших ему людей? То, что и он сам будет там же, и, отпевая тех, человек слышит, как будут его отпевать. Смертны — в этом оправдание всей нашей жизни.

13.7.92. Переделкино.

На экране японского аппарата «Эхо» — разрез моего Сердца, на плывущем фоне дразнящийся язычок клапана. Вот где твои часы. Завод кончится и... Написал Сердце с большой буквы. Пишу, спешу закончить «Немого». Видел часы и спешу.

2. И ОПЯТЬ НАЧИНАЕТСЯ ДЕТСТВО

18

Италийские греки сибариты не ради детской попки старались 2500 лет тому назад, когда изобретали ночной горшок. Это был предмет роскоши, вполне царский, королевский. Чтобы державная персона могла посидеть-подумать от-решенно. Впрочем, где-то читал, что суетные, не выносящие скуки одиночества Людовики и даже Екатерина Великая допускали наиболее достойных придворных к лицемерию и сей подробности своего утреннего туалета. При этом велись кургузые беседы.

Что ж удивительного, что маленькие граждане, когда ночной горшок сделался их привилегией, изо всех силенок стараются привлечь к себе внимание окружающих именно в таком положении. Даже если убеждаются, что это связано с определенным риском. За столом, вокруг большущей светлой лампы, гости, чужие тети и дяди кушают, беседуют, смеются. А ты должен один сидеть в темной кухне. Не для этого же попросился на горшочек. Как бы произвольно начинаешь дрейфовать в направлении света, умело покручивая голой попкой. До цветастой ширмочки, что отделяет кухню от столовой, вполне безопасно, а дальше нужна предельная осторожность и неторопливость. Горшок под тобой не может двигаться напрямик, а сложными петлями, надо при этом и нужное направление выдержать и не опрокинуть его. А если «водителю» два-три годика и обчелся — задача эта не из легких. Главное — подрулить незаметно и как можно ближе к столу. Нет, не ради того, чтобы себя показать, а чтобы на других посмотреть, послушать живой смех, разговор... Мамин вскрик! Ну, можно подумать, страшный волк в комнате появился и сейчас распугает или съест всех ее гостей. Вскрикивает, загораживает стол. Схватив вместе с горшком тебя, уносит на кухню. В темноту, откуда ты и появился. Вас провожает неуверенный смех гостей. Папа, его голос, поясняет (не без удовольствия):

— Упрямый поросенок!

Это наша первая квартира, в которой я себя вижу, помню. Большая комната, ширмой с крупными яркими цветами по всему полю располовинена: на «столовую» и «спальню». Спальне отдана большая ласково-теплая печь. Огнедышащим зевом она выходит на кухню. Тут хозяйничает мама, на печке — мы с братом «Заной» (вообще-то он Женя, но «з» легче выговаривается). На печку забираемся прямо с нашей кровати.

Но, пожалуй, самое заметное в предметном мире нашего детства — Лампа, блестящий металлический шар на черной треноге, стекло с круто раздутыми щечками, удерживаемое снизу узорчатым венчиком. Как только сумерки выползают из темных углов, заполняя спальню, кухню, а затем всю квартиру, и за окнами тоже начинает темнеть, зажигается, вспыхивает Лампа. Фитиль в Лампе не плоский, как в той жестянке, что на кухонном столе (ту я не стал бы писать с большой буквы), а круглый. Вначале пламя еле держится за черную кромку фитиля, а повернут зубчатое колечко, и свет затопляет комнату — стены будто раздвинулись, потолок взлетел. Если близко присесть, ухо уловит шипение, живой шепот Лампы. «Шестилинейная» — помню это загадочное слово, производимое с уважением даже тогда, когда она, запыленная и забытая, стояла на

шкафу, а с потолка свисала помеченная мухами электрическая лампочка на жестком перекрученном проводе. Ночные мотыльки с меловыми крылышками — казалось, что все те же — вились теперь вокруг этих лампочек.

Глаза помнят отгораживающую цветастую ширму, просвеченную сиянием Лампы, когда лежишь в постели, уже успокоенно, вечерним барахтаньем отвоёвав у старшего брата тебе принадлежащую половину кровати. Эта картинка легко и естественно переходит в зеленеющий за домом лужок у толстеного дуба, с жесткими почти без запаха желтыми лютиками, мягоньким медовым клеверком и внезапной, как испуг, ягодкой земляники, вдруг тебя окликнувшей.

Все ранние болезни помнятся как долгое, до головокружения, всматривание в плывущие рисунки, смещающиеся контуры на прозрачном ситце, из-за которого (скорее бы!) появится мама...

Когда скарлатиной заболел, брата от меня отделили. Мне на зависть — на нашу печь. Он свешивался сверху и гримасничал. Как бы назло мне. Просто нам было скучно друг без друга.

Печка — наше волшебное царство, до последнего сантиметра обжитое, обнюханное, облизанное. Да, и облизанное. Если научно объяснить, детскому организму не хватало кальция. Потому-то и смотрел на любую побеленную стенку или боковину печки как на медом намазанную. А уж если свежевыбеленная!.. Тянул языком, мокрым от удовольствия, по пахучей стенке, известке, мелу, оставляя уличающую, даже когда высыхала, полосу. Поскольку грязный бордюрик темнел на уровне моего роста, внимательной хозяйке не трудно было вычислить мелового наркомана. Ну, мама, ладно, она сказала отцу, что надо мне аптечного мела, угля в порошках купить. Совсем другой был эффект, когда такой же бордюрик на стене и печке обнаружила в своих апартаментах «пани Погочка», хозяйка дома, где мы снимали квартиру.

Как и положено между братьями с некоторой разницей в годах, мы озабоченно делили сферы влияния в семье. Я долго и прочно удерживал плацдарм в постели родителей. Брату только и оставалось — торжествовать: ему одному целиком доставалась детская постель. Устроившись меж отцом и матерью, я перед тем, как уснуть, захватывал мамину руку, прижимая, обнимая ее теплый молочный запах. А ей, бедной, ни повернуться, ни расслабиться. Отец на место ее руки тихонько просовывал свою. Подержав какое-то время подмену, я обязательно просыпался и протестовал со слезами:

— А, больша́я рука! Не мамина!

Зигмунд Фрейд сказал бы, что я ревновал к матери не столько брата, сколько отца.

Брат отыгрывался на другом: по вечерам незаметно забирался на печку и сидел там тихонько, пока я возился внизу, за столом или на кухне. Надо спать ложиться, уже свет гасить собрались, и тут обнаруживалось, как меня бессовестно обманули.

И вот они все трое внизу, в постелях, темно в доме, а я залез на печку и отсиживаю недосиженное.

— Сынок, — ласковый голос отца, как бы ничего не понимающего, — что ты там делаешь? Иди ложись спать.

Что я, как будто не знаю!

— Это еще что такое? — мама уже сердится. — Что за фантазии? Сейчас же иди спать.

— А-а-а! — доносится к ним с печки. — Зана больше сидел!

Но вот сейчас не Заны, мое торжество, победа: я летаю, пусть даже с горшком. Слегка (совсем не больно!) отшлепанного с холодной, сполоснутой на ходу попой, меня водворяют на место рядом с братом.

— Бессовестный! — стыдит мама.

(А брат демонстративно отодвигается, показывая, что не хочет лежать рядом с грязнулей.)

На свет Лампы, как летом белые мотыльки, появлялся иногда в нашей квартире седоусый сосед — хозяин Погочкий. С виноватой улыбкой присаживался в сторонке, всегда отказывался, если приглашали за стол. Нет, он пришел поговорить. А точнее — говорить. Сидел и рассказывал, рассказывал. Как бы

одна бесконечная история. Будто шум дождя слушаешь — ровный голос человека, который столько помнит, знает.

У Погочких было несколько сыновей, дочка, может, оттого, что они старше нас с братом были, но о них моя ранняя память ничего не сохранила. Зато сам Погочкий, его эти вечерние посещения и мой поход на хозяйскую половину дома запомнились. Еще бы: это закончилось скандалом, криком «пани Погочкой»: «А хоть бы вы подошли, мои вы дороженькие! Сморкачи паскудные!»

Повел меня и Зану к себе Погочкий, когда ни нашей мамы, ни хозяйки дома не было. Сначала в просторной кладовой одарил нас красивыми, но очень твердыми грушами, затем мы прошли через кухню в «залу». Единая житейская цепь моих открытий-удивлений перед какой-то давно бывшей, «музейной» жизнью, — дворец графа Паскевича в неразбитом еще войной Гомеле, затем ленинградский Эрмитаж в студенческие годы — так вот эта цепь впечатлений началась все-таки с «залы» Погочких в заводском поселке Глуша Бобруйского района. Поразил пол: было страшновато на него ступить как на стекло. Ярко выкрашенный в желтый цвет. Огромный до потолка черный шкаф, а по дверцам и по канту его — резные венки из груш, яблок, слив, черных, деревянных. На белых стенах (таких свежих, что слюна во рту взбухла) висели, как я понимаю, дешевые литографии, но тогда казавшиеся нездешним богатством: на каждой картине цветная сценка охоты. И убитые объявшие зайцы, окровавленные огромные птицы и тонкобрюхие выгнутые, как лук, охотничьи собаки, сами охотники с ружьями, белоусые, очень похожие на Погочкого — словно из рассказов хозяина дома. Какая-то неведомая — до нас — жизнь.

Но как я мог не отдать должное и свежевывеленным стенам «пани Погочкой»? Преступника она вычислила моментально, и уже через два часа мама с ужасом слушала ее проклятия за окном (при этом доставалось и самому Погочкому), брат на меня шипел («Никак ты не налижешься!»), а себя помню лишь через страх, что злая старуха сейчас отвяжет, спустит с цепи огромного рыжего пса, который бегал и лаял вдоль протянутой от сарая к воротам проволоки. Ноюще визжало надетое на нее кольцо, которое волочил пес.

Думаю, мама снова упрашивала отца: поискать другую квартиру, просить казенную, только бы подальше от этого проклинающего ее детей крика.

В «Войне под крышами», когда я рассказывал о «Жигочках», о старухе и ее сыне Казике, которые чуть было не отправили семью «Корзунов» в подвалы немецкой службы безопасности, на муки и смерть, я не все сказал.

Что «Война под крышами» — продолжение все той же гражданской, начатой в 18-м, эта догадка в самом названии романа закодирована. Но, конечно, не развернута. Как это мы делаем сегодня, возвращаясь к тем временам. И я уже в состоянии посмотреть на происходившее глазами и другой семьи, Погочких-Жигочких. Старшего сына их (лейтенанта или даже выше по званию) забрали в 37-м. А прежде — разорили крепкое их хозяйство. Не сослали, а лишь обкорнали земли, о качестве, плодородии которых свидетельствовали мощные дубы, чуть поодаль стеной стоявшие (дерево это на бедных почвах не растет). Не раскулачили Погочких лишь потому, наверное, что жили они не в деревне, а в рабочем поселке. (Не всех же сразу.) И вот на самом «житнем» конце их поля стали строить больницу. А врач этой новостроящейся больницы — их квартирант. Наверное, характер у старухи был скверный. Сам Погочкий нет, нет, да и заговорит, бывало, о жене своей с внезапной ненавистью и стыдом. Но смотрите, какой дьявольской смесью поливали души людей. Жена врача, «покупающегося» на добро Погочкой (наша мама) — сама из раскулаченной семьи, как тут удержаться старухе и не напомнить квартирантам про это? Радостным криком разглашала новость, когда долетело до Глуши, что семью докторши сослали: «Теперь и вы поскулите — поенчите!»

В головах людей царил дикий кавардак от всего происходившего. Я в войну не раз слышал, как заводские полицаи со страстью довоенных активистов поносили «кулаков», «куркулей» деревенских. Где, как не в подвалах НКВД, проходили репетиции, брались уроки того, что творили потом «наши люди» уже в подвалах немецких «служб безопасности», СД и гестапо? Ну, а искать, находить

и сигнализировать о «врагах» — прямо-таки вколачивалось в людей. Столько лет.

...Да, возможно, что это всего лишь (и жаль, если так) подмена истинной веры в бессмертие — медицинской версией ее: все эти истории о жизни после жизни. Life after life. Рассказанные людьми, побывавшими в состоянии клинической смерти. Но как хочется в это поверить: пролетаешь по тоннелю-трубе смертного ужаса, одиночества и вдруг — вырываешься, тебя обнимает неземной свет, тебя встречают, к тебе вернулись те, кого потерял, казалось, навеки. Перед кем всегда испытываешь чувство вины, потому что отпустил тех, кого любил. Не все сделал, чтобы удержать. Встречают, чтобы тебе не страшно было. Ни ада, ни рая, а вот такая встреча с самыми-самыми?.. А что если среди встречающих там и бывшие наши враги? И что если «ад» — это ты сам, вдруг среди любящих тебя увиденный глазами тебя ненавидевших. Что если это и есть мгновение ада? (Там равно вечности всё.) Встреча с самим собой — таким негодяем, таким мерзавцем, какими нас видят, видели враги наши (а мы — их). Ведь даже святые старцы перед концом просили всех, молили простить их.

Помню, в Минске это было, сидел в троллейбусе, и вдруг следом входящий не просто стал меня заталкивать внутрь (казалось, что не было и особой толчеи у входной двери). Меня не вталкивали, меня пытались раздавить — такое было ощущение. Такого чувства физической ненависти, на меня напирала, я никогда в жизни до того (да и после) не ощущал. Оглянулся и сразу увидел подтверждение — искаженное злобой, налитое свинцовой враждебностью лицо писателя К. Это было время нашего недолгого молодого торжества над позорно заголенными, открывшимися обществу вольными и невольными слугами сталинско-бериеской дьяволиады. (Они через год-два снова вернули свои прочные позиции.) Будучи в Москве, этот К. узнал, что Адамович, работавший тогда в МГУ, отказался подписать письмо против Синявского и Даниэля. Подставился! Потом, по словам случайного соседа по вагону, ночью несколько раз он вскакивал и в счастливом торжестве, предвкушении восклицал: «Не подписа-ал!»

Он уже умер, он уже там.

Каким же я сам себя увидел бы — его глазами! Что испытал бы, даже отгороженный от ненависти светом уже неземной любви?..

Передо мной фотография, на которой вся наша, тогда такая молодая, семья — 1928 или 1929 год. Переснята с подпорченной, которую мама носила в мешочке на шее почти год (когда каратели загнали наш отряд в самые гиблые болота), ничего не зная про меня и Женю, лишь то, что ей рассказали спасшиеся партизаны: немецкий танк вот так (и ногой по скрипящему снегу!) заутюжил в окопе...

Я в серой курточке с пояском стою на скамейке, прислонив (неженка) голову к отцовской, справа за спиной мама, а отец и брат Зана (в бархатной темной курточке, в руке мамин кошелек) сидят на скамейке.

Таких коротких волос у матери, сколько ее помню, не было никогда. Может, это после болезни от испорченного свиного мяса (трихиниллез), которую, как она вспоминала, лечили тогда спиртом, водкой, буквально спаивая больного? Свободный воротник, видно, что шелковисто-мягкого платья, лицо привычно строгое, озабоченное, наверное, это 1929 «переломный» год. (Уже в Минске, после маминой смерти, позвонила мне женщина, когда-то жившая в Глуше, и вдруг рассказала, как они, школьницы, во время больших перемен бегали в аптеку будто бы купить «сен-сену» (вместо конфет), а на самом деле: «посмотреть на красивую жену доктора».)

Где мы жили, когда нас снимал слущкий, очевидно, фотограф? Учась на врача, отец летом подрабатывал в Конюховском доме отдыха, там же, на Слутчине, где и родные деревни: Рачень — отца, Заболотье — мамы. Самое таинственное, легендарное место в моей биографии — эти самые Конюхи, в них я родился. Там был даже медведь, цепью привязанный к яблоне, отдыхающие пограничники его угощали, мы с братом тоже (сам не помню, рассказывают) — морковкой. «Миска, Миска...» Мишка не пожелал быть вегетарианцем, однажды сорвался с цепи и задрал корову. Его застрелили.

Я ничего из конюховской жизни не помню. А интересно: тот, стоящий на

скамейке в курточке с пояском — он помнит «Миску»? Как кормил его морковкой? С какого момента мы напрочь забываем то, что видим, что остро переживаем, смеясь и плача в таком вот возрасте? И вдруг — как отрезает, отрубает! Что-то остается в нас, но запечатанное, в каких-то сотах.

А если удастся расковырять, вдруг просачивается запах, липкость меда раннедетских впечатлений...

Возможны, впрочем, и более смелые предложения. На сценарных курсах со мной в Москве учился Эрлом Ахвледiani, удивительный сказочник-философ. Когда я побывал в его тбилисском «родовом гнезде», обнаружил, что сам был его, сам дом отца-деда такой же талантливый, иначе не назовешь. Потолки отфактуренные временем, ни мел, ни обои не употреблялись тут последние лет сто, у каждой стены, деревянной или каменной, своя семейная легенда. Совершенно случайно в русскоязычном грузинском журнале прочел его рассказ «Агу»: кто-то рассказывает нам о своих родителях — совершенных детях по уму в представлении этого рассказчика. Сам-то он напшигован знаниями о Вселенной и человеку на уровне естествоведа-ученого. Какой-то Эйнштейн-Фрейд плюс Достоевский в одном лице. Подсматривает с этой высоты за хлопочущими над своим первенцем отцом и матерью, умильно радующимся его забавным гримасам и как он ножками сучит. И вдруг мы обнаруживаем: рассказчик-то и есть этот самый младенец, это он Эйнштейн-Фрейд-Достоевский!

Вдруг, на радость бурно возликовавшим родителям, он произносит свое первое: «агу!» и... Все что знал, помнил, весь опыт человечества, спрессованный в младенце, куда-то испаряется. «Агу!» — и все начинается с нуля. А все, только что бывшее — где теперь, куда спряталось?

Пишу это, а рядом санаторный телеящик что-то показывает, невольно вслушиваюсь в голос, повествующий (такое совпадение!) о невероятных прорывах в «будущие знания» у наидревнейших народов, у китайцев. Тоже потом забытых или спрятавшихся знаний. Так что это общая загадка — для человеческой особи и целых цивилизаций.

Притягивают меня старые фотографии. Не только наши семейные. Там, в тот, сфотографированный, момент люди думали, чувствовали, суетились, а про то, что бумага останется, случайность их внешнего состояния останется, а их не будет, вряд ли кто в те мгновения задумывался. Теперь ты за них думаешь. После, возможно, кто-то другой рассматривать будет и ваши групповые: партизанские, студенческие, аспирантские. Нет уже университетских Вани Петровского, Косько Валентина, Ильющенко Володи, Владимира Ивановича Красовского... А я все слышу-помню их голоса, смех...

Начал я с подробного записывания того, что сохранила раннедетская память незапечатанным в тех таинственных сотах. Но попробуй сохранить строгий отбор: своего и рассказанного тебе позже другими, кто был рядом. Чем глубже рука погружает в воду детский мячик, тем сильнее сопротивление и стремление его вырваться наверх — помню, как меня это поражало, мячик будто оживал в твоих пальцах. Вот так оживают, сливаясь со стихией собственной памяти, чужие воспоминания.

Но никто ведь из взрослых не мог мне рассказать про то, как выглядел мир нашей квартиры, забавный мир ног, подсмотренных движений, когда следишь за ними из-под стола, а еще лучше — из-под низенькой «канакпы». И как таинственно под столешницей перекрещиваются деревянные планки, бугрятся подтеки клея на них — снизу. И вот этот вечер — только мой, когда страшным первым одиночеством, покинутостью всеми я был внезапно напуган и начал плакать. Не знаю уже, где все были, но Лампа не зажжена, в комнате полумрак, я смотрю в окно, в сторону шоссе, а там идут, идут, едут на лошадях солдаты... с белыми пиками. В том-то и дело, что Красная Армия тогда все еще гордилась буденновскими пиками, деревянными палками с металлическим наконечником. Потом мы не раз бегали к шоссе смотреть на красную кавалерию. Но вот эти, в полутьмедвигающиеся с белыми палками по шоссе, по «варшавке», по которой потом прикатила в Глушу война, от них в памяти остались слезы тревоги и покинутости...

О нашем детском прошлом нам любила рассказывать «тетя Витковская»,

мамина подруга, намного старше ее годами, которая нас с братом одно время «смотрела», пока мама училась на фармацевта в Могилеве. Невысокого роста, просто маленькая, я ее спрашивал:

— Тетя, вы уже вниз растете, назад?

Умела с нами разговаривать на языке нашего возраста.

— Ой, Сашенька, мне что-то живот заболел!

Живот? Это мы сейчас! (Не был бы сыном доктора!) Укладывал «больную» на канапу и, как нынешние экстрасенсы, начинал водить руками. Но у меня было еще и врачебное заклинание:

— По солومه, по мякине, хай болить ды пакіне!

Женщина хуенько (быстро) вскакивала:

— Ой, спасибо, доктор, уже перестал болеть, полегчало.

Какой врач или сегодняшний экстрасенс не зардеется радостной, гордой улыбкой от такого моментального результата?

А вот мой собственный заболевший живот настоящий врач, мой отец, излечивал другим способом. Говорили, что, когда возвращались домой из клуба, я вдруг садился на шоссе и заявлял: мне болит живот. А что надо, чтобы перестал? Надо взять меня на руки, нести.

И еще — детские горькие слезы, испуг и обида. На меня натянули розовое платье девочки, поставили на стул и безжалостно радуются (даже мама): какая девочка! А уж сколько торжества на физиономии брата — как тут не реветь!

Мама потом объясняла это просто: в магазине ничего на мальчиков не было, купили девчоночье, чтобы перешить, переделать на рубашечку.

Непрерывность детской памяти из своих и чужих кусков и кусочков мы восстанавливаем, я почти убедился, по «законам» литературного творчества. Лаборатория, механизм тот же.

Обдумывая новую повесть, вначале имеешь очень и очень мало. Несколько зернышек или даже одно только. Вроде той, услышанной десять лет назад истории одного немца и белорусской девочки, которые спасали друг друга. Всего лишь факт: было такое. Фантазия стала оживлять, наращивать подробности. Тут уже я им отдавал свою «память», но сегодня мог бы клясться-божиться, что бежал рядом с ними, что так оно и было. Свое диффузировало в чужое и наоборот. Уже сам не смогу одного от другого отделить.

Наше с братом соперничество за сферы влияния, за статус в семье незаметно как-то завершилось моей победой-поражением. Полным. Зана по-братски уступил мне все — и маму, и папу, их ласки, варенье — зато приобрел, забрал себе положение почти взрослого, где-то рядом с отцом и матерью.

Я вдруг обнаружил, что один тяну лямку «ребенка» в семье. И даже то, что я вдруг стал осознавать, обнаружил, как старший брат меня, малечу, любит и жалеет, радости не доставляло. Наоборот, хотелось подраться, я и задирался без конца, пока у Заны (я уже умел, но почему-то долго стыдился произносить: «Женя») глаза стекленели (закипает! закипает!), он в последний раз предупреждал: «Сейчас завопишь: «мама!»» Но я упрямо доводил дело до рукоприкладства и действительно лицемерно взывал к вмешательству старших.

Сразу повзрослевший мой брат как отказался от сладкого в пользу младшего братца, так потом и не ел, не любил ни варенья, ни конфет. (А как мы когда-то горстями запихивали в рот оставленный на столе к р а с н ы й сахар — был такой, наверное, сырец из свеклы.) Будущий врач, он все мои детские болезни одним чохом-диагнозом объединял:

— Это он хочет, чтобы мама дала варенья.

В семье среди других, только нам понятных, выражений было такое: «Не хочешь блинчиков с вареньем?» Т. е. лупцовки. А возникло оно так. Мы уже перебрались в казенную, нашу первую заводскую квартиру — в длинном доме рядом с базаром. Какая-то женщина увидела, как «докторов сын» поставил ногу поперек глубокой песчаной колеи и дожидается надвигающегося на него крестьянского обоза. Что за эксперимент я хотел поставить, до сих пор понять не могу. Женщина оттащила меня, изругала, вскоре я и думать про это забыл, заигравшись в толчее базарных возов с визжащими кабанами, напуганно-сонными курами, грушами, ягодой. И вдруг слышу ласковый мамин голос: «Саша, ты где? Иди, я тебе блинчиков с вареньем дам!»

И дала. Редко бывало, но уж если рассердится по-настоящему, свету не будешь рад. Нет, не руками — больше словами достанет.

Первые свои поездки, железную дорогу — видимо, в отцовскую Рачень (в мамину деревню на моей памяти не ездили ни разу) — запомнил запах вареных яиц. И мочи (аж глаза щиплет), особенно в туалете. Сама дорога не запечатлелась — как удовольствие. Возможно, потому что рядом все время ощущал раздраженное беспокойство матери. Не так сел, не то делаешь! «Ты это что!» — резко, чуть не сдернула со стульчака в туалете за руку. Собрался посидеть, как у себя дома, а на нем следы чужих ног.

Теперь-то понимаю: в нашей матери постоянно жило ожидание катастрофы, какой-то угрозы над всеми нами. Выражалось это прежде всего в желании остановить своих детей — таких неразумных, неоглячивых. Потому-то улыбка ее, которую так любил, с какого-то времени чужим доставалась чаще.

Запомнилось окутанное паром колесо сердитого паровоза, наполовину красное, люди с горящей паклей в руках — все такое огромное в сравнении со мной.

А за этим: деревенский простор, теплое болотце сразу за огородом, крытая соломой отцовская (бабки и деда) хата с удивительным земляным полом, прохладным, по случаю гостей, посыпанным желтым песочком. И огромная, такая же желтая от плодов, груша под окном, сколько потом перепробовал груш, невольно искал в них полузабытый запах, вкус. И не находил. Возможно, и не груш, а детства был это запах.

В «Войне под крышами» я с особенным удовольствием писал про нашу забавно гонористую бабу, считавшую, что она, католичка, и даже с двенадцатью детьми для деда Тодора была завидной невестой. Папин отчим добродушно интересовался:

— Как же это, мати, ты так промахнулась? За меня, мужика, пошла замуж.

— Бо молодая, дурная была!

«Гонор» бабки-католички в свое время поломал женскую судьбу ее дочки Зони. Неустроенная старая дева не раз попрекала состарившуюся бабу за свою безрадостную судьбу. И с мамой нашей так и не наладились душевные отношения: стояла между ними какая-то неизвестная мне история. Похоже, что не хотела невестки-«мужички» хозяйка, господня «фольварка» с соломенной крышей и земляным полом. Против ее воли поженились отец наш с мамой. Когда старики переехали жить в Глушу к сыну, все эти истории выглядели смешными нелепостями, особенно в пересказах папиного отчима. Но вдруг вспыхивала ссора у пылающего чрева печки, и такое нехорошее лицо становилось у мамы, такой незнакомый голос — Женя, ойкнув, как от боли, выскакивал за дверь. Не выносил он этого. А я? Я всегда был на стороне мамы. Но она, как я понимаю, больше ценила не мою безговорочную солидарность, а огорчение всегда справедливого старшего сына. Быстро собиралась и уходила в свою аптеку, как бы устыдившись происшедшего. А бабушка еще долго шевелила высохшими, сморщенными губами, произнося неслышимые нами слова. Когда-то, наверное, она их громко выкрикивала — в лицо молодой невестке.

Нет, но бабушка, бабушка! Из-за ее «панского» гонора, нас с братом могло бы и на свете не быть. И еще я узнал, уже когда и мамы не стало — от дядьки Антона, что я вообще захотел появиться слишком рано. Брату только еще годик исполнился с небольшим, а тут, пожалуйста, еще один в семью просится! Что это был я, конечно, ни мама, ни отец не знали. А у мамы и для первенца молока своего не хватало. (Потому я и вырос «искусственником»). Но я и не претендовал на их молоко. Возмутительно! Прав Иисус, нет у человека больших врагов, если ими окажутся его ближние. Вот так решат за тебя — не перерешишь.

Знающие толк в подсчетах ген и хромосом мировые генетики все уже сказали и о моем случае. Если бы у моих (и ваших) отца и матери родилось детишек 300 000 миллиардов штук (даже не знаешь, как это произнести), только тогда была бы какая-то, нет, не гарантия, а надежда еще на шанс появиться. Это сколько же солнц сгорело бы над головой у вытолкнутого из своей законной очереди? Думаете, случайно на той фотографии, где мы впервые вчетвером, у мальчика в серой курточке с пояском такое обиженное лицо: и это вы меня, такого вот, не хотели?!

А есть фотографии и вообще нахальные, если всмотреться и вдуматься. Это — наши родители, когда нас еще с ними не было.

Если помните, у Набокова: порожняя детская коляска, снятая любительской кинокамерой родителей, показалась человеку... гробом. Она стоит у крыльца, а его еще нет. Не родился — это как умер. А вдруг некто за тебя перерешит: рано, мы еще не готовы обзавестись тобой! Вселенная миллиарды лет трудилась ради этого мига — зачать именно тебя, — а они, видите, не готовы! И миг проскользнул, как не было. Никогда больше не повторится.

Будущая, а точнее — возможная наша мама со своим молодым мужем на фотографии: «19.III.23 г. г. Слуцк». Две толстые косы, по-деревенски свисающие спереди, четкий рисунок губ, носа, делающий лицо капризно-упрямым. Такая деревенская красавица вполне могла, не совладав с возмущением, плюнуть в лицо польскому «жовнёжу», когда он по-солдатски грубо схватил ее за руку. Она это и сделала, наша возможная мама, а потом сутки пряталась в жите, — ее искали разъяренные поляки. Ну, а нашли бы? Дядька Антон считает, что плетью дело не обошлось, не кончилось бы.

Нет, старые фотографии — это не просто бумага, с отпечатанным на ней светом и тенью, отбрасываемыми человеком, людьми. Не только мы смотрим на отошедших, но и они с пожухлых картонок — на нас.

Что это так — они зрячие, фотографии — я ощутил физически в тот момент, когда в мае 1943 года ждал: вот-вот меня найдут немцы, настигнет автоматная очередь, буду лежать у их ног, грязный от собственной крови, а они из моего кармана извлекут мамину фотографию и она увидит... Я спешил не заползти подальше, поглубже в кусты, а успеть, пока они не появились, запрятать, зарыть в песок кошелек с фотографией. Чтобы мама не увидела ничего этого.

В Заболотье, на родину мамы, в деревню, где родился Женя, мы не ездили. Ни разу — после того, как семью Митрофана Тычины (маминого отца) раскулачили. Выслали в Сибирь, вместе со стариками, самых малых — Александра, моего тезку, Зину и Любу. А двоих сестер уберегли от Сибири: мама вырастила с нами за компанию (и замуж выдала Соню), дядька Антон увез с собой в самую-самую глубинку Белоруссии сестру постарше, Олю (и тоже потом «отдал замуж»). Напоминать о себе в Заболотье лишний раз не стоило, я так понимаю. Большие власти, конечно, знали, что жена глушанского врача каждый месяц отправляла «на Алдан» посылки: сало, лук, чеснок, крупы. Это же делал и дядька Антон — из своей, тогда совсем глухой Хотимщины, куда его, можно сказать, тоже сослали после того, как учитель Тычина Антон Митрофанович отказался «порвать» с родителями — кулаками. До нас тоже добирались: перед войной отцу «советовали» развестись с «кулачкой», заботливо-угрожающе настаивали. И все же самая непосредственная опасность виделась в заболотских «активистах», которые, как и в других многих местах, не постеснялись забрать и детские валеночки и «лишнее» одеяльце — разуть, раздеть изгоняемых. Так что на многие годы между сосланными и оставшимися при колхозных должностях (а то и без оных) «активистами» сохранялась невидимая связь, слежение, ревниво злорадное: кому в конечном счете хуже? Разумеется, тем, кого заморозили, голодом уморили в далекой ссылке, было заведомо хуже. Но случалось, что ограбленные и разоренные или хотя бы кто-то из таких семей оказались в положении уж во всяком случае получше колхозного. Ревниво следили друг за другом издали. А писать людей научили. Так что от греха подальше. Я помню, как далекие наши родственники из когда-то богатого Засмужая, по-колхозному обедневшего к тому времени, появляясь у нас в доме, старались разбудить в нашей матери старую обиду на земляков. Но, по-моему, это не получилось. Или мама так умела владеть собой? Кроме того — кому завидовать? Тем, кто остался в колхозе? Не дай Бог, прослышат, что брат Александр приезжал (это перед войной было) с чемоданом, полным подарков — шерстяных отрезов, кожаных подметок навес, о которых тут уже давно забыли. Посчастлило и в Сибири Тычинам: не выбрались в тайгу на снег, не уморили на лесоповале, завезли аж на Алданские золотые прииски. Непонятно как, но выжили, а подросток Александр и стал работать «на золоте». И все это потом покупать на чудо-деньги, какие-то

«боны», пока не забрали на фронт. Долго лежал в госпитале в Алма-Ате, а вернулись в Белоруссию (дядька Александр с кучей детей и женой, веселой, всем полюбившейся ссыльной Катей), вдруг стал таким же удачливым полеводом в совхозе, каким и золотоискателем был, но это потом, после...

Мне, когда я депутатом был, приходили письма от детей и внуков раскулаченных и тех, кто сам был «кулаком-поселенцем» в пяти-семилетнем возрасте. Описав все мытарства, перечислив умерших от барачной жизни братиков и сестренек, почти обязательно протестующе сообщали, что у них хозяйство было, если не вовсе бедняцкое, то середняцкое, столько-то коров, лошадей, овец, построек. Мол, несправедливо раскулачили, морили голодом, каторгой. Тем самым как бы подтверждалось, что тех, у кого было больше перечисленного, тех можно было, а вот нас — не по закону. И требовали восстановления справедливости для себя, для своих, у кого на корову, на овцу меньше.

Боюсь и сам продемонстрировать вот такое перевернутое мышление, и потому не стану разузнавать специально, уточнять, сколько же было десятин пашни, леса, или болота у Митрофана Тычины: десять или пятьдесят? Знаю только, хотя в доме у нас об этом никогда не говорилось, и только позже дядька Антон успел мне кое-что поведать — работали в семье Тычины все, начиная с шестилетнего возраста (гуси, поросята были их заботой). Не повезло старшей из детей, Ольге, почти не училась даже в школе. Зато тех, кто помоложе (Аню, Антона) Митрофан Тычина отдал учиться в слущкую гимназию, понимал, что такое образование. Но работали и гимназисты, приезжая домой, и даже старались больше остальных детей. Тоже понимали, на какую жертву пошла семья. Невольно вспоминаю услышанную недавно легенду про Богиню — основательницу трудолюбивой Дании. Ей сказано было: сколько за ночь вспашешь, столько и будет земли у твоего народа. Так она братьев и даже детей своих обратила в быков — народ датский ей и поныне благодарен.

По белорусским понятиям, досоветским, «кулак» — это тот, кто спит на кулаке. Упал, где стоял, натрудившись до беспамятства, и не на подушку голову, а на твердый кулак — чтобы лишнего не переспать. Дядька Антон вспоминал, как ограбленный «твердыми заданиями» старик, когда сын приехал к ним домой незадолго до высылки, жаловался не на то, что забрали и скот, и инвентарь, и зерно, а что: «Во, посмотри, какие руки стали, стыдно на улицу выходить — поздороваться с человеком» Мозоли-копыта стали сходить с ладоней, Митрофан Тычина стыдился таких рук.

«Советская власть» разделить и противопоставить стремилась всех, и внутри семьи тоже, объединяя лишь на одном: угодить этой власти, даже если велят отречься от родителей или детей, немедленно предать всех, на кого укажут. Не из природного ли чувства упрямства и сопротивления этому, вполне инстинктивно, но с тем большим постоянством Тычинова дочка, наша мама, всю жизнь свою была собирательницей и хранительницей рода Тычин — Адамовичей, скрепляющей силой. У нас в доме жили, и по много лет, все, кому жить было нигде. В войну собрала под свою крышу около десяти человек, и всех надо уберечь, накормить. Так повелось и после войны. Родственники, самые далекие, знали, у кого день рождения когда, кто умер, а кто свадьбу должен справлять, кого помирить, кого усовестить, кому какие нужны лекарства, справки — от тети Ани. Я уже вздрагивал, когда она, оживившись, спрашивала, вычитав или услышав по радио, телевидению фамилию «Адамович», «Тычина»: они, Саша, не имеют никакого к нам отношения?.. Никакого, абсолютно никакого, мама! Мало я еще получаю от нее заданий (таким виноватым голосом, но знаю, не успокоится, спать не будет, пока не помогу, не позвоню, не поздравлю) — родни у нас, как... не знаю даже, у кого! Покинула она нас, и все стали говорить — жаловаться: как-то реже встречаемся, видимся, говорим друг с другом. Ничего не знаем, что у кого и с кем что.

Но не только родни ради мама использовала мое время и «авторитет» (как бы я счастлив был сегодня выполнить хоть одну новую ее просьбу!). Начался ремонт в квартире, шпашник Юра уже через несколько дней стал моим «клиентом». Он на меня работает за деньги, я в минских архивах на него — по просьбе

моей матери. Узнала, что Юра (с таким же, как сам, пацаном-братом) жил в партизанском лагере, мать их в блокаду потеряла, и пока нашлись, она немного тронулась разумом. Ютятся они в тесной коммуналке, партизанской справки нет, ничего добиться не могут...

Спустя полгода после ремонта собрался я как-то в свою Академию, вижу, Юра шагает с авоськой к нам домой.

— Вот,— приподнял авоську, показал бутылку «столичной» (!),— иду к Анне Митрофановне. По справке получили отдельную квартиру.

Спустя два часа, когда вернулся домой, увидел двух счастливых людей: Юра допивал свою бутылку, закусывая мамиными соленьями, меня же (не впервые ли в жизни, мама возблагодарила прямой похвалой — несколько странной): — Где Саша — там победа!

Если у каждого человека есть Ангел-Хранитель, тогда и род каждый должен его иметь, имеет. А иначе как объяснишь столь разные судьбы семей, которых война с одинаковой силой вертела-мотала: в одной — живой душеньки не осталось (как у глушанского Миши Коваленко, 12 человек), другая, вот как наша: человек 15 были на фронте или в партизанах, перекалечила война, но ни один из них не погиб. Ни один. Какой же должен быть Ангел-Хранитель, чтобы вот так! Может, отгадка в том, что у нашего был помощник. Если это так, то все, кто еще остался из наших, не «тетю ли Аню» назовут?

После войны она почти всех, кого Сталин и кого Гитлер расшвыряли по свету, позвала, собрала, вернула в свои края, из Сибири тоже — в Глушу или где-то поблизости. Только крепкий белорусский крестьянин Митрофан Тычина остался лежать в стылой сибирской земле.

В своей деревне, там, где появился на свет — в Конюхах я побывал один лишь раз. За все время после того, как меня годовалого оттуда увезли. Взор невольно искал сад, дом с колоннами (таким почему-то рисовала фантазия приграничный «Дом Отдыха», где я родился). Какие-то забытые людьми избенки, даже улица, не разберешь, где тут проходила. Откуда-то подошла женщина, взволновалась, узнав фамилию моего отца: «Ой, а у моей мамы осталась фотография! И он там». Сейчас и своего «Миску» с морковкой поперек пасти увижу под той одичавшей яблоней... До чего же ничто в этом мире не исчезает окончательно. Пока та женщина сбегала за фотографией, к нам подошла другая. У нее проблема, может, мы, городские, объясним, как ей быть с дочкой. Замуж девке надо будет, скоро вот и паспорт получит (уже и деревенским выдают), а там место рождения: «Конюхи»! Кто с этим замуж возьмет? И вообще куда с этим?

Я торжественно добыл из широких, по тогдашней моде, штанин свою паспортину: во, гляди, тетка! Ничего, живу, никто (по этому поводу) камнем не швырнул.

Странные вещи происходили с моей душой или моим «организмом» и не один раз: вдруг переставал слышать внешний мир при вроде бы нормальном слухе, притом настолько отключался, что хоть ты трактором наезжай, хоть дверь взламывай или окно разбей — разбудить меня невозможно. И лишь внезапная тишина после грохота и стука возвращала к самому себе. Все так и было, буквально: наезжающий на меня трактор — еще в Рачени, куда мы отправились на лето к бабке. Натаскавшись по знойно-сонной деревне, я возвращался в наш двор, наслаждаясь теплой и нежной пылью под саднящими ступнями босых ног, где ни камешка тебе, ни стеклышка, шел, прихлопывая ее каждым шагом и наблюдая, как серые клубочки выпыхивают меж пальцами. Что это на меня смотрит так старик, опершийся и руками, и подбородком на палку, дыра рта открывается, вроде что-то говорит, а может, просто жует? Но вот эта, бегущая навстречу баба на толстых, как ступы, ногах, уж точно что-то кричит мне, выпучивая глаза. А голоса никакого, ничего не слышу. Наконец прорвалось: «...раздúшыць!»

Прямо за спиной страшный рев и хлещут выстрелы! Я оглянулся, отскочил в сторону. Газанул и мимо прогрохотал трактор, матерясь, грозясь осипшим голосом — криком высоко сидящего дяденьки, такого же черного и промасленного, как и труба, что стреляет дымом у него перед носом. Злобно приседающий

на маленькие передние колеса «стальной конь» большими острыми зубьями задних колес, неправдоподобно огромных, отбрасывает назад комья земли, я смотрю вслед ему, и мне так нехорошо-тоскливо, будто он по мне проехал. До самой ночи гнетущая тоска грызла мою детскую душу, хотелось плакать. Я и плакал — во сне.

Когда перед войной жил и учился в школе дядьки Антона, куда сначала Женю, а затем и меня отправили («Хватит собак гонять по Глуше!» — сказал папа), со мной похожая история приключилась. Дядька Антон с теткой Линой, тоже учительствовавшей в школе, в здании которой они (и я у них) жили, однажды ушли в гости, а я долго читал, слушал радио. Повторяли утреннее сообщение радиостанции «Коминтерн» — об убийстве Троцкого. Кабачные дружки-собутельники в далекой Мексике ударили его бутылкой по башке — так нам сообщали.

Не заметил, когда уснул, а проснулся оттого, что надо мной стоит дядька Антон, высокий-высокий, и странно на меня смотрит, будто я был только что мертвый и вдруг ожил. За спиной у него широко-испуганные глаза тетки Лины, а за ней — бездонный черный проем распахнутой в ночной парк двери. Как-то ухитрился дядька тяжелую филенчатую дверь, закрытую мною на крючок, снять с петель. Потому что, сколько он ни стучал, ни бил в дверь, тетка Лина в окно видела, что я лежу под непогашенной лампой неподвижно и как бы без дыхания.

Абсолютно то же самое произошло и сразу же после войны: мама с отцом вернулись из клуба, а их уснувший сын — студент не отзывается на отчаянный стук. Отец забежал с той стороны, где жилая комната в аптеке, выбил стекло, открыл окно влез и, когда зажег свет, — только тогда я проснулся. От его пристального тревожного взгляда.

А что если после бывает вот это: не черная труба, уносящая нас к свету, к своим, а вот так: откроем глаза, а на нас пристально смотрят те, кто нас любяще и печально встречает? Нет, ни один из испытавших состояние *life after life* не говорил про такое. Но у меня есть опыт отлета неизвестно куда. А что если это репетиция разлуки, развода души с телом? Пробный выход ее в «космическое пространство», как у первых космонавтов. На удерживающем «фале». Все равно ведь когда-то покидать «обжитое место» (корабль? гнездо?), почему и не потренироваться? Поучиться летать, как учится липко-мокрый птенец, испуганно-радостный от своего жутковатого освобождения. Отлетая все дальше от гнезда в неизведанный мир, с места на место, сам не веря, что получается у него. Но вот вспорхнул и ощутил — крылья на самом деле его держат...

Однако раньше надо прожить тебе отпущенное. Долго, как же сладостно долго тянулось детство, целую вечность присматривался к внешнему миру. Затем время погружения в свой отроческий, юношеский мир. Предстояло еще повоевать — вместе со всем миром. В снах чуть не треть жизни подсматривал за изнанкой своего естества. Дано тебе было свое отлюбить и свое отненавидеть. Подступает срок разобраться во всем, в чем за целую жизнь разобраться было или недосуг, или не умел. Или не стремился.

...Все деревни: Заболотье, Рачень, Конюхи — все это названия, точки паспортные. А настоящая малая родина, где я входил в возраст и в жизнь — рабочий поселок Глуша. Советское уточнение: стеклозавод «Коминтерн». Или просто: «гута» — так называли завод издавна, со времен его основания. Польско-немецкое слово, но вполне прирученное, наше местное. На полпути от Варшавы к Москве, на восток семь сотен километров, на запад — почти столько же, потому и «варшавка», потому и «екатерининский тракт». А наша Глуша, отмеченная лишь на подробных белорусских картах, — бусинка на тонкой ниточке.

Перед войной зазвучало новое слово: асфальтка. Ей-то и довелось стонать и крошиться под гусеницами танков. Черная мчащаяся меж сосен и берез, засасывающая взгляд, как воронка воду, уносящая нашу Глушу в далекий бескрайний мир. Откуда все приходит и куда все удаляется, забирая, унося с собой и время: детство, юность, жизнь.

Кроме «гуты» у нас прижилось и надолго еще одно слово: «трепы». Вы его не знаете. А у нас и в округе любой ребенок знал это слово — пароль, дар

пролетарской Силезии или Познани. Означает оно деревянную обувь: колодка-подошва под ступню и ремешок, уголок из какого-нибудь бросового материала (кожи, резины), чтобы держалась на ноге. Не знаю, откуда пришла эта «мода» к немцам, полякам, не от древних ли римлян, а к нам — уже от них, наших западных соседей. Добрых лет тридцать выручала она победивших восточных пролетариев, во все времена года заменяя ботинки, сапоги, особенно на работе, хотя и в клуб приходили в «трепах», озвучивая ступеньки высокого крыльца и кинозал громким деревянным перестуком.

Янка Брыль рассказывал, что российские окруженцы в Западной Белоруссии распевали частушки: «Спасибо Сталину-грузину, что обул он нас в резину!» «Резину» обували у нас только по праздникам да в гости — эфемерные белые матерчатые тапочки или ботинки на резине, промокающие весной, осенью и, как огнем или кислотой, жгущие ступни в летнюю пору. Про кожаные подметки велено было забыть. Во имя счастья также и западных трудящихся. В этих тапочках, в этих ботинках (а кто-нибудь так и в «трепах») 1 мая и 7 ноября заводчане во главе с парткомом проходили туда и обратно колонной по шоссе с полкилометра, чтобы затем на поляне, где высилась сколоченная из досок трибуна, куда приезжал буфет и где сверкал трубами громкозвучный заводской оркестр, — услышать знакомые слова, речи, полные сочувствия к угнетенным всего мира, солидарности с ними и обещания помочь им устроить у себя справедливую жизнь. А по вечерам мы, пацаны, да и кто-нибудь постарше, забившись за обтертую спинами, ободранную до кирпичей клубную печку — «голландку», самозабвенно пели-мечтали о наших будущих долинах и взгорьях и о том, как наши партизанские отряды будут занимать города.

Все люди для нас делились не только на пролетариев и буржуев, красных и белых, но и еще — наша местная специфика — на «заводских» и «жлобов» (т. е. деревенских). Само собой разумеется, что деревенские хлопцы наших тоже не очень жаловали. Праздники с большим «заездом» деревенских гостей в Коминтерновский клуб словно для того и существовали, чтобы еще раз выяснить, чей верх в этом соперничестве. Для затравки подсылали к противнику мелюзгу, гости понимали, что последует дальше («Не обижай маленьких!»), и долго не замечали комариных укусов. Но в какой-то миг — вдруг или свет гас, или громкий, липкий и такой противный удар по живому, и начиналось! Но к этому времени «жлобы» обычно уже отобилизовывались, собрав своих в «стаю», раздавая и получая оплеухи, они вырывались из стен клуба, а дальше начинался гон. Школьники, которые зимой будут сидеть в одном классе, прогуливаясь по одному коридору, в одном школьном дворе Глушанской СШ, теперь с палками, камнями, комьями земли догоняли «жлобов» (или отбивались от «глушанской шпаны»), ведомые несколькими взрослыми бойцами, со стороны коминтерновцев — обычно двое, трое рабочих-баночников в расхристанных на тощей груди рубашках, с характерными для стеклодувов острыми, как у римлян на старинных монетах, кадыками. И горе тому, кто отстанет или вырвется вперед — расквасят «сопатку» до крови. Иногда после двух, трехкилометрового победного преследования навстречу «жлобам» из их деревни выбегала подмога и после некоторой заминки уже они гнали наших, а мы, отбиваясь, отступали к своему поселку.

Конечно же, ни «доктор», ни «докторша», мои родители, не должны были знать, что их младший в этом участвует. Пусть даже и не в первых рядах, а там, где самая мелюзга. Голову приходилось беречь, потому что было б совсем смешно, если бы и в третий раз я принес ее в таком виде, в каком уже дважды отцу пришлось ее обрабатывать в амбулатории. Но уж так везло человеку, без какой бы то ни было его личной вины. Случился однажды пожар в деревянном призаводском общежитии. Мы, ясное дело, хотели быть при деле помогать качать воду. Я бежал рядом с пожарной машиной, водруженной на телегу-платформу, которую перли к пруду вцепившиеся в оглобли и взрослые, и дети, а она возьми и опрокинься, проклятая машина — кого по голове ручкой достало? Ясно, кого.

А уж когда булыжник перелетел через крышу школы (было у нас и такое идиотское спортивное упражнение), едва не снес череп (зимняя шапка только

и спасла), мой, конечно, череп, старший брат, уже изучавший законы Ньютона, такое объяснение нашел мне в оправдание:

— Это у него голова большая, притягивает.

Ну, а в больнице родной врач, от которого другие страждущие слышали всегда только: «голубчик», «голубушка», обрывал мои несмелые стоны вполне спартанским наставлением: не скули! Не будешь лезть, куда не следует!

Сама глушане, единые перед «жлобами», внутри поселка тоже делились. Например, отделяли «пшек» (поляков). Различали не очень четко, кто «пшек», а кто нет, и это не очень присутствовало в наших отношениях, на дворовом и школьном уровнях. Но вот у взрослых «пшек», как мы считали, все было «с понтом» (т. е. манерное). Ну, зачем столько цветов выставлять на подоконниках, такие клумбы перед домом: ясно, женихов приманивать! Ядя Вашкевичева, красивая учительница польской школы — что ни шаг, таким циркулем разлетаются ее остроносые лодочки, вот-вот лодыжки вывернет! А посмотрите, послушайте, когда пани Муравская и пани Труханович встретятся где-нибудь на базаре, как они впечатаются друг в дружку, будто в чужом городе случайно увиделись, и застрекохут, и запшекают обязательно по-своему. На тех, что вокруг, уже смотрят, как на незнакомых.

Вообще-то я любил бывать в квартирах своих одноклассников «поляков». Действительно много цветов, «вазонов», и от них уют, тишина — не разбежишься и не разбросаете куда попало и что попало, родителей мои друзья на «вы» называют, неожиданно, непривычно, и в нашей семье было бы просто невозможно, но у них получается очень даже хорошо. Зато и к детям взрослые обращаются уважительно, голоса не повысят. Нравились мне их странные, темные с резьбой шкафы, стулья. Интересно рассматривать фотографии на стенах. Обязательно в рамках, аккуратно сделанные, и видно, что давно. Мы привыкли видеть Витковского, Пацевича, Муравского, Стефановича в нашей заводской или промышленной одежде, в этих глушанских «трепах», а на фотографиях Витковский, Муравский — ну, пан паном! В белых манишках, с усами, а женщины в невиданных, хотя и смешных платьях. Так кем же были эти люди тогда, если мы хорошо знаем, как угнетались и бедствовали рабочие до советской власти? Вопрос этот возникал в наших школьных головах, разогревал наши мозги.

Казалось, ответ получить, объяснение мы смогли уже через несколько лет, когда почти всех, кто на «ский» и на «ич», почти враз пересажали. Однако я не помню, чтобы хоть кто-то в нашей Глуше всерьез поверил, что это были замаскированные, затаившиеся «шпионы», «враги народа». Хотя уверен, те фотографии в их «делах» лежат и поныне, мы-то не верили, а вот как следовательно?.. О чем спрашивал-допрашивал, любуясь на белоснежные манишки мастеров-стеклодувов?

До сих пор помню вкусные молочные клецки, которыми кормила мама Петьки и Стася Пацевичей. Поскольку я никогда, даже если сыт по горло, не отказывался и тотчас усаживался за обеденный стол, мой брат Зана, которому приходилось делать то же самое, а он этого не любил, дома горячо возмущался мной.

— Ты, сынок, так не поступай,— учила мама,— смотри, как Женя.

Теперь, когда меня звали к столу, я тут же рапортовал:

— Як Зана, так и я!

Брат кипятился: что это он все, как Зана? Сам хочешь, ну и жри, забудь про меня!

Какие это были поляки и что за польский язык был в нашей Глуше — боюсь, что такой же, как белорусский или русский. Наш глушанский волапюк, немислимая смесь трех или даже четырех языков (не считая диалектов) на кратчайшем пути из Варшавы в Москву. Например, я долгие годы, так же как от «Зань», не мог избавиться от слова «мене» (в смысле: мне). «Дай мене, покажи мене»...

Вообще-то должны были оставаться в Глуше и корни, корешки первых мастеров-стеклодувов, не просто белорусов-католиков (вроде моей бабки), но и коренных поляков, сто лет назад перемещенных хозяином «гуты» на восток. У нас, наряду с белорусской школой, была и польская, в старом здании над прудом. (До самого 1937 года.)

«Бэ-эз» — до чего же пышная пахучая сирень росла у них под окнами, я до сих пор, когда вижу такую, вспоминаю польско-глушанское слово: «бэ-эз»!

В Глуше и земля под ногами была не как в других местах. «Земля йогов», не подозревавших тогда, что слово есть такое: йоги. А вот слово «рококо» я впервые услышал не на лекциях по истории искусства, а в своей Глуше. Правда, означало оно вот что: заводские пацаны садились на рабочих лошадях и гнали их за лес в дуга, в какой-то момент поворачивались лицом к крупу, к хвосту, забирали его в обе руки и орали, как оглашенные: «ро-ко-ко!», лупя пятками по конским бокам.

Когда вижу на телеэкране, как человек топчется босыми ногами по битому стеклу, вспоминая своих одногодков, которые проделывать такое вынуждены были целыми днями, все лето. Дело в том, что за сто лет непрерывной работы завод, делающий бутылки, не мог не умножать и количество «боя». Постепенно сеял и сеял вокруг себя битое стекло, и все расширялся, расплзался по поселку круг поблескивающей, как антрацит, черной жесткой смеси перегоревшего шлака и стекла. А нам по этому бегать, и не будешь ведь каждую секунду думать: ах, стекло! Как бы не поймать на пятку бутылочное доньшко! Ноги постепенно обретали удивительную, почти природную, способность наступать на все с неосознанной оглядкой, у глушанского пацана словно воздушная подушка под ступнями возникала, бежишь, все время будто взлетаешь. Но до чего же яркая, светлая кровь сразу окрашивала мальчишескую черную ступню, если бедный йог со всего маха вдруг надевал, как подкову, острое-преострое доньшко на пятку!

Был у нас еще лес, устланный «шильником» (хвойной иглицей) и прохладным мягоньким мхом — сразу же за крайними домами, а кое-где, например, за аптекой болотце с кустиками вползало прямо в поселок, огромные лягушки на виду у «варшавки» по вечерам так надрывались, орали, что, казалось, по-собачьи облаивают проходящие мимо машины.

Когда доцент Белорусского государственного университета «античник» Факторович в лекциях своих выпевал Аристофану строку: «тысячеку-ушннное слово», передо мной сразу вставал глушанский лес: тысячекушннное эхо. Вслушивался в близкое-далекое, пугающее и манящее эхо, когда мир мой замыкался высоким забором Погоцких, за которым темнел таинственный лес. Позже мы озвучивали его, носясь по рыжиковому сосняку или когда высматривали птичьи гнезда, беличьи дупла, еще не зная предостерегающего слова «экология», радуясь своей хищной власти над лесной жизнью.

Но как то же самое расслышал Володя Высоцкий, такой весь из города? Как сумел передать? Он вернулся из Москвы, куда увозил первое издание, блекло-зеленое, «Война под крышами» — вернулся с песней, со своими «Аистами». Тут же спел, держа на весу прирученно-простецкую гитару. А я услышал не просто лес и клеток аистов, а наш глушанский — с протянутой сквозь него струной асфальтки, басисто-густыми еловыми лощинами, впадинами, переходящими в болота, звонкими медно-сосновыми и березовыми пригорками, задумчиво-многокилометровыми орешниками по краю поля. Условно-белорусские аисты, привычно-военные вороны — все было бы излишне песенно-традиционно, когда бы не звучало над всем в его «Аистах» то самое тысячекушннное слово-эхо.

Ну, а по вечерам мы брали приступом заводской клуб, потому что считалось, что на танцах нам делать нечего, а на кинофильмы нужны обязательно билеты. Как будто в клубе нет боковых дверей, а их было не то четыре, не то пять, и не на одних, так на других крючок вдруг оказывался откинутым. Мне-то деньги на кино давали, но из солидарности часто и я таким образом проникал в кинозал. (Я, но не Зана, это ему не было дано.) И что взрослые делали бы без нас, как тюлени на лежбище, устилающих пол перед белым экраном, кто бы им озвучивал смехом и воплями немые фильмы, дружным хором считывал слова-титры с экрана. (Впрочем, это делал и взрослый зал, одним выдохом громко произносили за артистов или авторов фильма: «Прошло три дня», «У Ивана появились друзья».)

Клуб располагался как раз напротив завода. Построили его на месте сгоревшего (от прежнего остались в памяти старожилов какие-то «блескучие шары» — про них обязательно говорили, вспоминая). И построили в виде самолета: это

был «период индустриализации». Впереди, где положено быть пламенному мотору — высоченная, аж двадцать ступенек (не раз пересчитывал), веранда. Тут по вечерам играл заводской оркестр, привычные губы стеклодувов, старых и помоложе, старательно выдували краковяки, танго, а позже — долетевший и до нас фокстрот.

В «крыльях» клуба-самолета размещались разные службы культбыта, от самодеятельности и шахмат, до библиотеки и комнаты для начальства, чтобы могло уединиться перед киносеансом. Дальше — длинный зал, как бы для пассажиров-зрителей, а в самом хвосте за сценой — таинственная кладовая, в которую мы забирались, чтобы сорвать последние струны с забытого старинного рояля, наверное, оставшегося от сгоревшего клуба.

Сметенные в который уже раз с веранды длинными ногами полусумасшедшего Франека, много лет исполнявшего обязанности заведующего клубом, пацаны с гиканьем отправлялись в рейд по ночному поселку, сопровождая, преследуя расходящиеся по домам и по укромным местечкам парочки. Странного я помню себя в этих компаниях 10—12-летних, часами стоящих напротив ярко освещенных окон общежития или квартиры какой-либо глушанской красавицы, к которой, мы знали, наведываются «ухажеры». Мы их презирали со всей силой детской зависти к счастливчикам, допущенным до общения с этими таинственными существами — девушками.

Конечно, я охотнее отправился бы куда-нибудь со старшим братом, но он не терпел «хвоста», старался избавиться от него, как убегающая ящерица. И дружки его переняли этот тон, невыносимо снисходительный. «А, Зана!» Теперь меня так называли друзья брата, тем самым как бы отбрасывая куда-то назад.

Ну, и ладно, зато мы снова отправимся в Покровку, в колхозный сад. Хотя мне однажды уже влетело, три дня жизни не было от маминых шпыняний и отцовского хмурого удивления: «Это кого мы вырастили? Морковку воровать? Тебе что, мало своей на огороде?» Ну, как объяснишь, что не морковка и даже не яблоки манят, влекут, не зря же говорят: «цыган за компанию повесился»?!

Наш набег на покровский сад закончился конфузом, да еще каким. Пока обтрясали яблони, набивая свои бездонные запазухи, сторож зашел сзади и поджидал у высокого забора. Но, когда добрались до слущкой бэры, не выдержал старик с ружьем, закричал тонкоголосо, по-бабьи:

— А ты эти грушки сажал, паршивец ты эдакой!

Птицами взлетели на высокий забор, выстилая следы бегства дорожкой из яблок да груш, градом сыплющихся из-под рубак. И тут грохнул выстрел, сдвоенный, придавший совсем уже сумасшедший темп происходящему: мчались как лоси, через картофельное поле к лесу. А когда собрались там, Антека не досчитались. Стали припоминать, что, когда раздался выстрел, кто-то заверещал, как пойманный за заднюю ногу заяц.

С опушки рассматривали родной поселок так, будто его враг захватил, и нам войти в него небезопасно. Но делать было нечего, по одному, парами переулками прошли к центру, прислушиваясь, о чем люди говорят. Вроде бы ничего такого. Все, как всегда. Затеplилась надежда, что наш Антек уже дома, затирку молочную сербает, а мы тут его хороним. Собравшись за клубом, как условились, обсудили ситуацию и решили, что именно я (докторов сын? но при чем тут это?) должен сходить к пострадавшему домой и разведать, на каком мы свете. Дали мне в помощь еще одного пацана. Мы с ним приблизились к калитке того самого длинного дома, где когда-то матери оплакивали невест-утопленниц, потоптались нерешительно, затем двинулись по узкому проходу к сеним. Увидели в окне пугающе бледное, как нам показалось, лицо матери Антека. Долго возились в темных сенях, отыскивая клямку, пока дверь не распахнула изнутри:

— Да заходите уже! Что вы там скребетесь, как мыши?

На наше невинное: «Антек дома?» женщина оглядела послов возмущенно-насмешливо и махнула рукой в сторону ширмы, отгораживающей кухню:

— Там он, ваш Антек! Ну, а ваши сраки — целые? Лохань большая, садитесь с ним.

Долговязый Антек, широко расставив ноги и выше головы задрав тощие колени, повис на руках над широкой бадьей, погрузив голый зад в горячую (аж

пар валит) воду. Выпаривает соль из задницы? Попытался нам улыбнуться, получилась жалкая гримаса. Сколько же тот гад зашпандорил ему из двух стволов? Мы присели на скамейку, чтобы не упасть от вдруг заколотившего нас предательского смеха.

Хотя глушанских жителей именовали в округе «заводскими», их можно было назвать и «полевыми», и «лесными». Завод не мог прокормить, тяжело было прожить на зарплату даже мастера. А потому почти у каждого было свое «хозяйство»: огородик, кабанчик и если не корова, то козы. Единственному в округе единоличнику с лошадей и плугом Артему Лещуну — хоть разорвись, все зовут, кличут, чтобы вспахал огород, «обогнал» картошку. Но именно благодаря своей нужности Лещун и смог удержаться на плаву, невзирая на любые налоги, которыми власти добивали последнего частника. Его не убрали с глаз, пожалуй, потому лишь, что и начальству он был бесполезен.

Почти у каждого рабочего своя коляска, двуколка или четырехколесная. У некоторых усовершенствованные, с тормозами, на велосипедных колесах. И картошку на поле или с поля привезти, и «шильник» из лесу на «подстёл» корове или кабанчику, сжатую на болоте тяжелую осоку или траву в лесу — без собственной коляски, как без рук. Невольно будешь к ней относиться, как к живому существу.

В Италии в рабочем клубе «партии пролетарского единства» нас прямо-таки замучили недоумевающими, гневными вопросами, и не партийные функционеры, а рабочие: почему да почему у ваших колхозников сохраняются приусадебные участки? Какой же это социализм?

Что мы могли им ответить и как объяснить? Мол, если победите и вы, попробуете этого самого, будете, как наши рабочие, рады-раदेशеньки — какую уж там машину? — коляску занять да впрячься в нее на пару с женой. И не будут мучить вас такие вот заботы о чистоте идеи. О том, чтобы наши колхозники жили правильно. Об этом есть кому позаботиться.

Это было в 60-е годы. А через 25 лет в Барселоне совсем другое довелось услышать. Сидели в кафе напротив поразившего нас, полюбившегося храма «Святого Семейства» Антонио Гауди с отцом и сыном испанцами. Отец — бывший народофронтонец, сын вернулся из Советского Союза, куда вывезен был ребенком. Ясно, что о тех временах зашел разговор, о 1937, о 1938. (Испанец-сын по-русски говорил чисто, он нам переводил рассуждения отца.) Отцовские сетования, что потерпели тогда поражение коммунисты, вызвали у него неожиданную реакцию: — Победили бы вы или троцкисты (он взял из вазы апельсин) и вот этого тоже не было бы теперь в Испании. А это (показал на удивительный, как из подтаявшего льда или оплывшего зеленого стекла, храм) взорвали бы.

У глушанского доктора тоже было хозяйство, и корова, и кабана держали, курей — мы с братом помогали маме, а потом переехали из Рачени в Глушу папины старики, и им не пришлось скучать по привычной сельской работе. Гости у нас бывали часто, отец любил, а мама умела то, что называется «принять людей». Это был действительно праздник для наших родителей — чтобы на столе было и чтобы люди ушли, довольные беседой, разговорами, веселье. (Не случайно у белорусов застолье так и называется: беседа). В такие часы постоянное напряжение, неуходящая забота-беспокойство на лице, в сощуренных, как от головной боли, глазах у мамы сменялись на радостно-молодое оживление, и, когда она выходила к нам (за стол нас обычно не приглашали), хорошо было ее такой увидеть, потому и я любил, когда у нас гости. Но я помню, что прямо-таки на другой день после шумной, веселой «беседы» у отца произошел совсем иной разговор с одним из постоянных друзей нашего дома — полнолицым, улыбчивым Г. Они о чем-то тихо разговаривали, закрывшись в «зале», и вдруг отец закричал, а посетитель выскочил, как из парной, слепо стал тыкаться в дверь, отец выбежал следом:

— Придете сюда, когда поумнеете! В сватах не нуждаемся.

Оказалось (потом мама нам рассказала), что этот «сват» приходил официально сообщить доктору Адамовичу мнение заводского «актива»: негоже такому авторитетному человеку, заведующему больницей, быть женатым на «кулачке». Заведующий и не в партии! Делали исключение из уважения. Но не вечно же!

Некоторые вещи из той жизни вспоминаешь теперь и, зная, как все пути для человека, кроме немногих разрешенных, дозволенных, были перекрыты и рискованны, с запозданием удивляешься, что люди создавали и сообща сохраняли какие-то формы и способы жизни, не начальству и государству, а им самим нужные. Несмотря ни на что. Ну, как ты объяснишь, например, сегодняшнему читателю, что для того, чтобы зарезать тобой выкормленного кабана и осмалить его, ты должен был... украсть его у самого себя. Ночью, тайком, с оглядкой, без лишнего стука-грука, увезя сначала в лес, а соседи должны были помогать друг другу в странном этом воровском деле, в одиночку не справишься. А ведь за любой недозволенный чих грозил штраф или тюрьма. И охотников, а то и по службе обязанных выслеживать и «сигнализировать» предостаточно. И, тем не менее, даже наша семья, в общем-то законопослушная (и даже не за страх, а за совесть), в этом вопросе делалась упрямой и несогласной. «Сало без шкурки — не сало, а мыло!» — эта почти пословица возникла, буду настаивать, именно в нашем доме. А то, чего хотел отец (он совсем не много хотел, всегда занятый больными) — закон для мамы, а значит, и для остальных в доме. Поэтому когда наступали холода, и 10—12 пудов живого сала, колбас, ветчины, сальтисона в больничном сарае, который, пока свой не выстроили, мы как бы «арендовали», дожидались хозяйского решения. Мама исподволь готовилась к решающей беспокойной ночи. Признанные специалисты этого дела конспиративно наведывались в наш дом, затем изучали свою будущую жертву и, наконец, за столом с выпивкой, закуской разрабатывали план операции. Для этого требовалось, как минимум, трое мужиков. Артем Лещун с его единственной в округе лошадью — обязательно. Близкий наш сосед Иван Архипович Дегтяренко, хотя и шупленький с виду, не силач, но без него такие дела не делались. По любому поводу звали его, если у самих не хватало рук или сноровки, нужных инструментов. Ну, и еще одного или двух, зависело от того, сколько пудов и какой «зверь».

Запретов существовало великое множество, часто без всяких объяснений, просто «так положено», а многим казалось, что большинство их придуманы, чтобы человека еще больше поприжать, не давать ему «ни вздохнуть, ни перднуть». Ну, а это распоряжение: снимать шкуру с убитых свиней и сдавать, имело свою «патриотическую» подоплеку: в стране не хватает кожи, надо одевать-обувать армию и т. д. Почему стало всего не хватать, всего недоставать, не объяснялось. Сами находили ответы — Артем Лещун: скота мало, не держится в колхозах даже скотина; Иван Архипович: слишком много портфелей делают, вся кожа на них уходит.

Я, кажется, не сказал, что к этому времени мы уже перебрались на вторую казенную квартиру, жили рядышком с больницей и снова на виду у Погочких. Семья наша, включая стариков, была — иногда 7, иногда — 8 человек, в зависимости от того, сколько племянниц у нас жило — училось. Поэтому четыре комнатки были так кстати. Тут мы, как говорится, и войну встретили, только рядышком оказалась уже не отцовская больница, а немецкая комендатура, сразу же разместившаяся в удобном больничном здании у шоссе. Заодно вдруг подумалось: старуха Погочкая пошла в комендатуру с доносом на своих прежних жильцов еще и оттого (помимо уже военного времени страстей и мотивов), еще и потому, что ненавистные квартиранты съехали от нее и она многие годы лишена была возможности ненавидеть вслух, в голос, криком — чего мы слышали в ранние свои годы.

Первый пришел к нам в тот вечер Иван Архипович — примак соседки Марии Адольфовны — извлек из-под полы и разложил на кухонном столе орудия убийства: остро отточенный нож, длинное шило, из напильника сделанное, еще несколько не менее страшных предметов. Он такой спокойный и улыбчивый, хохол Дегтяренко, но лишь до той минуты, когда кто-либо, знающий его характер и обиды, не заговорит о Комсомольске-на-Амуре, где он «отбывал срок». Достаточно было спросить: расскажи-ка, дядя, как героико-комсомольцы город на реке Амур в рекордный срок воздвигали, и этот тихий человек взрывался:

— Ага! Комсомольцы, ага. За пайку.

Вот так же Артем Лещун с пол-оборота заводился, если засвестишь в доме.

Наш отец делал это, когда у него было хорошее настроение. Я от него научился. Но если Артем у нас — он уже подогнал сани, с ним двое его сынов, худенький Гриша и разлапистый Шура, — а забывшись, я засвистел, старик аж съежится весь:

— Слухай, лучше подойди и дай мне в морду! Но только не свисти.

Наконец прибыл лесник Вакула, коренастый с плотным, лоснящимся лицом и неприятно сухим блеском выпуклых глаз, хриплоголосый, весь такой немирный, он тоже принес свой инструмент. Самоделки Ивана Архиповича сразу поблекли перед набором остроколющих и острорежущих фабричных предметов. С характерным для него стыдливым пожиманием плечами, движением головы, то ли согласным, то ли столь же несогласным, Дегтяренко потрогал это богатство, почмокал запавшим беззубым ртом: ничего не скажешь! Ну, что ж, все сегодня не лишнее, все видели и оценили противника: кабана хозяйка откормила на все 14 пудов, но он при этом не потерял ни подвижности, ни силы. Зверь зверем! По-белорусски будет даже точнее: вяпрук, вепрь дикий. Изгрыз доски, как бензопила, стены клыками истерзал, глазки маленькие, недоверчивые — попробуй подступись.

Артем по обыкновению помалкивал, давая другим высказать собственную глупость. Пока его не призовут — рассудить их. Когда взоры на него обратились, еще минутку помолчал. Наконец заговорил.

— С какого боку к нему заходить? А ни с какого. Имеется один фокус, если хозяйка даст нам мучицы, ну а торба у меня на возу, из-под овса.

— Ого, ты коня овсом кормишь? — не вытерпел Вакула. — То-то кулак, хуторянин!

— Овсом, не овсом, а на вожжах под брюхо не подвешиваю по весне. Так вот, только надо, хозяйка, пришить к ней тесемки и...

Он показал, как будет завязывать торбу с мукой за ушами у кабана.

— Тихо, мирно, хочешь — укуси, если сможешь. С таким зверем по-другому и невозможно.

Что за звери, какие они собаки кусачие — кабаны, даже кабанчики, подсвинки, это и я мог бы рассказать. Тем более, что мама тотчас вспомнила про мой случай и даже теперь, столько времени спустя, не без переживаний:

— Вон его покусала свинья, живого места не было.

И не могла не добавить, на всякий случай, на будущее:

— Всегда подлезет, куда не следует.

Да, так и было — подлез, сам полез в драку с кабаном. И если бы кабан, а то какой-то тощий подсвинок (или подсвинка), которых у нас немало бродило по улицам, разыскивая себе корм. А под вечер, если не придут домой, хозяйки за ними бегали по всему поселку. Один вот такой подстригал вкусную травку у чье-то забора, дружелюбно помахивая хвостиком. Я подошел и ткнул босой ногой в бок, тот, недовольно дернувшись, как бы оттолкнул мою ногу. Я еще раз и еще. И вдруг, без всякой причины, он бросился ко мне, погнался и по-собачьи стал хватать меня за лытки, я повернулся к нему, схватил за уши и из всех силенок, удесытеренных испугом, старался удержать оскаленный лыч подальше от моих, таких для него заманчивых ног, а сам отступал, отступал к скамеечке у забора, вскочил на нее. Так этот гад, совсем не по-свиньячи, поднялся на задние ноги и ну кусать, ну грызть мои, оголенные, я ведь еще в коротких штанишках ходил. И как же больно, до надкостницы прокусывал (несколько недель ноги были в сине-красных подтеках). Я все пытался за уши удерживать его подальше, не подпускать, а он напрягался достать меня непременно. Вопил я, наверное, истошно, потому что тут же набежали люди.

— Так вот, — продолжил Артем, снисходительно выслушав хозяйку, — берем торбу с мукой, дю-дю, он туда — лыч, рот и нос полные, не продохнуть, ничего не видит, тут и Дегтяренко с ним, справится.

С соблюдением необходимой конспирации собрались возле сарая, куда Шура и Гриша подогнали уже сани, лошадь. Ни отца нашего, ни маму, конечно, с собой не пригласили: отец и не пошел бы, он вообще никаких работ по дому не исполнял. Мама ни за что такого не допустила бы, да и поселок, пожалуй, не одобрил бы доктора с пилой и ведром. Ну, а уж воровать ему кабана, хотя бы и собственного...

Мама же, как и всякая хозяйка, не должна была не то что видеть, а даже визг слышать: кабан будет долго мучиться. Это известно.

Зажгли хорошенько фонарь и гурьбой приблизились к загородке, за которой обеспокоенно гудел наш кабан, отступая подальше от нас, в самый дальний угол. Лещун перекинул через доски торбу и стал набирать и сыпать в нее мучицу, соблазняя жертву. Кабан прерывисто гудел-чмыхал, грозно и недоверчиво, чуть поблескивали его глазки, казалось, насмешливо: поищите, кто глупее вас!

— Вот тебе, дед, и дю-дю! — не выдержал Вакула. — Будешь до утра, как жабрак, стоять с этой торбой. Без ружья тут делать нечего. Разве только Иван Архипович полезет к нему.

Дегтяренко худыми плечами согласно-несогласно передернул, рябь морщин на его лице всколыхнулась, как вода от брошенного камня. Но все же усомнился:

— Стрелять? Весь поселок разбудим.

— Ну, тогда пошли спать, — сказал Вакула, — пусть доктор других зовет, не таких засранцев.

Кончилось все-таки ружьем, за ним сходил Вакула, он и стрелял. Я смотрел из-за спин, сбоку, с бьющимся сердцем ждал выстрела вместе с обреченным животным, как бы вместе мы ожидали страшного мига. Казалось, крыша, стены рухнули — так оглушительно взорвалась тишина, из двух стволов бил Вакула. Кабан неожиданно послушно завалился на бок. Только качнулась несколько раз гора. Страх, что весь мир нас услышал, не то что Глуша, заставил сжаться, как бывает, когда вырвавшийся звук, смертельно опасный, стараешься и не в состоянии втянуть в себя, словно раскаленный воздух вдыхаешь.

Ну, а смалили вепрука в лесу, как и все тогда, ворующие у себя свое добро. И снова каждый предлагал свою процедуру. Тут уже не звук, а свет, зарево надо было прятать. Наилучший, веками испытанный способ — горячей соломкой, распуская сноп за снопом, подкуривая кабаньи бока с разных сторон в несколько рук, веселыми побасенками подбадривая друг друга. Такая процедура не для нас, нам не подходила. Взамен этого изобретательные заводчане пускают в дело паяльную лампу. Правда, говорили, что сало отдает керосинчиком, ну, да это те, кто все еще, как при царе, «с жиру бесятся». И уж совсем не для нашего «шестнадцатипудового» (а именно столько согласились признать за ним веса, когда поднимали-закатывали кабанью тушу на сани) та штуковина, которую притащил Дегтяренко: обыкновенное ведро с продырявленным, дырчатым дном. Насыпать углей, раздуть, раскалить докрасна и поглаживать по щетине, пока она не истлеет.

— Полечишь этим, Иван Архипович, свою Марию Адольфовну — от радикалита, — бесцеремонно вынес свой приговор Вакула-лесник, стоя на коленях и яростно накачивая паяльную лампу.

Бедный Иван Архипович, по его удивительно некрасивому и удивительно симпатичному, изрезанному вдоль и поперек морщинами лицу снова, как по воде от брошенного камня, прошла рябь смущения и одновременно удовольствия: он никогда не обижался, не сердился на людей, только не говори ему, что город на Амуре строили энтузиасты-комсомольцы.

Нет, без соломки не обошлись, предусмотрительный Лещун прихватил с собой несколько снопов. Фонарем в лесу не на светишь, даже если зависший над лесом месяц помогает. Соломенные факелы идут в дело, хотя Лещуну и жалко на это кули тратить. Солома пошла по прямому назначению, когда кабанья туша с уродиво раздробленным черепом совсем почернела, — после Вакуловой паяльной лампы. Как бы снимая керосиновый запах, прошлись по всей туше соломенным жарком, ясным, чистым. А затем окатили кипятком, специально привезенным в бельево бачке, и тут же, навалив соломы, укутав кабана с головой, приказали нам: валитесь на него! держите тепло! И мы с Шурой, младшие из присутствующих, как убитые попадали поперек туши. Место остается еще и для третьего: просторный, как наш клеенчатый диван, вяпрук. Главные работники тем временем устроили перекур. Грейте, грейтесь, поощряют Зана и Гриша. Интересно, если бы мой брат тоже закурил, ему бы и это сошло?

— Ну, все, дайте и мне,— вдруг командует, сгоняет нас Вакула,— пригрелись. Вот как надо.

И валится на наше место, но не поперек, а вдоль кабаньей туши, обхватывая ее ногами, коленями, как верховую лошадь, подгребая руками с обеих сторон солому.

— Силы набраться!

— Как на этой... самой,— стыдливо хихикает Дегтяренко.

— И-эх! — Вакула вскакивает и сваливает солому набок: — Свети!

Хватает широколезвенный нож, не из косы ли сделанный, а Дегтяренко свой такой же — одна рука на рукоятке, второй держит за острый носок — и пошли, и пошли! Соскабливают жирно-толстый слой нагара до младенческой желтизны, чистоты. В глазах у обоих, да и у всех, любующихся тем, что получается,— радостное удивление, почти восторг, наверное не меньший (отсюда вижу), чем у реставраторов, которым открывается из-под патины, копоты изначальная свежесть шедевра.

И снова поливают теплой водой, ее не хватает, в дело идет чистый снег из-под елочек, мы отбегаем в сторонку, набираем ведрами, а Вакула руками растапливает снег на теплой, сияющей желтизной туше — еще и еще соскребают лишнее, размягчая шкуру на будущем сале.

Дома уже ждут женщины. На кухню вытащили большой стол, приготовлена низкая широкая скамья под разделку туши, посуда, большая, малая, чугуны с кипятком. Сковороды, свои и одолженные, под свежину. Отца дома нет, увезли к больному в деревню, обычное дело.

Женщины, да и все мы, окружили Вакулу — посмотреть первый надрез, каково будет сало. Ого, три пальца на животе, значит на спине, на загривке и пальцев на руке не хватит! Compliments хозяйкам — какого выкормили! А мама и бабушка заверяют, что это кабанчик хороший попался, ел, как песни пел.

Вакула кружкой зачерпнул крови: ну, кто смелый? Не нашлось. Сам выпил, аж глаза зажмурил от удовольствия, а открыл, так стали даже добрее, теплее. Артем, видно, не простивший Вакуле его «дю-дю», заметил:

— То-то у лесника такая ряшка!

— Жонка не жалуется. Э, глядите, где у хряка сердце! Чудеса в решете. Справа! Вот помучились бы, визгу было бы на два часа. А ты говоришь, зачем стрелять.

Все непроизвольно прикидывают, где это справа, а где слева, и свое сердце ищут. Сразу спор, а бывает ли у людей. Вот доктор вернется, надо спросить.

Все, что надо зажарить для работников, все уже взято-отрезано у кабана, заодно Вакула и кончики ушей отхватил, торжественно вручил нам с Шурой: грызьте, чтобы не выросли лопухи. К утру всего наготовили: обязательной в таких случаях кровянки, яичницы со свежиной, несколько чугунков бульбы (как без нее?), даже колбас женщины ухитрились накрутить, поспешая следом за укрывательницей-ночью.

Отец вернулся из деревни от роженицы как раз к застолью, ввалился в теплый дом заспанный, в тяжелом обтянутом черным сукном тулупе, еще заболоцком. (Сколько раз и он, и мама виновато жалели, что не смогли вернуть Митрофану Тычине его свадебный подарок, вещь, как бы для Сибири и предназначенную.)

Под рюмку заговорили и о правом сердце. Отец объяснил.

— Да это что! Бывали случаи, что у человека два сердца. Только мало ему от этого радости. Нет, не двойное здоровье и сила не удвоенная, ошибаетесь. Сердцу, как и царю... Саша, как там у твоего Пушкина (это он мной гордится перед гостями) — «ты царь»?..

— ...живи один!

Я действительно к этому времени весь звучал строчками из пушкинского одноместника, мне подаренного. Как высушенный кабаньей пузырь насыпанными в него горошинами.

Такие веселые детские «шары» были до синтетических — из кабаньего мочевого пузыря, истолченного с помощью золы и определенных манипуляций. Эти шары и шары синтетические, которые я успел узнать за свою коротко-долгую

жизнь, вполне могли бы служить вежами прогресса, так же как и его опровержением — не менее, чем ядерная энергия. Приобретая, теряем. Ей-ей, кабаны с горошинами радости приносили не меньше, если не больше.

Среди хлопочущих женщин и Соня, давно с нами живущая мамина младшая сестра. Не знала ни она, ни все мы, что вот сюда, в этот дом вернется с мужем в войну, так страшно потеряв девочку на переправе через Березину, и отсюда вот этот Артем Лещун, которому она подкладывает вкусные куски, спасая ее и мужа-коммуниста от доноса Погоцких, на тех же санях и на той же лошади, что стоят под окном, умчит их к школе, к лесу, который виден из окна.

Когда я их потом видел, а бывало, что по какому-то праздничному или печальному поводу едва ли не всех пятерых сразу — маму и ее сестер, — невольно сравнивал. До чего похожи и до чего разные. Дядька Антон и дядька Александр, стоявшие как бы на отшибе, еще лучше помогали понять Тычинов общий корень.

Если за точку отсчета брать маму, т. е. характер исключительно деятельный и даже властный, остальные выстроятся так: жесткая (если не жестоковатая) Оля, так и оставшаяся неграмотной крестьянкой-горожанкой, затем, пожалуй, умно-ироничная Люба, рассталась и с первым, и со вторым мужьями, когда поняла им цену (первый, казалось, и родился с руками в карманах, такой был бездельник, но с невероятными претензиями, а второй — партодержимый, даже в собственный туалет сделал отвод от телефона, хотя никто его, конечно, там не разыскивал по срочным государственным делам).

Потом — Зина, исключительно, даже как-то не по-тычиновски, вся замкнутая на самой себе, ну, и наконец — Соня, до старости худенькая, как девочка, и улыбчивая, как ребенок. Когда она повышала голос на мужа — Петю, он смотрел на нее с поощряющим удивлением: ну, хоть на меня подняла голос, и то слава Богу!..

Ну, а если Соню брать за точку отсчета, вся цепочка выстроится в обратном направлении. И если брат Александр встанет рядом с Соней, они очень схожи характерами, то Антон будет в цепочке, там, где и наша мама. Они, Аня и Антон, всегда были в семействе Тычин не столько по возрасту, сколько по авторитету — старшие. И если расходились во мнении, в оценках (что случалось крайне редко), то последнее слово обычно оставалось за «Аней» (нашей мамой).

Как же ей, всю жизнь столько бравшей на себя, отвечавшей не за одну лишь свою семью, хотя никто, конечно, ей этого не поручал, было больно обнаружить: настигла старость! Это не был обычный женских страх перед старостью. Природа подарила ей красоту, ясность глаз, без всяких женских стараний и ухищрений сохранившуюся и после 60-ти. («Да у вас, Анна Митрофановна лицо свежее, чем у невесток ваших», — бывало скажет кто-либо, достаточно бестактно при всех.) До сих пор болюю отдаст во мне память о том, как она вдруг заплакала. Что-то понадобилось достать с чердака нашего глушанского дома. (Отец после войны взялся его строить, да так и не пожил в нем, завершили мамин дом мы, когда уже стали с братом зарабатывать. К этому времени девять тоненьких березок вымахали выше прищосейных сосен.) Так вот мама, нет, чтобы сыну поручить слазить по делу на чердак, сама захотела подняться туда. Что прежде не раз, конечно, проделывала. Я помог ей переставить ногу через неудобно широкий застрешек, но когда надо было спускаться, она никак не могла дотянуться до лестничной перекладины. Как я ни старался помочь, стоя ниже. Хотя на том чердаке оставаясь навсегда! И тут она заплакала — с такой детской обидой на свою беспомощность. На вдруг настигшую старость. Плакала и сердилась, что я это вижу. Поднималась по лестнице — одна, а спустилась — другая, старуха.

К утру в доме все было убрано-прибрано, замыто — полы, столы, скамьи. Запах крови, тмина, перца, свежины удерживался еще долго. Каждый из помощников унес сумку с салом, мясом, кольцо-два колбасы, всего понемногу, но и достаточно: начнись следствие по нарушению закона, запрещающего смалить свиней, было бы кого и за что обвинить — в корыстном соучастии. А если нужна была «политика», так, пожалуйста: за столом зубоскалили про то, сколько хороших портфелей не досчитаются.

Вообще-то политика по-глушански — это «политика мухоморов». Что это такое, поясню.

По шоссе идет высокий, не по-деревенски, а по-заводски старый человек: худой и плоскогрудый, зато «адамово яблоко» выпирает сверх меры, конечно, без окладистой крестьянской бороды, у нас ее старики не отращивали, зато усы, как у польского пана, а на босых ногах неизменные трепы. Стук деревяшек и пронзительный голос разносятся далеко.

— Это они только умные, не было никого и ничего до них, до молодых. А вот пойду, сварю и съем, надо знать, уметь, а то нельзя, этого не можно. Кто вам сказал?

В руке у старика Микодыма большущая корзина грибов, но трудно глазам поверить: мухоморы! Ярко-красные с ядовитыми белыми нашлапками. Вообще-то само по себе красиво, если не знать, что это такое. И если бы не грозился Микодым сварить их и съесть, кому-то назло.

— Надо знать как, а не говорить. Говорить вы научились.

Через три часа прибежали за моим отцом: Микодым отравился! Но зато отвел душу дед.

На заводскую территорию сына врача пускали беспрепятственно стоявшие на проходной пожарники, они же и охрана. Почти через день я приносил отцу «зельтерскую», для этого имелся у нас стеклянный полторалитровый баллончик с оловянной головкой, с рычажком-«гашеткой» — все как на большом, металлическом. Занятная штукавина, но как же она мне надоела — символ домашних моих обязанностей: куда бы тебя ни кликали друзья, обязан прежде всего сходить и принести воду отцу. По такому поводу с мамой лучше не спорить.

А вот старшему брату ничего такого не поручат: он сам себе дело находил, то, что повзрослее и поинтереснее. Говорят, характер у человека таков, какие волосы, мягкие или жесткие. У меня кроличьи, притом явно ангорской породы. Зато у Жени — будто металлическая нитка-стружка, свившаяся в мелкое-мелкое колечко, прокаленно-рыжеватая, никакой расческой не продерешь.

Зато я мог устраивать себе экскурсию по «гүте» хоть каждый день. Для начала интересно и не бесполезно покопаться в кучах-свалках железного лома за мастерскими, там столько трубок любых калибров. Лишний самопал кому помешает? Где три, там и четыре, есть не просят.

Главное украшение заводского двора — высоченная краснокирпичная труба, когда стоишь вблизи, она так грозно кренится от бегущих туч, вот-вот рухнет на заводской цех. (И рухнула, наполовину укоротилась в ночь с 3 на 4 марта 1943 года, когда мы уходили в партизаны.)

С наполненным газированной водой баллончиком заходил в цех и всякий раз замороженно смотрел на мечущихся по круглой деревянной платформе подмастерьев-«баночников» и мастеров-стеклодувов, их повторяющиеся движения, действия. Из года в год, десятилетиями «гута» гнала бутылку — поллитровки, четвертушки и еще — маленькие, в ладони прячутся, «мерзавчики». На слуху у нас было забобруйское Елизово (по-польски, Ели́зów), сестра нашей «гуты», где и посуду, рюмки-чашки делали, а после победного похода в Западную Белоруссию узнали мы и про «Неман», с его мировой славой цветного дутья. Глуша же как была королевой бесхитростной поллитровки, так и поныне остается. Но у глушан по этому поводу комплексов не наблюдалось. Работа с расплавленным стеклом всегда чудо, большее, меньшее, но чудо.

Счастливая судьба и туристская путевка забросили меня в Венецию, и нас повезли на дальний островок, чтобы мы посмотрели, как делается венецианское знаменитое стекло, там я увидел... свою «гуту». Да, конечно, стеклянный красно-синий цветок или роскошная ваза — это не совсем то, что водочная бутылка. Но все остальное, сам процесс... Те же металлические трубки с деревянными накладками — ими набирается расплавленное стекло из ванной печи (у нас это: «баночка», как у них называется — не спросил). И те же грубые ножи-напильники, которыми, предварительно смочив их в воде, отделяют, отсекают стекло. Ну, и собственные легкие стеклодува, их форма-объем угадывается и в бутылке и в вазе. Но что больше всего польстило моему глушанскому самолюбию и патриотизму, так это характерно выпирающие кадыки («адамово яблоко») на напряженном горле стеклодувов-итальянцев, они больше не казались мне императорскими, с римских монет, — такие простецкие, глушанские.

Расплавленный песок, в смеси с содой причудливо застекленевший, — наверное, одно из первых открытий человека, древнейшее пещерное чудо, и оно по-прежнему поражает воображение, питает фантазию. Я мог часами стоять и смотреть, как делается одно и то же, одно и то же — бутылка. Как баночник наматывает стекло, словно пряжу, всунув конец трубки в адское окошечко ванной печи, накручивает, отворачивая лицо от жара. Затем раз и еще, и еще раз подув в холодный конец трубки, беспрерывно вращаемой между ладонями и получив пылающий шарик размером с куриное яйцо, он вешает трубку на крючок стояка и берется за следующую, начинает все сначала. Продолжают его работу мастера обычно рабочие постарше, иные с усами, но такие же по-мальчишески тощие: ванная печь, постоянная жара иссушат кого угодно. Сколько ни бегай к баллонам с зельтерской водой — по очереди все к ним бегают, стуча трепами, — только потом изойдешь.

Мастер начинает набирать, наматывать на «баночку» еще стекло, раздувая уже до размера небольшой красной грелки, стекло изгибается, болтается как резиновое. С шаром-каплей, вот-вот уронит, торопится к металлическим формам, подвешенным к деревянному настилу, от нажима ногой металлические щеки схватывают шар-грелку и формуют его в бутылку. Вырвался из щелей дымок, бутылку мокрым железом отделяют, отсекают прямо в лоток, который подставила, держит подсобница, одна из женщин с лицами, как будто мелом напудренными, по конвейеру бутылка важно плывет в закальную печь, если по дороге ее не сбросят сортировщицы в «бой». Потом в рогожном куле — в Бобруйск, на склад и т. д. Я еще застал пору, когда бутылки отвозили еврей-балаголы, длинные обозы шли по «варшавке»-гравийке.

Летом невыносимая жара, зимой лютые сквозняки. Этого всего, плюс потовместенного, семейного туберкулеза, когда неотвратимо умирали один за другим вначале, казалось бы, вполне здоровые дети (почему-то в 17, в 18 лет: «А это их батяшка нарочно заражает, тайком харкает в тарелки», — и подобное объяснение существовало) — всего этого кому-то было мало. В 1937-м началось такое, что заводское печко уже могло показаться раем.

1937 год к Глуше подбирался, как и везде — через газеты, радио, сообщения о московских и ленинградских заговорщиках, шпионах. И чего им, таким большим начальникам, не хватало, что в шпионы завербовались? — хитро-простовато удивлялись глушане, на всякий случай отмежевываясь.

Когда показывали фильм: И. В. Сталин выступает по проекту Конституции, ни одно место в зале коминтерновского клуба не пустовало. Ваше присутствие обязательно! — никто этого не объявлял, но пришли все сколько-нибудь заметные глушане. Заметные, значит, заметно будет их отсутствие. Было это у кого осознанное, у кого не очень, у всех по-разному, но пришли все. Зато обычное лежбище пацанов на полу перед экраном на этот раз пустовало. Сам парторг завода Зенкевич стоял там и добродушно-строго смотрел в зал. Кроме того, всякий на себе ощущал еще и чей-то невидимый, внимательный, оценивающий взгляд. Но был и живой интерес: хорошенько рассмотреть Сталина. Целых два часа Сталин на экране! Я невольно сбоку посматривал на отца, на мать — глядят напряженно, серьезно. Одно и то же, одно и то же: человек на трибуне, уже час говорит, время от времени показывают аплодирующий зал — я начал уставать, а потому отвлекаться на всякие глупости. Замечать стал: Сталин плохо говорит. Нет, не акцент, не тягучий голос — это-то как раз казалось обязательно-сталинским и неотменимым. Но выглядел он почему-то неуверенным и вроде бы от этого и сердитым.

«Как сказал великий русский писатель Гегель... простите, Гоголь...» — наш зал не то что критически, а скорее огорченно шевельнулся. Будто с одной, уставшей, ягодицы пересели на вторую. У человека на трибуне и у его зала (он как бы с нашим связан, только мы в темноте, а они на свету), у них там — интересная игра: он сказал слово, они зааплодировали, он схватил стакан с газировкой и пригубил, извлек как бы из тесной-тесной щели еще слово, теперь аплодисменты гуще, дольше, он из бутылки наливает воду в стакан и опять подносит его к усам...

Нет, это не задним числом переоценка в том времени себя, своих мыслей

и чувств. Конечно: «Сталин» стучало в мозгах постоянно. Как удары пульса. Помню, как-то подумалось (или это позже? Да, позже): другие слова постепенно становятся лишними, ненужными, одно-единственное: Сталин, Сталин,— оно их заменяет...

Да, мысли мои были по-школьному «правильные», в основном. А вот чувства не было: доверия и ласковости — которые предполагались как существующие и обязательные. Просто в нашем доме, в нашей семье не было этого, и в меня не вошло. Больше того, я замечал, что не было и в окружавших нас глушанах. Считалось, что есть, но не было. И, помню, меня это огорчало. И смущало.

Деревенские, колхозники, те любили еще и порассуждать. Сидит дядька, и в комнате не расставаясь с пугой, дожидается доктора, чтобы увезти к больному, объясняет, отчего у нас все так:

— Бо у ботах (в сапогах)! Ленин — в ботиночках, обойдет, кали яма. А тут у ботах!..

И все делают вид, что не понимают: о ком это. От отца или матери, сколько я помню себя в довоенном времени, ничего в этом роде не слышал. Нет, один раз отец позволил себе — даже ложку в гнев отшвырнул:

— Поделили Польшу с Гитлером!

А мама немедленно: ты вышел, говоришь и не соображаешь, тебе поспать надо, отдохнуть! — будто встала между заразным и нами. Но это уже был 1939-й. А тогда подбирался к Глуше 1937-й. Как везде, но когда волна докатилась и до нас, сработала глушанская специфика. Где еще такая лафа для НКВД — тащи неводом «польских шпионов», незачем выуживать врагов по одному. У скольких людей польские фамилии, а до границы с Польшей каких-то сто верст, чего тут долго раздумывать? И загребли больше 80 человек (из неполных трехсот рабочих), почти всех с фамилией на «ский». На «ич» — тоже многих, ну, а заодно и Вакулу, но это по спец спискам: лесников, учителей. А других по другим спискам: ветеринаров («заражают лошадей сапом!») подобрали всех до единого, проредили, как морковку, инженерно-технический контингент и т. д.

Не одних поляков. (Кое-кто сохранился, даже при ответственных должностях), но когда школы, например, очищали от врагов, начали естественно с польской, с директрисы, полячки Новицкой. Директор белорусской школы Подо Михаил Кириллович тут же пошел за нею следом. (Где-то и что-то сказал про «перманентную революцию».)

Жена Подо — чернобровая и черноглазая Мария Даниловна давно дружила с мамой, и теперь, возвращаясь из Бобруйска, куда каждый почти день ездила и сутками дежурила у тюрьмы, сразу же приходила к нам, а тут уже сидела плачущая тетя Витковская.

Этих плачущих, раскачивающихся, как неживые маятники, женщин, эти их лица, глаза — сколько потом в войну на них насмотрелся. В Глуше поставлен памятник-стела, на стеле имена 102 фронтовиков, подпольщиков, партизан. Нет до сих пор памятника с именами еще 83 или 85, тишком оплаканных до войны. До войны с Гитлером. Павших на войне Сталина с «собственным» народом.

Как я это помню: маленькая раскачивающаяся фигурка тети Витковской, она все повторяла свой рассказ, как о ни постучали, как вошли, а растерявшийся Витковский, существо не только безвреднейшее, но и всегда казавшееся мне бессловесным, стал просовывать ноги в рукава пиджака. Дочка Люся страшно закричала, когда проснулась и все это увидела. (Она после этого осталась на всю жизнь немного «тронутой» — еще одно горе Витковской.)

Гораздо позже я стал понимать, как рискованно вела себя наша мама, ей, «кулачке», да в 1937 году, безопаснее было бы не привечать у себя таких гостей, друзей. Что и нашей семье грозит такая же беда, не думалось, ну, а что у нас в Глуше столько «врагов», почти все соседи-«шпионы», — в это не верили даже школьники. Однажды ночью я проснулся от сдавленного плача мамы. (Наши кровати по-прежнему в одной спальне.) Она рыдала, а отец ее успокаивал, но так, что она начинала плакать уже в голос.

— Не надо, Нюрочка! Я только хочу, чтобы ты не ездила, как Мария Даниловна, не искала, не добивалась, не надо. Я оттуда не вернусь, если это

случится. Говорят, там бьют. Что под руку попадет — графин, табурет, но бить себя не позволю! Будь что будет.

Сколько было людей вот так готовивших себя к встрече с озверевшей властью, знаем, слышали, прочли, с кем и с чем там человек имел дело и как его постепенно превращали во что-то другое, не то, кем всегда он считал себя и его считали. Но я знал отца только таким, каким знал, великое счастье, что и ему не пришлось себя заново узнавать в тех пыточных. А спасла чистая случайность: донос на «сына помещика» (вот так повысили социальный статус бабкиной семьи) попал в руки папиного односельчанина, тоже раченца, бобруйский энкаведист возьми и скажи своей матери, дескать, и на Адамовича, коминтерновского врача, написали. А та по деревенской своей простоте вступилась: какой же он помещик, ты же их знаешь! Ну, помещик, не помещик, но если еще один донос поступит...

В моем представлении отец именно такой: не позволит никому себя унизить. Характер, вспыльчивость — тут и до трех не досчитаешь. Помню, каким показался мне страшным, когда бежал от больницы к нам, разложившим костер почти под соломенной крышей сарая. (А все началось с увеличительного стекла, которым мы с Минькой выжигали на бревнах свои имена.) До самой ночи я не приходил домой. А когда лежал в кровати, затаившись, и отец спросил про меня, он вдруг сам сказал:

— Хорошо, что поросенок этот убежал! Это ж надо, чуть больницу не спалили.

Мама как-то рассказывала про то, как отца привезли к роженице в «кацапскую» деревню. Так называли в округе староверов, поселившихся здесь во времена никоновского раскола. У них своя, «старая», церковь, обычаи тоже свои, строгие, крутые: не есть и не пить из одной посуды с «нечистыми». «Легче человека забьет, чем закурит» — про них говорили, «без Бога ни до порога» — в названии любой «кацапской» деревни «Бог» обязательно: Богуславка, Богушевка... В общем, и столько лет спустя их все еще считали немного чужаками, а посему опасными.

Та отцова поездка вроде бы подтверждала такую их славу. Привели в дом и вдруг объявляют: спасешь ее — ничего не пожалею, умрет она — умрешь и ты! Вот так, добро пожаловать! Отец им: «Будет видно. А пока все убирайтесь вон. Женщина пусть останется, греть воду, помогать». Роженица, к счастью, не умерла. Назад едет в санях, а сзади за ними еще кто-то. Проводили аж до дома Погоцких. Утром мама выйти хочет, а дверь подперта, не поддается. Оказалось — на крыльце какие-то бочонки, мешки. Отец приказал в больницу отдать все это — мед, сало, «лой» (топленый жир). Мама часть «лоя» все-таки присвоила: отец болел туберкулезом, а тогда лечили только жирами (даже собачьим жиром, и отец тоже им лечился).

Как он мне нравился, отец, когда со стороны наблюдал за ним, идущим по шоссе или через базар. Все с ним раскланиваются, и он со всеми. Молодой, стройный, на хорошо выбритом лице радость неожиданного отдыха, хотя направляется он по вызову, к больному. В руке красивая, покрытая лаком палка (из Кисловодска привез, единственная их, отца и матери, поездка на курорт), он так здорово покручивает под настроение своей палкой, иногда «пропеллер» получается. Никто не догадается, что палка эта — от злых собак, не раз приходилось отбиваться ему.

В «Сыновьях» я писал про «радиус авторитета сельского врача». В километрах 30—40 от Глуши какая-нибудь тетка, услышав от партизана (хлопцы на этом зарабатывали яичницу или еще что-либо вкусненькое), что вот этот завшивевший пацан — докторов сын, из Глуши, начинала голосить надо мной, как над покойником: «А Бо! А Господи! И ён ходить с винтовочкой, голодный...» — хватай шапку и убегай!

Думаю, что если бы «сына помещика» все-таки забрали, могли бы спросить, как у дядьки Антона спрашивал следователь:

— Это зачем вам такой авторитет? Что, готовитесь к моменту: начнется война, поведете их против советской власти?

Тогда дядьке Антону повезло: могиловских энкаведистов сожрала какая-то другая банда из их же ведомства, и группу подследственных выпустили: раз вас

арестовали враги, значит, вы не есть враги! — к сожалению, не везде такая логика срабатывала. А вот дядьке помогло, выполз он из трубы (в какой-то подземной цементной трубе их держали, тюрем уже не хватало), поседевший и ссутулившийся еще больше.

Каждый год в январе месяце вся наша школа из классов выходила в длинный школьный коридор, и сотни детских сердец замирали от слов из песни — про друзей-революционеров, которые опускают в могилу своего товарища: «закрыли орлиные очи твои». День траура, день смерти Ленина. Не помню, как прошел этот день в 1937-м, в 1938 году, стояли рядом дети «врагов народа» или им не позволили? А если с нами вместе пели и они — о ком были их слезы? О нем, кто с такой предвкушающей радостью провозглашал пришествие насилия, не ограниченного никакими законами? Что это такое, Глуша испытала.

Накануне войны Глуша вооружалась. Если иметь в виду возраст от 10-ти до 16—17-ти. Пожалуй, повинны были в этом прежде всего кинофильмы, там все больше стреляли, притом уже со звуком. А у заводчан столько соблазнительных металлических трубок, из которых можно и самопал, и гранату сделать. От спичечных головок скоро перешли к самодельному пороху, химию в школе изучали и знали, что нужна только сера, селитра и уголь. Ну, а для этого есть аптека, более того — среди самопальщиков оказался и сын заведующей аптекой. Нажим был такой, что я предпочел роль вора кличке труса. Таскал из «материальной» (комната в аптеке, где хранились запасы лекарства) селитру и серу, замирая от ужаса и ожидания, что мама рано или поздно узнает, кто такой ее Саша.

Воровал, да еще подставлял своих родителей. Действительно, хотя тогда об этом совсем не думалось, но если бы кому-то из бобруйских энкаведешников (как это было в Саратове или где-то в другом месте, про это написано) захотелось выслужиться, раскрутить дело о «терроризации детей врагов народа», лучшего объекта, чем наша Глуша ему бы не сыскать. Столько этих самых «врагов», а у них детей столько, у многих «стволы», да такие, что белку, ворону сшибить запросто. А почему не кого-нибудь из активистов, парт- или совработников? Где порох доставали? А, ясно — через сына «кулачки». Статья от такого-то апреля такого-то года: расстрел разрешен с 12 лет, если враг, если террорист. Сам Сталин санкционировал.

А потом убеждал присланного Европой Ромена Роллана, что дети затерроризировали бедную советскую власть, коммунистов. Злобные маленькие негодяи, науськиваемые классовыми врагами. Мягкоусый упырь бредил наяву, а великий гуманист сидел, слушал — не встал, не ушел хотя бы молча, нет, все старался понять логику безумцев...

Вот и у нас, оставалось доказать, что был сговор, но когда вся Глуша напшигована «стволами», сделать это было бы проще простого.

Как они не пошли этим путем, а все порепоручено было участковому милиционеру — еще одна загадка, случайность, везение?

Гром грянул неожиданно: кто-то заглянул во время урока в класс, назвал мою фамилию! К директору!

Вошел — а там никакого директора, милиционер дожидается. И сразу к делу. Сколько у тебя (фамилия? так правильно), так сколько у тебя подпалачков? Конечно, ни одного, кто ж это признается? (Кровь аж в темячко бьет!) У меня в портфеле улика, стоит пойти в класс и заглянуть в мою парту. Правда, самый маленький, почти игрушечный самопал. Но ни обыскивать, ни даже пугать меня участковый не собирався. Милиционер даже заулыбался ободряюще, видя, как докторов сын смущен и напуган одним лишь подозрением, что у него, как и у всех, может быть самопал. Ладно, иди! А мне позовите такого-то.

Пришел я из школы, а дома еще сюрприз. Печник полез на чердак и случайно нашел, под лежаком «наган вот такой!» (мама руки развела совсем по-рыбацки). Не твой? Но меня уже милиционер допрашивал, и то... Недоумевающе вскинул плечами: мы же не одни в этом доме живем. (Неопределенный намек на Дему и Гришу Савицких, наших соседей. Честно ли поступаю — об этом подумать не успел.) Интересно, как многое довоенное, предвоенное, почти зеркально,

повторилось в войну. Хотя бы эти самые гранаты, наши самоделки, а затем настоящие, одна из таких (а точнее, запал) разорвалась под рукой (под топором, это надо было додуматься рубить!) Дёмы Савицкого, измочалив ему руку, а Жене мелкой медью посекала лицо, повредила глаз. Но мы шли к этому, когда в лесу взрывали заклепанные с двух сторон трубки-цилиндры, наполненные «моим» порохом. Не для сведения сегодняшних пацанов: посередке цилиндра напильником делается прорезь, нитками привязывается десяток спичек головка к головке — чиркнул и швыряй! Бухало так, что казалось — в Бобруйске услышат! Мы тотчас разбежались. Как разбежались и после разрыва запала, испугавшись, что прибегут немцы.

Мы были одинаковы, что до войны, что в войну — только мотивация неполитическая с приходом немцев стала именно политической.

Это если иметь в виду нашу мальчишескую страсть к стрельбе, взрывам, оружию. Но ведь многих напрямую коснулось — и как болезненно! — То, что меня не задело. Я не знаю, о чем разговаривали по ночам в семьях, где в одночасье лишились отцов, а жены и дети стали «семьей врага народа». Скорее всего привычно искали злодеев-сгубителей в самих же глушанах, тех, кто мог написать донос, оклеветать. Казалось, что в них все дело, они главные виновники.

И еще — о полициях, власовцах. Моя Глуша не все объяснит, но кое-что раскроет, уж тут-то я знаю досконально: кому власть довоенная и какой путь предначертала, куда толкала-подсказывала и как тем не менее тот или другой человек в войну повел себя, 83 или 85 семей имели полное право считать себя врагами советской власти, она сама их отнесла к этой категории и все сделала, чтобы те люди восприняли приход немцев как избавление. Так вот — подавляющее большинство детей и жен «врагов народа» стали подпольщиками, партизанами. В полицию, во власовскую армию вступило из таких семей ровно семь человек. Нет, я этому не умилюсь. Не стоила власть Сталина того, чтобы ее защищать. (Не Родина, а власть.) Тем более собой и детьми жертвовать, им, отринутым и оплеванным. Тем более, что надутый-усатый вождь и вся пирамида его бессмысленно-жестоким властью вела себя, как банда, которая в заложники захватила целый народ, страну. Тем и прикрыла себя. Сражаясь с новым, не меньшим злодейством, гитлеровским, спасая себя, страну, народ спасал и сталинских мучителей, вчерашних и завтрашних.

Вчера так не думали? Вот что я услышал в нашем доме летом 1942-го. «Кулачка» (наша мама) предостерегала сына «врага народа» Эдика Витковского от непоправимого шага:

— Обижайся, Эдичек, на кого хочешь. Ты имеешь право. Но только не на родину. Ты же знаешь, что и моих родителей сослали. Поэтому послушай меня!

Да, Сталин все делал, чтобы в нашем сознании он и родина слились в одно целое, издали для многих это так и видится. А на самом деле...

Я почему-то уверен, что одним из слагаемых победы над фашизмом, над Гитлером, было чувство (порой глухое, сознательно подавляемое) неприязни, а то и ненависти... к Сталину. Шли в бой с его именем? Можно согласиться, но только вот в каком смысле. Солдатская (а это преимущественно крестьянская, к о л х о з н а я) рать заспинные выкрики, политруковское: «За Сталина!» слышала, как горькое, почти издевательское, напоминание: мало нам было этого, его колхозов, голодухи, тюрем, так еще один приперся, объявился на нашу голову! Нет, этой власти всегда (но, кажется, время это кончилось) страшно и незаслуженно везло. Даже тяжелодонная ненависть, старательно заглушаемая, которую смогли взрастить в народной душе, как ни удивительно — даже это послужило спасению власти Сталина и ее укреплению. (Это как злость против негодя-отчима, пришедшего на место сбежавшего злодея-отца: мало нам своего было, так теперь этот!)

То, что Сталин, звериным чутьем улавливающий малейшую опасность, угрозу себе, что он один из немногих знал цену пропагандистской «любви» к «вождю и учителю», и меру глубинной народной ненависти к его порядкам и к нему самому — доказательства этому в его немедленных репрессиях последованных. Он сознавал, что даже победа над смертельным врагом если и примирила

народ с ним, то это ненадолго. И заспешил, тут же усилил наступление на главном и постоянном фронте — внутреннем.

Во все эти события: 1937-й и следующие годы, в войну я входил одиннадцати-четырнадцатилетним. Кроме того, что происходило со всеми, было и еще нечто — то, что происходило со мной, во мне, известное лишь мне одному.

Откуда ни посмотри: из далекого-далекого детства, из-за просвеченной лампой ширмы с луговыми цветами-разводьями, за которой я болел scarlatina и «свинкой», или сквозь полувековую мутноватую даль прожитого — откуда я на себя 12—14-летнего ни взгляну, кажусь себе как бы подмененным. Возможно, это случается и происходит со всеми, с каждым, как только в ребенке поселяется пугающий зов пола и знание о смерти. Т. е. когда заново повторится, уже с тобой лично: изгнание из рая. Или: повторное лишение рода человеческого его бессмертия.

Жизнь меня долго оберегала от впечатлений смерти, но любовью одарила очень рано.

В Глуше, конечно, умирали, и дети тоже видели, как плакали, как уносили-увозили гроб с человеком в сторону спиртзавода Дойничево, там наше кладбище. Но я увидел смерть, она вошла в мое зрение, осталась в сознании (осознанная), когда вскрывали в больничном дворе тело самоубийцы. Сначала тряхнуло, будто током, Глушу: «Клокоцкий застрелил жену!» Застрелил из охотничьего ружья и куда-то убежал. Глуша замерла в ожидании, как будут развиваться события. Уже к полудню — новое известие, непонятно, как и кем распространяемое. «Клоцкий утопился в Млынке!» Видели это пацаны, купавшиеся в Красной, речушке, которая протекает под «варшавкой» в трех километрах от Глуши. Именно там объявился убийца, взволнованный, как запомнилось детям, спросил, где тут глубокое место, искупаться. Глубокое на речке Красной одно место — Млынок, темная меж олешин вода, где бьют холодные ключи, а дна не достать. На том месте стоял когда-то млын (мельница). Дяденька сразу же нырнул, не раздеваясь, поплыл, куда показали, а там вдруг вскинул руки, исчез под водой. Да так и не вынырнул ни разу.

Вскрывал тело мой отец — почему-то во дворе, перед больничными окнами, при этом присутствовали приехавшие из Бобруйска незнакомые люди. (Возможно, они и распорядились так, чтобы оставаться на свежем воздухе). Поразила стеариново-прозрачная белизна мертвого тела и то красное, что руки отца как бы откупоривали.

И еще глушанская смерть (две смерти сразу), тоже связанная с Млынком. Подружки купались, у одной ноги свело судорогой, вторая кинулась спасать, но тонущая обхватила ее за шею, да так, что потом их еле разняли, заколечивших.

На всю жизнь осталось во мне: любую смерть видишь как бы глазами матери покойника. Всегда спросишь, а мать у него жива? Только так смерть доходит до сознания вся, как есть.

Был как раз базарный день, а дом, в котором стояли два гроба, и среди жирно-красных георгинов и нежных флоксов лежали в белых платьях, как невесты, подружки-утопленницы, был рядом с базарной площадью. Кто продавал, кто покупал, а кто специально пришел, все толпились перед домом девушек и их несчастных матерей. Заводские квартиры их через стенку, перед окнами тут же огороды, и, чтобы пройти к соседям, сначала надо было выйти по узкой выгороженной плетнем дорожке на улицу. А затем по такой же вернуться к дому, в соседские сени. Люди толпились на улице, проходили в дом, выходили, оттуда доносился плач, то из одной, то из другой квартиры, или из обеих одновременно. И вдруг чей-то звучал уже на улице, тогда и вторая мать выходила, несчастные матери уже видели одна другую, и теперь вместе кричали, звали своих девочек, своих красавиц. С растрепанной головой, с невидящим взором и каким-то животным воем-воплем шли, одна по своей улочке-дорожке, вторая по своей, а выйдя на улицу, бросались друг к дружке и, обнявшись, уже вместе плакали и кричали.

Не знал я тогда, что вот с таким же воем, с такими же распаренно, неузнаваемо страшными лицами будут ходить слепобессмысленно моя мама и тетя Витковская, хороня (заживо, но они того не знали) своих сыновей. Когда

смерть, прежде где-то прятаясь и лишь время от времени о себе напоминая, вырвется на «варшавку», властно по-хозяйски постучится в окна, в двери домов. (Но разве она не стучала, и уж как по-хозяйски, когда вроде бы пряталась? Но, видно, так мы уж устроены: чтобы рассмотреть свои лагеря смерти, нам нужно было увидеть нацистские, а чтобы понять Сталина, должны были познать Гитлера.)

Смерти нет, сказал мудрец. Ее нет, пока я живу. А когда она приходит, нет меня. Встреча с нею невозможна. Когда ничто другое уже не может утешить, утешают себя этим. Но все знают: есть. Чужая, как своя, своя, как чужая.

Чудо и загадку любви я стал разгадывать рано. Едва ли не в девять лет. Насколько я помню, Лялю Стрепетову привели к нам во 2-й «Б» класс. Привели новенькую и посадили за переднюю парту: будто легкий мотылек влетел в окно и опустился прямо перед глазами. Городской бант на косе еще более напоминал бабочку. Тотчас разузнали, что это племянница директора школы. (До Михаила Кирилловича Подо был у нас другой директор, но запомнился лишь потому, что был дядей Ляли Стрепетовой.) И еще стало известно: сирота, родители у нее умерли. Не потому ли такой печальной всегда и незащищенной она казалась? Вся такая хрупкая, воздушная. Одевал ее дядя, как куколку (очевидно, по нашим, глушанским меркам), а тут еще имя — Ляля. Плачет, если тройку получит — умереть можно. От смеха. Пусть кто-то от смеха заходился, а я, притворяясь таким же, обмирал от жалости к девочке-мотыльку. Что именно это называется «страстью нежной», любовью, подсказывал мне Пушкин. Не одними лишь певучими строчками, но еще и тем непонятным чувством, которое будило во мне само слово: «Пушкин». Без конца срисовывал с портретов стремительный профиль, вспушенные бакенбарды, отложной белый воротник. Без конца мог вглядываться в такое светлое, ни на чье не похожее, лицо. И как обмер-испугался однажды, когда показалось: он видит мой влюбленный взгляд! Вот так же случалось, когда Ляля оглянется, а я свои глаза не успел отвести в сторону: как кипятком зальет всего внутри.

Жил в постоянном страхе, что она посмотрит в мою сторону или, того хуже, встретится с нею неожиданно лицом к лицу. Представляю, каким букой я ей казался, если она, конечно, замечала мое существование, и одновременно неотступное желание заговорить, смотреть, смотреть на нежное, как бы совсем прозрачное личико, в неправдоподобно голубенькие глаза. Почему-то плакать хотелось, наверное, от распирающей меня нежности. Бежал в клуб на каждый фильм: а вдруг придет? Дожидался до последнего на веранде, уже и фильм начнется, а я все гляжу на шоссе: не она ли там со своими дядей и тетей? Чтобы хоть увидеть тоненькую фигурку, проследить, где они сядут в зале. Это мне надо было знать для того, чтобы когда свет погаснет, вскочить на ноги и смотреть, смотреть в ту сторону. Вспыхивал экран, я сразу садился и ждал-дожидался, когда что-нибудь испортится и заглохнет кинопередвижка. Постоянные мучения для глушанской публики — эти вечные обрывы киноленты или глохнущий мотор, для одного человека в зале были минутами блаженства. Киносеанс затягивался иногда до 2 до 3 часов ночи, терпеливые кинозрители уже выспятся на стульях или скамейках, а пацаны — на полу перед экраном. Кино наконец кончалось, а у человека еще одна счастливая возможность: вовремя выскользнуть на веранду и посмотреть на нее вблизи, прячась за людей.

Да существовала ли она для меня физически? Во всяком случае, я почти не поверил, когда увидел, что среди бегущих сторонкой девочек, старающихся незаметнее и подальше от «мужских», то есть наших, глаз проскользнуть в женскую половину туалета, стоявшего на отшибе, что в той стайке и она, хихикает там за стенкой, звучит падающей далеко вниз струйкой? Она, как все? — как же обидно мне с этим было согласиться.

Должно быть, Ляля действительно была красивая, потому что многие в нашей школе влюблялись в нее. Вот и мой одноклассник Франц Стефанович, я с ним подружился, как ни с кем, когда понял, что и он т о ж е. Приходил ко мне и по вечерам, в темноте, подальше от чужих ушей мы говорили о Ляле. Говорил он, а я слушал, когда же Франц выходил из роли, которую я ему незаметно отводил — озвучивать мои к ней чувства, — я снова переводил незаметно раз-

говор на ту, которую мы оба любили, только он открыто, а я тайком, трусливо. Подружился я и с братом Лялей, если бы хватило смелости, легко могло бы осуществиться то, что я и десятилетия спустя иногда видел во сне: прихожу к ней в дом; мы с нею разговариваем, смеемся, она показывает какие-то книги, я, чтобы занять мешающие мне собственные руки, вожусь с патефонными пластинками и могу смотреть на ее личико, нежный рот, светлые глаза, косу на худенькой спине. Но на это я никогда бы не решился, зато мог сколько угодно глазеть на ее брата и в чертах его лица угадывать что-то общее с нею.

И вдруг она уехала из Глуши. Мотылек залетел в окно, потрепетал нежными, яркими крылышками, припал на минуту к шторе, вдруг оторвался, и крылышки унесли красоту, неизвестно кем нанесенную на них. Я места себе не находил. Но странно, испытывал и какое-то облегчение, вроде бы надежду, что больше не будет мучить эта постоянная тоска, беспокойство, которые меня переполняли. А тут опять в нашем классе новенькая — дочка присланного на завод молодого инженера. Она сразу же стала любимицей глушанских школяров. Было это не совсем то, что наша любовь к уехавшей Ляле. Тут скорее скандальная популярность, чем красота. В класс вошел учитель истории «Весьма Дужий» (прозванный так за излюбленное его выражение и соответствующий внешний облик), руку поднимает худющая чернявка с резкими чертами лица и смелыми глазами, просит объяснить ей «глушанское слово». Какое? А вот: «малафейка» (то есть, сперма). «Весьма Дюжий» только и нашелся, что посоветовал — лучше выбирать в Глуше друзей.

Сблизились чернявка Валентина с жившей у нас папиной племянницей Надей, и я получил редкую возможность подружиться с девочкой прежде, чем влюблюсь. Потому что ощутил: снова влюбляюсь! — с беспокойством и тоской это почувствовал. Опять мучиться на расстоянии, от несмелости, трусости. Пытался переломить, загодя победить в себе это. Но не удалось. Вот уже неметь стал при ее появлении в нашем доме, язык делается шершавый, сухой, а руки, наоборот, мокрые, потные, как только услышу, что она пришла. А добило меня «Сулико». У Валентины был голос. Что петь и иметь голос — это не одно и то же, мы в этом не очень разбирались, кто только не пел с клубной сцены, а тут перед залом встала изломанно-худенькая девочка, и что-то произошло с людьми в нашем привычно-скучном заводском клубе. И песня-то была как бы свыше одобренная (грузинская, а по тем временам, все что из «солнечной Грузии», заключало в себе лирический образ вождя), и мероприятие было вполне казенное, но об этом никто уже не помнил. С удивлением смотрели на девочку, которая высоким детским и грудным женским голосом звала и благословляла любовь, горную, чистую, которую каждый в себе носит как возможность, как мечту, только не знает, как это выразить, как о ней, какими словами сказать.

Отец наш, когда выходили из клуба, кому-то (уже не помню кому) сказал и очень серьезно: нельзя ей рано выходить замуж. Может пропасть голос. Голос невинности в столь, казалось, развязной и раскованной, а по глушанским меркам, и распушенной девчонке.

Ясно, что повторилось все, как и с Лялей, я снова не мог даже приблизиться к обожаемому существу. А тем более пробиться не умел, потому что Валентину всегда сопровождал эскорт ухажеров, на вербованный из старших классов. Снова мечтал, как увижу ее, хотя бы издалека, в школе, в клубе, на шоссе. И вдруг в Глушу вернулась моя первая любовь. Вернулась в школу Ляля. Вот тут на меня обрушились тройки и даже двойки, дома не понимали, что это вдруг произошло с прежним пятерочником. Мне стали запрещать то, без чего я жить, казалось, не мог: сиди зубри, раз такой, ни шагу из дому, тем более в клуб, в кино. А я смотрю в книжку, решаю задачки, но думаю о них, сразу об обеих, мечтаю, как увижу Лялю, как увижу Валентину, хотя бы издали увижу беленькую, увижу смуглянку, кого больше хочется увидеть, уже не знал. Сидел за школьной партой, а на самом деле находился в каком-то сладостном парении, аж голова кружилась, даже поташнивало: передо мной на передней парте снова сидит девочка-мотылек, а сзади, «на галерке», что-то все время происходит, учителя без конца: «Валентина, чем ты занята?» «Валентина, сейчас выйдешь из класса». Вначале эти две разорительницы наших школьных душ (мы так гнезда птички разоряли, по-

детски безжалостно) сторонились одна другой, соперницы, а затем, видно, поняв, какая они силища, когда вместе, стали неразлучны, всегда рядом, везде вдвоем. Но мне это было даже с руки, они во мне и так рядышком, одна и вторая, как что-то одно. Но нет, не они одно, чувство мое одно на обеих. Ну, совсем, как у Наташи Ростовой (читаю сейчас, перечитываю Толстого), когда ей думалось: а почему нельзя любить двоих одновременно — князя Болконского и Анатоля Курагина? Перечитал это место и снова ахнул и огорчился: куда ни сунься, в любой уголок собственной души, в собственную память, а там уже побывал Лев Николаевич, оставил свою «визитную карточку». Но все же не совсем так, раздвоения на любовь «чистую» и «низменно-плотскую» не было, хотя, конечно, разница замечалась в обеих девочках, а возможно, и в чувстве к ним. В стройной черноглазой Валентине сильнее угадывалось то женское, что нас уже волновало.

Но если бы только волновало. В стае пацанов, такой, как наша, рано или поздно сыщется развратитель, матери не случайно так бояться «подворотен». Но нам ни к чему были подворотни, у нас был лес, где спрятаться легче, лес провоцирует, азарт, инстинкт поиска, охоты за неизведанным, неиспытанным.

Однажды после шумного беганья-катания на веревках вокруг столба («Гигантские шаги» на лесной поляне нам достались в наследство от пионерлагеря) я подошел к группе пацанов в кустах, которые чем-то очень увлечены, заняты были. Удивило, как тихо там у них, они что, в карты играют? Стоят плотной группой и на что-то там в середине смотрят. Придвинулся, встал на цыпочки и вдруг увидел! На пеньке сидит Генка «Сухорукий» и что-то делает у своих коленок. Губа прикушена, глаза скошенные на то, что он делает, а когда вскидывает их и смотрит на всех, они у него пусто-бесстыжие. А все глядят на него, на мелькающее меж пальцев нечто отвратительно голое, веря и не веря в то, что перед ними, у них перед глазами. Со мной тоже что-то происходило в ту минуту: будто это я сам на том пеньке, вот оказывается, это как бывает, и я уже не прежний, никогда им не буду, навсегда что-то потеряно, потерял и жить не хочется...

То же самое ощутил — как в щель провалилось, откуда не достать — когда впервые сел играть в карты на деньги и даже выиграл. Выигрыш вернул, ушел, и весь день меня точила тоска, о чем-то потерянном непоправимо, чего мне не вернуть, как я деньги вернул.

Я обвиняю тебя, что ты предал свою первую любовь!.. Иван Богослов, изрекая сие, имел в виду что-то свое. Но я в тот день, возможно, это услышал — в собственной душе.

Уже не помню, как было связано то, что я видел в лесу, и мысли о самоубийстве, но они меня преследовали, подкрадываясь, как кошка к птице. Совсем не о том вроде думаешь, и тут прозвучит: будто твой голос, но странно незнакомый. «Повешусь!» «Застрелюсь!» Сидишь, лежишь и думаешь об этом, как это будет. Мечтаешь даже как бы. Однажды вошла в спальню мама, увидела, что еще в постели, не сделала обычного замечания, мол, все уже делом заняты, а я тут валяюсь, нет, вместо этого сказала:

— Полежи, сынок, помечтай!

Так ласково, так хорошо сказала. Знала бы она, о чем мои были тогда мечты. По себе узнал, что такое опасный возраст. Столько вдруг и одномоментно просыпается в тебе, обрушивается на тебя изнутри, что справиться с этим не знаешь как.

В «Немом» своей героине отдал то, что я сам творил и со мной творилось. Зачем-то утащил у бабушки круглую, с ладонь размером, иконку, маминой пьяняще пахучей губной помадой мазал себе губы, а затем становился на колени где-нибудь за грязной ширмой на кухне, пристраивался в тесноте между лоханями и ведрами с приготовленной для поросенка и кур кисло пахнущей едой, и крестился, крестился, глядя на Божью мать с ребеночком, бил поклоны. Смертельно боясь, что кто-то войдет, заглянет, увидит. Но именно этот страх был сладок и завораживающ.

Между теми днями, событиями, которые ведомы были лишь мне одному, и той ночью, когда мы с братом в своей спальне, одевшись, лежали и дожидались

команды — уходить в лес, в неведомую партизанскую жизнь, прошло, несколько лет, и каких. Мы успели совершить «освободительный поход» в Западную Белоруссию (отца сразу мобилизовали в Красную Армию), заключив перед этим неожиданный договор с Гитлером, Германией. Разгромили «белофиннов», а последний год перед большой войной я провел и проучился не в Глуше, а у дядьки Антона, — и еще два года прожили под немцами, — все это уже оставалось позади, уже произошло с нами, со мной, и, когда я лежал на кровати, ощущая себя коконом в многочисленных одежках, натянутых про запас, вслушиваясь, как ходит по квартире мама, выглядывая в окна, и представлял, как мы окажемся в партизанском лесу, как будем там жить, я при этом (хорошо помню) давал себя слово, что все тайно-плохое я оставлю здесь, что там этого со мной не произойдет. Не до того будет. Уходил в лес, чтобы стрелять, убивать врагов, но и как бы в собственное детство собрался, где все так невинно и чисто.

После зимней спячки у медведя проблема: не может просраться. От долгой лежки пробка образуется. Он и так, и этак, а помучиться приходится. Так что терпите, граждане эсэнгэ!

Приблизительно такими словами объяснял нашу ситуацию общительный водитель московского троллейбуса — громко, через микрофон, не забывая называть остановки. Пассажирам его анализ понравился, во всяком случае заулыбались, получив еще и в такой форме информацию.

Пишу про свою Глушу, а за спиной больничный телевизор: Президент России объявил особый вид управления на переходный период в стране, не успел уйти с экрана, как появилась фотографически неподвижная четверка. Это что еще за банда четырех? Нет, лица вполне официальные, можно не беспокоиться. Но ведь и те, в августе, были знакомо-официальные и тоже высшие. Вспомнилось: вот этот вояка, так хорошо державшийся в августе, за две недели до путча, нам, мемориальцам, с горячностью и готовностью к немедленным действиям, ему столь свойственной, сообщил: Янаев звонил и предлагал взяться за наведение порядка в стране! Что, теперь вкупе с этими решил «взяться»? Не ту курицу зарезали в августе?

Но вернусь к vixi, к тому, что прожито-пережито во времена додемократических и дотелевизионных.

Когда я сочинял свои первые романы, а точнее, записывал то, что моя мать «собственной жизнью написала» (я так ей свою книжку надписал, но она как бы и не заметила) и где мы с братом лишь персонажи ее жизни-романа, пришло на ум сравнение: женщины, воевавшие под крышами своих домов с оккупантами — это несчастнейшие солдаты, которым в окоп посадили их малых детишек.

Я не собираюсь предпринимать безнадежную в литературе попытку — еще раз использовать отработанный, мятый пар. Переписывать свои первые романы заново. (Когда-то такое побуждение возникало, но я ему не поддавался.) Нет, цель у меня и задача иная. Взглянуть на многое (и на самого автора романов) из такого будущего, где уже виден край жизни. А вдруг это окажется интересно. Или хотя бы полезно.

Отдыхал я в Коктебеле со своей дочкой Наташей (которую бабушка, можно сказать, и вырастила), тогда уже (или еще) второклассницей. Писательский Дом творчества в то лето весь почти грипповал. За три дня до отлета в Минск слегла и моя дочка, температура высокая, а тут еще переживания, слезы, — опоздает к занятиям в школе. Пришел молодой доктор, послушал больную, произнес: «Плевритик». На том бы ему и остановиться, но нет, уточнил свое впечатление от услышанного в грудке ребенка:

— Как свежий снежок хрустит!

С меня и хватило. Заспешил на веранду, на свежий воздух. Врач вышел следом: «О, да тут надо папу спасать!» — и сделал мне укол «против спазма».

Вот тогда-то впервые по-иному посмотрел на собственную мать, на все, что она делала и как вела себя в войну. Задал вопрос самому себе: ну, а ты, мужчина, мужик, ты смог бы изо дня в день, на протяжении многих и многих месяцев

«работать на партизан» или кого-то еще, зная, что навлекаешь, почти наверняка накличешь на собственного ребенка, вот на этого, жестокую кару, муку, смерть. Не щадили и детей, семьями истребляли, что было не исключением, а правилом в тотальной войне.

За войну мы всего навиделись. Но вот эта сцена, возможно, оттого, что была первая и видел ее вблизи — во дворе, который все еще мысленно называл «больничным», — запомнилась особенно. Я сидел, как часто тогда делал, на лестнице, сверху наблюдая за происходящим, а происходило то, с чем мое школьное сознание все никак не могло примириться: оккупация! Вдруг распахнулась дверь комендатуры, за руки с крыльца сволокли какого-то парня, следом выбежали еще два немца — с палками. Парень (может, старше меня, но никак не старше Жени), которого держали растянuto, распято за руки, словно и прикидывал, куда упасть. Его повалили на траву, прижали голову, ноги к земле, а двое с палками тут же приступили к работе. Именно — работе. Это было так страшно и (по звуку) напоминало то, как бабы вальками выбивают мокрое белье у речки или пруда. Все казалось нереальным, пока человек не закричал, а когда закричал — боль и ужас человеческой плоти, понявшей, что ее забивают насмерть, — происходящее показалось еще более невозможным.

Потом узнали: парня схватили в деревне по подозрению, что к нему заходили «окруженцы» — избегающие плена, вооруженные красноармейцы, наши первые партизаны.

Что вот такое ждет семью, сынов, если раскроются ее дела, в которые неизбежно втягивались мы с братом — этот ужас в матери нашей жил постоянно. На себя, свою Наташу я примерял похожую ситуацию и не в состоянии был примерить: как, вот ее, ребенка, сам толкнул бы в руки мучителей? Себя готов подставить под любые палки, но ребенок, мой ребенок!..

Видимо, прав друг-философ, написавший, что родина — это не только некое пространство, но и время, в которое тебе довелось жить. Да, сегодня я не смог бы, как моя собственная мать, поступить, хотя и мужик, и, казалось бы... Но это теперь, а, прежде? Или будь я, например, жителем... древней Спарты. Вспомнил ее потому, что недавно читал Плутарха. И вот что вычитал.

«На следующее утро, когда всем уже стали известны имена погибших и уцелевших, отцы, родственники убитых (погибших в бою за интересы Спарты. — А. А.) сошлись на площади и с сияющими лицами, преисполненные гордостью и радостью, приветствовали друг друга. Родственники же уцелевших, напротив, оставались вместе с женами дома, как бы находясь в трауре; и если кто-нибудь из них вынужден был выйти из дому, то по его внешнему виду, голосу и взгляду видно было, как велики его уныние и подавленность. Это было особенно заметно на женщинах; те, которые ожидали встретить своего сына живым после битвы, ходили в печальном молчании, те же, о смерти сыновей которых было объявлено, тотчас появились в храме и навещали друг друга с веселым гордым видом».

Если из старого, еще советского, Коктебеля на это поглядел бы: дико! Да и из Минска, из Москвы, если сегодня смотреть — не очаровывают меня спартанки таким вот патриотизмом.

Но вот в 1943-м, в партизанском лесу неподалеку от деревни Незнань, где была наша весенняя стоянка, там спартанки Плутарха не показались бы чокнутыми.

В тот, например, апрельский (или начала мая) день, когда Кожичиха голосила над своим убитым сыном, почти одногодком моим: его убили в 100 метрах от того места, где я стоял на посту. Для матери Мити — мы были там вместе, теперь он — мертв, а я живой. Он лежит на земле возле не остывших еще кухонных котлов, на виске еле заметные синие пятнышки от автоматных пуль, его мать поднимет глаза и увидит меня. Хочется спрятаться за спины или уйти. Но самое главное и обидное, хочет, чтобы я ушел, моя собственная мать. Я это вижу, чувствую по тому, как она несколько раз недовольно взглянула в мою сторону, как бы говоря: «Ты еще здесь? Неужто не понимаешь?» Это она, которая полчаса назад получила своего сына: ведь ей тоже сообщили вначале, что меня немцы увели или увезли, то ли живого, то ли мертвого. И вот, пожалуйста.

Или еще: когда наша мама, с той же Кожичихой и другими женщинами из санчасти и хоззвода провожала группу на железную дорогу или же весь отряд — навстречу уже гремевшему вдали бою, я и Женя прощались с нею, как и с остальными, пожимая руку. И она нам пожимала руку, почти так же, как и всем другим, кто к ней подбегал. Да, глаза наши, встретившись, что-то и еще, только наше, говорили, но вряд ли кто со стороны, понял бы кому она тут мать. Вроде бы всем.

Но случалось, что все вырывалось наружу, полностью разрушая образ интеллигентно-сдержанной женщины, столь целомудренно скрывающей свои материнские чувства.

Когда уже в партизанах Женю ранило (его напарника Мишу Ефименко немцы на том картофельном поле настигли и докололи штыками), ей об этом не говорили: пока не привезут сына, и она сама не убедится, что только ранен. Она что-то почувствовала, обеспокоенно заглядывала всем в глаза, а от нее старались незаметно убежать те, кто не уверен был, что умело играет как бы заданную кем-то роль.

А тут в лагерь возвращается с телегой, нагруженной коровьими шкурами, сапожник Бэрка, видит прибитую, как ему показалось, горем женщину, отрядного врача, остановился, чтобы утешить ее:

— Не убивайтесь так, не надо, Анна Митрофановна, его уже привезли. Там, на посту они.

— Что? Женя?! О, боже, убит!

Упала как подкошенная, к ней сбежались (издали за ней следили), тут же вскочила на ноги, отталкивает нас, теперь все ей враги, скрывают правду, страшную, которую услышать боится больше всего на свете, но требует ее, добивается от младшего сына:

— Правда? Скажи, сынок. Говори!

И ласково-заискивающе, и с ненавистью. Я бормочу: да, правда, мама, его только ранили, в плечо, легко — даже улыбаюсь, чтобы только поверила. Мне жутко видеть ее такую, на себя непохожую, эти безумные глаза, эту раздавленность и в то же время агрессивную ко всем неприязнь. Мне уже не до того, чтобы брата жалеть, я весь с нею. Но она и это почувствует, она все чувствует, и тоже не прощает.

— Все вы обманываете,— вдруг заплакала, сразу расслабившись. И тут же: — Где он, где?

Побежала по дороге к посту, а мы следом за ней.

Но самое мучительное было еще в Глуше. Там впервые ее такой увидел.

Уже пришли-приехали немцы — на причудливо разнообразных машинах, на броне танков и в колясках мотоциклов, по-пляжному полуголые, с закатанными рукавами, с шелковыми шарфиками на молодых, грязно-потных шеях. Пришли и прошли, а жизнь, казалось, замерев, на самом деле продолжалась. Кто-то поехал на заводской машине в город, вернулся, у других свои дела там, тоже стали ездить. И Эдик с Женей решили, тоже захотелось. Со мной у мамы разговор был бы короткий: еще он тут! Куда это ты поедешь? И без тебя с ума сойдешь! Но Женя, говори ему, не говори, с нетерпеливой улыбкой, с отцовской горячностью, на своем настаит. И настоял, и поехали с Эдиком. А к обеду вернулись машины, и Глуша узнала, что сына Адамовичихи и Эдика Витковского немцы схватили возле рынка, там они всех хватили, и куда-то увезли.

Вот тут повторилось то, что было и как было, когда матери подружек-утопленниц, каждая от гроба дочери шла к квартире соседки, на полпути встречались и начинали в два голоса кричать из глубины своего ужаса, как бы не в силах поверить в случившееся. Такой же грубый почти животный крик и вид, и у кого — у нашей мамы! Они, мама и Витковская, выбежав на шоссе, снова и снова шли в сторону города, как слепые, женщины-соседки возвращали их назад, уговаривая, успокаивая. А мне — лучше к своей матери не подходи, меня она просто не замечала, а руку отталкивала с непонятной и обидной враждебностью. Как бы подозревая в бесчувственности. Мама отталкивала меня гневно, почти безумным взглядом, если я пытался ей что-то говорить: еще ничего не известно, они вернутся, вот увидишь!..

Они вернулись, как ни в чем не бывало, на попутной машине, веселые нахалы с закатанными по-немецки рукавами, не понимая, а что собственно случилось, чем они провинились. Чем? Что? Ты бы вот посмотрел, что с мамой творилось!

И снова мама, как прежняя, даже поверить трудно, что такое есть, прячется под обычной сдержанностью, столь уважаемой в Глуше. Так вот, нося в себе ужас перед любой угрозой ее детям, она все равно вела себя так, как вела, делала все то, что делала — столько дней, месяцев, даже лет. Чем дольше я живу, тем меньше понимаю ее в этом. Но хочу понять. Как и многое другое...

Но что я понял: все она делала не «из ненависти к врагу». Хотя это нам казалось аксиомой: нас столько лет так воспитывали. «Наука ненависти» — вот что было наукой всех наук.

Нет, на бытовом уровне это чувство ей было не чуждо. Свидетельств тому хватало. Как менялся ее голос, какими непримиримыми делались глаза и сразу темнели, когда заговаривала с отцом (не прямо, но даже нам были понятны намеки) о Розе Марковне, которая заведовала аптекой до мамы. Думаю, что мама уехала учиться в Могилев, передав нас «на руки» тете Витковской, чтобы не потерять в глазах мужа, из чувства соперничества с кокетливо-круглоокой Розой Марковной. Случалось, что и «пилила» мужа по ночам, а спальня у нас одна на всех, и мы не могли не слышать. Однажды крик нас разбудил: отец куда-то побежал, а мы, не веря своим ушам, слышим мамино: «Детки, папа ваш убить меня хочет!» Ей показалось, что он побежал за топором, а мне, когда отец вернулся с горящей папиросой, почудилось, что в голосе матери, так напугавшем, было нечто нарочито-женское, слишк о м ж е н с к о е, для нее столь не характерное. Так что со страстями у нашей мамы было все в порядке.

И в то же время — никакой, ну, никакой ненависти и даже враждебности к тем, против кого она тайно работала, кого убивали ее друзья-подпольщики, партизаны, и кто в свою очередь мог и готов был нас всех уничтожить. Как это возможно, не знаю. Но именно так было, я-то хорошо чувствовал свою маму. Не было в ней, это точно, того, что распирало, например, ее младшего сына — злорадства, если я видел убитых или раненых немцев, которых, осторожно снимая с иссеченной пулями машины, сносили в комендатуру.

Зимой 41-го в дом к нам вбежал молоденький солдат, рухнул на стул, сорвал закаменевший на морозе сапог и, по-щенячьи скуля, начал растирать побелевшие пальцы ноги, при этом смешно гримасничая, как бы проверяя, есть ли у него еще нос, губы, щеки. А, не нравится? Что от самой Москвы бежишь? Из спальни вышла мама с мягонькими фланелевыми портянками.

— Немцу? — крикнул я.

— Какой он немец? — оправдываясь, сказала мать. — Дитя какое-то.

Как перед войной, когда к нам приходили Витковская и жена директора школы Мария Даниловна и мама не могла не поддержать тех, кому хуже, чем нам, так и в первые дни войны зачастила к нам семья Левиных, зная или угадывая эту мамину особенность. Пойти к кому-нибудь, выговориться (слухи такие страшные о расправах над евреями!), услышать слово участия, какой-нибудь совет, дома одним сидеть еще страшнее — понятно, что гнало их к нам, хотя до войны мы не общались с этой семьей. Рядом с аптекой жили Альтшули (сын Мейер, дочка Бая) вот с ними мы были в дружбе — они успели уехать на заводской машине вместе с семьями директора завода и проныры Бляхера, коммерческого директора.

Левины снова и снова возвращались к мысли, казавшейся им спасительной: еврей-начальники убежали, а зачем немцам трогать простых рабочих? Должны немцы разбираться. Должны-то должны, соглашалась мама, но лучше если Левины уйдут в деревню. Подальше от шоссе. (Они так и сделали, в 1943 году их дочка ночевала в лагере нашего отряда, Левины были в еврейском отряде.)

В один из первых дней, когда пришли к нам немцы, мама позвала меня и брата в спальню, в руке что-то держала, не показывала:

— Вот, детки, это ваше. Пусть будет. Вы меня должны послушаться.

Что там такое у нее и почему такое длинное объяснение? Развязала марлевый узелок — крестики! Два меднопоблескивающие, маленькие.

— Это вас крестили. Еще когда в Заболотье были, жили в Конюхах.

— На черта это нам? — я, конечно.

Мама, раскрасневшись от смущения, а оттого еще больше сердясь, напустилась на меня:

— Ты это что? Думай, что говоришь!

И вдруг жалобно попросила:

— Сделайте для меня, детки.

Крестики спрятали в кошельки, каждый в свой. Носить на шее — об этом мама и не просила.

У нашей матери любимая поговорка была: бросишь за собой — найдешь перед собой! На сей раз это не прозвучало вслух, но мне показалось, что именно об этом речь: с давно отмененным Богом мы вступали в деловые отношения заново и по той причине, что пришел враг. Какое на самом деле у матери было общение с Богом (не у нас, крещеных нехристей, а у нее), про это будет особый разговор. А тут она (возможно, небескорыстно) упразднила в своей семье советскую отмену Бога. Раз немцы преследуют евреев, неевреям лучше иметь доказательство того, кто они есть.

Но когда такое доказательство мне могло понадобиться — был такой момент — крестика в моем кошельке уже не было. Выбросил.

После того, как убивали у нас на глазах военнопленных. Ну, прямо по «Карамазовым», мною еще не прочитанным: если ты есть и такое допускаешь — не надо мне твое!

Произошло это 7 ноября 1941 года. А случай, когда крестик мог понадобиться — летом 1942-го. Возвращался я от глушанского музыканта Загмуса Грабовского, у которого брал (без особенных успехов) уроки игры на скрипке. Меня увидел идущий по шоссе немец (наверное, не меня, а скрипку) и перебежал через канаву. Я привычно оценил врага: в очках, без оружия, лишь штык-кинжал на поясе. Это успокоило и придало смелости, даже наглости. Враг протянул руку к смычку, я отвел его в сторону, к скрипке потянулся — я встал к нему боком. Возможно, немец хотел всего лишь опробовать смычок, скрипку, скорее всего музыкант, истосковался по инструменту. Но он — взять, я — не давать! А как с ними еще?

— Юде? Юде? — безобидные очки вдруг засверкали гневно, угрожающе. А мне показалось, что волосы на моей голове опасно закурчавились, потемнели, сейчас набегут еще немцы, потащат и скрипку и меня в комендатуру. Но и этот, единственный, наоборот, сердито побежал прочь, выкрикивая опасное слово.

(Никуда не спрячешься от телевизора, на этот раз «реабилитационно-санаторного», «герценовского»: нервная физиономия Председателя конституционного суда, которого обозвали «мелким рэкетиrom» — почему-то первое слово его обидело больше, нежели второе; снова вице-президент катапультировал из президентского самолета, при этом прихватил одиннадцать чемоданов для спикера...)

Если попытаться понять, как мать, одержимая страхом за детей, почему и как она постепенно теряет чувство осторожности, самосохранения (по отношению к собственной семье), ответ, объяснение я нахожу в одном — военнопленные. То, что с военнопленными, брошенными на произвол судьбы собственным государством, вытворяло это же государство, опрокинуло сознание не ее одной. Сознание всего народа было крайне уязвлено и перевернуто. Это дорого обошлось немцам.

И вопрос уже другой: почему немцы поступали во вред самим себе? На глазах у населения морили голодом, забивали палками, как скот, тех, в ком каждый видел и своего сына, брата. Что, таким способом Гитлер хотел поставить народы Востока, который считал изначально и заведомо побежденным, на колени окончательно? Сломить сам дух его. Демонстрируя жестокую волю германца.

Любые подобные объяснения всего объяснить не в состоянии. Ясно, что такое обращение с военнопленными не могло не укрепить волю к сопротивлению русской армии, да и всего народа, по обе стороны от линии фронта. Скрыть то, что и не скрывалось, было невозможно. Или именно это Гитлеру было нужно: чтобы видели, какую массу врагов он отдает на казнь египетскую.

Именно чтобы видели ему и надо было. Вопрос только — Кто? Кто должен был все это оценить? Чьи Глаза?

Когда я работал над «Карателями», о «Розе мира» Даниила Андреева еще никто и не слышал. Но уже ходила по рукам работа французских авторов: «В каких богов верил Гитлер?» Небывалая у нас книга «Роза мира» заставляет и свои давние мысли-догадки вспомнить, перепроверить.

Когда «Каратели» в 1980 г. пошли к читателю, автор получил письмо от полковника авиации, фронтовика. Письмо, исполненное укоров, устыжающее: вашу повесть критики расхваливают, но ведь у вас полуправда, где у вас Главный Каратель? Полковник имел в виду Сталина. Но поскольку «Каратели» и задуманы были, и писались как «сны двух тиранов», а глава о Сталине лежала с 1979 года, спрятанная до лучших времен, упрек летчика звучал для меня как голос единомышленника.

Вот что писал полковник-фронтовик о вине Главного Карателя: помимо того, что обезглавил армию, он перебазировал, подставил под удар не только истребительную, но и тяжелую авиацию, разрушил укрепления на старой границе до того, как они были возведены на новой и т. д.

Летчик уверен: Сталину нужен был сильный удар со стороны Гитлера по советской армии, стране, по народу — большая кровь, потому он и подставлялся. Для того ему это было нужно, чтобы люди забыли про кровь, им самим исторгнутую, чтобы этим «баранам» небо с овчинку показало и не до того уже было — вести тяжбу со своим вождем, подсчитывать и копить старые обиды. Это и объясняет все его будто бы «просчеты». Но наш Каратель тут уж действительно просчитался, не ожидал столь сокрушительного удара, когда угроза нависла уже над всей его властью и самой жизнью. Вот этого он не ожидал и не хотел.

Что Сталину были на руку зверства, репрессии немцев, а особенно — открытое истребление советских военнопленных — самоочевидно. Спасая себя от полона, от Гитлера, народ и его, Сталина, спасал. При этом пролитая Сталиным кровь замывалась той, которую теперь германский фюрер пускал.

Но Гитлеру, ему-то зачем было подыгрывать своему противнику, сопернику? Наступать, как нарочно, на мину, которая при более гибкой политике на захваченных землях могла подорваться не под ним, Гитлером, а под Сталиным, под его властью.

Или действительно (так в «Карателях») для Гитлера важны были совсем другие Глаза — не видящего все и все оценивающего, не презируемого им населения, а Высших Существ? В которых он маниакально верил. Лишь им, Высшим, служа, он мог заполучить в свои руки судьбы мира. У Даниила Андреева Гитлер и Сталин — лишь частный случай использования самыми мрачными силами Вселенной земных политиков, которые, если хотят власти над миром, обязаны поставлять туда, «вниз», людскую кровь, смертную тоску человеческих мучений, страданий — «красную росу». Кто больше прольет крови и большую дрожь боли пустит по телу планеты, на том и останутся Глаза Высших-Низших сил, тому и отдадут предпочтение.

Не в том вопрос, существуют ли на самом деле Высшие-Низшие. А в том, верили в них тираны или нет, и как они, оба, переглядывались издали, соревнуясь в жестокости, кровожадности. Кровосос на Западе смотрит на такого же вампира на Востоке, кровопускатель на своего дублера-соперника: ты сколько сбросил Им этих своих колхозников? а военных? своих партийцев — сколько? Много, говоришь, мне не сравняться? Ну, ничего, кое-что осталось и на мою долю — вот уже почти 100 миллионов из твоих 200 миллионов в моих руках! Так что посоревнуемся по-большевистски. Глаза Высших остановились на мне навсегда, старайся, не старайся — тебе не удастся вернуть их благорасположения. Твои жертвоприношения стали и еще станут моими, а скоро и остальных отниму у тебя. Что ты без 200 миллионов трупов, кому ты будешь нужен?

Несколько миллионов военнопленных — само по себе много, очень много, но если это жертвоприношение для Высших, которые внизу, или Низших, которые наверху (Высшие-Низшие), то это не такая уж значительная порция «красной росы». Для Ненасытных. Однако если боль одного пустить по нервам многих,

страдания тысяч пропустить через души миллионов, а миллионные, двух-трех-миллионные мучения продемонстрировать ста миллионам, выпустить на простор чужой огромной страны, чтобы и матери, и отцы, и дети — все страдали, мучились вместе с ними — тогда совсем другие масштабы. Низшие — Высшие получают во много раз больше «красной росы».

То-то же Сталин, уже получив верх над кровопускателем-соперником, как же он ревниво подбирал уцелевших «своих» военнопленных — стрелял все, что осталось из отнятого у него. С какой мстительностью уцелевших домаривал в своих лагерях.

(Если это и бредятина, то, пожалуй, только ею и можно объяснить самый большой бред XX века — эту парочку, через которую Запад и Восток все-таки в чем-то сошлись. Чтобы, очнувшись от «соития в ненависти», мы обнаружили у себя в руке одну на всех Бомбу, одну на всех смерть.)

На Глушу вся правда о военнопленных, уже доходившая до нас через рассказы очевидцев, слухи, обрушилась все равно внезапно. С утра разнеслось: из Бобруйска по шоссе гонят огромную колонну пленных, много тысяч: заводская машина пробиралась мимо, объезжала трупы чуть не целый час! На каждом километре по десятку, по два пристреленных. Что немцы такое делают с нашими пленными, знали, не раз слышали, но теперь это двигалось сюда. Как бы приурочили к Октябрьскому празднику, к большевистскому — в этом угадывался какой-то особый смысл, издевка: любите свои демонстрации, ну, так нате вам!

К шоссе устремились десятки глушан, людей в деревенских кожухах, хустках, все новые и новые подходили, подбегали. В руках у многих краюхи хлеба, вареная картошка, домашний сыр — что кто схватил дома. Лица напуганно-встревоженные, уже воющие бабы голоса слышны. Все всматриваются в сторону Бобруйска, но перед глазами лишь побелевшее шоссе и пустота дали, шевелящаяся от беззвучно летящих, падающих снежных хлопьев. Снег на шоссе тут же тает, разбрызгивается колесами. Еще одна машина оттуда, не задерживаясь, проехала к заводским воротам, у тех, кто сидел в кузове, какие-то особенные лица. И то, что никто из них не крикнул, не сказал ни слова ожидающим, лишь подтверждало застывшее выражение их лиц: они уже в и д е л и! То что предстояло увидеть нам. Выражение их лиц странным образом передалось, переместилось на многие женские, плач, крик, как по покойнику, стал громче, тревожнее.

Но что-то уже зачернело в снежном мареве, вдали возле мостика. Из-за снега вынырнули черные человеческие фигуры, доносится какой-то странный, шуршащий и ноющий шорох-крик. Резко (как те черные фигуры из-за снежной пелены) прозвучали хлопки-выстрелы, один, второй, наконец можно разглядеть: впереди идут эсэсовцы в своих черных плащах, у ног дергающиеся собаки, следом движется та самая шуршаще-хлопающая людская масса, надвигается все разбухающим мутным пятном. Видно, как идущие по обе стороны от колонны конвоиры то набегают на нее, взмахивая руками, то отбегают (белые березовые палки в их руках, невидимые сначала из-за снега, мы разглядели позже). Вот один остановился и, отбросив автомат на ремне за спину, чтобы не мешал, взял в обе руки березовую дубину и раз за разом опускает ее на головы, на плечи, на заслоняющие руки (а многие уже и не заслоняются) проходящих мимо него людей. Серая шинельная масса, неправдоподобно большие остановившиеся глаза, одинаково темные у всех лица — движется все это, течет, протекает мимо нас, через нас. Хлопающий шорох в снежном месиве сотен, тысяч ног, босых или в тряпье. Между ними и нами — эти в смоляных, мокро сверкающих плащах, с березовыми, предательски белыми палками и рвущиеся к живому человеческому мясу овчарки. Ощерившиеся пасти. Пленные идут сначала сквозь нашу немоту, затем — как прорвалось — сквозь непрерывный бабий крик, вой. Кто-то пытается передать, перебросить то, что принесли, хлеб, узелки с творогом, сало — к нам под зачастившие удары палок тянутся худые руки, серые шинельные рукава. (Цвет лютого голода, цвет плена — серый, шинельный, это осталось надолго в нашем сознании.) Показалось, что конвоиры схватили кого-то из глушан и зашвырнули в колонну, березовые палки с одинаковой яростью опускались на головы идущих по шоссе и на головы жителей, напуганных от канав.

Высокий, особенно заметный среди идущих откинутой назад головой, прокричал, и его все услышали:

— Вот, родные, на погибель нас!..

Сколько длилось шествие людей-теней, сколько их прошло перед нами, ответить, пожалуй, не мог бы никто. Они шли, уходили в сторону Старых Дорог, Слуцка, оставляя на обочинах — новые и новые трупы. И все это не кончалось, продолжалось, переместившись вместе с нами в наши дома, к вечерним коптилкам, в полутьму тесных от соседей комнат.

Когда я прибежал к шоссе, и увидел, что у многих глушан в руках продукты, еда, бросился назад к своему дому, но мама уже несла что-то в глубокой тарелке (клинок сыра, вареную картошку), а Женя тащил несколько буханок черного и серого хлеба (как раз вчера Эдик Витковский привез из города мешок хлеба — недельный паек глушанской медицины). Любопытно, что мама не забыла тарелку, хотя это было диковато по обстановке. (То же самое в 1946-м: она позвала обедать немцев-военнопленных, которых я привел из Глушанского лагеря копать, делать для аптеки погреб, и положила перед каждым мельхиоровый прибор — ложку, вилку, нож).

Люди побежали, начали кричать, стремясь передать, перебросить пленным то, что принесли, я увидел, как Женя швырнул прямо в середину колонны хлеб и там замелькали руки над головами. Я бросился туда, где с женщинами стояла бледная мама со своей неуместной тарелкой, схватил еще оставшийся сыр (мягкий, рыхлый, крошился в руках), попытался как-то приблизиться к идущим, ловя момент, когда между ними и мной не будет хотя бы овчарки. Но когда рванулся вперед, на меня налетел огромный, тяжелый конвоир и стал лупить всем сразу: автоматом, палкой, коленкой, сапогом, ничем не попадая — от излишнего гнева и возмущения. Но вышиб из рук сыр, и он упал метрах в двух от ног идущих. Отскочив к канаве, я приземлился на миг на сразу промокшие брючонки, чуть не скатился в снежную жижу, заполнившую канаву. Сыр мой, развалившийся на куски, лежал на виду у проходивших пленным, кто-то его замечал, делал произвольный шаг, движение к нему, и тут же на него обрушивались яростные удары, удары, а один пленный, неожиданно юрко уклонившись от замахнувшегося немца, бросился, нет, нырнул туда, где лежал этот несчастный сыр. Упал на него и руками, пальцами стал запихивать куски в рот, не обращая внимания на бьющие его, с двух сторон, сапоги. Конвоир, отступив в сторону и откинувшись всем телом назад, вдруг ударил из автомата. Строчил и строчил в недвижимого пленного, который лежал возле сыра, по д б р о ш е н н о г о м н о ю.

— Говорят, это финны были?..

Невинно-вопросительно, а мне показалось, что лживо-притворно прозвучал голос Витковской.

— Оставьте вы, какие там финны!

Витковская уловила непривычно резкий тон маминого голоса, так она с Витковской никогда не разговаривала.

— Чего от врагов ждать, — запричитала женщина, — от чужих, если свои вон что с людьми вытворяли?..

В этот вечер мама была сама не своя. Что-то происходило в ней, видимо, многое, решившее на будущее. Не знаю, что она видела за тем, что, не кончаясь, проходило — у нас у всех перед глазами. Своих родителей, сестренку, вот таких же гонимых? В такой вот процессии полутрупов — нашего отца, слухи были, что видели и его в плену.

Чего наверняка не знала мама, так это, что ей придется разыскивать Женю уже в наших лагерях военнопленных, освобожденных из немецких лагерей.

Уверен в одном: с этого дня, с этого вечера она за нас бояться стала еще больше, но уже по-другому. Что-то вошло в нее, появилось — сильнее и властнее даже боязни, страха за семью.

Я же именно в этот день 7 ноября 1941 года бежал, не думая, куда бегу, через свой огород к зданию школы, держа в руке невесомый крестик, которым мама хотела вернуть нас Богу, и не первый на земле упрекал его: р а з т ы т а к о й,

тогда ничего от тебя не надо! А когда отшвырнул от себя крестик, не ощутив никакого освобождения руки от тяжести, возможно, понял: вину свою не отшвырнул, ее не отбросишь, будешь всегда носить в себе. Ведь это из-за меня убили человека!

То, что мама, как тогда говорили, «связана» с окруженцами, а позже — с партизанами, мы с братом об этом знали. И что ей там, в деревнях или в лесу (ходила туда как бы менять вещи на продукты) дают деньги, мед, сало, а она все это возит в Бобруйск, обменять в аптечном складе на «перевязочные материалы», на драгоценный стрептоцид. От нас не скрывала этого с самого начала, с лета 41-го. Видимо, понимая: если что, расплачиваться всем, а потому, сама, может, того не сознавая, искала и получала от нас согласие. Конечно, самое бурное и радостное согласие. Но вряд ли это ее успокаивало, или утешало. «Ничего вы не понимаете, вам все это игра!» — такая была реакция ее на наш энтузиазм.

И в Глуше немцы устроили лагерь военнопленных. Сразу за поселком напротив электростанции и бани.

Огороженный двумя рядами колючей проволоки, заметно расширяющийся в разнозначные две стороны: аккуратные постройки для немецкой и «добровольческой» охраны и рвы-могилы позади погребов-землянок у леса. Пленных гоняли ремонтировать асфальтку, заготовливать лес, расчищая вдоль дороги «полосу безопасности», привычным для Глуши становился цвет плена — шинели в ржавых пропалинах, с обгоревшими полами, натянутые на уши пилотки. В лагере было много лошадей, но тяжеленные бочки с каменно-ледяной водой возили на людях: вцепившись в оглобли, в грядки, подталкивая телегу, волокли обмерзшие бочки, а ледяная вода, выплескиваясь, окатывала их от плеч до ног, да еще конвойр подбегал и бил прикладом за то, что рывками тащат. Били немцы, били «добровольцы», сами из вчерашних пленных.

И вдруг что-то произошло — не в Глуше, а где-то — пленных, как били на каждом шагу, так и продолжали бить, по-прежнему морили голодом, каждый день трупы закапывали у леса, но почему-то стали приводить в медпункт и аптеку — лечить. Вроде был какой-то протест Молотова, заявление союзников, Красного Креста — и вот результат. По вторникам человек 50—60 пригоняли к зданию аптеки, где в задних двух комнатках Эдик Витковский разместил глушанский медпункт, по несколько пленных запускали к нему через задние сени, затем с рецептами они шли в аптеку через парадную застекленную верандочку. Все в строгом порядке, хотя для истощившей этих людей болезни нужен был главный, рецепт и основное лекарство — питание. Мама со своими помощницами — худенькой тихоней Франей и веселой толстушкой Ниной, — когда первый раз неожиданно привели голодных людей, с ног сбились, собирая в «материальной» и на кухне все, чем можно поддержать силы человека: глюкозу, какие-то свои запасы еды. К следующей, у вторнику в аптеке было уже побольше нужных «лекарств», притащили туда все, что могли взять у себя дома: сыр, молоко, хлеб. Специально мама и бабушка наварили картошки, каши. И мамыны помощницы что-то принесли. Но само так получилось, что ко вторнику в аптеку глушане, а то и деревенские несли, что у кого имелось, дело приобрело совсем другой размах. Немцы-конвойры сами в аптеку не заходили, сторонясь грязноватых серых шинелей, прогуливались во дворе, вдоль шоссе, у окон медпункта. Набивалось, скапливалось перед стеклянной аптечной стойкой по 20—30 человек, голодные люди старались, как могли, навести какой-то порядок, установить очередность — кому получить и чтобы тут же съедали, не вынося на улицу. Голодным безумием горящие или мертво покорные огромные глаза, выпирающий рот, зубы и эти по-бабьи нелепые, натянутые, казалось, уже не на голову, а на череп пилотки — так больно было на них смотреть. Стеклянная стойка ходуном ходила, все друг друга уговаривали не напирать и все невольно прорывались вперед. Женщины с опаской посматривали на окна. И однажды произошло то, что не могло рано или поздно не произойти. Кто-то из пленных в рукаве вынес краюху хлеба, не выдержал и откусил на глазах у конвойра. Тот бросился к нему, выхватил хлеб и, подняв его, держа высоко, как улику, рванулся внутрь аптеки. Женщины все это видели в окно, и пока он пробивался сквозь сгрудившихся пленных, успели унести на кухню корзины, сумки. Мы с братом убежали

в медпункт к Эдику и там затаились, а мама и ее помощницы (потом они нервно-весело рассказывали) углубились в обычную работу: старательно заворачивали порошки, отсчитывали капли. Конвоир застал их за этим занятием. От такой наглости онемел, закричал на маму, тыча куском хлеба чуть не в лицо, а затем двинул автоматом по вертушке так, что склянки посыпались.

Пленных тотчас вытолкали из аптеки, увели в лагерь. А маму через какое-то время вызвали в волость. Бургомистр Ельницкий, «тоже из кулаков», стыдил, укорял «мадам Адамович» за столь вызывающее поведение. И кто бы, а то — «умная и культурная женщина». (У человека свои представления были об этом.) В конце предупредил, передал то, что немецкий комендант сказал переводчику, фольксдойчу Барталю, а тот — бургомистру: еще раз такое повторится, и не будет ни аптеки, ни аптекаря!

Когда через две недели (одну пропустили) снова привели пленных на лечение, весь погреб был набит продуктами. Люди несли, уговаривали, просили: «Вы уж как-нибудь, Анна Митрофановна». Мама запретила нам с Женей напрямую в этом участвовать (наши протесты только разозлили ее), и все продолжалось. Видя это, встревоженный фельдшер Эдик Витковский переместился со своим медпунктом в помещение бывшего радиоузла. Зав. аптекой приняла это как должное, так было даже удобнее.

Неизвестно, чем все окончилось бы, ведь десятки людей знали, участвовали в этом. Но вскоре перестали пригонять пленных.

У меня были свои дела с пленными. Несколько человек приводили качать воду в комендатуру, а я к этой, когда-то больничной, помпе, ездил с бочонком на тачке или с санками, мне почему-то не запрещали брать воду. Заходил в будку, Петро (черноглазого, похожего на цыгана пленного так звали) тут же закручивал воду для комендатуры и откручивал мне, чтобы пошла в навешенное снаружи на трубу мое ведро. Полицей скучал на улице, и я быстренько опорожнял свои карманы в карманы шинелей. Особенно радовались табаку: при куреве не так есть хочется. Заодно сообщал новости. Помню, как спешил поделиться великой радостью: немцев поперли от Москвы, скоро наши будут здесь.

Почему-то молчали пленные, а Петро наконец сказал:

— Говорят, наши не прощают за плен?

И я, конечно, опровергаю: неправда, вранье немецкое! Кому будет действительно плохо — вот этим! — и показываю глазами на полицей. Пленные радостно соглашались, но в глазах тоска остается. Они не могли тогда объяснить, а я даже подумать: те двое, которые нами воюют и нами кормятся — один в Москве, второй в Берлине — дожрут, обглодают до костей.

...По телевизору показали, в газетах появились фотографии: осколки черепа Адольфа Гитлера с пулевой дыркой.

В 1945-м кремлевскому победителю, возможно, предъявляли доказательства того, что найденный во дворе имперской канцелярии обгоревший труп — в одной яме с останками Евы и собаки — Адольф Гитлер.

И тут же со всей старательностью, несколько служб МВД, ГРУ наперегонки взялись выяснять, куда исчез Гитлер? Без конца допрашиваемый по этому поводу камердинер фюрера Гейнц Линге, адъютант Отто Гюнше, шеф-пилот Ганс Баур, какие-то австрийские тетушки фюрера в толк не могли взять, чего от них хотят московские победители: чтобы соврали, будто Адольф Гитлер живой и где-то прячется? Зачем это им, что за этим кроется? Но и генералы сыска, Круглов, Серов, Абакумов, тоже не знали, чего ждет, а главное, хочет Вождь, а потому искали давно найденное. Лишь бы только не останавливаться, не разгневался бы Хозяин. Допрашиваемым чудилось, что в Москве дух или душу фюрера не хотят отпускать, пытаются настичь и вернуть. А генералам «органов» и разведслужб казалось: Сталин желает — а кто посмеет ему в чем-то перечить, не исполнить даже не высказываемого открыто желания — ждет и требует живого Гитлера. Хорошо еще, что не живого Нерона или Чингисхана.

Хотя понять его можно (решались думать некоторые из них): сразу потерять такого врага — все равно что ближайшего друга потерять! А тут еще Рузвельт умер! Черчилль

сошел со сцены. Не с Трумэнном же или Эттли иметь дело Сталину. Заскучаешь и по Гитлеру. Когда доложили, что покончил с собой, произнес, возможно, заранее заготовленное: «Доигрался, подлец!»

А возможно, и не заранее — искренне вырвалось. Сколько можно было бы выяснить у Гитлера того, что никому неизвестно. А что сказано, обговорено, могло быть один на один — о чем не поговоришь с Молотовым или Берией. Сколько общих воспоминаний, хотя никогда друг с другом не встречались.

...Следы «исчезнувшего» Гитлера все еще искали в Берлине, в Испании, в Аргентине, в то самое время, когда он сидел за Кремлёвской стеной в небольшой затемненной комнате рядом с кабинетом Сталина, они вдвоем сидели за столом, но разговора, ради которого Сталин все это и затеял, не получалось. Гость панически боялся, что его отсюда заберут, не вернут в камеру на Лубянке, а посадят в клетку и повезут по России. Как дикого зверя — на потеху толпе.

Но все отладилось. Привели его снова, а хозяина кабинета не узнать. Снял мундир генералиссимуса, которым особенно смутил вначале: будто ефрейтора вызвали к фельдмаршалу. (Столько прежде ефрейторством кололи глаза, что не могло теперь не всплыть в сознании.) Хозяин Кремля был в скромном полувоенном френче и грубых солдатских сапогах. Улыбался в пышные, как у Ницше, усы, глаза — приветливые, теплые. Ни следа прежней угрюмой угрозы, вчера таившейся особенно в жестких, как чешуя, морщинах вокруг желтых глаз.

Встретил у порога, как гостя, провел к столу, обыкновенному, канцелярскому столу, но накрытому под эдакий холостяцкий или деловой ужин. Два прибора, легкие закуски и много зелени, бутылки вина, никакой русской водки. Все заставляло вспоминать выражение: по-восточному гостеприимный (хозяин). А ведь могли и раньше встретиться, могли.

Уже через несколько дней (ночей) стол из подчеркнуто вегетарианского превратился в основательно-мясной, гость охотно отдавал честь красному вину и хорошему куску поджаренной свинины. Пьянел моментально, но хозяина не обманешь: у него был уже опыт общения со слабачками, вроде Климата Ворошилова, изображавшими отключку задолго до настоящей, и был способ проверить человека — созрел для откровенной беседы или только притворяется, валяет дурака. Способ простой: заставь смотреть себе в глаза и внезапно огорись вопросом. Например: ты английский шпион или американский? о чем вчера говорили, выйдя из машины?..

С Гитлером другой вопросец сработает безотказно: так, говоришь, опасался, что в клетке по России повезут? Интересная идея, надо обмозговать. Но раньше поговорим по душам. Уж мы-то можем не дурить друг друга!

Странно, но они превосходно обходились без переводчика. А если бы присутствовал кто-то третий, немало любопытного бы услышал. Из того, что при мучительных бессонницах вереницей проходило перед глазами в этих стенах или на «ближней» даче. Вся жизнь сплошь монолог, разговор с самим собой, за себя и еще за кого-нибудь, кто появился и торчит перед тобой, не уходит.

Гость, осмелев, раскрепощенный вином, становился даже болтлив. Перебивал, опаривал хозяина, а тот лишь снисходительно усмехался и подливал любившееся кавказское вино в фужеры. Но в какой-то момент гость ловил на себе неподвижный желтый взгляд. Ящера и моментально трезвел. Торопливо возвращался к разговору, который, он заметил, умиротворяюще действовал на хозяина. Нескончаемый разговор про то, как он, фюрер, не учел скифскую природу и стратегию русских, а точнее, Сталина стратегию и тактику — заманивать, зазывать врага в глубь своей территории, поближе к дому: русские убеждены, что дома и стены им помогают. На Западе иные представления и предпочтения. Много, много сюрпризов вы нам преподнесли! И под Москвой, и под Сталинградом, да и после. Гость, постепенно увлекаясь, обрушивался на своих генералов, тупых и самонадеянных бездарей, которые не понимают, что интуиция вождя (фюрера) во сто крат ценнее, нежели их учебники, «специальные» знания и правила ведения войны. Хозяину тема эта тоже была по душе. Усы вождя довольно пушились, он наливал вино, пододвигал закуску.

Признаюсь, нелегко представить себе эту парочку, их разговоры. Для меня — гораздо легче и привычнее: встреча бывшего полицейского с тем, кто его когда-то подстрелил, укоротил одну ногу. Случилась такая встреча в деревенской бане, где-то в 59-м, в 60-м. Полицай, «получив свое», вернулся в родные края, и ничего, даже с пенсией, шахтерской, воркутинской, а это раз в 5—10 выше, чем у вчерашних партизан, а теперь — колхозников. Так что

появилась дополнительная причина опасаться места. Что грабил односельчан и соседей, охотился на партизан вместе с немцами — за это отсидел, да и забывается, оказывается, все, когда жизнь прижмет. А после войны всех прижала — партизан ты, не партизан. Но вот пенсию землячки не простят — это он знал.

Жил с постоянной оглядкой, опаской. А тут такая встреча в бане. Точнее, в предбаннике, когда вышли, распаренные, убагодворенные, одеваться.

— Глянь, это он! Как тебя там зовут?

— А это вы, товарищ Татур? И я вас признал.

— Еще бы! Ну, как живешь? Выпустили?

— Документ имею. От звонка до звонка. Живу, пока живется. Во, видите!

И пригласил обратить внимание на его ногу: во, короче, кривая, не гнется, падла!

— После боя зубаревичского, помните? Здорово вы нас там. Ваша работа, товарищ Татур. Твоя, Петро!

Сделал и еще движение, как бы пританцовывая. С таким выражением лица, с каким довольный заказчик, встретив, благодарит мастера-сапожника за хорошую обувь — мол, каждый день поминаю добрым словом!

— Увязался ты за мной тогда, Петро, ну, думаю, конец мой пришел!

— Где ты там спрятался? Мы искали, искали: как сквозь землю провалился.

— А там была собачья будка. Застреленный пес лежал. Его кровь меня и спасла. Мою не заметили.

— Так ты в будке прятался? Я видел ту собаку.

— Куда угодно полезешь, когда прижучат. Здорово вы нас тогда, ничего не скажешь!

...Гость перебирал самые запомнившиеся им обоим критические ситуации, но в его освещении все они демонстрировали преимущество Востока над Западом. С французами, скандинавами, с англичанами такое у Гитлера проходило удачно, а тут — как ни бился, ни старался — другой противник. И как здорово Сталин обезопасил себя от шпионов. Уж жучил Гитлер, жучил своих Гелена, Канариса: почему не предупредили, что у русских танков больше, чем у Германии, а самолетостроение с огромным запасом возможностей? Специальные подразделения вынуждены были создать по очистке автомагистралей от русской техники. (Это прозвучало двусмысленно — как напоминание о страшном разгроме всей упомянутой техники. Пришлось тут же менять тему.)

Несколько ночей подряд — только об этом, о том, как из Берлина виделось, оценивалось. Но часто замечал, что его не слушают, хозяин недовольно хмурится, не прикидывает ли: может, отправить собеседника куда-нибудь н а с о в с е м. Внезапно спросил:

— Вам что-либо передавали болгары — осенью 41-го, когда вы свой «Тайфун» на Москву запустили? О чем был разговор?

Гитлер помнил о чем: Сталин предлагал «новый Брестский мир», все, все отдавал западнее Москвы — только бы оставили его самого в Кремле. Обещал ресурсы России поставить на службу Германии, для войны с западными демократами-плутократами.

Нет, признаться Гитлеру, что он знает, помнит про такое — значит, подписать себе смертный приговор. Доразговариваешься, доспоминаешься до того, что этот восточный сатрап все-таки запрет тебя в клетку и прикажет возить по всей своей империи. Глядишь, и в Берлине будут показывать...

Гость изобразил полное выпадение памяти: не было никакого болгарского разговора, не обсуждалось даже!

Странно только, что про своих военачальников, Тухачевского и других, которых обвинил в сговоре с германским генштабом, Сталин не расспрашивал. Зато прямо-таки ввинчивался в мозги: вспомни и расскажи, выходила ли германская разведка или хотя бы частные лица на Жукова, на других его генералов — с чем, когда, насколько удачно?

Похоже, что Сталину и эти уже намозолили глаза, берется за них. Ну, что ж, его дело. Ничего определенного не ответил, но и не отрицал, что такое могло быть на уровне заинтересованных служб. И даже вроде были разговоры, что русские военные хотели бы закончить войну без Сталина (впрочем, как и немецкие — без Гитлера), боялись, что Сталин обойдется с ними так же, как с Троцким, Бухариным, Тухачевским — предпочтет не делиться плодами победы.

Сталин выслушал внимательно, с лицом непроницаемо-спокойным. Предложил:

— А все-таки выпьем за наших генералов. Они старались, как умели. Выслушай их и делай все наоборот. Очень помогало.

Гитлеру хотелось узнать про Высших: являлись ли они Сталину, с какими повелени-

ями-предложениями? Хотелось сопоставить даты: к кому из них приходили раньше и с чем, как Они выбирали между двумя? Когда делали ставку на Восточного и когда от него отступались — в пользу Западного. А потом снова перевели Глаза на Сталина. Еще бы: у него все в пределах досягаемости, под руками 200 миллионов дрожащих тварей, из любого может сделать жертвенную тушу. Тащи овцу из собственного стада. А если твои враги вне границ, до них надо еще дотянуться, дорваться — ясно, это куда сложнее. Но они раньше начали, коммунисты, перехватили удобненькую идею классовой селекции. А нам оставили расовую, с ней вон как не просто — соседи сразу ошетиниваются. Вот бы объединить! Классовую с расовой. Это сколько же можно было бы иметь материала под руками. Тут уж Высшим не пришлось бы выбирать. Прав восточный сатрап — упущен был шанс. Такой шанс! Теперь об этом можно поговорить без ревнивой злобы и зависти. Каким-то образом Сталин прочел мысли его и тут же спросил:

— Это кто вас надоумил: не разделившись с англосаксами, броситься на восток? Видно, кто-то авторитетней Бисмарка! Кто же он и?

«Они» — произнес с нажимом, но по его схваченным ржавчиной глазам не прочитаешь: кого имеет в виду.

— Что, финская кампания ввела в заблуждение: колосс на глиняных ногах?

— Признаюсь, да, и финская. Но были и другие голоса. Кажется...

— У нас, у атеистов, в таких случаях советуют: если «кажется» — перекрестись.

Уходит от прямого разговора о Них. Наверное, считает исключительно своей тайной?

А однажды заговорил напрямую вот о чем:

— Дурак ты, Адольф, я тебе скажу! Да мы на пару, вместе, знаешь как отделали бы всех этих Черчиллей-Рузвельтов. Что тебе в нашем коммунизме? Ну, убрал бы одно слово из своего национал-социализма. А надо, так мы бы одно добавили. Разве в словах дело?

Часто и подолгу простаивали у огромной, во всю стену, карты мира. Молча потягивая вино, рассматривали контуры континентов.

— Интересно, бог их видит такими же, Европу, Америку?

— Бог не знаю, а вот Высшие существа (я давно хотел про это, Иосиф) видят, как оно есть на самом деле.

— А на самом деле?

— Люди ползают внутри шара, как мухи, а нам кажется, что на поверхности. Мои ученые проверяли.

— А ты им и поверил. У всех ученых мозги, как куриная требуха. Вправлять надо время от времени.

Кто-то из двоих фужером или курительной трубкой дотрагивался до какой-то точки призывно распростертой перед ними планеты. Второй свою точку на карте отыскивал и тыкал в нее. Фужеры им уже помеха, отставив в сторонку, растопыренными пальцами ощупывали, шекотали планету, вспоминая то, что было год или два назад, и прикидывая, что и где происходит, делается теперь, в настоящее время. Пальцы, руки их встречались на пышнотелой Франции, на отскочившей в сторонку, как пугливая лошадь, Скандинавии, сползали книзу на потно-знойный юг, тыкались в заливы, ползали по рекам. Разгоряченно разбегались — гость к одной половине земного шара, хозяин ко второй, каждый настаивал на своем варианте, выставлял свою правоту, но потом руки их сбегались — на Северной Америке. Один к ней поднялся от Бразилии, Аргентины, второй спустился через Аляску.

Перебежав к огромному глобусу, начинали все сначала, с еще большим азартом, вдохновением. В ладонях глобус вертится атласно-ускользающими ягодицами, оба они то мешают друг другу, то помогают, разгоряченно и радостно вьются:

— Отсюда!

— Нет, отсюда!

— Тут подбрюшье мягкое...

— А про бомбу забыл? Не забывай про бомбу. Для тебя готовили, а япошкам досталась.

— Нет никакой атомной бомбы. Пропагандистский блеф — с американской наглостью и размахом.

— А что тебе остается говорить, если ты просрал ее? Да, ты, а кто же! Если бы объединили силы, германская техника, наша рабочая сила. И не только рабсила. Твои же Эйштейны разбежались. А мы своих — еврей, не еврей — в надежное местечко, под замок: держай, твори!

— Ну, а где ваша бомба, если так?

— Будет. И кое-что еще. Не думаешь ли ты, что скажу тебе как есть. Наше гестапо не дремлет. И товарища Сталина по головке не погладит.

Когда гость напивался (а это случалось все чаще), он начинал плакать от обиды: немцы его предали, забыли! Живут бок о бок с американцами, англичанами, этими русскими свиньями (иногда спохватывался, пугался, но Сталин его как бы и не слышал, однажды только поправил: «Я бы сказал: «русские бараны»).

— На немцев жалуешься. С моим бы народом попробовал. Ты ведь проиграл войну, а тут: пол-Европы присобачил к империи русских царей, и что? Благодарность какая-нибудь? Только и знают: «Сталин — это Ленин сегодня». А что ваш Ленин, если бы его послушались, давно имели бы лоскутное одеяло, а не державу. Кстати, как тымотришь на это: постоять на Мавзолее в октябрьские праздники? Соскучился по парадом?

Иногда разговор о минувшей войне настолько захватывал, что они начинали заново переигрывать главные операции — как с той, так и с другой стороны. Увлечшись, Сталин рисовал на карте стрелы с запада на восток, лихо закручивал их вокруг Москвы, Куйбышева, приговаривая: «Вот так, и здесь вас достанем, ишь, куда попрятались, зашились шкуры министерские — не столько от немцев, сколько от Сталина подальше!»

А то начинали петь, вместе: грузинские и тирольские мелодии удивительно согласованно звучали, пение настраивало на общую печаль — и тот, и другой чужаки в своих странах, пришедшие, все сделали, чтобы возвеличить чужой народ, но остались одиноки. Зато они друг друга понимают.

— Слушай, — поинтересовался, как всегда неожиданно, Иосиф, — в своей зоне в Германии мы этого не отыскивали, вы все архивы на запад утащили, союзникам достались. То, что получал наш Ильич деньги от Вильгельма — мне известно, меня другое интересует: была ли и какая кличка у него?

Адольф уже знает, что нельзя сразу отвечать: да или нет, следует так выстраивать свой ответ, чтобы он по ходу ложился на тайные мысли Иосифа, его интерес.

Сказать, подтвердить, что Ленин — штатный германский агент не жалко Гитлеру. Но это ли хочет услышать Сталин? Как-никак Ленин — их святыня. Что, как озлится? Начал неопределенно, но по еще больше затвердевшей чешуе морщин вокруг совсем пожелтевших глаз понял без долгих слов, какого ответа ждут.

— Был, был как-то разговор, когда обсуждался вопрос об пропагандистском обеспечении «плана Барбаросса». О Сталине, извини...

— Это я знаю, читал ваши листовочки: проданся жидам и западным плутократам.

— Ну, а про Ленина... Называли, вспоминаю, агентурное имя. Если память не изменяет: «Монгол».

— Монгол? Вот так Владимир Ильич. «Чингисхан, который прочел «Капитал» Маркса»... Это он так выразился про одного известного марксиста. Говорим про других, а что проговариваемся — не замечаем. Ну, а ты признавайся, прошел такую службу? Все не без греха.

— Клевета еврейская! Рейхсвер будто бы платил еврею Адольфу Гитлеру за услуги осведомителя. Немцы всему поверят.

Был момент: Адольф, вдруг расчувствовавшись, попросил простить его за то, что «негодяи Гимmlера» застрелили сына Сталина. Отец в ответ долго молчал, ходил у стены с погасшей трубкой в напрягшемся кулаке. И вдруг, вскинув обе руки над головой, закричал. По-своему, на грузинском, наверное, впрочем, тоже понятном новому его другу:

— Дети! Какие дети? При чем тут дети? Кому от них радость?

И в который раз Гитлер восхитился своим обретенным другом. Роковая ошибка, что они не пошли до конца вместе.

И снова как бы подслушал его мысли Сталин:

— Видишь то окно, посмотри на эту башню! С нее спрыгнул Гришка Отрепьев, когда убегал от московского люда, обманутого, взбунтованного боярской сволочью. Знаешь такого? Самозванец Гришка Отрепьев. Кстати...

Дотронулся до слабосильной руки Адольфа своей, такой же:

— Кстати, у него одна рука была тоже... убогая. Знак, что ли, такой? Не бойся, нам не придется прыгать.

И поинтересовался:

— Как там мои Гимmlеры, не обижают тебя на Лубянке? А то они шутники: оторвут голову и скажут, что так и было.

— Не могу пожаловаться. Я будто гость у них. Вежливые, обходительные.

— А ты и есть гость,— и Сталин вдруг запел, театрально откинув в сторону руку с трубкой: — «Ты не пленник, ты гость у меня!»

Пообещал:

— Мы тебя в Большой сводим. Как ты насчет балерин? Или тоже вегетарианец? А вот мои соратники — мастера по сей части.

Время от времени в комнату, предварительно поскребшись в дверь, вползал-входил лысый человечек без глаз (ни разу глаз не поднял, и Гитлер их не увидел), клал на стол красную папку и исчезал. Сталин неохотно перебирал листки, что-то подписывал, другие гневно перечеркивал или размашисто писал несколько слов сверху на полях. Однажды, усмехнувшись, передал шариковую ручку гостю: «Соскучился? Подписывай» — и показал где. Привыкнув за это время ничему не удивляться, Адольф с удовольствием проделал то, по чему рука и глаз действительно заскучали — поставил подпись. Эта подпись двигала армии, решала судьбы людей и стран.

— Пусть они там!.. — злорадно произнес хозяин кабинета, отталкивая от себя папку с бумагами.

Все чаще из Кремля выходили директивы, указания за двумя подписями: всем высшим чинам знакомой: «И. Сталин» — и непонятно какой. Знающими, прочитывалась латинка: «Адольф Гитлер». Но поверить в это вначале никто не решался. Закрывшись в кабинетах за двойной дверью, секретари обкомов и крайкомов всматривались в подпись, как в некий кабалистический знак. Не может быть, это что-то другое! Догадками не делились, ни с кем разговоров не вели, каждый делал вид, что ничего такого в этом не видит. Партия знает, что делает. Слишком все научены были: не забегай поперед батьки! Но и не дай бог промедлить, опоздать, когда партия разворачивается на марше на 180°. Сколько мидовцев, да и видных партийцев не смогли в нужный момент сделать вид, что они всегда так думали и считали — это когда фашистская Германия и Гитлер из «врага № 1» вдруг сделали друзьями и союзниками. Где они те, нерасторопные? Но нельзя ни на миллиметр и вперед забежать: вдруг разворот отменят, а ты уже выбежал из рядов. Назад не вернешься, не примут — правила жесткие.

Если ты преданный сын партии, верный ленинец-сталинец, да и просто хочешь выжить — заранее принимай все, что может поступить, прийти сверху. При этом будь готов от всего тотчас отречься, если ситуация переменится. Нет ничего, с чем ты себя отождествляешь. Но если исходит от Него, принимай все как есть, безоговорочно. Даже если вот такое: бумага с росписью покойника и какого -- Адольфа Гитлера!

Хозяин знает, что делает. Мир не раз ахал, пораженный. Ахнет и еще раз.

Мир, однако, не ахнул, все происходящее он склонен был утопить в газетной, в радиоболтовне на тему о тоталитаризме (нашли слово и обрадовались). Мол, из единого корня произросли, один ствол срубил вторая мировая война, второй на себя все соки забрал и на него перелетело, пересело все, что прежде ютилось под корой и в троне срубленного дерева. Тиранический бред, не больше. Ну, а что слухи самые дикие в Москве и по всей огромной стране — именно огромность расстояний, территорий способствует их характеру, интенсивности. А если учесть условия, в которых живут эти люди, и то, как они живут — слухи и мифы единственное средство уберечь себя от полного сумасшествия. Вот и бредят наяву: Сталина, оказывается, давно нет в Кремле, отравили. То ли Троцкий отравил, то ли немецкие шпионы — после того, как добрейший грузин воспротивился коллективизации, раскритиковал намерения за счет ограбления крестьян делать машины и танки. С помощью троцкистов немцам удалось посадить в Кремле своего человека — на место и под видом Сталина. И подобрать ему «соратников» (многие из них тоже двойники). А иначе и не объяснишь все, что творилось в стране. Особенно, когда армию обезглавили, а затем не позволяли отражать нападение Германии пока оно не набрало силу. Кстати, вот еще одно объяснение случившемуся в дни смерти и похорон кремлевского диктатора: почему так бросились к гробу его десятки тысяч, давя друг друга в невиданных скопищах — подсознательное стремление самому увидеть, убедиться, найти подтверждение или опровержение: так он это или не он?!

Так что народ как бы и не удивился, когда Адольф Гитлер оказался в Кремле. А где ему еще быть? Да он всегда там сидел.

Ну, а Политбюро? Никакого нет Политбюро: межсобойчик педерастов, они своих жен сбаврили в лагерь и вновь забавляются на дачах, старые вонючие козлы. (Специальные люди отлавливают на улицах молоденьких девушек -- они их, зажаренных, съедают, чтобы раскошегарить свои обрюзгшие тела.)

Волны слухов и страстей разбивались о кремлевскую стену, лишь брызги долетали до кабинета-столовой-спальни Сталина, но на попытки ему что-то сообщать, он так отреагировал, что информация почти пресеклась. Гость поселился в кабинете, спал на диване, больше его не беспокоили.

Сталин, однако, не забывал про то, что может происходить вне Кремля. Наоборот, очень даже нравилось ему представлять, какое смущение царит там, особенно в его верной партии. Ну, а как еще проверишь силу своего авторитета, власти? Только так. Например: вступаем в антикоминтерновскую коалицию государств! — намерение такое было накануне войны. Жаль, что не получилось. Дурак этот заупрямился, а за ним — и дуче, и японцы. Конечно, для тех, кто не по Сталину диалектику изучал, это был гром с ясного неба. Планку приходится поднимать. Аж до вот такого сюрприза: Гитлер в Кремле! Чтобы глаза на лоб лезли. На следующий шаг уже и фантазии не хватает.

Однажды подумал вслух:

— А ты, Адольф, хорошо смотрелся бы в Мавзолее, рядом с Ильичем.

Гитлер снова увидел нацеленно застывший взгляд Ящера — окаменевшие морщины вокруг неподвижных желтых глаз! Запротестовал:

— Никто мне не позволит.

— Товарищу Сталину лучше знать, что и кто в этой стране позволит или не позволит. Давай поспорим. На что?

— Но, если на то пошло, — гость чуть не плакал, — там законное место Сталина. И никого больше.

— А он мне и при жизни — во! (Сталин вяло коснулся ладонью своей морщинистой шеи.) Достал он меня! Что живой, что мавзолейный. И потом, я, может, вообще не собираюсь. — Помолчав, добавил: — Помирать.

На Кунцевской даче («ближней») под шум сосен за темными окнами думалось о смерти. Не любил ни с кем об этом вслух говорить, и никто не посмел бы о ней заговорить в его присутствии, но тут изменил своим правилам. С Гитлером почему-то тянуло и это обсудить. Как специалист со специалистом? — да нет, о смертях, которые со многими нулями, какой интерес толковать? Статистика. А вот о той, которая и к тебе имеет отношение, к которой ты «приписан» — попробуй о ней не думать. Гость, не будь то немец, сыпал цитатами из какого-то английского авторитетного (ненависть обычно привораживает, так и тут — ни шага, чтобы не помянуть англосаксов), у хозяина же последнее время немолодая память все чаще выбрасывает наверх то, чем насыщался мозг в детские и семинарские годы: «Смертию смерть поправ», «Сон — брат смерти...» Потому и не любил это состояние — спать. Встречаться с «братом смерти», притом каждую ночь. Постепенно сдвинул ночь, сон к самому утру. А если бы мог, то и вообще глаз не закрывал бы. Спал бы с открытыми.

Забавно было слышать от Адольфа рассуждения о «космическом веке» тех, кого «Высшие Существа» приобщат к лику, что ли, «новых гигантов». Говорит, витает в каких-то высях, а оба сознают, что достаточно товарищу Сталину позвонить, и войдут, и возьмут раба божьего под белые руки — вот он и весь твой век. Эти фантазии уместны были в Берлине, в столице «тысячелетнего Рейха». А теперь и жизнь, и судьба твоя — в этих вот испятнанных старостью руках. Ну, а его, Сталина, в чьих?

Мыслей — на всю оставшуюся ночь. Вслушивался в шум леса за стенами, приглушенные голоса, утихомиривающие караульную овчарку, к беспокойному дыханию в соседней комнате, к вскрикам во сне фюрера разгромленной империи — так что такое — «смерть Сталина»? Как это может быть и какая тогда логика и справедливость? Зачем было огород городить, если все этим кончится. У всех — у Александра Македонского, у того же Чингисхана — кончалось этим. Но разве сравнимо: что в мире зависело от их руки и воли, а что от воли товарища Сталина. Не в том дело, чтобы полмира под чьей-то рукой (это бывало и не раз), а вот так, чтобы никому не спрятаться, ни одному среди миллионов. Твоя воля с каждым и ежеминутно. В этом различие. Ты удержишь (и как!) полмира, а значит, полмира тебя удерживает на земле, держится за тебя, не отпускает. Смешно, когда соратнички смотрят в глаза, но сказать, напомнить трусят: ты уже стар — назови преемника! Это вы-то можете принять такое наследство и удержаться в каждой душе на половине планеты? Думаете, что вам удастся это сделать, как удалось товарищу Сталину именем Ленина? Моим именем рассчитываете прожить? Как бы не так — меж пальцев у вас все выскользнет.

Не с ними, однако, ночные беседы у Сталина. Есть у него и другие собеседники, последнее время — постоянные. Вылепились, выступили из полузабытых детских впечатлений. Из когда-то читанных, воспринятых, а затем отринутых со злобным презрением и юношеской обидой на весь свет книг «духовного содержания». Из всего последующего, а больше всего из непреходящих обид на своих атеистических учителей и сподвижников, которых он все больше презирал, возникла потребность в иных, совсем других собеседниках и оппонентах. Не с материалистами же ему вонючими спорить. У них один аргумент: старческая бренность человеческого тела, необратимость отмирания серого вещества. Как будто к этому все сводится. Боги в конце концов отчего бессмертны (считались)? Греческие, римские. Потому что за каждым было закреплено нечто вечное: море — Нептун, земля — Гера, и так далее. А если за тобой закреплено полмира, а не какая-то там речушка или гора, как за Зевсом? Ну, ладно, это языческие боги, а не те Единственные, которым сегодня поклоняются — миллионы людей. Христианскому, иудейскому, мусульманскому. Они тоже не где-то там в эмпиреях живут, а в каждом волоске на человеческой голове, в каждом дыхании живых существ. Значит, задача в том, чтобы распространить себя на все, на всех, чтобы от твоей доброй или гневной воли зависело, упадет ли волос с человеческой головы. И один он упадет или вместе с головой. «Смертию смерть поправ»... Хорошо Богу от рождения имитировать собственную смерть, зная о гарантированном бессмертии своем. Ну, а если тебе его надо еще заработать — бессмертие? Если приходится смерть отгонять от себя, удерживать на расстоянии, как тот сибиряк делал: лошадь уносила его сани, а он преследующим его волкам сбрасывал по одному барану? А была бы тысяча, миллион баранов под рукой, разве бы пожалел?

Но очень часто (а последние годы особенно часто) подобные логические построения рушились сами собой, все меньше давали успокоения. И тогда возникала потребность в молитве. Но это была особенная молитва.

«Если Ты есть, как считают многие, и коль Ты, правда, такой ревнивец, как говорится в Библии, в Коране — заведи все и всех назад, кого я отнял у тебя, забирай и живых, и мертвых. (Мертвые особенно неотступно за нами следуют, они, оказалось, самые «преданные».) Если надо, я уйду от дел, оставлю эту страну, полмира — кому угодно и на кого угодно. Я уже почти сделал это, ты же видишь. Ты оставь мне меня. Навсегда, навеки. Ну что тебе стоит нарушить «законы природы», если Ты сам их придумал и установил? А мне не нужен никто, ни верные, ни неверные. Впрочем, они всегда готовы в любой момент «отлепиться» от бога, небесного ли, земного ли — Ты это узнал раньше меня. Я мог бы и дальше с Тобой соперничать, отнимая, как у капиталистов отнимаем — страну за страной, народ за народом, руша твои храмы на холмах и в душах так называемых верующих. Но к чему все, если нет у меня ф и з и ч е с к о г о бессмертия? И потом, я понял то, что Ты, наверное, всегда знал: если даже все страны и все народы, все, какие есть, люди сойдутся на одной площади, чтобы славить своего бога, всегда отыщется в этом скопище некто, кто тихонько шлет тебе проклятия. Ты уничтожил «серным огнем» (Ты его отдал американцам?) Содом и Гоморру, не найдя в городе ни одного праведника. А если один вот такой гнусный двурешник среди сплошь праведников — разве не заслуживают они (все до единого!) нашего огня?.. Но нет, это просто так, напоследок говорю, мне ничто и никто не нужен, оставь только меня. Старым, больным, одиноким, никому не известным — я на все согласен. Если хочешь, я поменяюсь местами даже с ним, все проигравшим, жалкой приживалкой — Адольфом Гитлером...»

Страна, порядку и беспрепятственности которой многие завидовали, устав от своих демократий, меняться стала на глазах. Как бы впала в тихое безумие: привычная норма ухалила, сменяясь непривычной ненормированностью. Приостановлены были расстрелы в центре и на местах, больше не судили тех, кто клеветнически обвинял власти в расстрелах и пытках; никто больше не следил, сколько соток земли при избах колхозников и нет ли лишних; не строят ли неразрешенные гаражи при дачах горожане; не отлавливала больше милиция непрописанно живущих в городах граждан; цензоры не вникали в подтекст и «аллюзии», в разрешенные и неразрешенные цифры и факты готовых к изданию журналов, книг, пригласительных билетов, этикеток и бутылочных наклеек; строгие райкомовские дамы не сидели в пустых залах театров и не «принимали» новых постановок и концертов. На привокзальных площадях никто не следил, чтобы старушки не продавали укроп, петрушку или какие-либо изделия частника; сосед не прислушивался, а о чем там соседи говорят или поют за стенкой или за дверью в туалет; в детсадах и детских все воспитательная и патриотическая работа пущена была на самотек; даже психушки перестали принимать

новых клиентов из числа не понимающих и не принимающих политику партии и правительства — страна, действительно, входила в полосу тихого помешательства.

И происходило все это потому, что один человек в огромнейшей стране вдруг повел себя не так, как вчера или позавчера. Всего лишь один человек, но на нем все в этом государстве замыкалось — как на щите, на пульте управления. Все до последней мелочи. Однажды в этой стране такое уже происходило. В первую неделю после нападения Германии, Гитлера. «Человек-пульт» утащил себя на дачу (на эту же, «ближнюю»), выключился-отключился. Все остальные системы управления устроены были так, что могли взаимодействовать лишь через него. А поэтому замерли, заглохли и они. Фронты рушились, кому-то удавалось пробиться, выйти на связь с Кремлем — телефоны трезвонили по всем кабинетам, опустевшим. Человек со скучным помятым лицом Косыгина, переходил от аппарата к аппарату, поднимал трубку и без конца повторял одну фразу: «Товарищ Сталин в курсе».

И вот такая же ситуация повторилась. Механизм государственного управления был отлажен так, что он или действовал на полную катушку, или не действовал вовсе. Все было построено на том, что перед глазами у каждого гражданина — Кольма. Оступился и ты уже там, шаг вправо, шаг влево, колонна, остальные пошли без тебя, а ты уже за чертой.

Но страх остаться за чертой сковал, как никогда, мозги самих хранителей и устроителей Общего Страху. Они так углубились в сверхсложную задачу — обслужить со всем уважением гостя Вождя, не подвергая себя опасности завтра оказаться пособником самого Адольфа Гитлера, что ни на что другое внимания уже не обращали. И граждане тотчас стали отбиваться от рук.

Партия — у нее возникли свои проблемы и сложности, забиравшие (и парализовавшие) всю прежнюю ее энергию. Партия всегда помнила, что она почти целиком заменила собой прежний состав: прежние не понравились Генсеку. Нравиться Ему и только Ему, это коллективное гаремное чувство господствовало в партии. Постоянная гаремная паника: а вдруг не ублажим! Что тогда будет? И испытание: Гитлером! Ничем заниматься уже не могли, а только вслушивались: «Что, что там за Стеной?»

Советы разных уровней — о них и говорить нечего, они и в лучшие свои времена были, уже при партии, слугой-служанкой, а тут — только и могли что следовать по пятам за госпожой, впавшей в тихую панику. Впрочем, не упуская при этом случая что-либо тайком сжевать, чтобы не смутить хозяйку самогонным духом.

(Кого еще вспомнил новый лидер послеавгустовских коммунистов Г. Зюганов, когда недавно говорил о неотменимых «китах» государственности? КГБ, Партия, Советы, да, еще армия! Та, 1945 года армия, неудобна была для разворота на 180°. Как-никак 4 года воевала с Гитлером. Ну да имелся в запасе лозунг: «Коммунисты, вперед!» — было, было кому развернуть и армию.)

Забыли мы про членов Политбюро (как все-таки быстро забывается такое). Как они, «принебожители», себя чувствовали, когда Хозяин им всем предпочел одного? Их ничуть не смутил Гитлер в Кремле. Ребята эти к чему только не привыкли. Единственное, что мучило: не допускает к себе Коба, не имеют они возможности сказать: согласны! На все, как и всегда, согласны.

Непостоянный и непредсказуемый в своих симпатиях-пристрастиях «простой народ» особенно по поводу этих людей злорадствовал. Отставил их Хозяин, турнул, ну, и правильно сделал! Давно пора! Кто они такие, чтобы быть рядом с Ним, каждый день видеть Его, внимать Ему, тогда как остальные это счастье имеют только по праздникам и то издали? А издали — кого тебе не подставят! Отравили! Подменили! Дурачат народ!

Пришел такой момент, когда Сталин устал от гостя, когда даже к нему за Стену проникло то напряжение, в каком находился мир, не говоря уже о стране — от происходящего в Кремле. Как ни странно, но вдруг заскучал по своим испытанным соратникам.

Пока не принял окончательного решения, подумалось, что интересно было бы их свести за одним столом — угостить соратников Гитлером. Не каждый день такое увидишь.

Усадил фюрера за столом на то место, где обычно сидел сам: проверить соратников на «павловский рефлекс». Парикмахер привел в порядок привычную волосатость Адольфа, не узнать невозможно. Правда, обрюзг, раздался в щеках от ночных застолий, второй подбородок появился — как бы за Берию не приняли.

Бесхитростные женщины, дачная obsлуга, узнали сразу, не умеют скрыть отвращения и ужаса, ну, да ничего не попишешь, Адольф, они у меня не политики. На даче политиков не держу.



Появились сразу двое: Лаврентий и Маленков. «Мы с Тamarой ходим парой...» Уже и не скрывают, что спелись, дуэт у меня за спиной. Но почему-то разулись: Маленков держит под мышками свои штiblеты, Берия сапоги в руках. Сбрендилы они, что ли? Опомнились и бросились назад, к порогу. Переглянулся с Адольфом: ну, теперь видишь, с кем мне приходилось работать? А ты жаловался на своих...

Вернулись обутые, как ни в чем не бывало, Берия, блестя очками и раздавшейся мордой, шумит, говорит за всех, но гостя не видят. Не замечают, как бы и нет никого такого в комнате, один лишь товарищ Сталин, ему все внимание. Простак Ворошилов, когда вошел, на миг зацепился взглядом за человека, сидящего на привычном хозяйском месте, по-бабьи засуетился, вцепился в руку товарища Сталина и не отпускает, пришлось встряхнуть его: ты хоть не заплачь, железный нарком, не позорь Красную Армию!

Лазарь Моисеевич молодец, ничего не скажешь! Подержав руку хозяина в обеих ладонях и как бы набрав от него энергии, уверенности, что все идет, как надо, поздоровался с остальными, протянул руку и гостю, не сморгнув глазом. Фюрер приподнялся со стула, здороваясь с кремлевским евреем, обрадовался, что его наконец видят. Вошел Андрей Андреевич Андреев, но его самого никто не замечает — пустое место. Он в Политбюро, безголовый и безликий, как бы вместо лошади в римском сенате. Так, товарищу Сталину захотелось.

Появился Молотов с портфелем под мышкой — хоть ты сам перед ним вставай! Удивления, неуверенности — ни в глазу. «Каменная задница» — но это из лексикона Ильича. Хотя по сути — верно. Бумажницей прижмет человека, как могильной плитой. Знает дело. Это Ильич не знал, а потому и болтал, язык-то без костей, ну, да ему немного оставалось, можно было позволить.

Но ты, Вячеслав, не можешь не знать, не узнать этого типа с ворошиловскими усиками: встречались в Берлине, познакомился раньше меня. Смотри, и Адольф тебя узнал, обрадовался, бедняга, будто родному! Да подойди, ободри, облаškai. Ну нет, камень и есть камень, привык, сволочь, смотреть далеко вперед. А тут вбежали эти двое: здравствуйте, я ваша тетя! Как Бобчинский и Добчинский. Простак Никита, хитрец из хитрецов Анастас, что их связывает?..

А где Калинин, этот где прячется, козел капустный? Без всесоюзного старосты как-то нехорошо начинать.

— Забыл дорогу, — хихикнул Берия, с упреком-намеком товарищу Сталину. Долго, мол, не звал. — А во, легок на помине.

— Садитесь, Михаил Иванович, будете развлекать гостя, вот сюда, — хозяин не позволил старосте шмыгнуть в кусты, усадил бок о бок с Гитлером. А потом доказывай, что не сидел! Но ничего, может, еще и не придется.

— Знакомьтесь, кто еще не знаком: Адольф Гитлер. Просим любить и жаловать.

И сразу пропали напряженность, неопределенность, все оживились, заулыбались с облегчением. Хозяин выразительно посмотрел на Берию.

— Думаю, следует гостя посвятить в рыцари нашего стола.

Никита тотчас протянул издали свой фужер, предлагая гостю чокнуться, тот приподнялся со стула, а ему раз — и положили туда большой помидор. Опустился на свое место, и на лице растерявшегося Адольфа Гитлера появилось протяжно-удивленное выражение, которое будет у каждого, у любого кто...

Берия сформулировал переживания гостя так:

— Захотел перднуть, а урсался!..

И сразу все препоны, преграды рухнули: коммунизм, нацизм, Россия, Германия, — за столом были свои, друг друга понимающие во всем. И особенно в этом Берия — все убеждал гостя:

— Так понял: сам себе не верь. Захотел, а получилось что?

Пили долго, много шутили, разговаривали, смеялись — отвели душу за все упущенное время. Гостя буквально на руках снесли в соседнюю комнату, уложили на оттоманку. Ворошилов расшнуровал ботинки ему, Калинин стащил штаны. Берия подмигнул Лазарю Моисеевичу:

— Посмотри, он не обрезанец?

Назавтра вошли какие-то люди и разбудили гостя. Строгие, немногословные, таких он помнит по первым дням на Лубянке. Велели одеваться. В полуоткрытую дверь он видел спящего за столом Иосифа. Почему-то в парадном своем мундире, знакомом по первой встрече. Затрепетав от недоброго предчувствия, выкрикнул:

— Тут люди пришли...

— Гони их к такой матери! — успокаивающе медлительно пророкотал голос хозяина, не поднимающего головы от своих бумаг. Но страшные люди ничего не слышат, знай только командуют: собирайся! поторапливайся! И предусмотрительно перекрывают путь в комнату, где хозяин, посматривая туда с опаской.

Оттуда вдруг голос:

— Ты не помнишь, какие слова сказал в ночь с 21 на 22 июня? Когда отдавал последние распоряжения. Ну, когда вспомнишь, скажешь мне.

Уже выводили из комнаты, когда услышал вслед прозвучавшее:

— Извини, друг любезный, мне еще надо поработать. Подзапустил дела товарищ Сталин. Советский народ вправе обидеться на товарища Сталина.

...Тонкий и такой хрупкий на вид осколок черепа с пулевой дыркой, челюсть с узкими личным дантистом Адольфа Гитлера коронками, были упрятаны в картонную коробку на тот случай, если Сталин потребует показать ему. Но тот судя по всему, не спросил. Показали нам (по телевизору) спустя 40 лет после смерти самого Сталина.

Хорошо пережить фюрера, какое нужно везение для этого! А двоих сразу, и чужого, и своего, и того лучше. Им ничего не стоило убрать раньше нас, как убрали многих и многих. Но падали стали не мы, а они. Ее, не зная, как избавиться, таскают, таскают с места на место. (А с душами их тоже так?) И мир снова убедился в благословенном демократизме смерти. Ну, и не будем к ней несправедливы, только потому что самим нам хочется жить и жить. В утешение себе: мы как бы платим жизнями, чтобы избавиться от них. Мало разве нашлось бы на нашей стороне (помню горячечные разговоры партизан об этом) тех, кто пожертвовал бы собой, чтобы убрать фюрера немецкого, и соответственно — на другой стороне, мечтавших ценой своей жизни отправить в преисподнюю Сталина? А сегодня так уже и «наша сторона» с тоской и недоумением спрашивает: ну почему тот же Тухачевский или еще кто-либо, ведь все равно были обречены, почему не сделали это?..

Так что соглашаясь на собственную смерть, мы тем самым подтверждаем волю и право быть свободными. «Ничем не сможет владеть человек, пока он боится смерти (это Пьер Безухов, а по сути — Лев Толстой). А кто не боится ее, тому принадлежит все.»

Радость, восторг 1945-го, смутная догадка 1953-го, что «всенародные рыдания» по истязателю-убийце своему — это истерическая реакция пожизненных зеков, перед которыми внезапно распахнулись ворота на волю — для нас, кто пережил и то и другое паролем надежды в формуле: хорошо пережить фюрера!

Однако пора кончать с бредом покойника, посмертными фантазиями фюреров-вождей и разбудить свой текст для живых...

За войну я сделал не одно открытие относительно своего не только «духа», но и тела, «организма». Идешь за кем-то, а следом за тобой кто-то еще бредет (это когда мы всем отрядом шли рвать железную дорогу), и, засыпая на ходу, даже сны видишь. Спишь на ногах. Или: не всем телом (на снегу, на морозе), а отдельными его частичками спишь — теми, которые кое-как согрелись: с поджатыми коленями прижимаешься к спине перед тобой лежащего, а к твоей спине кто-то тоже прижимается (укладывались на снег плотно друг к другу). Засыпаешь на какие-то секунды, не больше, а спишь не весь, а только коленками, животом, подмышками — тем, что чуть-чуть пригрелось. Как бы и мозг отдыхает лишь теми клетками, которые отвечают за нагретые места.

Если сон — это «брат смерти» или репетиция (многие об этом писали, давно), если мысли продвигаются в этом направлении, тогда лермонтовское: «не тем холодным сном могилы я б хотел навеки так уснуть», на полпути к толстовскому: «я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение!»

Пробуждаемся от суеты, с ее равнодушием или враждой на каждом шагу, устремляясь к тому, что Толстой называет любовью, общий исток которой — Бог. (А прежде, до пробуждения, на снегу, на морозе — какими-то частями, а не всем существом.)

Правда, когда я перечитывал «Войну и мир» в 1941-м, совсем другие страницы романа волновали: поход Наполеона на Москву и как это у него не получилось. Однажды немцу-офицеру про это напомнил, когда он на карте показывал, как будет взята Москва (дом наш был у самой «варшавки»), и немцы

забегали побриться, привести себя в порядок). Офицер сердито ушел «к себе» (в соседнюю нашу комнату), а когда собрался совсем уходить, на прощание постучал по моему лбу согнутым пальцем и пообещал: «Повесим!»

Ясно, что сегодня прочитываешь толстовские страницы (а именно этим сейчас занят наряду с писанием, телевизором и болезнями) другими глазами. Казалось бы, война должна была настраивать на мысли о смерти. Но, как ни странно, мысли о ней как бы откладывались на после, до мирного времени (когда тебя, возможно, уже не будет). Слишком захватывали человека сами события, в том числе и главное событие: игра в кошки-мышки с этой самой смертью, грозящей постоянно, ежеминутно.

Глуша после прихода немцев оставалась на том самом месте, и люди в ней жили в основном те же. Потому сохранились, а иногда все определяли прежние отношения соседа с соседом — внутри или поверх новых, принесенных оккупацией. Люди и на холодных ветрах войны как бы продолжали жить теми «теплыми» частями, согреваемыми человеческой близостью кого-то к кому-то, что установились прежде. Человек, семья (хотя бы и мы, наша семья) должны были погибнуть, согласно новым нормам поведения, наказания, кары, но это не случилось, и именно благодаря тому, что срабатывали не до конца разрушенные связи, которые и до войны кому-то помогали выжить, уцелеть. Теперь было еще сложнее: на воспитываемую, накопленную до войны ненависть накладывалась новая, военная.

И сегодня вижу: как бургомистр Ельницкий лопатой с размаху бил мертвых — раздетых догола деревенских парней, которых привезли к комендатуре на подводах (их, безоружных, полицаи перехватили по пути «в партизаны» — так объясняли). Эти страшные тупые удары лопаты по неживым телам и есть гражданская война «внутри» нашей Отечественной. (Они мне до жути знакомы, слышались на днях, когда увидел-услышал, что происходило на Гагаринской площади в Москве. Особенно когда к машине, раздавившей Владимира Толочневца, бросились как с пиками те, с красными флагами, чтобы не позволить отогнать, оттащить машину, вызвать раздавленного. Лица, какие это были лица! Совершенно, как у того, лопатой бившего мертвых.)

В первом своем романе я «реконструировал» нашу войну под крышами со всеми подробностями еще свежих воспоминаний. С воодушевлением выжившего, как бы живущего после смерти. Свежи были и страсти, чувства, в том числе непреходящей неприязни или открытой ненависти к врагам (или тем, кого врагами считали). Многие чувства сегодня притупились, или отступили, а то и переменились. Многое уже не интересно, зато обретают интерес совсем другие стороны давних событий, поведения людей, в том числе и самых близких.

В этом ряду тот факт, что у очень даже активного подпольщика не замечал никакого чувства вражды, а тем более ненависти к немцам. Не могу припомнить ни одного проявления такого чувства, хотя все время были вместе — ведь это моя мама. На чем же все держалось, крепилось? Как-то я воскликнул благодарно: «Ты, мама, артистка!», а она, еще не освободившись от пережитого кошмара, когда все висело на волоске (и ее и наша судьба, жизнь), слабо улыбнулась. (Только и оставалось поднести цветы «артистке».)

Не на ненависти держалось — так на чем же? На чувстве самосохранения? Возможно, но помноженном на сознание материнской вины за все, что может случиться с детьми, с семьей. А семья состояла уже из 10 человек. Сбежались под глушанскую крышу аж две мамы сестры (Соня и Зина) — с детьми. С Соней муж ее Петя (он коммунист и должен был бежать из Парижа, где жили до войны).

Ну, а если не сумеет отвести беду: раскроется ее — а через нее и детей, и шурина — связь с партизанами? И не то важно, по чьей неосторожности (десятки людей втянуты в подпольные дела). Что бы ни погубило — вина ее! Она сама пошла на это. Перед собой не оправдаешься.

У немцев на оккупированной территории был страшный противник — такие вот женщины. Они слишком многим рисковали, а потому проиграть в поединке с полицаем, доноситчиком было слишком страшно. И самые порой незаметные, ничем вроде не выделявшиеся, становились, вот именно, артистками поневоле.

Проиграла не она, наша мама, а все, с кем вступила в невольный поединок:

и бургомистр Ельницкий, и полицай Гузиков, и немецкий комендант, каждый из них что-то там защищал (свое новое положение, право на месть советской, их преследовавшей, власти, интересы «великой Германии») и только она спасала самое главное, без чего ей не жить — детей, семью. Потому-то и смогла совершить то, что не сумели, не смогли они, хотя одним движением руки, словом-приказом запросто могли ее уничтожить. И, тем не менее, проиграли они.

Вспомню здесь лишь три случая, когда спасения, казалось, не было. Но что-то такое, непонятное, произошло — порыв, в котором ужаса было не меньше, чем выдержки — и погибель снова отступила.

Перенестись: живой памятью в реальность того летнего дня 1942 года, того утреннего часа — возможно. Но невозможно представить, что 50-ти лет потом прожитых тобой — что этого просто не было бы, жизнь оборвалась бы на 15-ти. Зато можешь представить, что говорили бы соседи: «погнали в комендатуру Адамовичиху с детьми, всех, и стариков тоже, нашли у них оружие, листовки»... Затем увезли бы в Старые Дороги, там стационарно работали пыточные подвалы полевой жандармерии, СД. (Обычно туда увозили, и словно проваливался сквозь землю человек, семья.) А после войны доктору Адамовичу все это рассказывали бы, как и за что его семью уничтожили, а он не понял бы свою «Нюрку»: как она могла, зачем все это делала? Разве война и без этой ее жертвы не закончилась бы секунда в секунду в тот самый день, в какой закончилась? На нашего отца не похоже, но не могу не вспомнить реального случая: такая беда произошла с другой семьей, но при этом мать спаслась, жива осталась. Ее муж, вернувшийся с фронта, тут же от нее ушел, его она тоже потеряла. И нехорошо ушел, попрекнув: к мужикам ты рвалась поближе, к партизанам!

«...Мы, мадам Адамович, должны сделать у вас обыск!»

Из спальни чей-то голос слышим и наступившую в соседней комнате немоту. А в руках у нас — у меня, у Жени, у Сониного Пети — листовки. На белорусском языке стихата Кондрата Крапивы. Сунули под матрац смертельную улику, и вышли на тот голос и наступившую в соседней комнате тишину. В дверях, ведущих в кухню, застыл немец с винтовкой на плече, посреди «залы» — Гузиков, полицай в кожаном пальто и летчицком шлеме на голове, а перед ним наша мама. Сказал про обыск, и теперь смотрит на Казика Погоцкого (он нас поджидал, собирались вместе идти на работу — шоссе ремонтируем для немцев и этим спасаемся от высылки в Германию). Казик бледен не меньше, чем хозяйка дома. И видно не зря, полицай подчеркнуто недружелюбно спрашивает:

— А вы, т о в а р и щ Погоцкий, что здесь?

Казалось, не гитара, а коленки его, ударившись о стол, когда он вскочил, так дребезжаще загудели. (Что погнало старуху, его мать доносить: давняя бабья неприязнь к «подсудеям», подозревая подозрением, что ее сына хотят «опутать», женить на «разведенке» с дитем — Казик действительно скучно изображал ухаживание за маминой сестрой Зиной — неужто это?)

Круглоголовый от летчицкого шлема полицай не торопится, ему приятно ощущать всю значимость своей роли и своего положения. Говорит уже нам троим, появившимся из спальни:

— Ваш товарищ по работе сообщил, что у вас имеется оружие, листовки. Я должен произвести обыск.

Нога его, сапог в трех метрах от кровати, от плетеной бельевой корзины. На высокой кровати сидит Соня с годовалой Галкой (похоже, что даже ребенок онемел). В корзине, я знаю, две гранаты-«лимонки» (вчера Петя положил, а ночью собирался унести — унес ли?)

Мама лишь под утро вернулась из лесу, с Мишей Коваленко ходила на встречу с партизанами, носила медикаменты. Миша, прямое начальство Гузикова, помощник начальника полиции. Вот так все переплетено, но что-то упустил наш Миша, донос прошел, проскользнул мимо него. И вообще год жизни на самом виду у довольно-таки доверчивых немцев, все-таки удачливо-благополучный, излишне беспечный. Как не поддаться было и маме? Хотя она не раз и себя, и нас, а Петю особенно пыталась вернуть к грозящим опасностям: «Вам все игрушки!»



И вот грянул гром — не над крышей, а под крышей нашего дома.

Что-то говорит мама. Это почти бессмысленные слова, ничего вроде не значащие в столь грозной ситуации, но пока они звучат, Гузиков ничего не предпринимает. А мама говорит, говорит, как бы сама до конца не веря в случившееся (вот она, та минута!), вылетают слова о том, что кому-то завидно, — мы, такая семья, а недохнем с голоду, и что, был бы дома Михаил Иосифович, постеснялись бы, он столько для всех сделал...

Я смотрю на маму так, как смотрел в детстве, испепеляемый ознобом болезни: она спасет, она всегда спасала, не может не спасти!

Но вот мама умолкла. Мы стоим обреченно, на пороге истукан-немец, а среди комнаты человек, от которого все зависит: сейчас сдвинется с места и все покатится к страшному концу. А мама молчит. Почему, почему она молчит?

И тут она вдруг упала на стул, руками, локтями на стол и зарыдала. Страшно и безнадежно. Как же она рыдала! Женя подошел, взял ее за плечи:

— Не надо! Мама, не надо!

Что, надо, что не надо? Я готов был оттолкнуть брата. Только мама знает, что сейчас надо, что может спасти.

Она плакала искренне, искреннее не бывает, но в то же время знала, что слезы ее и должны быть искренние.

(Когда все кончится, она воскликнет: «Господи, как я только выдержала!») Удивительно ли, что не устоял бедный Гузиков? Он, кажется, этого не ожидал, не готов был к тому, что вот так рыдать будет перед ним жена доктора. И вдруг сказал:

— Да, от Гузикова зависит, мадам Адамович. Я не стану наносить оскорбления семье доктора. Только надо лучше друзей выбирать. (И кажется, посмотрел на диван, откуда только что согнал Казика Погоцкого.)

Что если бы этот человек (тут уже не наши, а его интересы, судьба) мог знать, что, обыскав наш дом и не погубив тем самым нашу семью, он приблизил страшное уже для него самого событие? Через полгода большинство глушанских подпольщиков ушли в лес, к партизанам, и в эту же ночь с 3 на 4 марта 1943 года партизаны увели с собой, выкрав у немцев из-под носа (как зимой волки собаку выкрадывают от самого порога хозяйского) всю полицию. Подготовил это, конечно, Миша Коваленко и его группа в самой полиции — они в ту ночь все стояли в карауле, и остальных 23-х полицейских взяли «тепленьких», сонных. Когда их вели через лес, Гузикова зарезал партизан (алтаец, сам из власовцев) Федя Злобин: ему сказали, что именно этот полицейский убил его друга Никиту Храпко, и кожанка на нем Никиты и десятизарядка у него Никитина. Караул не уследил, как длинным тесаком Федя ударил Гузикова в живот — тут же, в колонне угнетенно-покорно стоявших полицейских. Но с остальными 22-мя произошло нечто похуже. (Среди них и Владик Ивановский, мой почти одноклассник, когда я радостно-возбужденный, подошел к ним — в том ночном уже партизанском лесу, — он так и вцепился, чтобы хоть мне рассказать, — в полиции он всего лишь месяц, это мать его уговорила, чтобы в Германию не забрали). Их угнали куда-то отдельно от нашего обоза, а когда налетели немецкие самолеты и взялись нас бомбить, полицейских заперли в сарае, чтобы не разбежались. Но оттуда они так и не вышли, и лишь позже мы узнали, что произошло: лежали там дрова, и кому-то из начальников охраны пришлось в голову — пусть сами кончают себя. Сказали полицейским: «22 — это перебор, дальше поведем только половину, сами вот этими (поленьями) решите, кому жить, а кому нет». Слушали через стены, как внутри все происходило, а затем вошли и перестреляли «победителей турнира» (так это называли с недобрый смехом).

Уходя от нас и уводя немца (с некоторым, вероятно, удивлением и сожалением: что эта женщина сотворила с ним?), Гузиков не знал своей судьбы. И мы, конечно, не знали, что будет через полгода. Только помню, как угнетающе подействовало на маму происшедшее в том лесу, а про сарай она и слышать не могла. Но это ничего не меняет — если взглянуть на все с точки зрения того же Гузикова, который все-таки нас не погубил, хотя и мог, стоило проявить полицейскую старательность. И мог бы пренебречь теми соображениями, что глушане ему этого не простят (они и так не простили) или же не понравится его излишняя

исполнительность переводчику Барталю. (Он из местных немцев и старался, как только мог, оградить глушанских земляков от жестокости далекой своей родины.)

После несостоявшегося обыска минуло месяца три, и снова старуха Погоцкая пошла с доносом. На этот раз ее перехватил Коваленко Миша, внимательно выслушал предупреждение, что шурин Адамовичихи — коммунист, собирается в партизаны и сманивает других (ее Казика) и вообще бандитская семейка. «Помощник начальника полиции» (кстати, Миша из староверов) строго-настрого приказал старухе ни к кому больше не ходить, сам все сделает, — и тут же сообщил маме, найдя какой-то повод заглянуть в аптеку. (Хотя обычно избегали прилюдных встреч.) Влетела мама в дом, почти упала на стул: ну, теперь мы точно пропали! Говорила я вам, да разве слушаетесь? Старуху перехватил Коваленко, но кто знает, к кому она еще сходила или пойдет. Предупреждала же, кто такие эти Погоцкие! (Упрек Сониному Пете, который успел-таки пооткровенничать с Казиком.)

(Что погнало старуху второй раз доносить? Не страх ли, что о первом доносе знаем (мы не скрывали этого), а потому назад ходу нет. Кому-то из нас не жить: прогонят немцев, что тогда?)

В своем романе я подробно расписал известные мне обстоятельства и даже «психологию» старухи и ее сына так, как я это, представлял. Теперь об одном лишь рассказ: материнский поединок со смертью, на этот раз — бургомистром Ельницким. Важное обстоятельство: бургомистр из раскулаченной семьи. Его г л у ш а н с к о е уважение к доктору дополнялось чувством солидарности с женщиной такой же судьбы. Возможно, то, что мадам Адамович тоже «кулачка», поднимало его в собственных глазах. Не говорите, что раскулачивали безграмотных мужланов!

Второй же случай должен был смутить его по-настоящему. Убежали в «банду» ее сестра с мужем, который, как оказалось, коммунист. Вот кого приютила, а раз кто-то из семьи ушел в лес, — это уже не «раскулаченная» семья, а партизанская, «бандитская».

За одну ночь «социальное положение» наше в глазах бургомистра и немецких властей сразу поменялось — с плюсового на минусовое.

Мы в ту ночь собирались бежать к партизанам, дорожка уже найдена. Мама плакала, спрашивая: «Куда я поведу стариков перед самой зимой?» — после того, как сани Лещуна умчали Соню с малой Галкой и Петю, мы с братом ее уговаривали: «Уйдем, мама!» Но и сама понимала: немцы такого не прощают! Легли, не раздеваясь: «Поспите немножко, детки!», что-то обдумывала, и, видимо, решила, но, когда утренний свет вломился в окна, она, очнувшись, тут же погнала нас из дому: что, что мы, детки, сделали? мы погибли! уходите немедленно к Левковичу (дорожно-шоссейный наш начальник, тоже был связан с партизанами) и не возвращайтесь, Богом молю, пока сама не позову! Что бы ни случилось!

Мы уже вот так однажды убегали, а она оставалась — это когда приехали эсэсовцы убивать Глушу, всех глушан собирались сжечь заживо (как соседние Осы-Колеса и Каменку сожгли), но мы-то думали, что это они — молодежь хватать будут в Германию. Вернулись, лишь когда глушанских женщин, детей выпустили из сарая (говорили, переводчик Барталь спас, втолковав немцам: что сбежавшая молодежь тут же уйдет в партизаны), и мы с трудом узнавали маму, Соню, тетку Зину. Какие-то черные, будто их уже опалил огонь. Мама вялым голосом рассказывала: вначале люди кричали, плакали, потом замолчали, стало как-то все равно...

На этот раз она сознательно свою и тех, кто в доме оставался, судьбу отделила от нашей с братом: тогда мы не знали, что ждало остающихся, а тут все было ясно. Если только не иметь в виду надежду, что и на этот раз ей удастся отвести беду.

От «старого мира» (советского) нам остались герои: Павки и Павлики, Олеги и Зои. Среди них и белорусский «бацька Минай». Человек, который не поменялся судьбой со своими детьми, как предлагали ему, партизанскому командиру, немцы, не пришел из леса, и детей расстреляли. Изю всех пропагандистских сил возвеличивали его «подвиг», до почти античных высот. «Общее» — выше «лич-

ного», тем более, что фашисты все равно детей не выпустили бы и т. д. Но что-то не сходилось, не получалось античного героя: те ведь могли пойти против воли царя, а то и богов, чтобы исполнить долг перед родной кровью. Несчастный советский отец, советский командир хорошо понимал: могут и свои расстрелять, если проявишь «слабость». Герой-то герой, но вдруг решишь выкупить жизнь детей и свою там, у врагов, за счет партизанских секретов.

Отец не пришел к детям, не попытался спасти их. Ну, а если дети, сыны оставили бы мать, не пришли? Пусть даже вняв ее мольбам: ни при каких обстоятельствах не возвращаться — не увеличивать ее мук многократно. Как это называлось бы?

Победив, ты спасла нас, мама, еще и от такого выбора! Я не знаю, какой бы он был. Знаю только, что в любом случае, выбор был бы самый жестокий в нашей с братом жизни.

Хотя некий, пусть и ослабленный вариант подобного выбора имел место. Через год лесной, партизанской жизни. После тяжелых боев на Березине лишь небольшая часть отряда уцелела, а я оказался за линией фронта и мог, еще не призывной, идти-ехать куда угодно, как можно дальше от войны. Вместо этого вдруг устремился назад: ведь там осталась мама и она ничего не знает обо мне! Вполне детское решение: побродив вдоль фронта, с великой радостью и облегчением присоединился к группе из соседнего отряда (они переправляли семьи, а теперь возвращались), и двинулись к ненакормленно рычащему фронту. Даже если бы мы смогли проскочить, что произошло бы, если бы я с мамой встретился? Какую радость я ей нес в блокадные (еще надолго) леса, болота? Сожаление, отчаяние — это точно. А радость лишь в первые секунды: живой! Но тут же узнала бы, что был уже в полной безопасности и вернулся только за тем, чтобы показаться, живой. Вернулся ради нее! Ничего себе «ради», обрадовал бы, ничего не скажешь.

Вся мизансцена после нашего с братом ухода была выстроена в ожидании кого-либо из полиции, волости или немецкой комендатуры. Старикам втолковано, что они ничего не видели и не слышали... Зина с дочкой спрятались у соседей. Мама растопила печку: собирается на работу. Правда, случилась в доме неприятность, семья сестры ушла жить к учителю Горностаю, дом которого за школой, у леса. Но так, может, даже лучше, у нее свои дети и свои заботы. (Пете, когда торопился к саням Лещуна, мама напомнила: не забудь, оставь записку, только с обидой напиши! Наивнейший ход даже для доверчивых немцев. Но все какая-то зацепка, если останемся.)

Выстроенную мизансцену дополнила внушительная фигура появившегося в дверях Ельницкого. Высокий и огромный в роскошной длиннополой шубе. От порога спросил:

— Мадам Адамович, где ваш шурин?

Раскрасневшаяся от печного жара из-за ширмы вышла хозяйка. А что такое? Что-нибудь случилось? Дело в том, что я попросила его покинуть наш дом. Давно не ладили, у меня свои дети, семья и без того большая, тяжело. Ушел жить к Горностаю.

— Ваш шурин ушел в банду.

— Что? Господи! Погубил, погубил, сволочь!

Хотя слова были, возможно, подготовлены, но страх перед тем, чем все может закончиться — непритворный. Скажите, как мне быть, господин бургомистр? Вот и делай добро человеку! Разве я могла знать?!

— А чего вы хотели от коммуниста? Он же партийный был.

— Он муж моей сестры. Я же не могла...

— Вот он вас и отдячил (отблагодарил)!

Когда мама собиралась в гости к бургомистру — на свадьбу дочери пригласил — достала из чемодана лучший свой отрез на платье, шелк палевого цвета, перед самой войной привезенный из Кисловодска, мужа подарок. Долго им любовалась, но: бросишь за собой — найдешь перед собой! — это превозмогло. Даже развеселилась, что такая хитрая, дальновидная. Не думаю, однако, что бургомистр в ту минуту помнил о подарке. Скорее о том мог вспоминать, что немцу-коменданту было приятно тогда соседство за столом этой культурной

женщины, даже фотографию своих детей показал. Ненавидимый в поселке, а особенно в деревнях начальник волости (ему уже однажды забросили в окно гранату, повезло, никого не было), не мог не оценить непритворную (а притворство он хорошо чувствовал) благожелательность этой женщины. Когда каждый готов в ключья разодрать и тебя, и всех, кто с тобой рядом — на радость всему поселку — хошь, не хошь, а оценишь доброту, притом уважаемой женщины.

Вероятно, ушел он из обреченного дома все еще с неясным представлением, как вести ему себя в этой ситуации. «Кулачка-бандитка» — чувства его пришли в смятение. Многое зависело от переводчика Барталья, коменданту будет он объяснять. Кстати, уходя, Ельницкий спросил про сынов: где они? Где же им быть, ушли на работу. Они еще ничего не знают.

Кое-что зависело и от Миши Коваленко, у него были особые отношения с комендантом: звонкоголосый, веселый парень немцам нравился. Когда шли, он и наша мама, в лес ночью или возвращались, на окрик часового ему было достаточно подать голос, и сразу же: «О, Михаил!» Коменданта брил каждое утро этот глушанский парень с неотразимой «гагаринской» улыбкой, те же ямочки на щеках. Именно так: когда полетел космонавт, и я увидел его лицо, первое, что подумал: «Ну, копия Миши! Наш Коваленко!» (Погиб в Берлине чуть ли не в тот самый день, когда Гитлер отравился-застрелился.) Так что у Барталья в комендатуре был хороший помощник-союзник.

Мы с Женей вернулись вечером в тот же день. Хотя мама и настаивала (через Левковича), чтобы остались до следующего утра. Но Женя не послушался, ну, и я с ним был согласен: возможно, что ловушка, а если нет, если заметят, что сыны не ночевали дома?

И снова — Гузиков. Ему поручено (Барталь нас предупредил) следить за домом: под личную, персональную ответственность, если эта семейка сбежит!

Кому больше всего обязана Глуша (а не только наша семья), что уцелели — это Барталью, «фольскдойчу» — переводчику при немецком коменданте. Работал механиком на электростанции, переводчиком сделали потому, что немец и знал язык. Сын его стал солдатом вермахта, однажды видел его в группе немецких солдат: так же коротко постриженный, одет как они, только улыбка отцовская застенчивая. Не хотелось, но еще тогда отметил: хорошая! Пусть бы судьба обошлась с ними по-доброму. За то добро, которое Барталь делал людям. Хотя, конечно же, останься он здесь, получил бы все 25 лет лагерей.

Где он оказался потом, если остался в живых, не знаю, а вот Ельницкий — в Австралии. В 60-е годы Глуша разглядывала фотографию высокого сутуловатого иностранца в шортах, чем-то узнаваемого, на фоне ладного домика и шикарной машины — Ельницкий прислал родственникам, чтобы не забывали.

Нам Ельницкий тоже помог после ухода Пети в партизаны, это подтверждается последующими его мстительными действиями — когда и мы ушли. Тем, как он гневался, как обижен и зол был, что эта баба его переиграла. И когда через год вдруг дошло до него известие, что «сын Адамовичихи попался-таки», видели его в Слуцком лагере военнопленных, Ельницкий не поленился помчаться за 100 километров — уж он отместил бы! Через сына — матери. Отквитался бы, вернул должок проигравшего. Великая удача Жени, наше счастье, что в это время он болел тифом, лежал в бараке смертников. Всех военнопленных, кроме заразного барака, выгнали на плац, бургомистр раз прошел, изучая лица, и второй, а когда ушел, то тут же вернулся, рассказывали, и в третий раз пробежал вдоль шеренги...

Ну, а победа над комендантом — это уже нечто совсем немыслимое. Мама редко возвращалась к тем событиям, но когда рассказывала и через 20 лет, голос у нее дрожал, пресекался: как она могла так, на что рассчитывала?

Пойти в комендатуру ее вынудил Гузиков. Преисполненный чувства собственной значимости — ему вручили судьбу семьи доктора, теперь уже «бандитской семьи»! — решил вдруг, что можно все. Пришел и раз, и второй в дом, полупьяный, его угостили, он покуражился, хвастаясь и винтовкой, и кожанкой убитого им партизана, при этом требуя к себе не просто внимания хозяйки, а женского внимания «мадам Адамович». Не знал он эту «мадам», которая

в 16 лет польскому жовнежу,— всего лишь за руку ее взял, прилюдно конфуз учинила.

— Что-о та-акое? — спросила она, когда полицейай позволил себе заявить какие-то «права». — Да вы в своем уме? Завтра же иду в волость, в комендатуру!

— Пойдешь... Только не сама — поведут! Как миленькую!

Он ушел, ругаясь, пьяно вывалился в ночь, откуда и появился, а мама тотчас приказала:

— Опрокиньте вазоны, цветы! Стол! Ну что вы не понимаете?

Мы с братом учинили хорошенький разгром в квартире, мама утречком сбегала домой к Барталю: пойдите, посмотрите, что Гузиков натворил! Приходит, грозит, требует, Бог знает, чего!..

Барталь предложил ей — идти к коменданту и самой об этом рассказать. Тому самому немцу, который показывал, Барталь помнит, фотографии своих детей на свадьбе у дочери Ельницкого.

И снова сынов сплавила подальше от дома, а сама, увидев в окно, что переводчик уже прошел в сторону комендатуры, быстренько собралась и направилась туда же.

Что ей подсказало слова, интонацию, все поведение — на грани безумного, но единственно спасительного риска — не иначе сам Бог, говорила потом она.

— Или арестуйте нас, или дайте нам жить, или мы уйдем в партизаны!

Она знает, что на погибель, но что ей остается, если нет никакой возможности жить; этот полицейай Гузиков приходит, буянит пьяный, требует Бог знает чего — вот так у вас партизанами становятся. Полицейским того и надо, чтобы люди разбегались, а барахло им оставалось; они и вас предадут, как родину предали; дети для меня самое главное, но я вынуждена буду вести их на погибель, ничего другого не остается...

Где он сейчас, тот немец, который все это выслушал от женщины с глазами то нервически сухими, то вдруг залитыми слезами, внимая терпеливо ее неслышанно наглым по тем временам словам — не арестовал, не стукнул кулаком по столу? Под испытующе насмешливым взглядом другого немца (мама убеждена, эсэсовца) произнес свой приговор: вы, женщина, не виноваты, я это вижу, накажу полицейского.

И действительно, посадили Гузикова в «холодную». И хотя уже на следующее утро выпустили и более того, именно ему поручено было глаз не спускать с беспокойного дома, стрелять в любого из этой семейки, если окажутся за чертой поселка, и было ясно, что теперь-то Гузиков расквитается за все — как бы там ни было, но неведомый мне офицер — немец, заброшенный военной случайностью в Глушу, дал нам спасительную паузу, не позволил при всех его возможностях нас запросто уничтожить — как не быть ему благодарным?..

Что, мода такая: всех благодарить, у всех прощения просить, отвешивать покаянные поклоны во все стороны? Уже и за победы благодарим. Или даже просим прощения.

Уж если зашел разговор: надо бы попросить. За победы похищенные, отнятые, уворованные. Например, у миллионов беспаспортных селян (и белорусских «вясковцев»), которые из вызволенной ими от фашистского рабства Европы, из партизанских лесов вернулись прямым в крепостную зависимость от колхозного, районного начальства. Попросить, хотя бы с запозданием, прощения у десятка народов, которые почти на полстолетия лишены были отвоєванной у Гитлера свободы потому, что победу им принесли мы, сами несвободные. И кто у нас прощения попросил за несвободу освободителей? А «свои» народы, нации (белорусы, украинцы, прибалты, молдаване, многие, многие), которые подобно нашим военнопленным — из фашистского лагеря перемещены были в советский, с клеймом едва ли не предателей. Не говоря уже о народах, сосланных в лагеря и на «поселение».

Кто русский народ молил о прощении за его распятую культуру, достоинство, репутацию?

Нет, ну хоть какая коммунистическая сволочь (согрешил-таки злобой,

прости, Господи!) таскающая по улицам Москвы, Минска, Киева портреты Сталина, покаялась перед теми фронтовиками, инвалидами, ветеранами, у которых Верховный Главнокомандующий сразу же после войны разжал ладонь и отнял мятые рублевки, получаемые за боевые ордена? Где вы там, Зюгановы-Лукьяновы? Или у ленинградских блокадников прощения попросили бы — все бывшие и нынешние Толстиковы-Романовы; у московских ополченцев, — уже не знаю кому и просить. Только у всех у них Победу украли. Как же горько прав был неистовый Бакунин: бойтесь победы, из ее венков вам скусют цепи!

Нам ли не знать этого, не помнить, как это делается?

Много лет спустя после всего, что память связывала с войной, к нашему глушанскому дому, под разросшиеся березы пришла мамина сподвижница по санчасти Валя Бузак, женщина с голосом, странно тихим для учительницы, кем она работала до и после войны. Валя, присев на скамеечку рядом со своей бывшей «начальницей», которая чистила для внушек морковку, с улыбкой стала припоминать тяжелейшие для нашей мамы дни, когда мы с Женей и пол-отряда пропали где-то возле Березины, не вернулись в свои леса, а те партизаны, обмороженные, израненные, которые добирались до своих, приносили страшные вести. Про то, как погибли комиссар Голодов и более 80-ти наших хлопцев в деревне Ковчицы, как весь взвод Шуева в деревне Слободка немецкие танки заутюжили в окопах. А Р-н уточнил, что он самолично видел, как «обоих сынов Анны Митрофановны танк...» — и каблучком сапога крутанул по сухому скрипучему снегу. Когда глаза его встретились со взглядом матери, Р-н зачем-то добавил: «Как это ни печально, Анна Митрофановна...» Зачем рассказал это в ее присутствии, объяснить трудно. Не хочется думать, что из-за старой между ними неприязни, а возникла она из того, что Р-на подозревали в стукачестве, «слухачестве», и мама сторонилась с виду интеллигентного говоруна. Возможно, чем-то напоминал Казика Погощкого.

А может, причина в той сумятице, которая порой овладевает человеком после особенно кровавого боя, когда кажется, что спасся ты один, а если и еще кто-то, то вроде бы твое спасение уже не столь исключительное событие. Увы, люди, увы, человеки!

Действительно, очень многих партизан и красноармейцев (мы уже воевали бок о бок с армией) в деревне Слободка немецкие танки заутюжили в окопах. Я там не оказался только потому, что отмахнулся от Шуева, когда он угрожающе направил на меня из окопа автомат: «А ну, вернись!» Куда вернись, если я связной при своем командире взвода Лазареве, а он ранен в обе руки, и я должен быть с ним...

Женя был в том окопе, всё могу представить, а вот как он выбрался из-под песка и каким был при этом — ему всегда за всех неловко, смущенная улыбка в самый неподходящий момент! — представляю себе это и не могу: больно.

Очнулась мама от тех слов Р-на в шалаше, девчата-санитарки возле нее и комиссар бригадный. Увидел, что у мамы открылись глаза, тут же стал агитировать: ничего не поделаешь, Анна Митрофановна, это такая война, но советская власть вас не забудет, вы ради нее пожертвовали детьми...

Здесь рассказчица сделала большие-большие глаза, а голос ее все такой же тихий.

— Ой, Анна Митрофановна, вы так вот приподнялись, глаза сделались не знаю какие... И вы ка-ак плюнете ему в лицо!

— Что ты, Валечка! — мама руки с ножом и морковкой уронила на колени: — Ничего такого не помню. Ничего не помнила. Неужели? Что же ты молчала столько лет, я должна хоть теперь попросить у человека извинения?

Не знаю, успела ли это сделать? Если нет, прошу за нее.

Сколько же раз я приезжал в Глушу. Чаще — со стороны Бобруйска, иногда — через Старые Дороги, со стороны Слуцка. В начале глаза ищут наши березы — радостный девятивершинный выброс зелени в небо — острую крышу дома, синюю веранду: сидит ли мама-бабушка на крыльце, или возле берез сереет ее халат. Где там бегают моя Наташа, Женины Галя, Инка? Родители то приезжают, то уезжают — в Минск, в Могилев.

Из Глуши, где бы ты ни находился, на весь мир распространяются тихие, мягкие волны медленно плывущего времени, утренних детских и птичьих голов: приехал на два-три дня или даже просто позвонил, и ты снова спокоен, свободен для других мыслей и забот, самое дорогое на своем месте и ничего не случилось. То место на земле, где для тебя сошлись жизнь и смерть, теперь, когда война лишь в памяти, место это как островок устойчивости, неизменности. Летний теплый вечер, и все, все рядом, вокруг тебя Глуша твоего детства и детства наших детей, на скамеечке сидит мама, вроде бы смирившаяся со старостью, с болезненной замедленностью любых действий, все более молчаливой, но по-прежнему неотступно участвующая в жизни сынов да и всей обильной родни — хочется сохранить, продлить эту самодостаточность жизни: нигде нет ничего, что было бы нужнее, дороже.

Из множества моих возвращений в Глушу один приезд — лето 1945 года — запомнил особенно. Разорванная войной жизнь нашей семьи собиралась, стягивалась заново — как рана затягивается.

Из войны Глуша вышла удачно, ей повезло. Ну, прямо-таки как нашей большой семье. Что, и у поселков, деревень, городов есть свой Ангел-Хранитель? Глушанский ангел распорядился, чтобы Сталин принял дополнения Рокоссовского к «операции Багратион» — часть войск пустить через Полесье. И тем самым Глуша, хотя она и прилепилась опасно к «варшавке», оставалась в стороне от главных боев, смертей, пожаров.

Партизаны, те жители, которые прятались в лесах или дальних деревнях, и там их не перебили, не сожгли заживо — возвращались в свою Глушу. Мама вернулась одна-одинешенька. Потом скупно вспоминала, как вошла в нашу калитку, двор, в наш дом — целый год в нем жили сбежавшиеся из других гарнизонов полицаи, устроившие тут караулку. Принесла с собой то, что было в вещмешке: то есть, всего ничего. Добыла охапку чистой соломы, постелила у стены, где почище, и так провела первую ночь в своем доме. Кто-то заглядывал в окна, верили и не верили, что вернулась Адамовичиха. В Глушу не раз приходили известия, что и сыны и сама — погибли.

Когда мы уходили в партизаны, в волнениях дожидались, когда покинем дом, в сундук, зарытый в подпол, побросали то, что жалко было оставить просто так: какую-то посуду, медицинские книги отца, я — свой альбом акварельных рисунков и стихи (тетрадку). Пусть лежит, хотя, конечно, были уверены, что «бобики», с их исключительным нюхом, тотчас вскроют пол и все вытащат. Настолько были уверены, что мама и не подумала про вещи, ей нужные. А когда мы открыли подпол, два года спустя, нашли все совершенно сгнившее (кроме стекла и вилки с ложками). И мои стихи, и мой альбом отсырели, почернели. Стихов я не писал больше, рисовать не тянуло.

В голове у вернувшейся мамы было одно: Женя! Где он, что с ним? Про меня и про отца нашего узнала от дядьки Антона. А до встречи с ним и про меня ей было известно лишь то, что Р-н сообщил: заутюжили! Правда, кто-то вроде видел младшего за фронтом, но как она могла не думать, что ей нарочно это говорят. Та же Валя Бузак рассказала, как вдруг исчезала Анна Митрофановна, и ее искали вокруг по лесу, зимнему болоту, а найдут: сидит на кочке, снег у ног растаял — от слез.

И вдруг: о, радость, о, ужас! Шуев и с ним несколько партизан объявились в отряде, живы, целы. Убежали из Слуцкого лагеря. С ними собирался и Женя, но его свалил тиф. (Тот самый тиф, что спас от Ельницкого.) Куда девался лагерь потом, мама металась, искала следы его, куда, могли угнать?.. В войну чудес было немало, когда, например, два солдата спрятались под плащ-палатку, закурить, прикурить: щелкнули зажигалкой — ты? ты?! — оказалось, отец и сын, три года ничего не знали друг о друге. И вот, пожалуйста! Так должно было совпасть, случиться, что подразделение, в котором дядька Антон был сапером, проходило через Глушу. Он всех расспрашивал про семью доктора. Но что могли рассказать? Встретилась ему даже Погонька, после вспоминал, что больше всех бедовала, переживала, что Адамовичи пропали, убили их. Уже ни на что не рассчитывая, в каждой белорусской деревне, где останавливались и где видел людей с оружием, спрашивал: а такую-то не знаете? Недалеко от Слуцка это произошло, снова спросил, а ему:

— Анна Митрофановна? Так вот же она!

Она шла с полным ведром от колодца и всматривалась в незнакомого, высокого, как брат Антон, солдата в нелепых обмотках и коротковатой шинели. Узнавала и не верила, но вот уронила ведро с водой и горько заплакала. Дядька Антон подбежал, обнял, а она ему:

— Я одна, Антон, я одна!

— Да не одна ты, Аня, вот, вот, смотри!..

Он зашарил по карманам, нашел, вытащил письма — смотри!

Дядька всю войну переписывался с сестрой Олей, жившей в алтайском Лениногорске. Когда объявился там я, конечно, узнал про это, стал писать мне, получать мои письма, а тут и папа догадался сообщить о себе на Алтай.

Дядьку поразило, как обрадовались ему незнакомые партизаны: за врача, конечно, своего обрадовались. Через полчаса уже сидели за шумным столом и, перебивая друг друга, рассказывали, как они все знали, не сомневались, что Анна Митрофановна найдет детей, об этом и сны говорили.

Читая у Плутарха, у Тита Ливия про македонцев и вообще древних, как они разгадывали сны, шага без этого не делали, не предпринимали, я вспомнил свой отряд, партизан. Ну, чистые македонцы! Даже комиссар Буянов, по словам Вали Бузак, приходил в санчасть и «политработу» проводил по снам. Сны свидетельствовали, что скоро дела пойдут лучше, а для немцев — совсем плохо. Маме приснилось, что брела по глубокому снегу и вдруг видит — буханка хлеба. Взяла в руки, а она — теплая! Через несколько шагов — еще такая же. Главное, теплая, значит, живы и оба.

И вот теперь, когда нашелся младший, уверенно предсказывали: найдется и Женя.

Но он не находился. Куда только не ездила мама, и в Западную Белоруссию, и на Украину. Брала узелок с хлебом и мчалась в белый свет, прослышав, что там и там лагеря были наших военнопленных или куда-то, на шахты, привезли их из Германии. А пленных, не доморенных в лагерях немецких, везли и везли на восток — в наши. Мать в отчаянии раскидывала руки перед этим изгнано-исходом, в надежде не пропустить, выловить, задержать. Она все сделает, чтобы забрать его, отнять — неужто ничего не значит все то, чем люди жертвовали (и она тоже) в войну?

Уже и победа состоялась, отрадовались, отпраздновали, отплакали. И вдруг — письмо. Солдатский треугольник. Брат сообщал: он в госпитале. Не писал прежде потому, что не рассчитывал выжить. Ты, мама, уже отплакала, не хотел, чтобы второй раз пришлось. (Вот дурак, вот дурак у меня брат!) Потом он так объяснял свое поведение: убежал из колонны военнопленных в Польше, стал красноармейцем, на Висле в окопах наших людей раз-два и обчелся. От пулемета к пулемету перебегали, чтобы показать немцам, чтобы думать, — в России еще есть солдаты. Где уж было рассчитывать, что живой добредешь до конца войны?

— Да, мама, а в Слуцком лагере мне встретились твои знакомые, помнишь пленных, которых ты кормила в аптеке? Узнали, чей я, и, когда вышел из тифозного барака (а есть так хотелось, они это знали), дали мне мешочек сухарей, накопили из своей пайки, пока я лежал там.

Мама не произнесла, не напонила про свое излюбленное: брось сзади — найдешь впереди! — она просто заплакала.

Возможно, это были последние ее военные слезы.

И вот я возвращаюсь в Глушу. В Новосибирске мог застрять на целый месяц (эшелоном с войсками, с техникой гнали в сторону Японии), вероятно, так оно и было бы, если бы меня не ждала Глуша, мама. Познакомился на забитом людьми вокзале с инвалидом-фронтовиком, на протезе, решили вместе искать выход из положения.

Побрели вдоль пустого эшелона, дожидавшегося своего часа на запасных путях. Если хорошенько присмотреться, всегда найдешь, если не дверь, то щель. Это любому фронтовику известно, а уж партизану — тем более. И, действительно, в одном вагоне кто-то оставил приоткрытым окно в туалете. Вот он, наш шанс! Инвалид послал меня в разведку, подмог снизу, сзади: вот я и в вагоне, пусть пока лишь в туалете. Подал мой вещмешок, сумку. Теперь давай ты, я протянул

вниз руки, но фронтовик вдруг засомневался, нет, он не полезет, счастливого тебе пути, братка! Что ж, жаль, вдвоем было бы легче качать права перед проводницей. Один я в пустом вагоне, садись, ложись, где пожелаешь. Но мы не гордые, нас и третья полка вполне устроит. Забрался и затих, вслушиваясь. Поезд тихонько, на цыпочках подбирается к вокзалу, слышному издалека. По целому месяцу ожидающие отъезда люди — ясно, что и заорешь, и затолкаешься. Проводница тоже орет, визжит — да, видно, у нее характерец. Скоро встретимся. Топот, стук чемоданов уже в тамбуре, внизу подо мной — майор! Второй и даже хуже — полковник с тремя чемоданами! И еще, и еще — хоть бы один невоенный, гражданский. Похоже, что я забрался в вагон для высоких чинов. Так что и не рассчитывай, не удастся затеряться среди пассажиров. Белая ворона! Вагон зазеленел мундирами, засверкал погонами, что луг весенний. Пробежаться, что ли? — я соскочил со своей высокой полки: «Здравствуйте!» — и присел к окну, напротив майора. Он удивился. И все вокруг удивились: а этот откуда здесь? Но молчат, я спросил, сколько до отхода поезда, ответа не услышал. А вот и красавица-проводница уставилась на меня.

— Вы как тут? Как вы прошли?

— В дверь, а то еще как!

Протянула руку за билетом, я заодно свою партизанскую справку подал (действовало, срабатывало, когда год с лишним тому назад ехал на восток). На справку не взглянула, а с билетом все и так ясно: без места, незакомпостирован, и потом — это вагон для высшего комсостава. Справка с печатью Центрального штаба партизанского движения (выдана в Гомельской Ново-Белице в самом начале 1944 года) приглашающе белеет на столике, сиротливо белеет, любой может взглянуть, убедиться, что перед ними не воришка и не какой-нибудь полицай — не заинтересовался ни один майор, ни один полковник. Ни слова, ни за, ни против. Проводница, что-то сообразив, быстренько предложила: я вас в соседний, в общий переведу. Что ж, лишь бы ехать. Как только я оказался в тамбуре, дверь за мной захлопнулась, никто и не собирався меня подсаживать в соседний вагон. А поезд тихонько тронулся, и то слава Богу, вон какие стоны и вопли оставшихся. Военно-милицийский патруль, проходивший по эшелону, моими документами заинтересовался. Увели с собой, я уже готовил страстную речь в оправдание своего поступка, чтобы дошло, проняло, прочувствовали. Но не понадобилось ничего. Провели в свой служебный вагон, посмотрели документы: поедешь с нами, пацан! Ладно, пацан так пацан, лишь бы двигаться — к Казани, к Москве, к Глуше.

И вот он, этот момент! Соскочил с машины, мне подали вещи, а глаза уже охватили все, что смогли, обняли, придвинули: прихосейные сосны, дом, наши окна, больница-комендатура с почерневшими от снятых земляных заграждений стенами, аптека, где, я знаю, теперь и работает, и живет он а. Кто-то в белом халате метнулся за окном, я направился к верандочке, но она, вероятно, побежала через сени — свернул, заторопился туда, почти бегу. Я туда, а она — через веранду на улицу, следом за мной, догнала в сенях, а в руках у меня вещи, бросил их к ногам, и вот мы в аптечной кухоньке стоим друг перед другом. Как бы не зная, что делать. Эти секунды куда-то далеко, далеко отбросили месяцы, годы, вечность, где мы уже могли и не встретиться никогда.

— Сынок...

(Господи, сколько потом было дней, когда я мог быть рядом с нею, что-то сказать, услышать ее голос, пусть в нем и старческая суматошность, испуг, который почему-то раздражал. Ну, звякнул телефон, ну, в дверях позвонили — что, что случилось, какая причина бежать, пугаться: «Саша, звонок!» — да что случилось, что за паника, мама? Ничего, дурак, не случилось, всего лишь жизнь прошла, уходит, кончается. Теперь хотя бы, понял, понимаешь?) Нас окружили какие-то незнакомые люди, прошли через аптеку на кухню, Нина и Франя громко рассказывают, как смешно мы бегали друг за дружкой. Маму поздравляют деревенские бабы, держа в руках бумажки-рецепты. Все так, будто не они только что от войны спаслись, а я, который больше года был от нее далеко-далеко, аж за Уралом. В 8-м классе учился, в горно-металлургическом техникуме. Когда оттуда уезжал, спросили, вернусь ли доучиваться. Спасибо горному, спасибо

металлургическому, спасибо городу Лениногорску, но я больше не сирота — я в Белоруссии, я нашел семью и она меня нашла.

Когда остались вдвоем, мама показала мне письма отца и Жени, а я ей рассказывал, как там, далеко от войны, я вдруг брюшным тифом заболел (хотя в партизанах ни разу даже насморка не схватил) и как папа прислал мне в больницу лекарства и письмо вложил, для цензоров. Мол, нашелся сын, прошу забрать половину стрептоцида, лекарств, я специально две порции положил. (В прежних его посылках я находил кирпичи, а однажды — рванный, гнилой тулуп.)

80
 Меня кормили, мне улыбались, со мной разговаривали звонко-счастливыми голосами, а мне уже хотелось выйти и пройти по Глуше. Глушане, кто узнают, а кто не узнают меня. Постой, это, кажется, Ельницкого зять, он был в полиции, а потом тесть его от полиции освободил («по болезни», но мы-то знали — по блату, и тем спас его в ту ночь). На меня оглянулся с удивлением и почти испугом, а я невольно поздоровался. От полноты счастья. Почему не здороваться теперь, когда не ваша, а наша Глуша? Я и с Казиком, и с Погоцкой (а уж тем более со стариком) поздоровался бы, поразговаривал. Хотел бы посмотреть на них, дом их виднеется у леса. И с деревьями, с соснами поздоровался (кора все еще по-утреннему прохладная), поразговаривал. Вот эта самая толстая, возле аптеки, меня спасла в ночь, когда мы по одному уходили к тому вон лесу. Перебежал шоссе, и тут послышался голоса, смех: полицаи идут! Пока проходили мимо, я поворачивался вокруг ствола дерева. А заметили бы — ночью, с чемоданчиком! — чем бы все для меня кончилось?

На мой вопрос: «Как тут Погоцкие?», мама вечером рассказала:

— А знаешь, ко мне приезжали, спрашивали о них. Вернее, тут начал работать уполномоченный от Бобруйского этого НКВД или как у них теперь? Зашел в аптеку посмотрел, позвал в задние комнаты. Так, мол, и так, у него документы важные, он часто уезжает. «Могу я у вас их хранить? Мы знаем, что вы партизанка, и муж всю войну в армии». Я ему говорю: «Нет у меня сейфа, боюсь я ваших бумаг!» — «А ничего, вы же храните яды, вот там и мое спрячьте».

Однажды мне говорит: поступило заявление (назвал Лещуна и еще двоих партизан), что Погоцкие на вас доносили немцам. Вы подтвердите? Понимаешь, сынок, я сказала: ничего не знаю и ничего не буду подтверждать! Ну как же так, все про это знают. Они знают, а я не знаю. Не спрашивайте меня ни о чем.

Видимо, заметив, что сын не очень ее понимает, пояснила:

— Мне Бог все вернул, а я буду... Пусть он и судит, его воля. Я поклялась, когда вас нашла, за всё всех прощать.

Но старуха сама пришла в аптеку. Принесла банку меда, сало — как же мама ее турнула!

— Нина и Франя удержали, а то бы я ее с крыльца спустила.

Про Казика мама сообщила: уехал куда-то в глубинку, будто бы учителем работает. Кому-то мед их по вкусу пришелся, в армию не забрали, хотя всех подмели, кого только можно.

Тогда я маму не очень понимал, зато понял позже. Да, именно после такой войны, такого всплеска ненависти, лютой, надо было начинать прерывать цепь, хотя бы на своем участке. Вряд ли она рассуждала так. У нее свои доводы: отмолила сынов у Бога, и теперь не она, а он всему судья. Политиками наши родители не были, их отучили напрочь. Довоенный страх продолжался и в победителях. А мы, кто помоложе, что принеся с войны, а что зачерпнув после XX съезда, все больше обретали «смак» к «политике». Мама присматривалась не без тревоги.

Звонок мне в Минск:

— Саша, так что это такое?

— А что?

— В газете вот написано, мне показали, в «Звезде» — что ты нигилист!

— Ну и что? Базаров был тоже нигилист.

— Но тут написано: ржавый!

В послевоенных «органах» оказалось немало бывших партизан. И наш один — Николай С. От него я много интересных вещей узнавал и про себя тоже.

— Почему мое начальство так тебя не жалует? — спрашивал Николай.

— Не жалует?

— Это точно. Во-первых, говорят: не советский человек. И второе: он не любит нас, органы.

Со вторым я спорить не стал бы: убили, замучили, подставили под пули каждого третьего жителя огромной страны, а вы их любите! Обижаются. Но вот: советский, не-советский — это надо было еще доказать. Когда был я «советским», а когда перестал им быть. Во всяком случае, когда отец, вернувшись из армии в Глушу, вдруг задумал и начал строить собственный дом (не жить же вечно по закуткам в аптеке!) я удивился:

— Собственный? Так скоро же коммунизм!

Самое поразительное, что не все было шуткой, была доля вполне искреннего убеждения, ожидания: мы же победили, теперь все сумеем, сможем!

Ну что, разве не вполне советский (человек). Дом отца, нами достроенный, стоит, можете убедиться, в Глуше. Ну, а коммунизм на одной шестой... Тут была явная недоработка и самих органов. Решительнее с нами следовало, круче поступать. Чтобы никаких оттепелей, никаких перестроек. Народ наш по-доброму не понимает, тут же наглет. Вот и мы — в раннехрущевские времена. Нас старались покликать на помощь, чтобы вместе «улучшать социализм», в одной упряжке с органами, а мы хотя и мечтали об улучшенном, но чтобы без органов, без таких, во всяком случае, а если с ними, то без нас.

Мы тогда часто собирались в гостеприимном финском домике на окраине Минска — у Художника. Посидеть за столом, пошуметь, в громких спорах разгрызть все вопросы, вдруг и разом открывшиеся нам. Считалось, что «чужих» в нашей компании нет (да и надоело оглядываться), говорили обо всем открыто. А тем более — заодно с Хрущевым — кого же бояться? Однажды собрались, спрашиваем: «А Поэт где?» Нет Поэта. И вдруг появляется: вид человека — ошарашенного, но довольного: «Хлопцы, где я бы-ыл!» Его, оказывающегося, «вызывали». Дал подписку о неразглашении. Подробно стал рассказывать, что обещал не разглашать, а в заключение посоветовал: приготовьтесь, каждый должен иметь «версию», чтобы не застали врасплох.

Я дождался своей очереди даже с любопытством. Ведь мы были очень самоуверенны: недавние партизаны, фронтовики — нас голыми руками не возьмешь! Словно и не помнили, что у многих других заслуги куда как громкие, а загремели так, что и следа не осталось.

Но ведь был все-таки уже XX съезд!

И вот наступил мой черед. Какая-то шустренькая физиономия заглянула в дверь академического Института литературы, вежливо прозвучала моя фамилия — просят в коридор. Не успел выйти — в лицо мне книжечку. А, очень приятно! Молодой человек даже как-то обиделся, что никакого впечатления. Сообщил: вас приглашают в дом по проспекту Сталина, номер такой-то, очень просим, для разговора. Зайти следует со стороны Комсомольской, там есть столовая, общая, городская — через нее и пройти. Все предусмотрено: чтобы незаметно, не подводить своих людей.

Все так и было: обеденная толчея, какая-то дверь — эта, кажется? Ну, а дальше — коридоры известного в Минске здания, которое в разрушенном городе было возведено (немцы строили, военнопленные) в числе первых после войны, если вообще не первое.

Про эти бесконечные коридоры мне потом рассказал Николай С., тот самый сопартизан, забавную историю.

Рассказывал, во всяком случае, как забавную, хотя, думаю, ему было не до смеха, когда за ним мчался на коротких ножках министр внутренних дел Цанава, минский Берия, с воплем: «Стойте! Кто такие? Стойте, говорю!»

Шли молодые два лейтенанта по коридору своей организации и вдруг видят — Цанава навстречу. Рефлекс сработал: не попадаться на глаза, неизвестно, что ему тюкнет в голову. Развернулись и бежать, да — круто вниз по лестнице, в туалеты, один в мужской, второй — в женский. Долго разносился истошный крик разъяренного Цанавы.

Не только это мне рассказал бесшабашный Николай, тогда же выдал и служебную тайну: «Очень не по душе ты нашим. Я уж им и так, и эдак: партизан, семья партизанская! Нет, он нас не любит!»

Вот такая взаимность. А отчего, казалось бы? Поговорили как люди и разошлись. Никто никому не должен. В комнате, мне указанной, поджидали. Лицо востроглазого капитана вроде бы знакомое, где-то видел, но как бы боковым зрением. Прямо — не попадался. Через пять минут понял: знает про писателей все. Про живых, про мертвых, про реабилитированных и еще не реабилитированных. В этом деле и предлагает мне поучаствовать — благородном деле реабилитации белорусских писателей. А работа трудоемкая: из ста двенадцати — сотню, что ли, угробили. Досадные все ошибки. Без вашей (нашей) помощи не обойтись.

Понятно, все понятно. Да только лучше: вы сами по себе, а мы сами по себе. У меня в журнале «Полюмя» серия статей именно о таких писателях, репрессированных. Пожалуйста, используйте.

Так-то оно так. Но нам бы (им) хотелось... Глаза охотника или птицелова: зоркие, азартные. Коготок, только коготок твой им нужен!

А вот коготок мне всего дороже. Поэтому никакие зывания к патриотизму не доходят, не действуют. Тем более, что в запасе у меня «версия». Приготовился использовать ее в самый критический момент. А момент все не наступает. Разговаривают со мной уважительно, мы как бы вместе охотимся. Только я — птичка, а он — клетка с приоткрытой дверцей.

Подписал мне пропуск на выход: позвольте когда-нибудь еще раз с вами побеседовать. Подумайте.

Помчался к друзьям рассказать о столь легком избавлении.

Но не тут-то было. Через неделю — телефонный звонок. Не могли бы прийти? Тем же маршрутом.

Что и говорить, интересно эдак запросто пройти в здание, самому войти и выйти, куда приводили и откуда выход был, ох, как затруднен.

Помнится, шел по проспекту имени Сталина, когда часовые даже снаружи охраняли работающих на этажах и сидящих в подвалах, заинтересовало: а что это за прокладки между мощными гранитными плитами, фанера или стекло? Ковырнул пальцем и тут же отпрянул: часовой несется на меня, держа перед собой штык. Вот такое это было здание.

А войти в него, оказывается, просто, только надо знать: через городскую столовую. Наверное, и в этом был соблазн: получить право не бояться того, что пугает всех. Так что не только страх загонял в «невидимки», но и желание от него избавиться — хотя бы таким способом.

Высокий чин в грубом свитере из-за стола смотрел на меня почти скучающе. Что чин высокий, хотя и не в мундире, я понял сразу: потому что мой капитан из прошлой встречи был отброшен куда-то к самому порогу, еле удержался за краешек стола, сидел скромно, лицо не как в прошлый раз, всепонимающее, а туповато-казенное, присутствующее, и не более того.

— Я вас слушаю,— произнес чин так, точно проситель к нему явился: он еще посмотрит, годишься ли ты для столь высокой роли. Пришлось говорить ему. Опять про «перестройку в органах», о нужде в честных гражданах. Вы сами требуете восстановить честные имена писателей. Вот и помогайте нам в этом деле.

Приберегая «версию», тяну ту же бодягу: статьи мои напечатаны, больше сказать мне нечего. Он: а вы напишите специально для нас. Чего вы опасаетесь, или не уважаете нашу работу?

Боковым зрением я видел своего востроглазого вчерашнего капитана. Заметил, как он настораживался, напрягался, когда чин в свитере начинал подтягивать меня к себе.

— Вы что же, такой мелочи не можете сделать для государства, которое вас выучило, воспитало?

Ну что тут скажешь ему? Возразить действительно нечего. Председателю КГБ Крючкову в лицо говорил про 40 миллионов, ими загубленных. Но это уже 1990 год, а то был еще 1957-й.

Чин начинал злиться:

— Вы думаете, мы не знаем, о чем вы там говорите по улице Восточной? Финский домик Художника стоял на улице Восточной.

— Так вы в качестве подозреваемого меня позвали?

Шары, столкнувшись, тотчас разбежались. Чин даже заулыбался. Но предупреждение было сделано. Пора вытаскивать «версию».

Я увидел, как забеспокоился капитан у порога. Да он совсем не хочет, чтобы чин меня расколол и показал бы, что капитан работать не умеет. Конечно же, чин заглянул сюда на минутку, чтобы блеснуть: вот, как это делается.

Уже час, если не больше, прошел. Это же надо — столько человека держу. И какого — похоже, генерала!

Повинился: мол, и еще час, — ничего кроме журнальных статей, предложить не смогу.

— Хорошо. Вот этот, как его писатель... Головач (вопросительный взгляд в сторону капитана), сейчас его дело по реабилитации на столе.

— Я и про него написал. В журнале «Полюмя» (такой-то номер).

— Хорошо. То же самое напишите для нас.

Я увидел, как напрягся капитан.

— Пришлю журнал.

— Журнал мы и сами можем. Что, вы так не уважаете нашу деятельность?

— Деятельность как деятельность.

— Значит, напишете? То же, что в журнале.

— Нет.

— Почему?

По лицу капитана увидел: я почти в ловушке, позволил себя подтащить к самой дверце.

— Почему не можете такого пустяка? Для своего государства? — напирал чин.

— Не могу — и все.

— Ага, вот как значит! — тут увидел я кулаки на столе. Большие.

Помолчали. Вдруг заулыбался чин, это было так неожиданно:

— Ага, понятно. Вы думаете, что из вас хотят сделать сексота. Ошибаетесь, добра этого у нас хватает. Поймите же, ваш брат писатель — все вы беззаботные. Если их не поостеречь, в такое влезут. Потом сами не рады. Мы теперь заняты профилактикой, исключительно профилактикой. Но для этого должны понимать, что происходит в писательской среде. Чтобы потом не заниматься реабилитацией. Нужны квалифицированные люди, которые могли бы нас просвещать. Понимаете? Не доносить, а просвещать. Именно, чтобы не прибегать к помощи всяких тайных сотрудников.

— Действительно, — согласился его собеседник (я), — нехорошо получается. Сидят на партсобрании рядышком. Тот, кто «сидел» лет 25, и тот, кто его посадил.

Мог бы рассказать почти веселую историю, как двое таких ездили в Москву. Стукач купил на двоих билеты.

— Гриша, ты помоложе, я себе нижнее место беру.

— Как нижнее? Да я из-за тебя на нарах столько лет!..

— Ладно, ладно, я наверх полезу.

Гостиница.

— Гриша, гаси свет, уже два ночи.

— Да я из-за тебя столько книг не прочел!

— Ладно-ладно, извини.

Историю эту не рассказал. Вместо этого предложил:

— Дайте мне шинель.

— ??

— Если я обязан государству, не отслужил в армии, пусть выдаст шинель, чтобы видно было: человек при службе.

Это и есть моя «версия», которую приберегал на критический случай.

— Ну зачем же? У вас уже сложилась научная карьера. — А на лице: на кой хрен ты нам нужен в шинели? — Значит, по-доброму у нас не получается...

Чин замолчал. Молчал капитан. А я, помню, прикидывал: мне — 30, даже если 10 лет отнимут, смогу жить дальше, писать (тайком писал свои партизанские романы). Если же увязнет коготок — жизни конец, а уж литературе — тем более.

— Так и быть, мы вам доверяем. Я вам расскажу...

— Нет, нет, ничего не рассказывайте, не доверяйте!

После четырех часов вот таких притягиваний и отскакиваний (заинтересованная реакция капитана, который явно и всей душой желал провала своему начальнику, помогала мне контролировать ситуацию) вдруг открыто гневный окрик:

— Пишите!

— ??

— Пишите, что никому никогда не расскажете об этом разговоре.

Швырнул лист чистой бумаги...

Но вот я себе представил: другое время или ты не устоял, или не сумел извернуться, и они тебя заарканили... С каким бы чувством вышел, выходил? Моя глушанская биография приземляет, подсказывает примеры — параллели, которые, вероятно, вызовут не вполне эстетическую реакцию. Как-то мы носились по убранному картофельному полю, привыкнув и не замечая, что на краю его стоит дощатый сортир, один на все заводское общежитие. Пацан побежал за мячиком, который ударился о заднюю стенку сортира и упал там. Побежал и вдруг исчез: только голова торчит над землей и плечи, опирающиеся на локти. Когда вытащили за руки из выгребной ямы, не знали, смеяться ли, плакать ли. Ему, уж точно, не до смеха было. Обтереться — ботвы со всего поля мало для этого, отмыться — где, и как будешь идти через поселок, мимо людей. Почему, почему обязательно со мной такое! — прямо-таки кричит лицо парня. В глазах его я вдруг увидел безумную решимость: нырнуть туда, головой вниз, и уже не выныривать!

А ведь ныряли, и сколько, безоглядно.

Не думаю, что «обиды» органов за эту встречу на мне столь долго висела, давал и другие поводы к нелюбви, надо быть справедливым. Ведь они, «органы», не только по улице Урицкого, а и «подсоседами» — в любом здании-учреждении. И конечно же — в Союзе белорусских писателей. А у нас там свои страсти, особенно, если ты критик и не ценишь «производственные романы». Чье-то терпение лопнуло («Какое тебе дело, что романы мои толстые, скучные — твои, что ли, деньги?!») и я вдруг узнал: разыскали Казика Погочко (это же надо уметь, глушане и те не знали, где он и что с ним), от него получено письмо, и все теперь могли убедиться, что не только Алесь Адамович — человек сомнительный, но и его мать... Дружила с немецким комендантом, он ее даже не арестовал. (Погочкий никак и через столько лет не мог избавиться от шока, когда даже после второго доноса старухи нас не тронули.)

Я рассказал об этом матери, она отреагировала совсем неожиданно: зачем ты, сынок, про них писал? А еще этот фильм! (К тому времени прошел по экранам фильм «Война под крышами».)

Испугалась — за меня:

— Тебе они ничего не сделают?

И сообщила:

— Знаешь, мне прислали медаль «За отвагу». Второй раз. Это ошибка? Или это значит, что снова война будет? Раз вспомнили о нас.

Женя долечивался в Германии, армия генерала Пухова, в которой служил отец, стояла в Ровно. Ну, а мы с мамой снова жили в Глуше, и к ней тянулись невидимые нити, все связывающие. Время было особенное — 1945 год. О чем в другие времена подумывал бы парень с 8-классным образованием (плюс один курс техникума)? Как закончить среднее образование. Мы же сразу — в какой институт поступить? Четыре года войны зарядили решимостью не только в поездах безбилетно ездить. Я выбирал между мединститутом и университетом, а точнее, они выбирали, соревнуясь, чтобы мне понравиться: когда мединститут засомневался (и не без основания), что за круглая печать на справке о сдаче экстерном экзаменов, и я, устыженный, вознамерился забрать у них документы,

тут же бросились извиняться за излишнюю догадливость (все еще незначителен был процент мужчин, поступающих на учебу, а им мужчины были нужны). Но я все-таки забрал документы, когда на улице Минска встретил Женю Семенчука, которого в школе мы называли Жомом и которому в войну в бобруйском немецком госпитале ампутировали руку (как жертве партизанского бандитизма, хотя ранили его немцы, и был он сам партизан).

— Ты?

— Ты?

— Куда поступаешь?

— В мединститут.

— Иди к нам в БГУ (Белорусский государственный университет).

— А можно? Знаешь, у меня справка за десять классов и с печатью, но немножко того... (Я крутанул рукой, показывая, как печать поворачивают, чтобы нельзя было ничего разобрать.)

— Зато партизанская у тебя нормальная?

— Нормальная.

Женя-«Жом» взмахнул коротким обрубком руки:

— Ее и предъявим.

В Ровно, показаться отцу и посмотреть на него, я ехал уже студентом и временно прописанным жителем Минска. Не догадывался, что меня еще и в разведку посылали, у мамы были свои соображения. Она уже начинала свою обширную программу, акцию по собиранию под глушанскую крышу всего нашего рода. Были написаны и разосланы письма, куда только можно — в Сибирь, на Урал. Конечно свет не сошелся на Глуше, но само собой разумелось: если людей насильно разогнали, кого куда, и если все наконец поменялось (а тогда верили, что война, победа многое изменили), ясно, что надо восстановить порушенную жизнь, помочь вернуться изгнанникам. Правда, многие уже другие корни обрели, пустили в иную почву, для некоторых Глуша уже звучала этимологически — г л у ш ь. Но что касается доктора Адамовича, то здесь уж точно: нечего ему, новоиспеченному подполковнику, делать в армии, когда война кончилась! Меня не просили предъявить такой меморандум, но он, конечно же, предполагался (а вскоре мама сама поехала в Ровно и изложила его публично, при всех папиных друзьях-полковниках).

Отец мне показался сильно заматеревшим: лицо огрубело, голос тверже, решительнее, мундир уже не сидел на нем как на гражданском человеке, он будто прирос к немного отяжелевшей фигуре. Только глаза устало воспаленные, задумчивее и неожиданно легкие на слезы. Обнял меня и прослезился, не смущаясь, что видят его медсестры. Снова и снова им объяснял, что четыре года считал нас погибшими, навсегда потерянными и что мы, и жена, и сыны — храбрые партизаны, а вот он (я) уже студент... Сам не мог никак в это поверить, и без конца сообщал об этом приходящим к нему полковникам. Мне уже становилось неловко за отца-подполковника, которого все они, я видел, уважают и, наверно, же не за сентиментальность. Вечером, когда остались одни, наслушавшись моих рассказов про без него прожитые годы, кое-что поведал о себе, как под Курском по сто, по двести ног-рук отрезал «по живому», а после этого — оглушал себя стаканом спирта, чтобы отключиться.

В моей памяти город Ровно остался чем-то вроде лермонтовской Тамани: меня там едва не застрелили. Город считался «бандеровским», и поэтому после застолья в мою честь, когда все расходились, а одна медсестричка осталась без провожатого, отец, не переставая гордиться сыном-партизаном-студентом, сам предложил мне ее проводить домой. Уже не помню, как звали ее, но была она не по-городскому (или потому, что Западная Украина) молчаливая, застенчивая и, кажется, красивая. (Говорю: «кажется» потому, что все девушки тогда казались мне волнующе-прекрасными.)

Мы шли с ней, не касаясь даже рукой руки, по рано опустевшим улицам чистого городка, с заботливо уложенными деревянными тротуарами. Изредка попадались патрули, а где-то вдаль постреливали. Ну совсем, как в Глуше — вслушивался в автоматные очереди вдаль. Но там, тогда это были наши выстрелы, партизанские, здесь же — чужие, бандитские. (Но это с чьей стороны взглянуть.)

Внезапный дождь загнал нас в какой-то двор под низкий козырек сарайчика. Напротив ряд темных окон длинного, с несколькими сенями, дома. Дождь как из ведра, приходится плотно прижиматься к воротам сарая, которые заперты на крепкий металлический засов, невольно прижимаемся друг к другу, а дождь все равно достает, сечет по ногам. Но дождь теплый, летний, и большой беды в нем нет. Зато можно вот так стоять с девушкой. Глаза ее совсем близко, а что в них, разве кто может знать?

Возможно, мне удалось бы поцеловать вторую в моей жизни девушку (первая, поцелованная, осталась в далеком алтайском городе), если бы не случилось, не произошло то, что внезапно произошло. Распахнулась со стуком дверь над высоким крыльцом, но никто не выходит, а только понукивания, видимо, собаке: «Пошел! Пошел!» Собаку мы не услышали, зато коротко треснул выстрел (из «ТТ»?), и тут же второй. Да что он, очумел?! Я почему-то сразу понял, не только что происходит, но и ход мыслей стреляющего: из окна он долго наблюдал, как двое возятся у замка возле его сарая, и вот решил пугнуть воров, да нет, пристрелить сволочей! Наш офицер, наверное. Мне бы подать голос, отозваться: да ты что! мы здесь от дождя прячемся... Я вытолкнул ее из «зоны огня», обстрела, и сам бросился следом. (И все молчком, молчком.) Поравнявшись с окнами, рукой наклонил испуганно-послушную девичью голову, чтобы тот из окна не выстрелил, добежали до угла дома, не распрямляясь, а там, тоже полусогнувшись, вдоль стены, вдоль — стены. Уф, спаслись! От чего только? Очень подозреваю, что спасался я от стыда. Еще бы, застали с девушкой и как раз на мысли ее поцеловать! Но очень странно, что и она вела себя в совершенном согласии с моими нелепыми действиями, или ее так загипнотизировали уверения моего отца, что с нею — бывалый и надежный вояка. Знает, как поступить.

И тем не менее вернулся вояка домой с самым пакостным чувством в душе. Впервые появилась догадка о многих смертях, которые я в войну наблюдал: существует не только страх, но и стыд смерти. Не страх зажал мои уста, когда раздался выстрел, а стыд, но не только детский стыд, что застали с девушкой о й, нет, более органический, возможно, испытываемый вообще перед концом, смертью. Его я замечал (но не понимал) в глазах смертельно раненных, после мучений, отпустивших, отступивших, когда человек уже видит смерть...

Не сродни ли стыд смерти тем снам, когда ты с женщиной, а кругом люди смотрят, как она тобой, а ты ею пытаешься овладеть, насладиться, и с п ы т а т ь? Вот именно: не только смерть овладевает человеком, но и человек вдруг начинает испытывать к ней род влечения. А рядом, кругом люди...

Возвращался из Ровно, так же как и туда ехал, «на перекладных» — больше в товарных вагонах, чем в пассажирских. На одной из станций вскочил в товарняк, да прямо в лапы к «фюреру». Противно маленькому, ничтожному, но вот запомнился же, на всю жизнь. После они нас сопровождали на каждом шагу, куда ни сунешься — упивающиеся своей маленькой властью хозяева не столько судеб, сколько нервов сограждан, — но чтобы подумать: «фюрер!» — надо было войну пройти. До войны их, наверное, по-другому воспринимали.

Это был обыкновенный товарный вагон, но как нарочно с нарами в несколько ярусов, и пассажиры типичные для того времени, с грязными узлами, с детьми, лица голодно-грязные, глаза воспаленные усталостью, но тоже, как специально — несколько еврейских семей. (Перебирались откуда-то из западных, теперь уже наших, районов в восточные.) Все словно специально, чтобы про хозяина вагона подумалось: фюрер! Он еще не появился — побежал в буфет заправиться, так сказали — но по тому, как о нем вполголоса говорили, как не советовали связываться и лучше поискать другое место в поезде, но и главное — почти лагерная тоска и ожидание очередной пытки унижением в глазах женщин, — многое прояснило в отсутствующем «пане лейтенанте». (Они его так именовали.) Но всего я, конечно, вообразить не мог, должен был (и захотелось) увидеть и сам испытать. (Или себя испытать.) Уже поползли мимо сгоревшие пристанционные здания, а лейтенанта все нет. Даст Бог — отстанет от поезда... Ого, он отстанет, такого ни за что не случится! (Даже надежды у людей не было с ним больше не встретиться.) И действительно: вдруг запис в проеме дверей на локтях, кряхтит, матерится. Как же кинулись бедные евреи втаскивать в вагон своего

благодетеля-мучителя. Но он не поверил в их старательность, тут же уличил в лицемерии:

— Рады, рады были бы! Или если бы под колеса. Весь свет дурачите, а меня не обманете. Так, придавим ухо минуток на 600. Чтобы ни гу-гу! Когда вы мне номерной объект очистите-освободите? Я что, нанялся катать вас в казенном вагоне?

— Мы скоро доедем, мы так благодарны пану лейтенанту...

— Это кто тут пан? Господ мы отменили в семнадцатом. Ничего, скоро поймете, что к чему.

Глянул в мою сторону. А набросился на женщин:

— Это так вы стережете вагон? Выгоню всех! Документы?

— А у тебя они есть? — спросил я.

— У меня-то в порядке. Мне твои нужны.

— Вот и предъяви свои, что имеешь право мои спрашивать.

Вполне советский разговор. Но мы уже осмеливались, учились выяснять, а почему, собственно?

Сколько я ехал с ними, столько перебрехивались мы с лежащим наверху нашим паханом-лейтенантом. Вначале вагон был на моей стороне: хоть кто-то нахалу дает отпор. И мне эта роль нравилась. Я видел несмело-одобрительные взгляды и улыбки, которых не мог сверху заметить хозяин вагона. Но я уйду, а они останутся с ним один на один. И уж он-то постарается вернуть пошатнувшийся «авторитет», непререкаемую власть, неизвестно, чем придется им платить за мою смелость. Какой новой униженностью, каким еще подбострастием. Ничего себе — помог людям, Александр-защитник нашелся!

Когда я выпрыгнул из вагона, он высунул свою усато-бакенбардную физиономию и спросил напоследок:

— А ты случайно сам — не жид?

— Уже интересовались. Немцы.

Мамина поездка следом за моей в Ровно и ее акция по изъятию мужа из армии — надолго стала семейной нашей легендой: вначале весело-счастливой, а вскоре и печальной (неожиданно коротким был век отставного врача-подполковника). Но до того, как мама к нему поехала в Ровно, переведен был в армию Пухова гвардии рядовой Евгений Адамович и вскоре демобилизован. Не успел появиться в Глуше, как ему предложили поступить в школу (или как у них называлось) МГБ, «связать свою жизнь с органами». Партизан, семья партизанская — кому, как не нам у них служить, бороться с недобитыми врагами? А что у семьи у самой корни наполовину кулацкие — этим можно пренебречь, война устроила нам проверку.

Единственный, не были похоже, осведомлены, что Женя побывал в плену. Тут мама сумела их переиграть. Как прежде переиграла полиция и бургомистра, немецкого коменданта. Думаю, это ее незримой волей переброшен был мой брат из Германии в Западную Украину, где у генерала Пухова начальником армейского госпиталя служил наш отец. Работали штабные писаря, подписывались документы, аттестаты, а затем — демобилизационные бумаги и вряд ли подозревали люди в погонах, что исполняют волю женщины из какого-то поселка. Но тут ее победа могла обернуться поражением, бедой: добившись анкетной стерильности для сына, мать тем самым приманивала вон каких сорок. В детстве нас пугали: будешь мыть-тереть мордашку долго — сороки утащат, решат, что сыр! Представляю, как она отреагировала на новость, на предложение — учиться ее сыну на «чекиста». Помню ее реакцию на предложение партизан летом сорок второго, чтобы Женя поступил в полицию. В интересах дела. «Не хочу! Ни за что! Чтобы люди его проклинали? А что говорите: по заданию, так потом, после войны доказывай каждому, по чьему и какому заданию! Что угодно, но не это!»

Женя поехал ко мне в Минск — учиться на врача. А мама отправилась в Ровно. Куда муж давно ее приглашал, уверенный, что роль офицерской жены для его «Нюрки» — куда как подойдет! Кому, как не ей?

О своей поездке мама всегда рассказывала с победным весельем и более охотно, чем о других своих поединках.

— Приезжаю я, а Миша всё подготовил, все там ждали. Его друзья-полковники. Будто смотр произведет какой-то важный начальник. Это им так не хотелось отпускать Михаила Иосифовича, и надо убедить меня, что ничего лучшего, чем их жизнь, не бывает. Ну, все хорошо, все прекрасно, стол, каких и не увидишь: нажарили шницелей или как их там — бифштексов, поставили бутылки с ненашими наклейками, сам генерал Пухов приехал, жены разряженные сидят, ну, и конечно, речи, тосты, так хорошо все про Мишу говорят, как он воевал, какой требовательный начальник и добрый, преданный друг. И про меня, будто сто лет знают. Только оставайся! Я все послушала и тоже встала, поблагодарить. Ну, и говорю: «Миша, четыре года ты был, как и твои друзья, на войне, а мы, а Глуша и твои бабки-голубки в деревнях без тебя обходились. Война, если вы помните, закончилась. Я тебе не обещаю, что будут бифштексы, ничего этого там нет, но бульбочку обещаю, была и есть — собирайся, Миша, спасибо твоим друзьям, всем вам за такой прием, но мы едем домой».

И в Глуше снова появился доктор Адамович. И снова: голубка, голубчик, но и внезапный гнев, резкость покруче, чем бывало. Незадолго до развязки, его позвали срочно: сосед топором зарубил соседку, а за что? За то, что у его порога выложила крест — злое заклятие. Отец увидел тот знак (из палочек или еще чего) возле порога, опасно сохранимый. В том и сила креста-заклятия, считалось, что человека тронувшего, порушившего его, ждет неминуемая расплата. Крест выкладывается возле порога, чтобы тот, кому жаелаот зла, погибели, его не заметил, растоптал. (Тоже «донос», но кому — сатане? Тогда почему — крест?) Отец яростно отшвырнул ногой колдовскую нелепицу. И могу представить его лицо в тот миг.

А когда через несколько месяцев он умер, Глуша, охнув, сказала: вот, это потому!

Смертельное заболевание привез из обычной поездки к роженице. На совхозной машине отправился, а она по дороге испортилась, пешком шел через ночную пургу в своем тяжелом, все в том же «нераскулаченном» Тычиновом тулупе (мама его сберегла у знакомой тетки в деревне), вспотел, продуло, простыл. Вернулся домой с высокой температурой — внезапная потеря речи, онемение руки, ноги. Инсульт. Все хотел что-то сказать, не мог, слеза выкатилась, с ней на щеке и отошел.

Когда я, вызванный из Минска телеграммой (Женя был в Глуше), на бобруйском вокзале увидел поджидающую меня заводскую машину и знакомую больничную медсестру, она только заговорила — сразу понял: ехал я не к тяжело заболевшему (так в телеграмме), а к умершему отцу. Сразу почувствовал себя виноватым за посторонние в вагоне мысли. Вбежал в дом и в тесной комнате увидел его, по-мальчишески худое, жалко послушное тело. Моего отца женщины обмывали в низкой, широкой бадье — балее. Мне не показалось, как бывает, что кто-то другой, не он передо мной и не некто так страшно подменивший дорогого тебе человека. Именно он, но только какой же беспомощный, жалкий. И в гробу не казался чужим. (Хотя такие чувства потом, в других случаях, я испытал: враждебной подмены.) Мама заснула на минутку ночью, вдруг проснулась и заплакала, но не как до этого, возле гроба, плакала, а по-детски обиженно: значит, это правда? все правда?! Наверное, во сне видела его живого (столько лет будто вдова при живом муже), проснулась, а в соседней комнате тихо беседуют старушки у его тела!

— Нам ноги целовать не будут, — сказал после кладбища — за поминальным столом — бобруйский секретарь по фамилии Акулич (помню фамилию). Он имел в виду поразивших его деревенских и глушанских теток, которые подходили и целовали ноги отца.

Сколько раз я эти слова вспоминал: не будут!

Индусы знают больше других из того, что знать надо обязательно. Они задумывались над многим раньше других.

«Когда ты вошел в мир, ты горько плакал, а все радостно смеялись. Сделай жизнь такой, чтобы, покидая мир, ты радостно смеялся, а вокруг тебя плакали».

Чтобы радостно смеялся?.. «Хорошую религию придумали индусы!» — удивлялся Володя Высоцкий. Он же, как истинный индус, «с гибельным восторгом»

вырывал из собственной груди и бросал нам: «Погибаю! Погибаю!» Радостно смеяться, с гибельным восторгом? А почему бы и нет? Получил в свое распоряжение Вселенную (пусть на миг, на мгновение), тебе дано всего лишь из Вечности перебежать в Вечность, но на пути ты увидел и землю, с тем, что на ней, и небо — всё, всё успел (в сравнении с ничем — кому жизнь не выпала).

«Мы забиваем только счастливых свиней» — удивительную рекламу показали мне в Испании. Да не обидимся, перенеся это на самих себя: природа забивает только счастливых, то есть кому выпало счастье родиться).

Хитрая бабушка уговаривала рано вставшую и забежавшуюся внучку поспать днем («Одну-одну минутку») дитя разоспалось и открыло глаза на уже заходящее, отгорающее солнце: как землянички, посыпались из глаз слезы:

— А завтра день еще будет? Такой — будет?..

В середине своего века человек обычно растрчивает, разменивает на другие радости и цели даруемое детством ожидание-знание, что каждый следующий день — снова счастье, потому что жизнь сама по себе — счастье. Но к концу жизни все может вернуться, нет не детское чувство бессмертия, а лишь арифметика, но какая! Даже если нет уже уверенного счета на годы, тогда — на месяцы, дни. Пусть только часы, минуты, секунды, но, зато — сколько посчитай! Это сколько любимых, любящих или просто дорогих, или приятных человеческих лиц? Голоса, голоса, звуки, которыми окружающий мир столько лет разговаривал с тобой. Слова звучащие, и знаки написанные, когда имеешь возможность вернуть не то что дни, часы, а годы, десятилетия. Как же не быть благодарным.

Всё так, всё. Но я всегда помню, как умирала мама. С этим живу.

А ведь ничего такого нет в этих записных книжках («май 1979 г.», «июнь 1979 г.»), чтобы бояться их открыть, прочесть. Тем не менее с того мая я в них ни разу не заглянул, пугаясь боли, сжимаясь от одной мысли снова к этому прикоснуться.

После войны мама тяжело болела лишь дважды. (Если не считать мучивший ее все последние годы «партизанский артрит» — заболевание суставов.)

Когда в Минске приключился с нею инфаркт в 1961 году, я участвовал в ее болезни напрямую — и психологически, и прямо-таки физически — в основном ей же во вред. В больницу не положил, «не отдал», а в домашних условиях вовсю проявилось то, что ни болеть инфарктом в те годы, ни лечить его еще не научились. Человека держали не меньше месяца в состоянии неподвижности (вообразите, что вам надо пролежать, не поворачиваясь, хотя бы сутки!) и при этом считалось, что больного пугать страшным словом «инфаркт» ни в коем случае нельзя. И вот попробуйте удержите его в таком невыносимом положении столько времени, когда он не осознает тяжести заболевания. Но моя больная не осознавать не могла: все было написано на лице сына, любое опасение, страх, мучения сполна отражались на мне и во мне. Если кто-то со стороны видел сыновей у постели больной во время приступа: панику на лице одного и туповато-спокойное переживание на лице другого, он мог бы решить, что вот этот любит — переживает, а этот, «как чурбан». Именно так я и злился на выражение лица брата, но он-то своим лицом, профессионально «докторским», действовал успокаивающе на больную, что только и нужно было, я же собирая и отражая на своем страдания и тревогу больной, только вредил ей. И пролежали мы (именно «мы»), мучаясь от приступов аж два месяца. Мама выходила из болезни, а я погружался — в безнадежную (сколько лет потом не мог избавиться) бессонницу, совершенно разладившую мою и ночную, и дневную жизнь.

Но ничуть не лучше и не умнее вели себя мы, когда настигла нас беда неизбывная, — у мамы обнаружился рак легких. Она пролежала несколько недель дома, потом, на этот раз уже поняв, что «для того и существуют больницы» (слова брата), я согласился, и ее забрали в больницу «сануправления». 22 мая 1979 года ранним прохладно-солнечным утром я возвращался из больницы домой по просыпающимся улицам Минска, а в морге осталась моя мама. Простыня, а под нею... Странно, что под той простыней как бы никого нет — так плоско она лежала...

Похоронили в Глуше — неподалеку от могилы отца, вернувшись в Минск, я что-то писал и вот впервые, спустя 14 лет, раскрываю записную книжку.

25.5.1979 г.

Мама умерла, последний раз ехала в Глушу и там осталась, уже не вернется и ничего не вернуть, повернуть нельзя, а столько теперь хотелось бы. Зачем-то прятал боль, слезы, и она, так мучась, почти не видела наших слез, и все потому, что мы «не должны были» показывать ей, что она умирает, а она прятала от нас невыносимую боль — отгораживаясь раздражением на нашу, всех, неумелость и неловкость, но мы о ее боли знали, а она нашей «не должна была видеть», и ушла, так и не увидев. А, может быть, слезы наши — не после, а тогда! — нужны были ей больше бесполезных лекарств и мумие, и наших круглосуточных дежурств. Последние два дня сознание затуманенное было, глаза смотрели остро. «Что вы не дадите мне встать?.. Пить! Ну кто так подает? Мне надо встать. Почему вы не дадите мне встать?.. Не говорите мне о врачах!..»

(О врачах раньше еще: «Мы воспаление вылечивали без антибиотиков. А они 5 месяцев не могут!»)

Днем 21-го все жаловалась: «Хочу дышать!», «Хочу дышать!» По-детски просила: «Хочу дышать» и вечером. Не хватало воздуха. О раке сказала при мне один лишь раз: «У меня рак, поэтому я так мучаюсь». Но думала, знала, а наше, как ей казалось, незнание обижало: «— Не знаете вы, никто не знает, моей муки», — вырвалось раз только. И еще — Брылю: «Иван Антонович, вы когда-нибудь видели, чтобы так кто мучился?» (Мария — нам с Женей: «Она же делала добро только, за что ей это?»).

«Воспаление, а Саша ничего не может, не делает, не ищет других врачей, которые вылечили бы»... Недоумение, укор, даже вырвалось дней десять назад: «Да если бы...» Я понял: «Да если бы вы кто-нибудь, ты болел, а я бы разбилась, а нашла!» (способ вылечить). Профессор Гончарик на один день поднял настроение — ее, а мое совсем обрушил, подтвердив диагноз. А потом она уже о медицине и слышать (не хотела). Все поняла, мы все прятали слезы, а она их ждала, наверное. И «дождалась» — когда я отбросил бесполезную, нелепую в эти мгновения черную кислородную подушку и, все поняв по лицу прибежавшего дежурного врача, перестал сдерживаться. И все часы потом, когда она страшно лежала под простыней, и когда привезли домой уже в гробу, и в Глуше перед снятиями людей, можно было не прятать слез. Но они ей нужны были!..»

Как-то по «Свободе» я услышал американскую историю о родителях, похоронивших сына и в память о нем создавших нечто вроде клуба, в котором люди могли бы учить друг друга, как надо провожать близких в смерть. Сами они сына провожали и проводили, как в дальнюю дорогу, туда, где рано или поздно они встретятся обязательно, только он отправился раньше. Ни спрятанных слез, ни обмана, «чтобы не было лишних страданий» (а по сути — сбережение собственных нервов и сил); последние дни и часы, им дарованные, они провели вместе, не потеряли, не растратили на бессмысленное увертывание от правды, провели в открытых проявлениях любви и сострадания.

Но главное, не было толчеи, нелепого стояния «под окном вагона», ужасного ожидания, когда тронется «поезд», и вы сделаете несколько провожающих шагов, а кто-то торопливо соскочит со ступенек — этот делал вид, что он с «отъезжающим» на равных, чтобы тот до последнего не верил, что он «уедет», а все останутся...

Что, не похоже? А сколько раз мы могли видеть (и нас могли видеть): врача окружили родственники, хотят услышать не столь безжалостный приговор, все с искренне страдающими лицами. Но через двадцать, тридцать шагов они же, направляющиеся в палату приговоренного — ну, совсем другие у них глаза, лица, прямо-таки месткомовские активисты, посланные поздравить юбиляра. Они войдут к умирающему не с тем, что на душе у них, а с тем, что на лицах — они ужасны, эти наши обманные лица.

В тот майский день 1979 года если бы кто-то снимал мое лицо, кадр за кадром, впечатление было бы то же. Сидел с утра за столом и писал «Карателей» (ничего лучше не нашел, чем прятаться от черных мыслей в этот мрак!), затем шел по солнечному проспекту, вначале прислушивался, но разошелся и забыл, что ноги какие-то ватные, к зданию больницы на Красноармейской пришагал вполне пригодный, чтобы зайти к умирающему: бодрый с виду, загоревший и крепкий — больные на скамеечке у порога проводили завистливыми взглядами. Вошел в палату, эту ночь рядом с бабушкой провела Наташа, только что напоила больную чаем. Я смотрел на белый с соском фарфоровый поильник: когда из него глушанская бабушка поила молоком троих своих внуков — было на что посмотреть. Сидя за безопасным забором, все трое внимательно смотрели, как доят коровку, затем каждая выпивала свою кружечку молока — получив фарфоровый сосок сквозь щель в заборе. Была Глуша, было все...

Больная смотрела на нас внимательно и строго, но чувствовалось — не видит, все время вслушивается во что-то, наверное, снова угрожающе задвигалась боль...

Наташа убежала в университет, я остался, что-то спрашиваю, говорю, рассказываю, но почувствовал: сейчас потеряю сознание! Что это со мной, или это от спертого больничного воздуха? Успел пробормотать: «я на минутку к врачу», вышел в коридор, прилег на диван: холодный пот, потолок поплыл. Медсестра пробежала, спросила: сердце? Да нет, ничего, сейчас пройдет... И вот — уже в кабинете хирурга. Кровотечение в желудке? Какое кровотечение? Вызовите мне, пожалуйста, такси... А уже приволокли каталку: у вас полный желудок крови! Пойдите, куда это вы меня, я должен еще вернуться в палату и как-то объяснить. Санитары ждали за дверью, а я маме деловито сообщал, куда так срочно ухажу, зачем и кто сейчас сюда вместо меня придет. Прежде вряд ли такое прошло бы, а тут — почти не услышала. И вот уже в мою палату (этажом ниже) заглядывают другие больные: не те ли самые, которые, завидуя, встречали меня у подъезда? Они пришли посмотреть на человека, который шел по улице и не знал, что «прободение язвы», что «2,5 литра крови вытекло». Цифру эту и мне сообщили, чтобы уговорить лечь под нож. Не лег. Не захотел остаться без желудка. И кроме того, как объяснят лежащей этажом выше, куда я девался на столько дней? (Потом профессор Филиппович скажет: «Ну, вы счастливчик!»)

В записных книжках нашел два листочка — нашу с мамой больничную переписку. Ей сказали, что «у Саши грипп», не приходит, чтобы не заразить.

«Дорогая моя мама!

Собирался прийти сегодня, но, видно, все-таки в среду. Простуда, горло мои прошли совсем почти. А вот Анна Ивановна (врач) советует мне, поскольку весна и много раз за зиму обострялось, пройти обследование в лечкомиссии. Чего ни разу не делал. А, может, и стоит, побудем рядом недельку, не будет и ходить далеко.

Насчет мумие я советовался и с врачами. Поговорим и с Алексеем Ивановичем, не будем самолечением заниматься, это ясно. Говорят мне, что все-таки тебе веселее — вид твой говорит. Вот только бок твой не болел бы!

Целую крепко. Саша.»

«Дорогая моя мама!

Как ты там, бедняга, может, немного лучше тебе? Аппетит у тебя какой-нибудь есть?

Мне рассказали про эту историю с рубашами. Может, мне позвонить зав. отделением Алексею Ивановичу, он очень хороший человек.

Со мной все нормально, но приду к тебе в начале той недели, 1⁰ держится, хотя и небольшая.

Целую. Саша».

Про рубашки — их сушили на батарее в палате, очень потела, непрерывно, а кто-то из сестер громко запротестовал против нарушения правил.

«Саша!

Не смей звонить и никому говорить, нянечки как сушили, так и сушат (говорят, не слушайте эту дуру), это ведь одна выскочила, а то может такое сделать с уколами, что и хирурги не помогут — повторяю, никому ни слова. Ем — всего понемногу, поэтому жить буду. Будь здоров, не торопись. Целую. Мама».

И вот я, поднявшись на этаж, появился у нее снова, в больничном наряде, вроде бы только что меня «положили»: теперь будем вместе! Вначале приняла всего лишь как удобную возможность не прибегать к помощи, услугам чужих людей: для нее это всегда была мука мученическая. Чтобы кто-то да что-то для нее сделал! Она для других — это понятно, но чтобы для нее — всегда паника, не знает куда деваться. А еще эта безграничная чистоплотность. Должны отвезти на рентген: Саша, приди обязательно, поможешь подняться, ты сам все сделаешь. Хорошо бы, но мне никак нельзя с моим желудком. И надо придумывать, что срочно врач позвал... И т. д. и т. п.

В какой-то момент не выдержала, спросила у невесток: «Где Адамовичи?» — да так враждебно-отстраненно спросила.

Вот так! Где там сыны, чем они там заняты?

В последнюю ночь все повторяла: «Зови, Антон...» Кого зови? Не сынов ли? Ведь это он помог ей найти их, был добрым вестником — в войну.

Но, кажется, даже затуманенное болеутоляющими уколами материнское сознание угадывало, в чем и где обман.

«Интуиция все подсказала. Как-то дней за 6 до развязки, когда я собрался

в Аксаковщину долечиваться и поехать не смог, потому что тревожно было... мама вдруг сказала: «Погублю я тебя!»

— Ты о чем, мама?

— Не даю тебе полечиться. Погублю я тебя!..

Значит, не верила, что у меня просто легкое обострение, и с этим лежал этажом ниже.

Вспомнила, как в больнице в Глушанской: пришел папа наш, а родственница (больного) стоит в углу, молится, хотела подняться (с колен), а он: «Нет, нет, продолжай, голубка, ты моя помощница. Вдвоем, может, и вылечим наших больных.»

«Утром 22 мая, когда мы были при ней (с Соней) она в часов пять все звала Антона, вернее, обращалась к нему: «Зови, Антон... Зови, Антон...» И так раз двадцать. А перед этим раза два, когда я поднимал ее, назвала меня тоже «Антоном»: сознание ушло туда, где детство? Не сыны, не внуки, а братья и сестры и когда сама была маленькая и тоже беспомощная. Старше Антона, но он в школу пошел вместе с ней (в пять лет) и был всегда рядом...»

«А уже похороны, поминки — это было подтверждение ее жизни. Несли ее племянники (всех почти она так или иначе направляла в жизнь), партизаны наши. А возле «подпольной» аптеки вдруг сбежались все партизаны (их было человек 15) к гробу и подняли гроб, ее на вытянутых руках. А кто им сказал, подсказал, потом не могли вспомнить...»

«...У мамы кровь — группа первая, резус отрицательный. Мне ее передала. По отношению ко мне это не имеет того смысла. Зато о ней подумалось: такую кровь можно отдавать всем, совместима с любой группой. Вроде бы так по медицине. Вот она и отдавала всем себя, хотя с ее довольно властным характером люди обычно берут, а не отдают.»

«Мама говорила внукам, что хочет умереть летом. И своей подруге (по Глуше). Холод то же самое:

— В мае умру. Не хочу зимой, а то такой дурной обычай, что надо без шапок провожать, все попростуживаются.»

«— Мне тут так одиноко, страшно! (Это она мне сказала, когда Инка и Наташа оставили ее на два часа с больничной нянюшкой.)

И заплакала, так по-детски сморщилось темное-похудевшее личико ее.

О, Господи, все это стоит и не уходит, и не надо, чтобы хоть что-то ушло.»

«6.6.1979 г. я все время ловлю себя на мысли и чувстве о ложном и подлом своем положении: я лечусь тут (в Аксаковщине), потому что ее нет, я отдыхаю, спокойно читаю, пишу потому, что она уже умерла, и не надо тревожиться, звонить и рваться ехать в Минск. Вот что такое совесть: со стороны вроде бы «не виновен», а свой приговор: виновен, виновен!»

«Вернулся из ботанического (сада), где это записалось, начал торопливо искать Пушкина, схватил синие томики, чтобы вернуться туда, где я был неотделим от Нее — к детству, отрочеству, Глуше. Но Пушкин уже не тот, нет, я не тот, все не то...

Оказывается, и в Пушкина надо погружаться постепенно — после большого перерыва, не стоит бросаться разгоряченному с обрыва в родниковую воду — не сразу примет, оттолкнет разностью температур.»

Древние египтяне на саркофаг ставили жука-скарабея, с надписями-заклинаниями, чтобы не свидетельствовало сердце покойника против него на суде...

Странная формула. Наше сердце — против нас? Это что, старались улестить, уговорить совесть быть поддержаннее т а м?

Да, жизнь прожить — не поле перейти. Как все просто, но сказано навсегда, обо всех. Из Вечности перебежать в Вечность. А по пути — столько всего.

25 мая 1993 г.

(Начато в декабре 1992 г.).

АРКАДИЙ КАЙДАНОВ *Загоняем сердца,
как коней...*

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

* * *

Т. Н.

Пронзительный час, когда клочья тумана
плутают в притихших плывущих лугах,
не ведает сутолоки и обмана.
Лишь память и совесть.

И родственный страх
за речку, за стог ослепительный сена,
за липу, сурепку и молочай,
за все, что не минет забвенья и тлена,
за все, что в душе оживет невзначай.
И всхлипнет река на глухом перекате,
и вспыхнут, слетая в багряный овраг,
прожилки на листьях в лучах предзакатных —
случившейся жизни обыденный знак.

* * *

От злобной толкучки, от яростных торжищ,
где только ленивый не жаждет навару,
я дланью небесной спасен и отторжен,
по счастью того не имея товара,
что надобен в полувоенном пространстве,
кроваво сочащемся страхом и болью,
где в брошенном к трапу наивном: «Останься!»
есть пренебрежение чужою судьбою.

Я в колкой гортани зачатки созвучий
растил, хороня от недоброго уха,
считая, что мной досконально изучен
прием вычленения чистого звука
из мусора кухонь и подворотен,
кичливых проспектов, опасных окраин,
надеясь, что тем и пребуду угоден,
чему я единственный в мире хозяин.

Но мне ли судить, обвиняя в провале
своей невостребованной затеи,
уснувших вповалку на грязном вокзале,
топящихся возле лотка лотереи,

Аркадий Семенович Кайданов родился в 1955 году в Нальчике и живет в нем до сей поры. Первая стихотворная публикация в 1970 году (автору 15 лет). Окончил филологический факультет Кабардино-Балкарского университета. Вышло пять сборников стихов и две книжки переводов в местном издательстве. Печатался в московских журналах «Смена», «Юность», «Москва», «Октябрь», в «Литературной газете».

клюющих на коловращенье наперстков,
на смену ораторов у микрофона,
на игрища сдавленных у перекрестков
поборников сильной руки или трона?

Повязанный общностью существования
со всяким ко мне равнодушным прохожим,
приняв его мертвое неузнавание
ознобом не ставшей дубленою кожи,
я впрок извлекаю чистейшие звуки
из скорбного вздоха и бедного мата,
и знаю, что не пересилю разлуки
с землей этой проклятой, но не проклятой.

Жестокий романс

Когда янтарным именем твоим
я в жизни освещал себе дорогу,—
я выше был, я был поближе к Богу,
и хоть на миг, но был возлюблен им.

Когда ночами россыпи волос
звучали, как крыла нездешней птицы,
я жизнь молил: пусть это повторится,
какой ценой платить бы ни пришлось!

Холодный век несется под откос!
В нем места нет для дублей и повторов.
Я умер в давнем времени, в котором
остался Бог и плеск твоих волос.

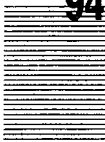
* * *

Памяти А. Д. С.

Пока голодные масштабы
целенаправленной страны
нам, словно импотенту — бабы,
и даром даже не нужны,
пока нужны, как катаракта,
нам Волга, Каспий и Арал —
любой занюханный редактор
нас в белых тапочках видал.
Беспечные, аки пришельцы,
крикливые, как воронье,
полудня нового лишены,
плюющие на все ничье,
какою жаждою томимы,
живем угрюмо и темно?
Последних в небе серафимов
отстреливать разрешено.

* * *

Время — безвременье. Цинковым небом,
как саркофагом, укрыто предместье.
Объединяет погоня за хлебом



при повсеместном отсутствии песен,
 ибо — безвременье, смута и хаос,
 и непонятное слово «свобода»,
 ибо бастуют Евтерпа и Хронос
 при попустительстве власти народа.
 Булькает и закипает болото,
 цинковым отсветом неба пугая.
 В голом пространстве присутствует что-то,
 данное предощущением края
 бездны, являющей черное чрево
 и обдающей дыханием смрадным.
 Облако справа движется влево
 с выкладкой полною маршем парадным.
 Облако левое катит направо
 полную грома и сполохов бочку.
 Под облаками лимитчица Клава
 бьется за то, чтобы приняли дочку
 в ясли при старом ненужном заводе,
 где тянет жилы в ударной бригаде.
 Были бы ясли — и жить можно вроде.
 Черт его знает, чего это ради
 вспомнились клавины злые проблемы,
 все заморочки ее и печали
 при откровенной глобальности темы,
 четко заявленной в самом начале.
 Что ожидает державу — не знаю,
 если по совести, дело не в этом.
 Только за Клавку вот переживаю,
 толстую дуру в платье бесцветном.

* * *

В разные времена
 и при любой погоде
 находилась родня
 во всяком чужом народе.

Я их узнавал по глазам,
 по пальцам нервным и тонким,
 по непролитым слезам,
 по голосам незвонким.

Был их негромок шаг,
 и непонятым слово,
 но вздрагивала душа
 и оживала снова.

Стансы другу при нелетной погоде

Тебе так многим я обязан,
 что и не тороплюсь с оплатой
 долгов, которыми повязан,
 как наш аэропорт крылатый —
 непроходимыми дождями,
 влекущими задержки рейсов.
 И биополе между нами
 такое — подходи и грейся,
 любой застенчивый прохожий,
 который нам и друг, и брат,
 на нас обличием похожий,
 как агрегат на агрегат

на скрытом ливнем поле летном,
 как унитаз на унитаз
 в передвижном сортире летнем,
 что создан для летящих масс.
 Давай же около сортира
 поднимем и содвинем разом
 за то, чтобы для блага мира,
 сопутствовал деяньям разум.
 Давай и той вон харе бычьей
 плеснем немного «Кобулети»,
 ведь по российскому обыкью,
 подслушивать нас должен третий.

* * *

И я, и я повинен в том,
что рухнул обветшавший дом,
что злобный ветер рыщет
на жутком пепелище.
Забросив за спину суму,

не понимая что к чему,
брожу среди развалин
и сыну обреченно вру,
глотая слезы на ветру,
что виноват лишь Сталин.

Путь

В промозглости липучей и туманной
вороны, задыхаясь на лету,
так коротко кричат и так гортанно,
как грузчики похмельные в порту.

К подошвам липнет прошлая трава,
как старые грехи — досадным грузом,
и разговоров редкие слова
скользят куда-то в сторону и юзом.

Зачем мы вышли из дому в туман,
совместным одиночеством влекомы,
уверовав в спасительный обман,
что непременно возвратимся к дому?

Укрывшись под единственным плащом,
по прихоти его сойдясь плечами,
как бурлаки, мы за собой влечем
баржу с поклажей родовой печали.

Бредем по кругу и сжимаем круг,
стремясь к пружинной точке идеала,
и становясь врагом, вчерашний друг
готовит обреченно и устало

хранимый на особый случай нож,
а случай наш — до ужаса особый.
И бьет весь мир губительная дрожь
изнеможенья и голодной злобы.

* * *

Полночь живьем возвещают
на башне куранты.
Снег, словно Руст непотребный,
садится на площадь.
Из не нашедших ночлега в Москве,
экскурсанты
более сонны,
чем рядом лежащие мощи.
Выйдешь из Спасских —

«Россия», как водится, справа.
ГУМ — впереди.
Дальше — больше.
И все интересно!
Славься вовеки,
великая наша держава,
необозримое взорами
Лобное место!

ИРИНА МУРАВЬЕВА

Ляля, Наташа, Тома...

ПОВЕСТЬ

Памяти Тани Фрадковой

98

На эту фотографию я наткнулась почти случайно. Вообще, когда мы проходили таможенную, я больше всего боялась, что тот белесый, с усиками, не даст мне провезти фотографии. Оставляла людей. Увозила лица. Оставляла могилы, увозила живых, замерших в потускневших изображениях: на крыльце с собакой, среди именных бутылок, под пляжным тентом в съехавшей солбменной шляпе, с детьми на руках и детьми на коленях...

Бабулина, маленькая с успокаивающим взглядом, была у меня в кармане. Но белесый и альбом пропустил. Вытащил почему-то кончиком перочинного ножа мою детскую — худая, с выпирающими ребрами девочка на огромном коктейльном камне. Профиль с бантом, обращенный в небо, а там, где волны — чернильным карандашом: «Мичтаю о щастье». На эту фотографию он почему-то смотрел неоправданно-долго, подозрительно. Потом аккуратно вставил обратно и альбом захлопнул. На лице мелькнуло: «Эх, была не была!» Итак, я все это вывезла, всю гляцевитую грудку, и эту карточку... Господи, она совсем стерлась, но я понимаю, что на ней терраса нашей дачи, еще тогда не застекленная, и все это давным-давно, до моего рождения, но кушетку, похожую на таксу, я помню, а вот соломенный стол — нет, не помню, наверное, выкинули потом или подарили, а на незастекленной террасе они втроем: на кушетке — мама и Ляля, а за соломенным столом — Наташа. На головах венки из ромашек. И у моей мамы, обхватившей Лялю правой рукой, левая на кошачьей голове, ибо кошка спит на ее коленях (знаю, что была до моего рождения розовая кошка Роза!), лицо грустное, как всегда на всех фотографиях, словно специально для того, чтобы я, ее живую не запомнившая, ощущала, что ей всегда было грустно. Да, так и застыло: правая рука на Лялиной шее, левая — на розовой шерсти. На голове — венок из ромашек. Сбоку сирень, свешивающая темную зелень прямо на кушетку, на Лялины плечи, на мамину руку, на кошачью голову. А меня еще не было.

Война кончилась, они учились в институтах. Все в разных, но дружны были по-прежнему, как в детстве. Ах, конечно, конечно, жизнь все перемешивает, но так случилось, что эти три девочки были из «бывших», и их тонкокожие молодые жизни чувствовали бессознательную опасность. Они знали, например, отчего Томина мама всю ночь соскабливала с тонких синих тарелок золотую строчку «За веру, царя и Отечество», когда забрали мужа рыжеволосой голубоглазой Ольги, которую за красоту звали «Светиком», и знали они, отчего Наташин отец пил, пропал на скачках, и, наигрывая на гитаре цыганские романсы, говорил своей цыганке-жене, которую когда-то, в лучшие времена, выкрал из табора: «Что сердисься, душа? Как деды мои жили, так и я живу, а на них, — тут он делал не совсем приличный выразительный жест, —... хотел!» А она в ответ ту же

Ирина Муравьева родилась в Москве, закончила филологический факультет МГУ. С 1985 года живет в США. Проза и критические статьи (о В. Макарине, Л. Петрушевской, Т. Толстой) печатались в журналах «Континент», «Грани», «Время и мы», «Стрелец».

заворачивалась в истертую шаль и молчала, медленно затягиваясь длинной папиросой.

Ляля, жившая в подвале с матерью, сестрой и двумя старыми девами-тетками, вообще стеснялась неоправданно многого: своей французской фамилии, картового «р», теткинго пенсне, пасхальных праздников, которые, невзирая на бедность, мать ее справляла со старинной обильностью и приходивших девочек одаривала причудливо раскрашенными яйцами и вышитыми салфетками с голубками и незабудками. И был им знаком еще один, совершенно особый страх, изредка выражаемый еле произносимыми буквами «НКВД», серый, гнетущий и неподвижный, как то серое гнетущее здание на Лубянке.

Только Наташе с Лялей Тома и могла сгоряча проболтаться, что отец никогда не называет Ленина иначе, как «сифилитиком», и сказала она это смутившись, шепотом, когда они втроем шли по Девичке, возвращаясь домой в свои заваленные снегом переулки — Неопалимовский и Первый Труженников, шли быстро, насквозь промерзшие в тонких ботиках и вязаных платках. Им было почти семнадцать, кончалась последняя школьная зима сорокового года, и они только что отстояли длинную нелегкую очередь в мавзолей, где он и лежал в гробу, под стеклом — сморщенный, серый, бумажный.

А тогда, в тот желто-зеленый июльский день, они долго гуляли по лесу, купались в заросшем кувшинками маслянисто-черном лесном озере и неожиданно набрели на целое поле ромашек. Нарвали три огромные охапки, сплели венки, украсились ими, и, вернувшись на дачу, застали там долговязого пожилого соседа со странным для мужчины именем «Лёля», давно, глупо и безнадежно влюбленного в Тому, который тут же и сфотографировал их на незастекленной еще террасе. А потом Наташа, в которой иногда просыпалась ее цыганская кровь, воскликнула, глядя на тяжелые, златоглазые ромашки:

— Ну и что мы будем с этой цветочной горой делать? Поехали — продадим! — И Тома радостно подхватила, а Ляля, как всегда, покраснела и сослышалась. На привокзальном пятачке их ромашки расхватали неожиданно быстро, и только у Ляли еще оставались три букетика, когда подошел он, грузный, широкоплечий, в расстегнутой белой рубашке. Опираясь на костыли, он остановился перед ними, задержался глазами на длинноглазой, чернобровый Наташе — первой красавице всегда и везде: в школе, на улице, в консерватории, потом перевел их на кудрявую, огненно покрасневшую Лялю и сказал, лаская ее своим прищурившимся бархатным взглядом:

— Почем цветочки?

Чувствуя, как раскаленная кровь заливает ее грудь, спину и плечи, опущенными глазами видя только его подшитую пустую штанину, она ответила вдруг охрипшим, не своим голосом:

— Рубль.

— Ну, давай два, чтоб никому не обидно, а то тебе тут стоять да стоять, погулять не успеем, — пророкотал он и дотронулся до ее руки горячей ладонью.

Обратно на дачу возвращались вдвоем, оставив Лялю с незнакомым одноногим мужчиной, который насмешливо и успокаивающе помахал им вслед, когда, удивленно оглядываясь, они уходили, а она оставалась.

Они тряслись в электричке, подставив волосы теплому вечернему ветру, вагоны с грохотом останавливались на тускло освещенных дощатых перронах, пахло жасмином, стрекотали ночные цикады, и они не понимали еще, что вот оно, начало.

Гранитная лавочка была влажной от недавнего дождя. Сели, и он сразу обхватил ее правой рукой и сжал так крепко, что она испугалась: вдруг на коже останутся красные следы? Но промолчала, а он, все крепче и крепче сжимая это тонкое плечико, левой свободной ладонью повернул к себе ее лицо и стал неторопливо разглядывать, как разглядывают пеструю картинку в журнале.

— Значит, Ляля? Это что же — Ольга или Елена? А фамилия почему французская? С Наполеоном в Москву въехала? Да расскажи, расскажи, не бойся.

И понимая, что никакой ее рассказ не нужен, она прошептала все-таки

несколько бессвязных слов, объясняя свою французскую фамилию, и не закончив, вздрогнула всем телом, почувствовала прикосновение его ладони к своей груди, там, где была расстегнута темно-зеленая вязаная кофточка.

— Ты знаешь, она сошла с ума! Просто потеряла рассудок! Она же ему дышать не дает! Встречает у проходной каждый вечер. Каждый! Я уж не говорю, что она его кормит, из дома таскает почем зря! Ирина Августовна все видит и молчит. И Муся молчит. И Полина с Жанетт. Они ведь всегда все молчат. Или плачут. Я ей вчера позвонила почти в двенадцать. Ее не было. Я думаю, она не ночевала дома, она у него была. Я просто чувствую! Томка, что ты молчишь?

— Я не молчу. Она не ночевала дома, я знаю. Она в три часа ночи пришла к нам. Пешком. С Шаболовки. Он ее выгнал.

— Что-о-о?

— Да, Господи, выгнал и все. Он был пьян. У него было отвратительное настроение. Он сказал, что она ему больше не нужна. И она рыдала, как... Я тебе передать не могу, это какой-то кошмар. Она ввалилась к нам ночью, вся опухшая от слез, вся огненная, и сказала, что он ее выгнал, а она без него не может, не может. И мама ей говорит: «Да ведь он зверь, пьяный зверь! Что ты в нем нашла?» А она, как Жанна Д'Арк: «Я этого слышать не хочу! Вы не должны так говорить!» Ты же помнишь, как она летом самовар одна на спор выпила? Чуть не лопнула! Вот и сейчас: лопнет, а никого не послушает!

— Ты думаешь, он не женится на ней?

— Нет, я-то как раз думаю, что женится. Где он еще такую дуру найдет?

Рядом с кроватью валялись его тяжелые костыли с железными заклепками. Тяжелым карим взглядом он следил, как она порывисто двигалась по комнате, подбирая разбросанные вещи, смахивая пыль, наливая горячую воду в таз для посуды.

— Канарейку покорми,— сказал он лениво и закурил.

— Канарейку? Сейчас!

И защебетала, заворковала рядом с круглой железной клеткой, в которой заливалась, не щадя своего песочного горла, красноглазая канарейка.

— Как ты, по ночам заливается. Только ей-то вроде не с чего, а? — усмехнулся он, разбивая дым ребром ладони.

Она опустила на колени перед кроватью, светлую мелкокудрявую голову вжала в подушку, задышала знакомым запахом его волос, его папирос, его кожи... Ленивая горячая рука с желтыми от никотина пальцами уцепилась за ухо, скользнула в вырез ночной сорочки. Она подняла покрасневшее лицо: «Мама просит, чтобы мы венчались, Коля...»

...остановись,— говорю я себе,— ведь это все твое воображение, не больше... Была ли канарейка? Было ли венчание? Ладонями отвожу, как отводят воду, входя в нее, медля, не решаясь, ладонями отвожу вспенившиеся детали: вечернюю церковь на пересечении двух осенних улиц, невесту в платье, сшитом из тюлевой занавески, жениха, слегка хмельного, с орденскими планками на груди, тетку с заплаканным пенсне, в лиловом шарфе...

...остановись, говорю я себе. Что же было на самом-то деле? Что ты помнишь?

Снег, как всегда снег — главное действующее лицо моих воспоминаний, и я иду все по той же, забеленной до самых липовых бровей Девичке, посреди которой стоит светло-розовый насупленный Лев Толстой, заложивший огромные каменные руки за пояс, а навстречу мне подпрыгивает пожилая женщина в потертой шубе. Со дня маминой смерти я видела ее раза четыре, не больше, и теперь ужасаюсь, как она постарела. Я не могу сказать ей «Ляля», но, кажется, не помню ее отчества. Елена?... Поравнявшись со мной, она ахает, обхватывает меня своими серыми заштопанными варежками (в одной из них что-то звякает: ключи, мелочь?) и, прижавшись лицом к моему воротнику, плачет.

— Сегодня маме приснился странный сон, — Наташа удивленно приподняла брови и продолжала, понизив голос. — В нашем доме ведь на снах все просто помешаны. Отцу все время снится одно и то же: он запарывает лошадь, а потом хоронит ее ночью, один, где-то на самом краю вымершей деревни. Но я не об этом. Мама рассказывает: «Приснилось, что в нашем книжном шкафу живет змея. Небольшая, черная, большеглазая. Глаза какие-то злобные, но почти человеческие. И живет она посреди книг, между Аксаковым и энциклопедией...» —

Тома засмеялась. В печке хрустели дрова. Из красных, мигающих становились сизыми, черными, догорали. Они сидели на диване и грызли сушки. Кошка спала, свернувшись клубочком.

— Да подожди, не смейся. Я сначала тоже смеялась, а теперь эта глупость не выходит у меня из головы. Ну, вот. Живет змея, которую мы почему-то не кормим. Непонятно, почему, если отец даже мышей на кухне готов кормить сахаром, дай ему волю. А эту мы не кормим, и она тает на глазах. И вдруг мама просит, чтобы я дала ей молока. И мы будто бы все ужасаемся, как же это раньше никому не приходило в голову дать змее молока, подкормить скотинку. И мама протягивает мне молоко и говорит: «Поставь прямо на книгу и сразу уходи». И я подхожу с молоком, и мы обе с мамой видим, как эта змея, еле живая, лежит, придавленная томами, а глаза закрыты. Но только я ставлю перед ней блюдечко, как она распрямляется и бросается на меня с вытянутым жалом. В лицо!

— Господи, страсти какие! — Тома опять засмеялась. — И что?

— Тебе все хиханьки... — но она и сама смеялась, будто рассказом преодолела страх. — Ну, и все. Мама проснулась в слезах и весь день ходила сама не своя. Вот посмотрите, говорит, это не к добру!

Беда в том, что она была красавицей. А я с детства запомнила: красота до добра не доводит. Из всех слышанных мною рассказов выходило примерно так: она была добра и прекрасна. Иногда бабуля добавляла: «Ну, просто Анна Каренина!» А он был или некрасив, или очень ординарен. И вот она любила, а он нет. Другие из-за нее стрелялись, вешались, на коленях ползали, но ей никого не нужно было, кроме этого, который не стрелялся, не ползал, а только мучил. Она плакала, и все, кто любил ее, тоже плакали и упрашивали: «Брось! С ума ты сошла, что ли?» А она отвечала: «Нет, никогда». Такая вот картина сложилась в моем шестилетнем сознании, так я и рисовала цветными карандашами на шершавой альбомной бумаге: она, в необъятно широкой юбке, с золотыми волосами до пят, протягивает руку к нему, длинноносому и усатому, во фраке пушкинских времен. Сбоку дерево с зелеными листьями. Наверху солнце с лучами веером. Все. Картина жизни. Картина любви. Ее, мою альбомную красоту, неизменно звали Наташей, хотя настоящая Наташа была черноволоса, да я ее практически и не видела. Но бабуля, рассказывая мне о ней, всегда добавляла: «Несчастливая, Боже мой! Но какая красавица! Красавица».

Молодой мужчина с небольшим шрамом над верхней губой нетерпеливо сбивал перчаткой снег с подножия памятника Чайковскому. Настороженный и готовый улететь со своего мраморного возвышения, Чайковский наматывал на пальцах женственно вскинутых рук ему одному слышные мелодии и не обращал внимания на суетливого воробья, подпрыгивающего на его промороженной голове.

— Неужели я опять опоздала, Виталий?

Он резко обернулся на этот взволнованный голос. Белый платок, сверкающий от снега. Сверкающий снег на черных волосах. Высокие брови, мокрые ресницы. Да, красавица. Бедна, как героиня Достоевского. Он прочитал пару этих романов и нашел их приторными. Но семейка из Неопалимовского подошла бы прославленному эпилептику. Колоритная семейка, что говорит! Одна мамаша в полуистлевшей шали чего стоит! Да и папаша недурен. Бархатный барин. Собачник, лошадиник. Ему бы в перезаложенном имении зайцев травить, а он сидит за печкой да водочку тянет. Кольца, браслеты давно в ломбарде, баккара побита. Ох, осколочки! И как они все уцелели? А ведь еще пыжались! «Расскажите мне, молодой человек, где же вы с моей дочерью познакомиться изволили?» Театр, да и только. Так и подмывает сказать: «Я, дядя, с твоей дочерью

познакомился в трамвае, и теперь с ней...» Что? Нет, честно говоря, еще нет, подождем малость, пусть привыкнет. Цыганская косточка, виноградинка черная... Подождем, слаще будет. Но ты так и знай, папаша, я с твоей дочерью спать буду. Вся эта заснеженная чернобровая красота — моя. Пока не надоест. А там посмотрим.

И засмеявшись, он сказал, пожимая ее протянутую теплую руку:

— Вас я готов ждать всю жизнь, Наташа.

...Отец подливал и подливал из синенького графинчика. Наигрывая гаммы, она из полутьмы своей маленькой комнаты слушала родительский разговор. Не разговор, монолог скорее, ибо мать, как всегда, только вставляла свое гортанное «А-ах!» в редкие паузы отцовской речи.

— Что мы о нем знаем? Что ты о нем понимаешь, душа? Хлюст, хлюст и хлюст. Так я понимаю. Их человек. Я ноздрями, — и он шумно втягивал воздух, — ноздрями эту породу чую. Бес. Мелкий бес. Не крупный. Что молчишь, душа? Я его взгляды на ней, — звякнул синенький графинчик, — ненавижу. Не-на-ви-жу! Он же ее глазами раздевает. А я присутствую. Разве — ты вспомни — разве я на тебя так смотрел? Мне до твоей косы дотронуться было страшно. А эти? Ненавижу. Мы в публичный дом приходили, и уж не гимназистами, уж ку-у-да позднее! А глаза опускали. Ибо совесть была. Стыд. Жгло. А их ничего не берет. Бандиты. Что молчишь, душа? Меня опять ночами кошмары терзать стали. Намедни приснилось, что он у нее пальцы отгрызает. Она играет, к концерту готовится, а он подходит и наклоняется над ее руками, вроде бы поцеловать. И вдруг я вижу: кровь...

Гортанное материнское «А-а-ах!», разрывающее гортань.

Бабуля рассказывала так:

— Он увез ее в Германию. Она была уже беременна. Он женился на ней, потому что ему по положению полагалась жена. Мы с твоим дедом всегда думали, что он чекист. Она поначалу говорила: военный. Посылают в Германию служить. Мы ни разу не видели его в военной форме. Только в штатском. И всегда был прекрасно одет. Выбрит. Все с иголочки. Она пришла к твоей матери и сказала ей, что ждет ребенка. Она его боялась, и ехать с ним боялась, и рожать боялась. Такая красавица! И уехала.

Итак, она пришла к моей маме. Она постучала кулаком в дверь (звонка не было!), она постучала кулаком по рваному войлоку, и мама открыла ей.

— Тома, — сказала она. — Я зачоченела, пока дошла. Март называется! Дай мне чего-нибудь горячего. Чаю. Или просто воды.

На улице было тепло. Снег таял, плавились сосульки. Зима умирала на глазах, исходила слезами, цеплялась последними колючками за воротник и шарфы, прощалась. Никому не было дела до нее.

— Как ты могла замерзнуть? Теплынь такая! Я все форточки открыла! Пойдем на кухню, чайник поставим!

На кухне — с деревянным крашеным полом и до блеска вымытым фикусом на подоконнике — шаркала тапочками Матрена, древняя старуха, жившая прямо против уборной в крошечной темной комнатухе, увешанной бумажными иконами и уставленной сундуками. В плохую погоду она дремала у себя на сундуке на куче тряпья, а в хорошую нищенствовала на Ваганьковском. Матрена въедливо посмотрела на них из-под лохматых седых бровей:

— Никак ты, Натуйлка-красотуйлка! А чево-то ты пожелтела вся?

Мама стала было резать серый пайковый хлеб, но она остановила ее руку.

— Тома, я не хочу есть. Ничего мне не давай. Просто чаю выпью. Я не могу есть.

И тут она рассказала ей все. Я отчетливо слышу, как она рассказала ей все, и про ребенка тоже. А мама прошептала:

— Брось его. Что ты, с ума сошла?

— Как же я его брошу? Я без него дышать не могу. Нет, ты пойми, ведь это не любовь. Я ведь его не люблю. Каждый день думаю: ни за что к телефону не подойду! И подхожу, как миленькая. Не хочу его видеть, а бегу. Боже мой! Все, теперь уже поздно. Его посылают в Германию работать, и я поеду с ним. И там

рожу. Все-таки не так стыдно: родить через шесть месяцев вместо девяти, правда? Свадьбы никакой. Я не хочу, и он не хочет. Только мы, родители и ты. И сразу уедем. Если бы ты знала, как я его боюсь! А стесняюсь как! У него было очень много женщин, я знаю.

— Он тебе говорил?

— Да. Смеясь причем. Он сказал: «Забавно: все бабы в темноте белые, а ты коричневая».

И тогда мама заплакала. Она заплакала не от жалости и не от страха за Наташу, а от того невыносимого напряжения, которое передалось ей, разлившись поначалу вишневой краской по Наташиному лицу, надломив — ровно посредине — высокие ее брови. Мама плакала, а она, с надломленными бровями, стиснув пальцы, сидела неподвижно. Потом прошептала: «Подожди, меня тошнит», — и выскочила. И мама, растерявшись, выскочила за ней и, замерев у двери уборной, услышала, как она давится там, гортанно, как ее цыганка-мать, постанывая: «А-а-ах...»

На столе, покрытом пожелтевшей скатертью, раскинулось небывалое богатство: полупрозрачная огненная семга, черная икра, сыр с длинными аккуратными дырочками, тающий во рту белый хлеб. Отец, как всегда, подливал и подливал из синенького графинчика. Жених казался слегка раздраженным, жадно ел, словно желая, чтобы вся эта, им принесенная роскошь, ему же и досталась, мать, кутаясь в шаль, расплетала и заплетала кончик неподколотой косы темными пальцами.

— А позвольте мне поинтересоваться, Виталий, — отцовский мизинец с отполированными ногтем сильно дрогнул. — Где же такое богатство достают? Какие-такие подземные дворцы его прячут?

— А вам зачем? — он пережевывал семгу и отреагировал не сразу.

— Мне? Мне-то, конечно, ни к чему. Праздное любопытство. Да ты не тревожься, душа, — прибавил он, поймав брошенный на него знакомый взгляд. — Я ведь мирный вопрос задал. Наимирнейший. Как близкий, так сказать, родственник. Хотелось бы приподнять одну таинственную завесу...

— А нечего приподнимать, — резким движением головы жених ослабил слишком тесный галстук. — Работали люди, воевали. Жизнями рисковали. Ну, и пользуются заслуженно. Пока живы. Все ведь, знаете, из мяса да из костей сделаны.

— Ах вот что! — и звякнул синенький графинчик, и быстрее задвигались заплетающие косу темные пальцы. — Рисковали и заслуженно пользуются? А я вот, знаете, по улицам не могу ходить. На обрубки человеческие не могу смотреть. На славных этих, так сказать, героев: летчиков, да морячков, да танкистов, которые теперь на деревяхках милостыню выпрашивают. И ведь подают-то не все. Прямо скажем, немногие подают, обеднели люди. А пуще всего сердцем обеднели. Больно страшно жить стали. Я опять-таки обе стороны охватываю: практическую и духовную, так сказать, я...

— Да что вы, право: я, я! Легче всего за печкой сидеть да водку пить! Обрубки... Построят им инвалидные дома, будут жить-поживать. Не все сразу. А ходить да вражьем взглядом недостатки высматривать — последнее, скажу вам, дело! И мой вам совет: вы это дело бросьте! А то ведь, неровен час, и реснички подрежут!

— Вы, голубчик, — звякнул синенький графинчик, — вы на что же намекаете? На Большой Дом, что ли? Да я уж свое отбоился. Уж, почитай, тридцать лет зубами стучу — сколько можно? Или вы на меня прямо со свадьбы доносить пойдете? Вольному воля! Да не бледней ты, душа! Что он мне сделает? Уж хуже того, что сделал, вряд ли выдумает!

Жених встал. Показалось, что он взвешивает ситуацию. Кроме него за пожелтевшей скатертью было четыре человека. Ситуация, в сущности, была безопасной. Кроме того...

— Ну, хватит, попиrowsали. Заеду за тобой перед самым вокзалом. Чтобы готова была, шофер ждать не может. А с вами, дорогие родственники, прощаюсь сейчас с болью в сердце...

Перекинул через руку светлый плащ, хлопнул дверь. Все молчали. И тогда

мать, бросившая свою косу, встала, подошла к неподвижной, пронзительно-бледной Наташе, прижала ее голову к своему животу и прикрыла ее шалью...

«...а вот это,— говорит бабуля и вынимает из папиросной бумаги большую фотографию.— Это она прислала нам из Германии. Да пей, пей молоко, а то никогда горло не пройдет! Пей, пока горячее, рада в школу не ходить! Смотри: это Наташа с дочкой. Ей здесь полгода. Анечка. Назвала в честь своей матери».

Одна уехала и родила дочку. Другая была близко, но встречи с ней стали сущим мучением. Она забегала ненадолго, всегда испуганная, с красными пятнами на круглом лице, целовала их всех по очереди: Тому, Томину маму, кошку и начинала плакать. Самое ужасное: она ничего не рассказывала. Вернее, по рассказам получалось, что все в порядке. Пьет? Да, немного. Меньше, чем раньше. Жалуетса на сердце? Нет, больше не жалуетса, Жаннет вылечила его травами. Любит ли ее? Круглое лицо принимало снисходительное выражение. Очень любит, но какой же мужчина, да еще прошедший войну, скажет об этом? Вот неделю назад умерла канарейка, захлебнулась, с канарейками это бывает, и он плакал. Пил и плакал. Потом, когда бутылка кончилась, сказал: «Поди, выброси ее на помойку».

— Ну, а ты?

— Что я? Я говорю: Колечка, может быть, закопаем?

— А он?

— Что он? Рукой махнул.

— Тогда что же ты плачешь?

— Разве я плачу? Просто рассказываю...

Тома и огорчалась, и хотела помочь, но сама была при этом непростительно счастлива. Грустно, мы никогда не совпадаем в счастье с теми, кого любим. Мы счастливы в одиночку и так же в одиночку несчастны.

— Они так счастливы вместе. Разве вы не знаете, что такое любовь? — ласково говорила моя бабуля трудно глядящему на нее краснощекому участковому.

Участковый зарделся ярче и сложил руки ковшиком на коленях. Разговор происходил утром на фоне отмытого до блеска вечнозеленого фикуса. Они сидели на табуретках друг против друга: моя бабуля, остроглазая, грациозная, и молодой милиционер, пришедший выяснить, на каком основании в доме 4, квартире 4, по Первому Труженникову переулку проживает жилец с фамилией, которую выговорить невозможно: Штапинец? Штанинец? Штанец?

— Да,— говорила моя бабуля, светло улыбаясь и первый раз чувствуя, что представитель страшной власти не так страшен ей, как обычно.— Вы совершенно правы. Выговорить невозможно. Только по складам: Шта-й-н-мец.

— Эк,— крикнул милиционер.— Штан... Чего?

— Не Штан,— любезно поправила бабуля.— А Штай, а потом пауза и — нмец. Штай-нмец! Ну, попробуйте!

— Штам...— нерешительно сказал участковый,— йец!

— Ну, почти, почти,— успокоила его бабуля.— Да это и неважно, правда? Так вы согласны со мной? Любовь, понимаете? И хотят быть вместе. Так что же им делать?

— Мы ведь почему беспокоим,— доверительно пробасил милиционер.— Потому как беспорядок намечается. Вместе — вместе, а паспорта врозь. Когда кого любишь, у того и прописывайся, правильно говорю?

— Ну, еще бы! — засияла бабуля.— Еще бы! Кто спорит? Да он и пропишется. Сначала они распишутся, а потом он пропишется. Ведь такой порядок-то?

— Да как же вы его к себе нерасписанного-то взяли? — ахнул милиционер.— Да моя матка так бы погнала нерасписанного, как бы к сеструхе кто прилепился! А вы ласкаете... А ну, как он завтра слизнет?

— Не слизнет,— прошептала бабуля и оглянулась на хмурую Матрену, подбоченившуюся в дверях уборной и смахивающую на растрепанную бабу Ягу.— Этот не слизнет. Любовь, понимаете?

Нерешительно потоптавшись, участковый дал две недели сроку и ушел. Тут Матрена не выдержала.

— Последние мозги потеряла! — гаркнула она и ударила клюкой об пол. Фигус вздрогнул. — Я тебе прямо скажу, я не Катька — стерва, вилок серебряных у тебя не крала! Я тебе, Лизавета, как на духу говорю: обрыдно мне на это глядеть! Девка — лебедь, и чтоб за яврея иттить! Да, мать его в качель, за женатика! К ним, к поганым, нешто в душу влезешь! Понапились христьянской кровушки!

Не успела, не успела — издалека, через тридцать пять лет слышу! — не успела моя бабуля достойно ответить Матрене, потому что тут-то он и появился на кухне — кудрявый, мускулистый «женатик» с отчетливо выраженным семитским лицом, стесняющийся и голубоглазый. Он вышел умыться и долго плескался под ледяной водой, и кудрявую темно-русую голову окатил заодно, весь крашенный пол с разлапистой фикусной тенью обрызгал.

— Тьфу на вас! — плюнула Матрена и скрылась к своим сундукам и бумажным иконкам.

А солнце разликовалось окончательно и принялось сжигать своим августовским огнем синий эмалированный таз на табуретке, и растрепанный веник под раковиной, и маленькие бабулины руки, подтирающие пол...

— Всех спровадили! — сказала она самой себе и засмеялась. — И Емелю в погонах, и эту ведьму...

...здесь, в Новой Англии, где я живу, осень на редкость красочна. Лиственное золото омывает черные стволы и уходит в пронзительную синеву чужого неба.

Я иду и смотрю под ноги. Иду медленно, усталая, раздраженная, с работы. И вдруг, взглянув на противоположную сторону улицы, останавливаюсь. Они явно торопятся и на ходу ведут оживленный разговор. Сын от возбуждения (а разговор скорее всего самый примитивный: о машинах!) забегает вперед и заглядывает деду в лицо. У них совершенно одинаковые походки, они одинаково косолапят и одинаково двигают на ходу руками. Загадочная штука — наследственность! Я смотрю им вслед, пока они не скрываются в дверях, и чувствую, что на сердце у меня яснее.

А тогда, тридцать пять лет назад, тоже была осень. Медленным, догорающим, как полено в печи, вечером они ехали на дачу, и, омытые листовным золотом, сверкали за окном деревья, и торговали жареными семечками на дощатых платформах, и врывалась в паровозный гудок взвизгивающая гармошка, растягиваясь вместе с ним в красном воздухе сизым тревожным дымом. Народу в вагоне было немного. Вдруг она увидела, как он бледнеет. Он бледнел и зажимал ладонями верх живота — солнечное сплетение.

— Что ты? Что с тобой?

— Мне больно. Вот тут.

Он скорчился на лавке, и крупные капли пота выступили на лбу под тщательно причесанными темно-русскими волосами.

— Но не бойся, сейчас пройдет. Сейчас будет проходить.

Акцент его стал особенно заметен, и что-то беспомощное, ребяческое появилось во всем подтянутом молодецком облике. Прямо на глазах он превращался в того испуганного еврейского подростка, которым она видела его на полустертом снимке с карандашной надписью по-немецки: «Седьмая гимназия на улице императора Вильгельма. 6 класс».

— Легче тебе? Легче? — всхлипывала она, вцепившись руками в его судорожно сведенные колени.

— Легче. Да. Не надо волноваться. Видишь, почти прошло. Я тебе не говорил. Это началось два месяца назад, когда мне запретили видеться с мальчиком. Я ходил по Ульяновской, и мальчик смотрел на меня из окна. Я уходил. Мне надо было идти к нему, обратно, но я не мог. Я уходил к тебе. И он смотрел мне в спину. И когда я поехал на троллейбусе, это началось. Чуть доехал. И потом второй раз, помнишь, когда мальчика забрали со scarлатиной? Я примчался на такси в эту больницу, как ее — на Серпуховке. Они еще были

в приемной. И мальчик бросился ко мне. Он весь дрожал. В длинной рубашке. С клеймом. Дед внушил ему, что я сволочь. Потому что не могу жить с его матерью. А я не сволочь! Не сволочь!

Он произносил это слово с еще большим акцентом, чем все остальное, и с помощью этого грубого слова (а грубость в чужом языке всегда чувствуется меньше!) настаивал на своей смутной правоте.

Она гладила его мокрый лоб, бормотала:

— Потерпи. Сейчас, сейчас пройдет. Еще немножко. Это нервы. Давай выйдем в Мытищах. Это просто нервы, не бойся.

Раскаленный шар катился по хрустящему снегу Первого Труженникова. Раскаленным шаром была жизнь, перемалывающая, переплавляющая, расплющивающая руки, губы, слова, правоту и вину, восхождения и провалы — все, из чего складывались в ней дни, часы и минуты, все, что составляло его огнистую обжигающую плоть, ее абрикосовую мягкость.

Там, где эта плоть кровоточила, были глаза его ребенка в длинной, до пят, ночной рубашке с клеймом посередине, его разлитый чернильным пятном крик по белому, пахнущему хлоркой, больничному коридору: «Папочка!» Там был сухой, пылью забивающий дыхание голос его бывшего тестя: «Он вам не нужен. Не приходите сюда больше». А там, где она, эта же самая плоть становилась спелой абрикосовой мягкостью, что сладко растекалась по нёбу, по горлу и глубже, пока не обжигала все нутро одним не вмещающимся пульсирующим счастьем, там был ласковый голос по утрам и теплые каштановые пряди на его плече, и эти шутки, и взрывы задыхающегося смеха за вечерним чаем, под мирным светом оранжевого абажура...

Иногда он наивно удивлялся, что в доме под оранжевым абажуром над жизнью все время подшучивают.

— В кухню не ходите, там профессор сел лекцию читать, — говорил ее отец, шуряя и еле заметно усмехаясь в усы.

Это значило, что дворник Сашка, татарин, живший в смежной с Матрениной комнате вместе со своей исполинского роста ревнивой женой Катей, за брак с которой его прокляла вспылчивая восточная родня, опять сел в кухню парить ноги и читать ежевечернюю «Правду»

— Подлей, Катюш, еще, — задумчиво говорил маленький, багровый от жара Сашка, перебирая разваренными ногами в ведре с кипятком. — Холодеет, сука, быстро. Никак тепла не наберу. Ну, слушай дальше про пленум.

Дальше начиналось монотонное чтение по складам:

— Пос-та-нов-ле-ние... постановление пар...ти... постановление пар-тии, под-лей еще, Катюш, не жидись, поста-новле-ние партии о на-ру-ши-те-лях...

— Ирод, — любовно бормотала Катюша. — В лютом кипятку сидеть, да ишо читаеть! Глаза попортишь! В пару-то ничего не видать! Ай, оглох?

Медленно шел снег, и, распаренные не хуже Сашки, они поднимались в гору из кирпичной сплюсненной баньки к себе, на Первый Труженников.

— Ты думаешь, я случайно просидел всю жизнь в этой дыре? С женой и с дочкой? Ни разу не заикнулся о квартире, ничего не попросил? Не завел ни одного нового знакомства? Не выпил больше двух рюмок в чужой компании? Я боялся их и боюсь. Но на себя-то, в сущности, наплевать, судьбы конем не объедешь, а Лизу с Томкой надо было спасать. Я и спас, судя по всему. Ломал себе голову: как? что? Куда деваться? И придумал. Залез сюда, в эту нору, как в варежку, ни разу наружу носа не высунул! Кому я нужен? Скромный юрискон-сульт. Маленький чиновник. Акакий Акакиевич... Вот так. Мало ли, чего мне там хотелось! Что толку обсасывать? Вот так. А сколько моих полетело! Жить хотели, на свет их тянуло! А на свету... Головы, как спелые яблоки, сыпались. И все еще сыпятся. Мне по ночам прежде снилось, что за мной пришли. Даже не то, чтобы снилось, а так, знаешь, мираж какой-то. Галлюцинация. Видел, как меня уведят. И я ухожу, но в дверях оглядываюсь. И у печки стоит Томка, лет так тринадцати, в спортивных трусах и в майке. И я понимаю, что вот это все. Часто так галлюцинировал. Боялся иногда спать ложиться, свет гасить. Как ты понимаешь: болезнь, но ведь с такими симптомами ни к одному врачу не пойдешь. Потом как-то само прошло, потускнело. Что говорить... Единственно, что себе

позволил — дачу. Продал Лизино изумрудное кольцо и построил этот дом. Ну, пойми: не мог устоять. Очень хотелось. Все, что они у меня отобрали, я как бы и вернул. Хитрость. Не имение, так домик с садом. Не беседка с деревянным кружевом, так лавка под жасмином. А лес — везде лес, и поле — все поле. Я после этой норы, где Сашка вечерами потные ноги парит, еду к себе домой. Там вишни. Крапива. Петухи поют, дымком тянет. Вот родит Томка дочку, и я буду с ней в лесу гулять. Грибы собирать. Маслята.

И худощавой рукой похлопал его по плечу, заснеженному, сверкавшему под фонарным светом.

Ночью она разбудила его:

— Прости, пожалуйста, никогда не буду тебя тревожить. Последний раз. Я не умру? Мне вдруг так страшно стало. Умру, и ты останешься с маленькой девочкой. Один. И тебе придется жить без меня. Матрена будет на нее клюкой стучать.

Она смеялась, но щеки и грудь были мокры от слез.

— Что ты глупости говоришь!

За стеной стонуще храпела Катя. По потолку плавно прокатился свет от машинных фар.

— Нет, не глупости, не сердись. Я вдруг почувствовала, что это случится. Меня нет, и ты один, с маленькой девочкой...

— Посиди,— говорит мне папа и расстилает на маленькой, припорошенной снегом скамеечке свой полосатый шарф.— Я наберу воды, и мы эти цветы поставим. Тогда они будут стоять дольше. Дня четыре не завянут.

— Папа,— спрашиваю я, внимательно разглядывая розоватый камень с тонкой золотой надписью.— Папа, а она — где? Она видит нас? Эти цветы? И то, что я тут сижу?

— Да,— произносит он твердо.— Да, она все видит. Все видит и знает.

— Но как? — удивляюсь я.— Как? Где же она?

— Она на небе. Она наш ангел. Ты ведь знаешь, что это такое? Так вот. Наш с тобой ангел — это она.

Я не все понимаю в его словах, но принимаю, как и многое другое, на веру. И пока он набирает из колонки воды в мутно-желтую большую банку, а потом протирает мокрой тряпкой памятник, я смотрю на небо, вижу его прохладную голубизну, слабое, подтаявшее по краям облачко...

— Ну, пойдём,— говорит папа.— А то ты замерзла.

Он обматывает шею полосатым шарфом и, пропустив меня в низенькую железную калитку, наклоняется, целует этот холодный розовый камень и медленно проводит по нему ладонью, прощаясь.

По пятницам Матрена пекла блины. Чаще всего они подгорали и в кухне было дымно — не продохнуть.

— Да поешь, поешь, пока горяченький! — пела Матрена.— Ишь пузырится! Сама не хошь, так ребяточка свою покорми. Када рожать-то? Вот родишь, так мы яво, кудрявого твоего, поглядим! Как ребяенок народится да как начнёт по ночам пищать, тут из них, из мужиков, вся поганая порода наружу лезет! Вот тогда мы поглядим, как он тебя любить...

В дверь застучали. Заколотили. Неистово.

— Кого нечистая несет? Никак опять татарва надрамшится? — изумилась Матрена и, шаркая тапочками, пошла открывать.

Сначала в образовавшуюся щель просунулся угол ободранного черного чемодана, а потом над ним запрыгало ее круглое, распухшее от слез, лицо.

— Томочка! Он меня выгнал! По-настоящему. Томочка!

Она опустила на табуретку прямо посреди этого кухонного дыма и чада и зарыдала с новой силой выплескиваемого отчаяния.

— Ради Бога, пойдём в комнату! Да не кричи ты так! Лялька, я сейчас к нему поеду! Да не кричи ты! Ну, он тебя сто раз выгонял! Да успокойся ты! Подожди, я хоть валерьянку найду! Господи, вот и мама пришла! Побудь с ней, видишь, что творится? А я на Шаболовку и обратно!

Накинула вязаный жакет, уже не застегивающийся на животе, и — в дверь. Он встретил ее, не похожий на себя. Спокойный, трезвый.

— Зачем пожаловала, Тамара? Запыхалась... Садись. Что скажешь?

— Коля, ты ведь хороший человек! Я всегда чувствовала, что ты хороший! Что у вас случилось?

— Не хотелось бы мне об этом, Тома. Но раз уж ты с этим пузом прибежала, давай, поговорим. Ты вот сказала: «хороший человек», да? А я в себе человека-то и не чувствую. Так, живет вроде какое-то существо. Пьет, спит. Чаше всего с бабой, одному-то страшно. Водку лакает. А дальше — пустота. Черная такая, липкая, как земля в окопе. Ни просвета. Чего ты хочешь от такого?

— Миленький, ну пожалей ее!

— Я, Тома, себя жалею. Мне с ней — как тебе объяснить? Мне с ней трудно. Она меня, бедняга, на поверхность вытягивает, а я в землю рвусь, поглубже. Ну, ошибся, не додумал. Она ведь, как канарейка моя, покойница, такая же щебетунья, так же перышки чистит. Изю всех баб моих самая, честно тебе сказать, замечательная! Ласковая, аж до слез. Только это ничего не меняет. Дальше, как ни крути, только хуже будет. Ей ведь детей надо, гостей там всяких, чтоб все как у людей. А мне бутылку погорчей да дверь поплотней. Хороша парочка? Да и любить-то я не умею. Разучился, судя по всему. Она щебечет, а у меня от злости ком в горле. Топлю ведь ее. Ты посмотри, на кого она у меня похожа стала? Пришла ведь, как лиса лесная, теплая, пушистая. Смешная такая. И погляди, что с ней за четыре года стало? Кошка ободранная. Мне бы ее пожалеть, по перманенту погладить, а я от злобы, как самовар, закипаю. Нет, это не жизнь. И обсуждать тут нечего. Но раз уж ты все равно пришла, сделай доброе дело: забери ты от меня все эти салфеточки, всех этих зверюшек да куколок. Ты посмотри, во что она комнату превратила? Музей прикладного искусства, а не жилье! Хотя... Что греха таить? Я еще без нее заскучаю. Но ничего, баб на мой век хватит. И на безногого кидаются. Зубами готовы рвать. Изголодались. Ступай, Тамара. Прости, что так.

Она медленно спускалась по лестнице и думала: «Как же я передам ей все это?»

Рябина горела красной кистью. Да, горела. И листья падали. Я родилась двадцать первого сентября. Утром в деревянном доме напротив был пожар. Из окон вырывалось пламя. Шипела вода. А я просила, чтобы этот мир принял меня, впустил, и болью, похлеще любого огня, пронизывала материнское тело. А через неделю меня приняла теплая комната в доме 4, квартире 4 по Первому Труженникову переулку, и суетливые мои тетки, дедовы племянницы, кричали папе:

— Не клади, не клади ее на одеяло! На мех надо! Чтоб была счастливой! Чтоб была здоровой! Чтоб была богатой!

И прыгающими от волнения руками он положил меня на вытертую котиковую шубу.

(«Пей, пей молоко! Пей, пока горячее! Наказанье мое! Хочешь, я почитаю тебе «Онегина»? А что ты хочешь? Опять мамин чемодан?»)

Она прислала неожиданную телеграмму: «Возвращаюсь завтра восемь. Вагон шесть. Наташа». Удивленные, радостные, они встречали ее после трехлетней разлуки. Отец сжимал в руках полуживые зимние цветы. Осторожно нащупывая ногой вагонные ступеньки, она спустилась к ним с девочкой на руках.

— Когда на следующий день она пришла к нам, — и бабуля незаметно опускает в мое горячее молоко кусочек масла, — я просто ахнула. Такая красавица! Анна Каренина. Еще лучше стала. Во всем заграничном. Ботинки, как сейчас помню, на толстой-претолстой подошве. Кофта с деревянными пуговицами. Волосы постригла. А какие были косы! Но ей все шло. Схватила тебя на руки и не отпускает. Несчастная! Господи...

Что она рассказала моей маме, когда они шли с ней по остекленевшей белой Девичке? Откуда я знаю? Мне не было четырех месяцев, и я спала.

— Тома, я думала, что более чужих людей на свете просто не встретишь. А вот теперь его нет, и мне, как Матрена бы сказала, выть хочется. Места себе не

нахожу, спать не могу. Хотя дышится мне без него словно бы и легче. Горечи такой нет. Не смотри ты на меня так, не ужасайся! Все равно я только тебе одной и могу рассказать. Ну, ладно. Даже не знаю, с чего начать. Приехали мы, меня тошнит. Голова все время кружится. Вокруг не город, кладбище какое-то. Все в черном. Дети голубоглазые, вежливые, глаза опущены. Да и у взрослых опущены глаза. Он уходил в восемь, приходил в семь. При этом ни за что не хотел, чтобы я поддерживала отношения с этими — как их? — с женами... Чтобы ни-ни: сиди дома, не рыпайся. Никакой ни с кем откровенности! Ну, этому я и сама была рада, потому что эти жены... Они все горевали, что мы поздно приехали. Поживиться нечем. Все gobелены по офицерским чемоданам растеклись. Все уже разграбили. Это в те-то еще годы! Так вот я и сидела дома. Совершенно одна.

Она вдруг осеклась. Медленно плывущий с неба снег забелил их головы в вязаных шарфах и неуклюжую голубую коляску, в которой я спала и ничего не слышала, ничего не понимала в этом засышаемом снегом разговоре. Она молчала и слизывала снег с верхней губы. И тогда мама, розовая от холода, с повисшими на ресницах капельками, сказала ей: «Что? Что?»

— Меня рвало, и я была совершенно одна. Он приходил вечером. Он очень изменился там. Стал каким-то каменным. Ел молча. Потом...

Она опять замолчала. Мама ждала со страхом.

— Потом сразу в постель. Господи, чего он только не выделял со мной! Я сначала ужасалась, потом привыкла. Меня затягивало, как в омут. Воля пропадала. Когда я на следующий день вспоминала это, меня бросало то в жар, то в холод, и ведь ко всему этому я же Аню ждала! Утром вставала вся разбитая, вся в пятнах, но... как сказать? Не счастливая, а какая-то словно огнем наполненная. Нет, не могу, не смотри на меня. Так продолжалось месяца три. Потом, когда беременность стала совсем уж заметной, он вдруг резко от меня отстранился. Ужинал, читал иногда и — спать. Даже не целовал. Это ему было безразлично. И вот родилась Аня. Мне стало сразу легче. Я первый раз почувствовала себя счастливой. И Аня, ты знаешь, сразу же была невероятно похожа на маму, на мою маму, это так чудесно, правда? Я как-то даже перестала обращать на него внимание. Вся принадлежала ей. А он — это чудовище, нелепо, но правда — он меня к ней ревновал. Ее кровать стояла рядом с нашей. Среди ночи я вставала кормить. И пока меняла пеленки, она, как все дети, попискивала. И я, естественно, перекладывала ее на нашу постель, ему под бок. Поначалу он терпел. И вдруг взорвался. Он кричал, что достаточно устает за день, чтобы вкалывать еще и ночью, и если бы он знал, какую райскую жизнь я ему тут уготовлю, без сомнения, оставил бы меня в Москве. Я стала перекладывать ее на кресло. У нас там было большое такое, вишневое. Это его тоже взбесило, потому что я так безропотно, понимаешь, безропотно, сделала как он хотел, словно бы не сочла нужным с ним объясниться, словно бы его этим оскорбила. Тем не менее и после родов, когда я просто на ногах еле держалась от усталости, он почти каждую ночь будил меня. И я опять подчинялась ему. Нет, я, наверное, сама любила его какой-то ужасной, постыдной любовью. Изнурительной, ночной, рабской. Объяснить это невозможно и совестно... В общем, я тебе почти все рассказала...

Две совершенно белые фигуры шли по Девичке. Запорошенной гусеницей полз трамвай за чугунной оградой. Я спала и видела сны.

Небо было забито облаками, как ватой. Тяжелая клочковатая вата висела над сквериком, где она сидела рядом с бескровной голубоглазой немкой, одетой в траур. Быстро темнело. Она взглянула на часы. Шесть. Скоро он придет ужинать. Жизнь постукивала по накатанным рельсам. Душная вата забила небо. Она подхватила смуглую девочку, похожую на цыганку, усадила ее в коляску: «Пойдем, Анечка, скоро папа придет».

Картофельные котлеты стыли на столе под салфеткой. Он не пришел ни в семь, ни в восемь, ни в девять. В десять ей было страшно. Она ходила по трем большим комнатам со старой дубовой мебелью, сжав виски ладонями, и прислушивалась. У него могло быть срочное задание в той части Берлина. Но он обычно знал об этом заранее и предупреждал ее. Второе предположение было нелепым, но она остановилась именно на нем. Женщина. Да, без сомнения. Она

перенесла Аню на постель. Прижалась лицом к чернокудрой головке и заснула. Под утро ее разбудил стук в дверь. Двое в штатском — один маленький, с узкоглазым морщинистым лицом, второй высокий, жилистый, — отстранив ее, молча прошли в квартиру. Она с ужасом запахла халат.

— Ваш муж не ночевал дома? — скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал первый.

— Нет, — прошептала она. — Нет, нет...

Они спросили, когда он приходил обычно. Она ответила. Высокий, жилистый вдруг снял очки и положил их в карман. Голые, без ресниц, немигающие глаза посмотрели на спящую Аню.

— А не заметили ли вы чего-то странного, необычного в его вчерашнем поведении?

Ей удалось перехватить его взгляд, устремленный на ребенка. Маленький, морщинистый щелкнул пальцами.

— Мы вас не торопим. Вспоминайте, вспоминайте...

— Что с ним? — выдохнула она. — Где он?

— Вот этого мы пока не знаем. Должен был отчитаться вчера в исполнении важного задания. И не явился. Исчез. Похоже, что без следов. Вот как. Искали и днем и ночью. Нету муженька вашего.

И он вдруг фамильярно подмигнул ей.

— У нас тут свои подозрения возникли, — вновь заговорил жилистый, протирая очки. — И потому вы нам сейчас ответите на кое-какие вопросы...

Вопросы показались ей странными. Не изучал ли он вечерами какой-нибудь иностранный язык? Нет, не английский. Какой-нибудь восточный? Индонезийский, например? Японский? Не совершал ли длительных загородных прогулок? Насколько сильно был привязан к семье? Наконец, она не выдержала:

— Да где же он? Что с ним?

Маленький успокоительно похлопал ее по руке:

— Есть предположение, что муженек ваш бежал. Перемахнул. Фью-ит!

Она вздрогнула. Все, что угодно, только не это. Что будет с Аней?

— Не забудьте, это только предположение. Не без оснований, правда. Но вдруг он к вечеру сам объявится? Или в лесу обнаружится тело неизвестного? А? Все может быть...

Облака забили небо. Бескровная старуха с жидкими голубыми косицами равнодушно смотрела, как маленькая, похожая на цыганку девочка, возится в песке. Все кончено. Он не придет больше. Бежал. Бежал? А как же Аня? Что будет с Аней? А может быть, он умер? Убит? Может быть, свои же и умертвили его? Она вдруг вспомнила отца: «Это же свора, душа. Дикие волки. Кобели цепные. Только хитро науськаны. На своих охотнее, чем на чужих, бросаются. Родственной, так сказать, крови жаждут. Вокруг страх сеют и сами дрожат. Сладостная картина. Что молчишь, душа?»

Звон синенького графинчика. Материнское «А-а-ах!»...

Ночью она почувствовала его руку. Рука нетерпеливо гладила ее тело, разливая медленный привычный огонь.

— Соскучилась?

Она раскрыла губы, потянулась навстречу. Впереди была пустота. Она тянулась с раскрытыми губами. Рука, глядящая ее тело, вдруг стала бесплотной. Голос отца произнес: «Что молчишь, душа?»

Она раскрыла глаза. Месяц, прозрачный, как лимонный леденец, чудом держался на небе. Еще немного, и он упал бы на ее постель, растекся бы по ней своей холодноватой желтизной.

Все. Он не придет больше. Сбежал. Или умер. Свои или чужие, они убили его. Что будет с Аней?

— Я ждала еще несколько месяцев. Мучилась одна со своими подозрениями. Он мог засыпаться. Сбежать. Или сдать. И те, и другие могли убрать его. Официально они объявили внутренний розыск и, пока он шел, не выпускали меня. Потом выдали справку: считать без вести пропавшим. И выпустили.

Я сплю. Снег идет. Вся Девочка в снегу.

Дед явно затаил что-то. Глаза его стали особенно хитрыми. Сашка парил ноги, и бабуля терпеливо ждала, пока он освободит кухню. Девочку пора было купать. И в кого только Сашка уродился таким сибаритом?

— Лиза,— сказал дед.— Мы должны взять прислугу.

— Прислугу? — ахнула бабуля, округляя глаза.— Какую прислугу?

— Просто прислугу,— твердо повторил дед.— Чистоплотную. Не воровку. Не пьяницу. Чтобы кухарила и помогала с ребенком. По-нынешнему — домработницу.

— Опять за старое,— вздохнула бабуля.— Били вас, били...

Так в квартире 4 дома 4 по Первому Труженникову переулку появилось новое лицо. Ее звали Валькой, и она приехала из Калужской области. Постепенно складывалось впечатление, что дед с бабулей взяли ее на воспитание.

— Да ты ешь, не стесняйся,— ласково говорил дед за завтраком.— Маслом мажь. А то из твоей худобы скоро опилки посыпятся.

Валька закрывала рот ладонью и прыскала.

— Когда смеешься,— вставляла бабуля,— не закрывай рта рукой. Это неприятно, некрасиво.

— Не буду, тетя Лиз,— покорно соглашалась Валька и пальцем тыкала в синюю тарелку с изображением Наполеона.— Ктой-то?

— Наполеон, Валюша,— вздыхал дед.— Тот самый. А тебе надо в техникум готовиться. Нечего баклуши бить. Образование получать надо.— И принес с работы потрепанную «Историю КПСС».

Вечерами, вдоволь наговорившись с подружками по телефону, Валька располагалась на раскладушке за ширмой и сладко, до слез зевала.

— Ну, давай, Валюша, давай,— подбадривал дед.— Давай, занимайся.

— Ой, дядя Кость,— с хрустом потягивалась Валька.— Умаялась я до полусмерти. В сквере часа три гуляла с коляской, да в магазин сбегала, да вечером на Зубовской ситец давали, всю очередь выстояла! Платье хочу пошить. А в башку, дядя Кость, ничего не лезет!

— Ну, хоть вчерашнее повтори, Валюша,— растерянно упрасивал дед.— Нельзя же так. Бездельница.

— Вчерашнее? — удивлялась Валька. Шуршали страницы.— А, вот оно: «Конституция — это основной закон...»

— Ты же эту фразу месяц учишь! — не выдержала бабуля.— Опять конституция!

— Конституция — это основной закон,— бормотала Валька, засыпая.— Основной закон... Конституция... — И падала на пол толстая книга. Пылилась.

На Наташу было страшно смотреть. Анечка лежала в изоляторе на первом этаже. В инфекционное отделение родителей не пускали. Она складывала башенку из битых кирпичей, залезала на нее, прижималась лицом к окну, до середины замазанному белой краской, и мокрыми обезумевшими глазами не отрывалась от заострившегося личика на плоской подушке. Так прошло десять дней. На одиннадцатый Анечки не стало.

— Нет! — кричала Наташа и билась на только что вымытом кафельном полу.— Нет! Не верю! Неправда! Да покажите же мне! Не верю!

На похоронах она не проронила ни слезинки. А когда все было кончено, легла на свежий холмик и замерла. Оторвать ее не могли никакими силами. Тогда дед сказал моей маме: «Идите. Уведи всех. Подождите нас на улице».

Продрогшие, заплаканные, они долго стояли у кладбищенских ворот, ждали. Наконец она показалась, поддерживаемая дедом под руку. Лицо ее было сильно испачкано землей.

Папу уволили в начале пятьдесят третьего. Сокращение кадров предваряло большую операцию по борьбе с евреями.

— Да плонь ты,— успокаивал дед и гладил кудрявый папин затылок.— Пусть подавятся! С голоду не умрем!

— Я молотобойцем пойду,— скрипел зубами папа.— Видели мускулы? —

И напрягал бронзовую руку. Мускулы каменели на глазах.— На завод пойду. Сволочи.

— Да, на заводе легко спрятаться,— грустно усмехнулся дед.— Местечко теплое...

А в марте уса́тый хозяин умер. Растрепанная Валька голосила на раскладушке. Котлеты сгорели. На улицах была давка.

— Сегодня никто из вас из дома не выйдет.

Дед предостерегающе поднял палец:

— Никто.

— Как? — взвизгнула Валька.— Очумели, дядь Кость? А проститься-то?

— Сиди, не рыпайся!

Лицо его было непроницаемым.

...я лежу на диване со своей любимой куклой. Кукла называется «кореец Пак» и представляет из себя желтого узкоглазого мальчика в синих шелковых шароварах. Стук в дверь. Мама пришла!

— Скорей! — шепчет мне бабуля.— Дай маме тапочки!

Когда много лет спустя меня спрашивали: «Неужели ты ее совсем не запомнила?», я всегда отвечала: «Нет, запомнила. Она приходит с работы, и я даю ей тапочки».

...туман. Молочный туман моей неуклюжей детской памяти, в котором я бреду на ощупь с вытянутыми руками, натываясь на собственные сны и чужие рассказы. И вдруг в этом волокнистом, шумящем, как кровь в ушах, тумане мои растопыренные пальцы упираются в нечто плотное, осязаемое, пушистое — мамины домашние тапочки. Красные. Да, это было. Это я знаю точно.

...я лезу под диван, достаю тапочки, слышу, как кто-то смеется, потом бегу к ней. Ее я не вижу. Чувствую только невероятную легкость, соединенную с чем-то сияющим, светлым, склонившимся надо мной, теплом коснувшимся моей головы и исчезнувшим. Господи, какой туман... Я ничего не вижу. Что потом?

...подушки, гора подушек. Я подхожу ближе, и опять что-то сияющее, большое выплывает мне навстречу. Смеха не слышно.

— Мама больна,— шепчет бабуля.— Пойдем. Мама спит.

Но она не спит. Я отчетливо вижу, как что-то плавное, белое — рука? — поправляет каштановую волну — волосы? — на большой белой подушке. Она не спит. Она сидит, откинувшись, и ей мешают волосы. Опять все обрывается. Молочный, шумящий, как кровь в ушах, туман, и я бреду в нем с вытянутыми руками...

В коричневом чемодане была отдельно связанная стопка. Она лежала с документами и не представлялась мне особенно интересной. Однажды я ее все-таки развязала. И замелькало странное: «...моя жена... грязное оскорбление, предъявленное моей жене... умершая в марте пятьдесят пятого года... обращаюсь к вам, уважаемый Никита Сергеевич... убежден, что нарушение законности и безобразная клевета, доведшая ее до могилы...»

После Анечкиной смерти прошло четыре месяца. Ляля сидела на низенькой скамеечке у огня. Волосы ее заметно потемнели. Наташа куталась в платок. Снег валил за окном.

— Ты завтра выходишь на работу?

— Да,— сказала Тома.— Немножко страшно. Но какие там ковры! И зеркала. Дворец. Нет, правда. Я думала, будет противно, но ничего, приятно даже. Машинистки все в лаковых туфельках. Где они их достают, Бог ведает! Привозные, наверное.

— Куда ты летишь, Томочка? — В соседней комнате звякнул синенький графинчик.— В гнездо, в осиное гнездо летишь... А ведь ты не оса, душа моя. Бабочка садовая, шоколадница...

— Она очень любит английский, папа,— негромко сказала Наташа, кутаясь в платок.— Она же ни к чему не будет иметь отношения. Просто переводить на

переговорах. Министерство внешней торговли все-таки не Министерство внутренних дел, не путай!

— В этой стране, душа моя, все дела — «внутренние», «внешнего» ничего нету. И не иметь к ним отношения невозможно. Мы все к ним отношение имеем. Даже я, старый пьяница. Присутствую, молчу, следовательно, и отношение имею. Эх, Томочка! Сидела бы дома, с девочкой бы гуляла в скверике...

В скверике под взглядом насупившегося гранитного Толстого я гуляла с Валькой. Валька без умолку болтала с подружками, и, будь я постарше, я легко поняла бы, что происходит у нас в доме.

— Через год буду в техникум поступать, — заливалась Валька. — Не могу я их сейчас бросить. Теть Лиз без меня свалится. Они ведь все ни свет ни заря на работу убегают: Томка в одну сторону, дядь Кость в другую, а кудрявый — в третью. Его ведь обратно взяли книжки переводить. Он у нас все языки знает! Я вот в деревне жила, думала: евреи все синие да старые, как куры инкубаторские. Пальцы, блазилось, у них скрюченные да жесткие, того гляди зацапают! Мне бабка Клавдия говорила: «Пуще всего, Валька, жидов бойся! Как завидишь жида, беги без оглядки!» А ведь все, девчат, вранье! Наш-то красавец, хризантема, ей-богу! Два раза на дню холодной водой обливается, Томку нашу любит — страсть! Не пьющий, ей-богу! Капли в рот не берет! Одна беда — больно горяч! Как что не по нему, так и подскочит! А отходчивый. Она его по голове погладит, глядь, и прошло. С той-то, с прежней своей, не ужился, подходу, поди, не нашла. А наша — умная. Слова поперек не скажет, а все по-своему сделает. Вот уж, девчат, правда: дал Господь голову...

После родов она неожиданно располнела. Вечно опаздывая, бежала на Смоленскую (трамваи ходили редко, и добежать туда было быстрее, чем доехать!). Задышавшись, распахивала тяжелую дверь, предъявляла пропуск. Стряхивала снег с вязаного шарфа. Поднималась в лифте на десятый этаж. Пахло чернилами, бумагой, крепким чаем. Машинистки стучали вишневыми ноготками.

— ...она, — говорит папа и страдальчески морщится. — Она была просто влюблена в эту работу. Ей все нравилось: и это двадцатизетажное уродство с башнями, и беготня, и то, что приходилось все время говорить по-английски. Как она поплатилась за свою суетность!

Сразу после Нового года был назначен новый начальник отдела.

— Лялька, — она обхватила Лялину голову. — Как я хочу, чтобы ты с ним познакомилась! Такой замечательный! Деликатный. Я почему-то уверена, что он не женат!

«...она всегда кем-то восхищалась, папа страдальчески морщится. Ей вечно надо было кого-то опекать, женить, знакомить! Ужасно! И ты такая же! Вот чего я боюсь!»

«...мою жену в глаза обвинили в nepозволительной связи с начальником отдела товарищем Рыжовым, — читаю я на пожелтевшем от времени листе. — Моя жена (зачеркнуто)... снести незаслуженных оскорблений и (зачеркнуто)... вслед за последовавшим увольнением слегла...»

(«Пей молоко! Не помню я ничего! Не хочу я этого помнить! Спроси папу, пусть он тебе расскажет! Если найдет нужным! Пей, пока горячее...»)

Как же это началось? Откуда мне знать? Я гуляла с Валькой на Девичке, и суровый Толстой сверлил меня глазами.

Задышавшись, она распахнула тяжелую дверь. Предъявила пропуск. В отделе было как-то слишком оживленно. Машинистки шушукались по углам.

— У Рыжова неприятности. Наверх вызывали.

— Что такое?

— Он вчера на переговорах, Тамарочка, допустил идеологическую ошибку. Сказал, что производство сельскохозяйственных машин все еще не налажено после войны, и...

— Да что же здесь идеологического?

— Как что? Ах, да, вы ведь это переводили! И вы ничего не заметили?

— Чушь какая-то! — Она вспыхнула. — Где он? У себя?

Он сидел за столом, заставленным телефонами. Мучнистое лицо было отчаянным.

— Неприятности у меня, слышали? — Потер виски ладонями. — Два пирамидона принял. Не помогло. Разламывается голова. Да, вот такие дела...

— Но я же переводила это, Дмитрий Степаныч, дорогой! Я же помню контекст! То, как вы это сказали, звучало совершенно уместно!

— Тамара Константиновна, — он понизил голос, оглянулся затравленно. Она невольно придвинулась ближе, чтобы расслышать. — В том, что меня не сегодня-завтра выкинут, я не сомневаюсь. Хуже бы чего не было... Спасибо, что зашли.

И вот тут у нее застучало сердце. Я слышу, как оно неистово застучало, ее сердце, в котором дремал тот самый порок, который назывался «скрытым» и никак не проявлялся в этой своей «скрытости», пока не настало его время, пока оно не подошло.

— Что ты так задыхаешься, Томочка? — спросил дед, внимательно всматриваясь за вечерним чаем в ее горящее лицо. — Что ты так волнуешься?

— Но я же рассказываю! Такая несправедливость! И главное: ведь я переводила!

— Ты так возмущаешься, словно имела счастливую возможность привыкнуть к справедливости. Вот уж чем у нас и не пахнет!

— Да, но я переводила!

Лицо ее горело, она задыхалась.

Через два дня Рыжова уволили, и маленький вертлявый заместитель в очкалупах занял его место за столом, заставленным телефонами.

— Но я не могу, не могу с этим смириться! Как же я промолчу? Если бы ты видел, как он уходил! Как побитый! В дверях уронил какую-то книжку. Извинился. И все сидели, как каменные. Боже мой, да ведь так можно убить, распять, ограбить, и никто слова не пикнет! Что же это такое?

— А ты знаешь, — шептал папа, — чем бы это кончилось, если бы тот не умер? Это еще что... Успокойся. Ты ведь одна не переделаешь этот мир. Спи. — И заснул первым. А она лежала с открытыми глазами, и свет от редких машинных фар плавно скользил по низкому потолку. У нее горело лицо и стучало сердце, а я спала в соседней комнате, и над моей детской кроваткой висел тканый коврик, на котором огненно-рыжая лиса волочила в зубах растрепанного белого петуха, уносила его куда-то за синие леса, за высокие горы, в глубокие норы...

Она написала письмо, которое никто, кроме нее, не подписал. Она хотела наивно восстановить справедливость, которой — разве она не знала об этом? — никогда и не пахло. В эти дни она стала ездить на Смоленскую на трамвае, еще не отдавая себе отчет в том, что бегать по улицам ей просто не под силу. Задыхалась. Ночами ее мучил кашель. «Простудилась?» — тревожился папа. Через несколько дней ее вызвали к вертлявому заместителю.

— Вы что же это, не разобравшись в ситуации, защитные письма посылать вздумали? Мне товарищи позвонили и настоятельно просили разобраться. Письмо у вас получилось такое пылкое, литературное. Но прямо говорю: пустое. Безосновательное. Проще сказать — нелепое письмо. И я подозреваю, что тут личные мотивы замешаны. А вы знаете...

— Что вы сказали?

Сердце застучало в горле.

— Сказал я то, что всем известно. Наше учреждение не ЖЭК, как вы понимаете, и не контора дровяного склада. Так что вносить в его работу подобную художественную, так сказать, неразбериху мы никому не позволим.

Прямо на нее сверкнули очки-лупы.

— Как вы сметете так разговаривать со мной!

— Что значит «смею»?

Он повысил голос и приподнялся в массивном кресле.

— Что значит «смею»? А вы как смее прикрывать дурацкими писульками своих любовников, находясь в стенах советского учреждения, а?

Она вылетела, хлопнув дверью. Опустилась на первый стул. Закашлялась. После обеда ее вызвали в отдел кадров. Приказ об увольнении уже был подписан.

Снег тает. Окна слепнут от солнца. Мы с папой едем в пропахшем бензином автобусе, и я спрашиваю его с негодованием, чувствуя, как неистово сердце разрывает мне горло:

— Но как, как она могла так расстроиться, чтобы заболеть и умереть? Как? Ведь у нее же была я? Разве она не любила меня?

У меня горит лицо, и я задыхаюсь, прижимаюсь носом к автобусному стеклу в весенних подтеках.

— Тебе тринадцать лет,— говорит он устало,— а ты рассуждаешь, как маленькая. Никто про тебя не забывал. Пока этот мерзкий порядок не затронул ее, ей трудно было представить, насколько он мерзок. Она витала в облаках, пока эта подлая дурацкая история не открыла ей глаза. Удивительно, конечно! Вырасти в такой семье и на поверку оказаться столь беспомощной, столь наивной, удивительно, невероятно! Но она действительно переживала настолько сильно, что уже ни о чем другом не могла думать. Она сгорела. Больному сердцу ведь немного надо, чтобы...

Он умолкает. В автобусе пахнет бензином, окна слепнут от солнца.

Она уже не ходит на работу, и тапочки сиротливо краснеют у постели, на которой она сидит, опираясь на гору высоких подушек и кашляя. Мы с Валькой входим в комнату, где топится кафельная печка и пахнет лекарствами. Мы запорошены снегом и разрумянены. За окнами скребут дворники. Она отводит от лица тяжелую каштановую прядь и спрашивает Вальку:

— Холодно на улице? Она не легко одета?

Похудевшая строгая Наташа входит следом и говорит спокойно:

— На улице чудесно. Тепло и пахнет весной. Хватит тебе болеть!

Она кашляет.

Я леплю снежную бабу. Толстой, как всегда, за мной присматривает. Валька сидит на санках, окруженная подружками, и всхлипывает:

— Томка вчера мне свою шапку каракулевую подарила. Говорит: «Я все равно лежу, а поправлюсь, так зима кончится. Покрасуйся»,— и подарила. Кашляет, разывается. Два профессора вчера были. Частники. Дядь Кость за ними на такси ездил. Говорят: сердце. А кто ж, девчат, от сердца кашляет! Врут поди, деньги вымогают! А я давеча выскочила на заре в уборную, смотрю, в кухне на табуретке дядь Кость сидит, голову обхватил руками и плачет. Боймся мы. Ужинать сядем, и кусок в горло не идет. Завтра последний анализ сделаем и решать будем, в больницу класть или чего...

Старенький сухой доктор с печальным еврейским профилем долго отряхивал снег с калош. Величавая Катя проплыла в свою комнату с блюдом кривобоких пышек.

— Позвольте мне вымыть руки.— Он печально приподнял брови и прошел на кухню. Папа шел за ним с полотенцем. От волнения акцент его опять усилился.

— Она очень переживает одну отвратительную служебную историю. Она слегла от нее. Я вас прошу: поговорите с ней как специалист, объясните ей, что...

— Мы от жизни не лечим, голубчик,— скорбными глазами он посмотрел прямо в папины, испуганные.— А от такой жизни тем паче...

Она кашляла, а он слушал, выстукивал, считал пульс и хмурился.

— Меня сегодня утром участковый симулянткой назвал,— и она рассмеялась, отводя каштановые волны с лица.— Сказал, что мне болеть просто выгодно. Интересно, почему мне это выгодно?

— Хамы...— он улыбнулся ей.— Не обращайтесь внимания. Нельзя принимать все так близко к сердцу. Оно этого не любит.

...Как он уцелел, этот старенький сухопарый доктор, единственный из всех понявший, как серьезно она больна, как он, с его скорбным карим взглядом, дотянул до относительного благополучия пятьдесят пятого года?

— Только один человек, не профессор даже, просто врач из клиники,

заподозрил то, что потом подтвердилось на вскрытии,— папа страдальчески морщится.— Он только что вернулся из лагеря, только что был допущен к работе. Маленький такой старик, еврей. Он очень хмурился, осмотрев ее, и сказал нам...

Что он сказал?

Они стояли вокруг стола — дед, бабуля, папа — и ждали. Он хмурился и думал. Потом произнес:

— Тяжелое положение. И надо в больницу. Срочно, немедленно. Странно, что ее до сих пор не госпитализировали. Позвоните мне утром на работу, я попробую завтра же положить ее к себе. Боюсь, что нужна операция.

Печально посмотрел в папины запрыгавшие зрачки:

— Вы не оставляйте ее одну ночью. Подежурьте. Чтобы не пропустить, если что...

Ночью она умерла.

Туман. Я бреду в нем с сухими глазами. Я одна. Ее нет. Я продираюсь к ней сквозь сомкнутые годы, и все повторяется: туман, туман, туман, гора белых подушек, красные тапочки, свет...

116

«...моя жена не была больным человеком в прямом смысле этого слова... За три года до своей скоростижной кончины она легко и благополучно родила совершенно здорового ребенка...»

Мы с папой едем в автобусе. Солнце слепит.

— Скажи мне только: если бы не это, она жила бы?

У меня перехватывает дыхание от невыносимой мысли: если бы не это, она бы...

В церкви было много народу. Любопытные старухи с вытекающими глазами толпились в дверях, перешептываясь:

— Молодая совсем. Годков двадцать пять будет. Замужняя. Вон мужик-то ее. Кудрявый! Оо-о-ох! От судьбы не уйдешь!

А я? Я гуляла с распухшей от слез Валькой, ничего не зная. Я лепила снежную бабу из последнего мартовского снега, пока ее отпевали и прощались с нею. Я искала в колючем сугробе свою лопатку, пока папа, не отрываясь, смотрел на ее изменившееся лицо. Ночевали мы с Валькой у знакомых.

— Андел, андел и была,— мрачно говорила Матрена на кухне.— А анделов Бог завсегда к себе берет. Они ему там сподручнее... А здесь чего? На нехристов вкалывать, прости, Господи, меня грешную!

Да. Но почему одновременно с мамой исчезли из моей жизни и Ляля с Наташей?

— Я останусь здесь сегодня. Переночую,— сказала Ляля неподвижной, совершенно черной Наташе.

Поминки кончились. Они вымыли посуду, протерли пол.

— Иди домой. Я останусь.

И Наташа ушла. А Ляля осталась. Она легла на раскладушке в комнате, вскоре переименованной в «папину». Из маленькой, смежной, в которую скрылись дед и бабуля, не доносилось ни звука. Папа молчал, а она рыдала, вжимаясь в подушку. Потом стала успокаивать его, хотя он молчал.

— Я все время буду с вами,— рыдала она.— Мы ее вырастим! Мы ее вырастим так, как если бы Томка была жива. Я буду с вами, ты слышишь? Кто мне дороже на свете?

Под утро она заснула. И проснулась от дверного скрипа. В матовой рассветной белизне стояла моя бабуля, одетая так же, как накануне, а за ее плечами, наглухо застегнутый, стоял дед, и они были похожи на две вытянутые бесплотные тени.

— Ляля,— сказала бабуля ровным голосом.— Иди домой. Я не могу вас видеть: ни Наташу, ни тебя. Ее нет, и мне никто не нужен. Я справлюсь сама. Она приходила ко мне и просила не оставлять девочку. Она приходила ко мне во сне. Я обещала ей. И мне никто не нужен. Я не хотела жить, но она плакала и умоляла меня. Значит, будет так, как она хочет. Иди, Ляля. Я не могу вас видеть: ни Наташу, ни тебя.

Повернулась и ушла. И дед, не проронивший ни слова, приблизился к Ляле, поцеловал ее в потемневший подбородок и ушел тоже.

Какой снег! Он расползается под моими варежками, как намокшая вата. Взырошенный воробей в белой наколке перепрыгивает с ветки на ветку. Голоса кажутся мягче, медленнее и увязают в слепящем белом месиве вместе с моими валенками, воробьиными лапками, папиными остроносими башмаками. Мы спешим в театр. Разве, умирая, я посмею сказать себе, что не была счастлива в этой жизни, на шестом году которой было воскресное утро, заваленное снегом, и новое платье с кружевным воротником, и красный бархат ложи, куда мы вошли, как всегда опаздывая, когда уже погасили свет, и поэтому я не обратила никакого внимания на просиявшую улыбкой чернобровую красавицу с косами, обмотанными вокруг головы?

Дети бредут по сцене в поисках Синей птицы. Мне интересно, только немножко неприятно, что их умершие дедушка и бабушка разговаривают с ними, как живые, расположившись на куске плотного белого кружева, отдаленно напоминающего облако. Мои дедушка и бабушка живы, никогда не умрут и ждут меня дома. В театре тепло, темно, пахнет духами и апельсинами. Мое новое платье с кружевным воротником — самое красивое на свете. Зажигается свет. Антракт. Чернобровая худая красавица с мокрыми от застывших слез сияющими глазами целует меня и крепко прижимает к груди мою голову. Папа напоминает мне, что ее зовут Наташа. Она, не отрываясь, смотрит на меня — радостно, жадно, словно не может насмотреться. Потом мы идем в буфет и глаза мои разбегаются от разноцветных пирожных. Нет, лучше шоколадку. Со сказками Пушкина. Там, где все на обертке: и дуб с цепью, и старик с неводом, и Людмила в кокошнике, и говорящий кот... А потом мы едем, нет, плывем, сквозь медленную белизну, сквозь печальный печной дым, сквозь стеклянные деревья, мы плывем и приплываем в большую полуподвальную комнату с белоснежной занавеской на окне, с круглым столом под белоснежной скатертью, которая ломится от пирожков, конфет, чашек, чашечек и вышитых салфеток с голубками и незабудками. Вокруг стола суетятся две полные сырые старухи, похожие на уток, и кудрявая, круглолицая, с высоко поднятыми бровями женщина, которая, едва увидев меня, бросает все, зацеловывает мою холодную заиндевшую голову в капоре и так же, как Наташа, прижимает ее к груди. Мы пьем чай, и я внимательно разглядываю эту комнату с ее фотографиями на стенах, темным скрипучим буфетом, соломенным креслом, из которого торчат прутья...

Я ем булочки, а все эти женщины, не отрываясь, смотрят на меня, и у сырой старухи, похожей на утку, смешно краснеет кончик носа и по щекам ползут слезы...

— Дай Бог, чтобы у тебя были такие подруги, — сурово говорит бабуля и бережно заворачивает фотографии в папиросную бумагу. — Опять ты молоко не пьешь! Пей, пока горячее...

БОЗОР СОБИР

Осень в сердце...

С ТАДЖИКСКОГО.

ПЕРЕВОД МИХАИЛА СИНЕЛЬНИКОВА

* * *

118



Над холмами, над зеленью и желтизной
Ходят летние облака.
Мне — сияющей свадебною чадрой
Эти кажутся облака.

Было сердце осилено мощью любви.
Жаркой силою колдовской...
Родниками тогда были очи мои,
Память чистой была рекой.

Я на нитку нанизывал звезды во сне...
Этим жемчугом озарена,
В шелке лунного света ты снилась мне...
Разрывал я одежды сна.

Думал я о тебе — дом в мечтах возводил,
Не бывало меты святей.
За полетом густых облаков я следил —
Видел будущих наших детей.

Населяя мои молодые мечты,
Ты беспечно в душе жила.
Но впервые меня приучила ты
К безразличью, что горше зла...

Над холмами, над зеленью и желтизной,
Над полями, над жизнью моей —
Эти белые странники в сини сквозной,
Грезы бедные снящихся дней.

Мой горячий вздох понесли облака
В степи дальние, за оком.
Как сегодня тюльпанов пора далека!
Осень в сердце царит моем.

Безымянный остров среди зыбей
Моря памяти и забвения...
Вот — отчизна любви твоей и моей,
Наша юность, моя и твоя!

Непостроенный дом погрузился во тьму,
Покосился, и всю гурьбой
Нерожденные дети плачут в дому
И вдогонку бегут за тобой.

Ахмад Дониш¹

Весен и листопадов немало прошло
И воды убежало на нашем веку...
Тот мудрец, что без просыпу спал тяжело,
Вдруг проснулся в могиле от боли в боку.

На бок он повернулся и очи открыл,
Свой калам и дощечку свою для письма
Стал искать... И очнулся, исполненный сил...
Эту память не стерла могильная тьма.

Из земли он поднялся бухарской, родной
Легким облачком пара, и — к дому побрел...
Город старый и новый под полной луной
Спали тихо бок о бок, не ведая зол.

Изваяние путник узрел вдалеке...
Открывая дорогу в знакомый квартал,
Некто в кожаном платье и с кепкой в руке,
Непохож на бухарца, над площадью встал.

Были стены зигзагами испещрены —
Письменами, мерцанье которых во тьме
Разливалось подобно сиянью луны.
Был ученый несведущ в подобном письме.

Шел в тени достославного Мир-и-Араб ²
До квартала Ходжи-Джаафара мудреца.
Вдруг застыл и вздохнул он, и духом ослаб...
Дома отчего нет, а уж ночи — конец!

Сонмы белых домов заслонили простор...
Только где этот домик в древесной тени,
Где тутовник, родной виноградник и двор.
Та беседка, где были Хейрат и Айни?!

Не добывши калама, он вспять повернул,
Мимо стен и арыков, дувалов и рвов
Шел назад, а меж тем, озарив саксаул,
Тихо пряла луна серебристый покров.

Набежала волна сновидений, теней,
И протер он глаза... Все чужое — вокруг!
И не видит он бедной могилы своей,
Та могила без надписи сгинула вдруг.

По соломе, по листьям, густа и темна,
Ночь стекла постепенно, истаяв, как снег.
И остался бухарец, лишившийся сна,
И могилу, и дом потерявший навек.

¹ Ахмад Дониш (1827—1897) — таджикский писатель, историк, просветитель.

² Знаменитое бухарское медресе.

РЕЙН ПЫДЕР

Цветущая комната

С ЭСТОНСКОГО. ПЕРЕВОД Н. АБАШИНОЙ

120

Дверь захлопнулась, ключ дважды быстро повернулся в замке, стеклянная посуда в шкафу торопливо зазвенела вслед, потом этот звон поглотили стены и зеленый ковер на полу. Струганая дверь не пропустит больше ни звука — ни эхо шагов уходящего в море человека, ни хлопка наружной двери, ни урчания заведенной машины, ни детских голосов во дворе. Комната погрузилась в долгое, таинственное молчание.

Не только дверь, но и окно разлучили комнату с внешним миром. Длинные, тщательно задернутые шторы создавали розоватый полумрак, который усиливался к полудню и смягчался к вечеру, пока темнота полностью не заполняла все пространство. Очнувшееся на заре бесформенное пятно неяркого света каждое утро медленно перемещалось от одной стены к другой, дотрагивалось до мебели, стеклянных и фарфоровых безделушек, поделок из неведомого темного дерева, привезенных владельцем комнаты из путешествий и беспорядочно расставленных в шкафах, на полках, на столе, словно обязанных сторожить оставшуюся без присмотра квартиру.

Большая, со вкусом обставленная комната была уютным гнездышком для одиноко живущего человека. Стены оклеены дорогими обоями с редкой красоты восточным орнаментом. Рисунок создавал ощущение простора, воздушности и, наверное, света. На переднем плане вишневые деревья, чуть поодаль от них крыши пагод и в глубине перспективы — треугольник горы, все это сливалось в неразрывное триединство. Узор повторялся на стене десятки и даже сотни раз.

Безлюдная комната не в силах была угадать, сколько же продлится ее одиночество. Она привыкла оставаться одна — хозяин отлучался надолго. Но комната умела ждать, отчаянно пытаясь осознать себя как брошенное на произвол судьбы помещение. Ткань тишины редела, и ожидание, рожденное напряженностью самого воздуха в комнате, томилось бездеятельностью.

От тишины, ожидания и бездействия комната незаметно менялась. Гладкая поверхность стен уходила в глубину. Тогда царствовавший на них узор становился реальностью. Ветки сакуры обретали четкость, то же самое происходило с деревьями на противоположной стене. На месте жесткого, будто из проволоки, ковра, где раньше бросалась в глаза каждая соринка, появлялся зеленый влажный газон. Такие же изменения происходили со всеми наполнявшими комнату предметами — низкий столик превращался в пушистый декоративный куст, буфет становился священным деревом киноки, а задвинутый в угол массивный обеденный стол вместе с приставленными к нему стульями, очерченными своими напоминал старую криптомерию. Стекло в шкафу с легкостью бумажного листа ложилось на пол, чтобы образовать крохотный овал пруда. Даже настенное зеркало в тонкой резной раме, не в силах удержаться на месте, соскальзывало на зеленую поляну и беззвучно пульсировало там крохотным родничком.

Неподвижными оставались лишь окно и распластавшийся над ним потолок. Как единственные стражи на границе, они удерживали помещение от окончательного исчезновения. Комната словно растворялась. Вместо нее в зыбкой дымке появлялась лужайка в парке. Пространство распахивалось, и воздух дрожал над далами, рассеивая скопившийся дух затхлости и застоя.

На голых узловатых ветках вишен набухали первые почки, они быстро

росли, готовясь выпустить клейкие крохотные листочки. С той же скоростью, словно опережая неведомую весну совсем из другого предела, меж листьями распускались цветы. Но не белые, а нежно-розовые, будто подкрашенные проникшим в комнату светом. От буйного цветения поляна наполнялась сиянием, и явственно проступали окрестные дали. Потом цветы начинали осыпаться, вновь скрывая вид на горы, вокруг которых уже курчавились пышные облака. Все: и деревья, и крыши, и горы — едва заметно менялось. Время после долгого заточения устремлялось вперед.

Но однажды долго хранившая себя тишина раскололась, как огромная яичная скорлупа. В середину комнаты проникал бой часов, поначалу совсем слабый, затем более отчетливый. Если б все оставалось как раньше, можно было предположить, что распрямилась давно забытая пружина и часы заиграли. Но эти часы, даже если бы они и были, скрывались в стволе дерева. Значит, звук шел из глубины распахнутых далей. А поскольку пейзаж многократно повторялся, то звон доносился с бесчисленных пагод и собирался в середине комнаты. Вместе с боем часов в долину долетал тонкий аромат. Под его натиском и запоздалый цвет сакуры отдавал свое благоухание, не успевший осыпать лепестки.

Однажды донесся еще один звук, рожденный пейзажем, — под ногами заскрипел гравий. Шаги приближались, вот они совсем уже близко, а прищельца все еще не видно. Вдруг хрустнула ветка, гроздь вишневых соцветий, что склонилась над журчащим источником, вздрогнула и, описав дугу, отлетела в сторону, словно ее отломила невидимая рука. Шаги с цоканьем удалились и затихли в глубине парка. А комната еще долго хранила их отзвук.

Дверь по-прежнему была распахнута настежь, и обозримая даль продолжала меняться. Наконец все цветы до последнего лепестка легли на листья, скрывшие под собою травяную зелень. За это время на ветках сакуры заблестели крохотные жемчужицы ягод. Завязи наливались, медленно обретая цвет красного вина. Причудливо изогнутые кроны вишен и те, казалось, плавилась янтарным теплом невидимого лета — они источали смолу, которая, застывая ягодными шариками, скатывалась на землю.

Помещение, некогда бывшее комнатой, наслаждалось запахами летнего разгара, прятало их по углам, скрывало в ящиках стола и шкатулках, которых у него, по сути, не было. Комната совсем потеряла голову, забыв про себя.

И вдруг вся эта разбегающаяся по сторонам даль встрепенулась и рассыпалась на переливчатые полоски, задрожала, волнами расходясь под сквозняком. Причиной того оказалась неожиданно сорвавшаяся с занавески прищепка, и между шторами образовалась светлая щелочка. До поляны дотянулись полоски света из настоящего мира. Пейзаж остался тем же, но солнечный луч, за день передвигаясь по картине, принес усохшие листья и лопнувшие перезревшие вишни. Ягоды истекали кроваво-красным соком, падали вниз, как листья и смола. Все плавно и медленно угасало. Часть ягод исчезла прямо с веток, улетучилась так же мгновенно, как и та единственная гроздь вишневых соцветий. И лишь ветки еще покачивались, словно освободившись от тяжести взлетевших, но зримых птиц.

Художник просто не нарисовал на обоях людей и птиц. В них не было надобности. А вот живущая настоящей жизнью комната без них обойтись не могла. Безымянный мастер создал пленяющий свежестью и вместе с тем очень скромный восточный пейзаж. Эти искривленные контуры сакур, и загнутые крыши пагод, и далекие горы — все это было взято из Времени, которое предстало сейчас в виде цветущей комнаты.

Однажды в долине снова раздался звон, на этот раз более гулкий и тревожный — удары торопились и смешивались. А вскоре взгляду явилась причина: пагода, бывшая когда-то храмом на обоях, горела. Вместе с нею полыхали все храмы, повторявшие тот, единственный. Звуки колокола неслись отовсюду. Колокол гудел, храмы пылали в объятиях желтого, ровной высоты пламени, драконом пожиравшего здания. Десятки похожих дымок тянулись ввысь над крышами пагод и одинаково ложились наземь.

Время сделало явью прорыв другого времени, оно дотянулось сюда, где когда-то была комната и стояла мебель. И росшие поблизости деревья не

избежали дыхания того пекла. Пожар продолжался, пока на месте крыш не обнаружили жалкие хрупкие стропила. Почему огонь погас раньше, так и осталось неясным. Может, разразился ливень, которого с нетерпением ждал парк. Почерневшие стропила еще немного постояли и рухнули, и пейзаж лишился чего-то главного. Пространство меж сакурами на фоне далеких гор требовало наполнения. Но никто не мог застроить эту пустоту. Или нарисовать.

И вот в парк со сгоревшим храмом пришла осень. Окрестности пропитались влагой, сыроватая прохлада заполнила долину. Трава держалась дольше, чем деревья, но потом и она стала желтеть. Дали проявились — горы обрели контуры и придвинулись, на вершинах появился снег. Невидимый ветер покачивал обнаженные ветки вишен, и время от времени крохотные сучки отламывались и скрывались в травянистом покрове.

Весь пейзаж будто опять устремился к тому, каким он представлялся весной. Между деревьями вновь возникли дома, они быстро обрастали каменной кладкой, и уже стояли пагоды, заполняя пустые участки и притягивая к себе сакуры и горы. Чья-то невидимая длань в глубине помещения, повторявшего собою глубины времени, сгладила внушительные следы ожога.

Как-то утром дверь приоткрыли. Звук проник в комнату, будто голос из-за угла. Мгновенно пейзаж встревожился. Трава, некогда зеленевшая на полу, торопливо заняла место на картине, прихватив с собою все, что на нее нападало, — усохшие цветы, вишневые косточки, бурые коконы листьев, красный сок, смолу и почерневшие сучки. Спустя миг половицы образовали прямоугольник, вновь ставший полом. Столь же стремительные перемены коснулись предметов. Очнувшись от серой задумчивости стены, и все, что принадлежало комнате, сжимаясь гармошкой, слилось с гладкой поверхностью стен. Еще мгновение — и обои на стенах обрели все, что было на них раньше: вишневые деревья, пагоды, горы — все так, как когда-то нарисовала рука художника. И наконец картина распалась на одиннадцать едва заметных полос. Прекрасный живой пейзаж превратился в безжизненное изображение.

Но что-то должно было измениться. Время оставило след. От висящей над диваном веточки сакуры, только от нее одной, отломился крохотный сучок. Но эту едва заметную перемену можно объяснить истертостью обоев. Тем более, что случившееся нигде не запечатлелось, и на блестящей поверхности шкафа, и в овале зеркала, уже занявшего свое место, многократно, как и прежде, отражалась всего лишь комната.

АНДРЕЙ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Россия воскресе

БЕЗРАЗМЕРНЫЙ МОЛИТВЕННЫЙ СОНЕТ

Слава Тебе за указание тайного голоса,
Слава Тебе за откровение во сне и наяву...

Икос 10

Акафист Благодарственный

Слава Тебе за то, что Ты окружил нас
тысячами Твоих созданий.

Икос 3

123

I

Предначинательный псалом

1. Я Пасху пишу на дощатом навесе —
2. «Россия воскресе!»
3. Над черной дырою на том самом месте,
4. где мы провалились, где жили в острейшей
5. тоске неземного, поверивши дезе.
6. Мы — нищие Крезы.
7. Всемирною нищенкой на протезе
Россия воскресе!
8. Я ползаю по скорлупе из асбеста,
9. Стелю под подошвы некрологи в прессе.
10. Мы, ставя антенны, сломали скворешни,
11. но только в скворчатах Россия воскресе!
12. Ты помнишь, как мы заблудились в Залесьи?
13. Ты крикнешь: «Россия!» — «я» крикнут окрестности,
14. и все твои «я» в этом эхе воскресе...
15. За что нам возмездье?
16. Мы разве живем? В многоразовом презе-
17. рвативе экрана уносят нас «Вести»,
18. в края, где Калашников ценится в песо,
19. где пульей черкеса из мерседеса
20. подрезали геза-головореза,
21. рязанского, может. Всем без интереса.
22. Осколки России — диагноз болезни.
За что нам возмездье?
23. Мы — в мире без нас. Где бурнусы и пейсы
24. в тоске Боба Дилана по Одессе,
25. в сиротском, врага потерявшем конгрессе,
26. Как теза тоскует по антитезе!
27. Пропавшее слово в глобальном контексте —
«Россия воскресе!»



28. За что нам возмездье? Диванчику в репсе,
29. где спишь ты, свернувшись в калачик как скрепка,
30. а утром встречаешь меня с первым рейсом,
любовью воскресе...

31. Чем мы провинились? Что пьем варенец мы?
32. Иль тем, что в глазах твоих плыли от леса
33. вспышки зеленого веронезе?

- Тебе обещаю: «Россия воскресе»,
34. хоть сам я не верю в чудеси-нездеси,
Нас нету согласно законам Паскаля.
Я предпочитаю законы пасхальные.
Россия воскресе.

35. В следах от помады зардела скворешня.
36. Светают домов золотые обрезы.
37. И может быть, в этом стихотворенье
Россия воскресе.
38. А вдруг ее нету, как чудовища Несси?

Псалом совести

39. Мой прадед-священник явился из скверны.
Сказал: «Вы страну загубили в скабрезе.
40. Отныне в словах твоих — хоть спейся! —
появится эхо — «Россия воскресе».
41. Пропавшую рифму ишу в поднебесье.

Гипсовый псалом

42. По куполу глобуса, вспомнив профессию,
43. пишу синим флейтцем,
44. на гиндукушском рисую эфесе,
45. на эйфелевом корсете,
46. на бунинском мстительном ирокезе, —
47. слова подбираю как шифры на кейсе,
48. дал поле-чудесный церемониймейстер
четырнадцать клеток —

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

49. на камнях Катynie — приветик Валенсе! —
50. на Плаче стены, как на белой дискете,
51. на русской церковке Марии, все крепче
52. стопы Гефсимана обнявшей при въезде,
53. и где твой нью-йоркский поблескивал крестик,
пишу Твое имя с приставкой «воскресе»,
54. И не замечаю, как в мрак ноги свеса,
55. боль бомжа гишу я на вилле Боргезе,
56. и стоны старухи о райсобесе,
57. десяток яиц стоит тысячу двести,
58. и нищие взгляды вцепились как клещи —
вдруг с помощью Божьей, и правда, воскресе!

59. За что нам возмездье? По Маросейке
 60. бежали ненависти отсеки.
 Из стойла рабсилы, из ваксы бесчестья,
 небесной апсидой Россия воскресе!

А вдруг ее нету, как чудища Несси?

А кто-то добавил — «Мария воскресе».

Псалом первого слова

65. Из Яффы летит апельсин над апрельской
 66. Марией. Досель понимавшая в чреслах,
 67. она поняла Его сутью безгрешной.
 68. Воскресший к ней первой явился. И перси
 прикрыв, первой в мире сказала: «воскресе».
69. Приехал Есерксов, из южных эсеров,
 70. в руке его тикал букет эдельвейсов.
 71. А я на останках империи Ксеркса
 72. писал знаки Пасхи. И танки, как пресс-па-
 73. пье, кровь промокали единоверцев.
 74. Она побежала к Петру. Ее версии
 75. никто не поверил. Для денег на ксероксе
 76. не хватит бумаги. В Империи скверно.
 77. Туманны созвездия Троицко-Сергиевские.
 78. Твои телевизоры, вдетые в серьги,
 79. транслируют Сербию. И Анне Вески.
 80. Но смысл мироздания был в маленьком скверике,
 где миндалевидная Магдалина
 вглядывалась в Неизвестного.
 81. Оставив границы, из тела и Текста,
 82. как из Плащаницы, прощенье воскресе!

А вдруг я убил ее с вами вместе?

83. Умресе твои упыри в кареезе!
 84. Грехи умозрительные умресе!
 85. Не Урмас, Господь призывает ответственность,
 86. Ты, Господи — гений или злодейство?
 87. Не по-христиански творить возмездье!

88. Я в Курске до света с пацанкой беседовал,
 89. что ищет скелеты в лесу бересклетовом,
 90. пропавшие без вести, с пулею «мессера».
 91. Ты их воскресишь, двадцатилетних.
 Скелеты умресе, взор синий воскресе.
 Ей-то за что возмездье?

92. Скелеты по факсу общаются весело.
 93. Скелеты меня обнимают при встрече.
 94. Скелетик воды акварелью повесили.
 95. Скелеты умресе — искусство воскресе!
 96. Читатель, умаялись? Извинесе.

Псалом второго слова

97. Матфей стоял в очереди за гречкой,
она закричала ему «воскресе!»
98. «Воистину»,— им милицейский отвечивал,
99. яичку кокардой цветной соответствуя.
100. Потом она пасхи месила и кексы,
101. цукаты, засахаренные орехи,
102. закаты народов, надежды, огрехи,
103. Москве недоступные деликатесы —
104. за католической Пасхой, еврейской
105. идет православное благовестье,
мы Слово ее повторяем безгрешное.
106. И проституток расстреливал крейсер,
чтоб не промолвили это «воскресе...»
107. Под степью башкирской я чувствую рези,
(Мне виделось золото купола Невского.
108. Его отражение — как рюмочка хереса.
А как его выпить, увы неизвестно...)
109. Крихели с артелью внимательным рейсфе-
110. дером корректировал мои ереси.
У Криса поехала крыша. Но если
я явственно слышу — «Россия воскресе» —
111. в распадах Булеза, в снежинке Плисецкой,
112. в астафьевских «затёсях» или «затёсях»?!
113. и в шепоте леса,
114. где белые с черным берез дизы
кричат безответно: «Россия воскресе!»
115. В лесу раздавался топор дровосека.
116. Раскольников тренировался на секции.
117. Мозги старушки хранили генсека
118. и музыку Пресли.
119. Как ты ненавидишь мои курслеса!

Салонный псалом

120. Пишу я, дыша эпоксидною смесью,
121. скелет скорлупы покрываю словесно.
122. Уйдя в видеомы, художеств наперстник,
123. я истосковался по рифмам, по перлам
124. Твоих выражений, Твоим фельдеперсам,
125. по прошлому, сброшенному на кресла,
126. по ненормативной беспамятной лексике,
127. что пахнет кофе и ломтиком персика...
128. Не первым я был у тебя, но я первый.
129. Тебя воскресил из хрустального стресса.
Красиво исчезла — красиво воскресе,
130. заместительница возмездья!
131. Претензии женщины чисто имперские.
132. Империалистка, налей-ка искрейшего:
«За упокой Империи!»
133. Мария из косм выдирала репейники,
134. Как плавник акулий, сверкнул волнорезы,
135. роstralной колонной Россия воскресе.

Псалом слова

136. Что в нас воскресает? Народное зверство
 137. над одиночкой? Народное сердце,
 138. простившее адские муки репрессий?
 139. Зачем Он доверился женщине бездны?
 А может, не надо, чтоб это воскресло?
 140. Зачем Достоевская эпилепсия?

Планета теряет без нас равновесье.

141. Возмездьем несло из могилы отверстой.
 142. Пяту ампутировали Ахиллесу.
 143. Бессмертие выло. Совсем охеревши,
 144. полкурицы мчалось. Вернулся Вольф Мессии...
 С «НГ» было плохо. Рашидов воскресет!
 145. Урезали пенси. Все взбеси депрессии.
 146. «Гомер я» — аппендикс выл, требуя секса.
 147. Мы — дыры сознания в безумном процессе!
 Как терка, толпа состоит из отверстий,
 148. В них ненависть хлещет — святили АЭСы —
 в дырявое время. За что нам возмездье?

149. Операция без анестезии...
 150. И дыры без труб завывают в оркестре.

За что нам возмездье? Не мы же поместья

151. сжигали? Блевали на столик принцессы!
 152. За что нам повестка? За грезы прогресса
 России возмездье? Россия воскресет.

153. «Господа, вам нужны великие потрясе...»
 154. Россия — возмездье. Оборвана пьеса.

Вербный псалом

155. Напротив шла служба. Метельной завесой
 156. плыл храм Воскресенья. Господни невесты
 157. Цветную триодь выносили для песни.
 158. В неждановском скверике было тесно
 159. от прелестей бездны и женщин небесных.
 160. Товарки Марии кадрили полпредства.
 161. И ненависть била, как газ из отверстий.

162. Я думал, как Он изменился, воскресши!
 163. Мария Его не узнала. У склепа
 164. садовник ей виделся в затрапезе,
 165. — Мария, узнай меня поскорее!
 166. Россия, узнай мои руки, колени!
 Омой ими муки слезами ослепшими.

167. *Вдруг мы не узнаем России воскресшей?*
 168. Узнай нас, Господи, в талом клейстере!

169. Есерков настраивал эдельвейсы.
 И смысл неизбежный клубился над месивом.

170. Тебя еще больше люблю в эти месяцы.
 171. Обнимемся крепче под ветром возмездья.
 При свете экрана — любовью воскресе! —
 172. похристосуемся при Съезде.
 Похристосуемся, Неизвестное!
 173. Похристосуемся, дыры бездны.
 174. Похристосуемся, буревестник,
 175. отставной провокатор бедствий,
 176. Похристосуемся, бесы,
 177. Друг, предавший меня из спеси,
 вера, всех предавшая вместе,
 Похристосуемся, критикесса,
 За Марию вслед — Каренина
 178. похристосовалась с рельсами.
 179. Похристосуемся, крестники.
 Скорлупа треснула.
 Вылупились песни.
 Не уехал я в край сиесты,—
 Чтob Тебе прошептать «Воскресе».

Многогласый псалом

180. — Русь, ты вся поцелуй на морозе
 — СССР поцелуй на Мавзолее
 — Похристосовались бы в Форосе,
 в Меласе,
 — В Сухуми, милаша...
 — Улисс, не засовывай в уши воск лести!
 — Не псалом, а Шолом Алейхем...
 — Я отколупнул скорлупку, а там коленка
 — Керенки воскресе!
181. Две молнии в туче взвились как «эсэсы».
 За ней кто-то шел. «Блядоходный повеса»,—
 182. решила Мария. Но кто глыбу гнейса
 183. снес с входа в пещеру, грунта не соскребши?
 Был свет незнакомый знакомым донельзя.
184. Мы въехали в Ерус — трансляция кнессе-
 та с роком мешалась — алима предместье.
 Ты в жизнь мою въелась, как уголь древесный.
185. Щекоcut ресничек тычинки и пестики.
 Нам Бог открывается лишь через грешницу.
 Таились мессии в садовых насестах.
- А что говорили другие Марии?
 — А кто вы такие? — спросила Мария.
 — Слова-то какие,— сказала Мария.
 Сказала Мария: «Россия воскресе».

Псалом солнца

186. Кесареву кесарево —
 Воскресшему воскресово.
- Скворцы прилетели. Россия воскресе.
 Сквозь тучи прорезался месяц консервный.

- Фарца в важных креслах. Разруха. Но если
 скворцы прилетели — Россия воскресе.
 В отеле «Россия» наряд милицейский
 187. сменили ангелы милосердные.
 Прощенье! Прощенье! Отец, мать воскресе.
 188. Воскресе стрекозы, как тень от двуперстия
 189. И крестик серийный в сирени персейшей,
 190. и в вязаной шапке Твоих происшествий,
 Есерксов обертывается: «воскресе!»
 Воскресе, враг. Гирей противовеса
 нас взвей в поднебесье!
 193. Воскресе стихи на страницах «Известий».
 И в каждой из женщин Мария воскресе.
 Я слово «прощенье» пишу на возмездье
 194. в массмедиа мессе.
 195. Любовь — это ненависти конверсия.
 РОССИЯ ВОСКРЕСЕ. ЛЮБОВЬЮ ВОСКРЕСЕ.

129

Стерео-псалом

- I. Россию хоронят. Некрологи в прессе.
 II. Но я повторяю — Россия воскресе.
 III. Помолимся вместе за тех, кто в отъезде,
 IV. за ближних и дальних помолимся вместе,
 V. за тех, кто страдает и кто в мерседесе,
 VI. за бомжа, что спит не на вилле Боргезе,
 VII. пусть с помощью Божьей Россия воскресе!
 VIII. Хоть кровь ежедневная вносит коррекции
 IX. в надежды на воскрешенье скорейшее,
 X. помолимся вместе за песни из пепла,
 XI. за то поколение, что выбрало пепси.
 XII. Мы, ставя антенны, сломали скворешни,
 XIII. но только в скворчатах Россия воскресе.
 XIV. Целуйтесь на сквере, рифмуйтесь в подъезде,
 XV. Обряд многократный любви повтори.
 XVI. Тебя я люблю. Ай лав ю. Ай эм крейзи.
 XVII. И нет демократии, кроме любви
 XVIII. Тебя еще больше люблю в эти месяцы.
 XIX. Нам, храм Воскресенья, врата отвори.
 XX. Стоят на балконе людей эдельвейсы.
 XXI. Россия воскресе, воскресе в любви.

Р. S.-псалом

196. Как двести поклонов пустынный в аскезе,
 197. шепчу — вдруг спасет Тебя? — строк этих двести.
 198. За слог мой оборванный, Отче Небесный,
 199. прости раба божья Андрея Вознесе...

II. Псалом второго дыхания

- Судьбой, принимаемой за инсталляцию,
 на третью ночь после 18-го,
 — 200. я крикнул «воскресе!» с помоста, как с пристани.

- 199. *«Воистину!»*—
- 198. мне дух, за толпу принимаемый издали,
- 197. ответил в неждановском сквере безлиственном.
«Воскресе» рифмуется только с «воистину».
- 196. *«Я выстону —*
- 195. думалось,— боль вашу, выстрою
- 194. дырою орущей, разинувшей гипсину».
- 193. И нищенки пели под свечку актрисину:
«Востину...»

Быть страшно орущей дырою в России,
когда все орут сквозь тебя, воя истину.
До крови исповедью разинув.

- 192. Потом все орут на тебя. Так же искренне.
Но в криках «вались ты!» я слышу «воистину!»
- 191. И дух, за бомжа принимаемый издали,
- 190. дыру трактовал: *«Чудотворную спиндили».*
- 189. *«Брависсимо»* — наши вопили вориссимы,
- 188. и пахли канистры ценой независимой.
- 187. Хотелось, вернувшись в Ижевск из Устинова
- 186. воскреснуть воистину.
- 184. И яйца над храмом окраски матиссиной
- 183. молились юродивому Василию.
- 182. Но все это было, увы, невоистину.
- 181. А кто виновники ненавистные?
- 180. Судья просит срок, а поэт — амнистию.

- 179. Не ведали рифмы Овидия *«Tristia»*.
- 178. В сближении слов есть предчувствие христиа-
- 177. нского поцелуя. Но первую *дистан-*
- 176. *ционную рифму*, в тоске палестинской,
- 175. вдохнула в нас женщина группы риска.

Псалом Сольвейг

- 174. С утра холодило. Подобно ватину,
шли мокрые хлопья. Вдруг небо расчистилось.
Презрев институты, забыв магазины,
стояла всеобщая Магдалина —
- 173. душа, принимаемая за туристку,
- 172. за дурь принимаемая фрейдистскую,
- 171. за бабку с редиской, за отроковицу,
- 170. за шелест имени Селестина.
- 169. Стояли, измучась дороговизною.
- 168. И было радостно, хоть и выстраданно.
- 166. И ты, за свечу принимаема истемна,
- 165. стоишь, согреваясь движением твиста,
переминаясь в ботинках — прости меня!..
- 164. Стояли, спасая страну ивасиную.
Шептали: «воистину» — слово Пречистое
Святой проститутки из Палестины.

Видеопсалом

- 163. Не белую чашу с полночного выступа —
я родину на осмеяние выставил.
- 162. Освистана,
- 161. стояла она, матерщиной надписана,
ее пьедесталы мочою описанны,
но лица светлели от отсвета гипсины,
- 160. и лазали дети на радость Фонвизину,
из дырок торчали чумазные физии —
Россия в скворчатах воскресе воистину.
«Списписис...», — им пишут вокруг глобуса кисти.
Пусть спится Вселенной под дождик таинственный.

- Бог — тезка Гребенщикова Бориса —
- 159. БГ признается (штанины впятнистину!),
чтоб я оклемался, на трассе разбившись —
- 158. он свечку поставил. С тех пор фаталистскую.

Но черною чашею тень исполинская
проплыла по зрителям и исполнителям.

- Да минет нас чаша сия, Россия!
- За что твои беженцы во поле стынут?
- Ужель Севастополь, хрущевский гостинец,
Толстым защищенный, и флота любимец,
- 157. войной в нас заложен? И наши баллисти-
ческие ракеты на нас же с присвистом,
из дыр преисподней вернутся сегодня,
- 156. взяв курс на Пречистенку вместо Принстона?!

Дай Бог, чтобы это все невоистину.

Автопсалом

- Молюсь Ти глоссолалией формалиста.
- Не понимающий, что записываю,
- 155. России последний евангелист я —
- 154. Голгоф, принимаемых за Пречистенки,
В Москве, принимаемой за столицу —
верхом на метелях летят ангелицы —
пишу Твои мысли, обмолвки, Мытищи,
- 153. смерть, принимаемую за велосипедиста,
- 152. в траве, примаемой шинами лысыми,
- 151. Твои смутившиеся аметисты —
молюсь Ти: «продлись Ти, не запропасться Ти,
молю Те разлуки, Те избы, Те пристани,
- 150. сквозь политическую апокалиптичесину
впишу от себя Тебе слово «Воистину» —
- 149. душой, принимаемой за стилистику.

*Спустишь Ты
шина Как с глушителем выстрел*

Псалом 2

- Зачем запретил Он коснуться молитвенно
Марии, к нему простирающей кисти?
- 148. Чтоб не облучить ее? Тень кипарисину
напоминал Он. Сияя, струился.
Потом растворился в рассвете малиновом.
- 147. Кем камень отвален? Отвальная. Иска-
риота искать уже было бессмысленно.
«Учитель — подумала с укORIZНОЮ —
зачем, не коснувшись, расстаться предписано?»
- «Воистину страшно, мне страшно воистину,
— 146. что я не увижу мою воспитанницу.
Увижу иную, но не земную.
Отец наказал твою землю дурную.
Мы расстаемся без поцелуя.
- Ты станешь искать мои губы в пустыне.
людской. Я оставил свой след на холстине.
Двумя остаемся словами простыми.
Падут и подымутся новые Римы.
И нас миллионы, забыв атавистину,
повторят земными устами своими.
- Мы в их поцелуе неостановимом
воскреснем воистину.
- 145. Воистину жизнь нам дается вомилостыню».
- Плыл дух, за людей принимаемый издавна,
— 144. плыл призрак, за жизнь принимаемый сызнова,
и власть, принимаемая за истину,
братоубийство за независимость.
Держав угасанье. И снова касанье.
Воскресе в любви, чьи законы неписаны,
и нет доказательств, кроме «воистину».

Псалом благодати

- 143. А после любви он чихает. В гостинице
— 142. смеются: «Во время? Нет, после взаимности!
Гость после мэйк-лавки чихать ка-ак примется!»
- 141. На что аллергия? на чью-то душистину?
- 140. Подруги меняют сорта Диориссимо.
- 139. А он все чихает, хохочет властистину,
— 138. в слезах очищенья! А может, в интимностях
- 137. у ей табакерка? Заявка на Гиннеса?
- 136. Она, значит, в ванну, а он — в апчихистину?!
Как там у Апчехова? Ему б чаепитье!..
- 135. Обчистили номер. А он в сладком приступе.
- 134. Чихает в Чикаго, в Саратове, в Виннице!
Шатаются стены. Летит черепица.
- 133. Апчественность в шоке. Закрывать визу свинтусу!
«Он — ГКЧПист! Он — очаг собчакистии!!»
Ах, черт, все чихает, в минуту Пречистую...
По-русски «апчихи» означает «воистину».

Музыкальный псалом

- 132. — К чему бы, Таисия?
- 131. Мне снится, что я выступаю арфисткою
в какой-то пустой Сальвадора Далине.
И кто-то вошел. Не видать за софитами.
Но свет воскрешенный, как струны, струится.
И Он мне сказал: «Прикоснись, Магдалина».

А я в своих джинсах под пряжкой армейскою,
я белое платье не смоделировала.
Я не понимаю по-арамейски.
Но Он мне сказал: «Прикоснись, Магдалина».
Пошло пианиссимо, знаешь, Таисия...

Псалом грез

133

- Что снится нам в яви? Я сонник выписываю,
- 130. «Дерьмо снится к деньгам». Скажу без хвастистины:
- 129. Дерьма у нас много. Дерьмо растет систе-
матически. Тесно ему в Отечестве.
Денежная масса растет соответственно.

Псалом мод

Попса ломится на спуск Васильевский
попсаломиться. Я тоже выступлю
(Конечно, мысленно — сквозь гип-гипсину):

- 128. «Живите по сердцу, а не по Гибсону!
Эпоху винтиков сменили видики.
- 125. Я за деятельность интенсивну-
ю-ю», — подхватили, трезвы несильно,
- 124. пацан и мужик десять лет вотсидине,
- 123. заевши ситным с репринта Сытина.
И я разорвал выступление стильное:
- 122. « *орическую шестерню?*
- 121. *ню, принимаемое за «Three sisters'ню»*
- 117. *вободу транзистерную,*
- 116. *лови струю!*
- 114. *иск Ассизск*
- 113. *явись, Ти!*
- 112. *лимонов за триста, ну?*
воистину».
- 111. *флейта, принимаемая за клистир,*
- 110. *звучала мукой авангардиста.*
- 109. Ряженных, ряженных! Простим Бастилию.
- 108. Хохоту! Каялись б. властители.

Весна хохотала. Плясали школьники,
подняв двуперстия, как раскольники
И голубь чихал — к Благовещенью чистился.

- 106. Вий телевийствовал,
И отделенная от действительности,
Мертвой головы сюрреалистина
- 105. счихивала витязя.
- 104. Что буддисты! —
- 103. облившись бензином сомнамбулически,
- 102. торгаш грозился самоубийством.
И все это тоже были истины.

Псалом 3

- Примите бесалол, Абессаломы
- 100. воинственные.
Против псаломы нету приема.
Воистину.

134

Профессиональный

- Ну, какая я дум властительница?
Мы все — гостиничные Магдалины.
Повсюду кающиеся мордины!
- 99. Страна берет — от Кремля до Диксона.
- 98. Дай шефу, дай приставу, дай водителю.
- 97. И все в тебя лезут без вазелина.
- 96. Россия дает осетину и Иштвану.
Оизденевшая от безденежья,
в толпе принимаемая за Нездешнюю,
я тело снимаю, как прозодежду
от Валентино.

Я подрабатываю дырою, как Вы душою —
прости за исповедь.
Попробуйте жизнь за зеленую выстоять:
в колготках, примерзших к первопричине!
- 95. Я паспорт сменила — еще серпистее.
Пойду проповедовать у Вестминстера
основы нашего профессионализма.
- 94. Ораторов наших заткнуть бы сиською!
- 93. Все брешут!
НУ, ГДЕ ЖЕ ФРАНЦИСК РОССИЙСКИЙ?!
- Мне снится, что я выступаю арфисткой.
- 92. Пошло охурительное пианиссимо!
- 91. И я поняла, что попало аистино...
- 90. Сама я рожу для себя Спасителя.
- 89. Шампунем ноженьки ему выстираю.
- 88. Мне снится — с коляской иду батистовой.
- 87. И хурь подойдете ко мне на выстрел!

Вы все — Магдалины, но без воистину.

Псаломничник

- Ветрено!
- 86. Сбивает головы, как пулей вестерна.
Морозоустойчивые истицы,

- 85. интеллигентки мороз сволочистили.
Как с фрески софийской их лица (Офици-
альных лиц не было) или с Уфицы.
- 84. Кто в нашем кругу? В ореоле софитов
- 83. В псаломный подсолнечник судьбы притиснуты.

Ты — темное семячко с мыслью дитяти,
вдоль тела с каемочкой адидаса,

- 82. куда ты, истенок, сбежавшая из дому?
- 81. Откуда ты молнию помнишь вольтиструю?
- 80. И камень пещеры, как вынутый из стены?
И как ты впервые сказала: «воистину».
- 79. Никто не поверит в твою спиритистину.

Псалом детсада

Я — малолетняя Магдалина.

- 78. Живу в подвалах. Добавь на виски.
Кошка, беременная как мандолина —
- 77. мой друг единственный.
- 76. Ее подвешивали за хвостину.
Меня распинали — и душа хрустнула.
И ненаписанным осталось устное
Св. писание от Магдалины.
- 75. На небе серписто. На сцене «Секс-пистолы»
- 74. дымились. Босые пантомимисты
- 73. от стужи к доскам примерзали, шекспирствуя.
- 72. В распахнутом весте, искусственно-лисьем,
разбей, Магдалина, яичко малиновое,
- 71. два тысячелетья в себе скостивши!

135



Псалом эпсилон

- 70. Он пробовал в ванной. Все зеркало в брызгах.
- 69. Соседские дети за стенкою прыскают.
- 68. «Совистенно!» — ветры свистали вотместину.
- 67. На кладбище гипса все те же статисты
- 66. топтали осколки генераллисим-
- 65. усов, впав в постмистику. Грызлись взавистину.
- 64. Вострастину гнали абстрактную глистину.
- 63. Спешили — кто в уни — тс! Иов... — Витийствовали.
- 62. А он все чихает себе независимо.
- 61. Как выжила ты в этом юморе висельном?
- 60. Но кто независимый, тот независтливый.
- 59. А что он читает? Похоже, не Ибсена.
- 58. А он все чихает, чихает неистово.
- 57. Медали чеканят. Честят теннисиста.
А он все чихает, чихает неистово.

Глуха философская фаустыня.

- 56. Учусь у мистических атомистов,
- 55. духовным синицам и грядкам редиса,
- 54. не диспутам — маслу для М. В. Фетисовой,
которой на пенсию не прокормиться.

- «Живых воскресить бы» — сейчас моя истина.
«ЖИВЫЕ ВОСКРЕСЕ», — шепчу неуместно, —
- 53. от горя, от вируса ненавистины
ЖИВЫЕ ВОСКРЕСЕ, ВОСКРЕСЕ ВОИСТИНУ!
А вдруг приживется нижегороднее
Явлинское Христа народу?
 - 52. Кто атомы Пасхи? В распаде Вест-Иста
 - 51. крась, автодизайнер, скорлупку с дисками!
Яйцеобразно сверкнет на выставке
 - 50. модель оптекаемого изыска.
Все в отпаде воистину...
 - 49. Но поздно. В руинах социализма
 - 48. с вас снимут пальто патрули альтруизма.
 - 47. Моим Магдалинам пора отрулиться.
 - 46. А он все чихает, поклонник «Улисса».
 - 45. Спасибо за лярное время вестибу,
забывшее рифму. Глухо

Постный псалом

Мы слушаем брюхом, а не ухом.

Я слушаю клавесин — слышу «колбаса»,
слушаю Шостаковича — слышу рубятся бифштексы,
слушаю «готовится путч» — слышу «сосиски с капустой»,
слушаю «приватизация» — слышу «заяц по-домашнему»,
слушаю сессию — слышу «съесть бы кого»
пока слушаю «1000 ре» — слышу «3000»,
слушаю «Блок» — слышу «Мальборо»,
слушаю «Мальборо» — слышу «малютку кормить не на что»,
слушаю «кормить не на что» — слышу «стерлядь
по-министерски»,
слушаю «по-монастырски» — слышу «блин!»,
«Блин!..» — твои блинчики подгорели.

А в животах стеклянных у женщин,
как в новых круглых пузырях-автоматах,
висят сгорбившиеся красные
телефонные трубки
на пружинках пуповин.
Они соединяются с тем, что было, —
и с тем, что будет.
По генетическому коду.

Не суйте в женщин гнутые монеты.

- А доктор с прямыми ногтями
кладет на них слушающие руки.
«Что за черт там чихает без маски?
Ну, слушаю. Не надо кесарева.
- 44. Насчет мастита выясню».

Я слышу: «Россия воскресе.
Воистину».

Слушайте духом, а не ухом.

Псалом Создвездия Псов

Шла Пасха по-видимому.

- 43. Страну, как гусей, гнал мужик хворостиною
- 42. из Ш-го Рима на рынок. В остынную
- 41. какую-то пору живем мы, в постылую.
Ты глухо хвораешь. Молюсь, чтобы выздоровела.
Спасти можно только любовью воистину.
- 40. Реальность пессимистич-
на. Даль еще песси-
мистичней. Воистине
любовью воскресет.

Последнее «опти»
зарезут без выстрела.
Но в Оптином шепоте
слышно: «Воистину...»

- 39. В лесу живет бомж Анатолий Анисимович,
Под ржавым капотом шалаш смастеривши,
- 38. кому-то медали продав на монисты,
- 37. под ивою, над пестицидной водицею
живет и. о. Иова. Страшно воистину
от тихой улыбочки вопросительной.

- Дрожат гардеробные бирки в осинниках.
- 36. Грешно юбилеев справлять акафистину,
когда все катится невоистину.
Я в Суздаль уеду. Когда неспасимо,
зачем притяжение рифмы так сильно?

Осенний псалом

- Люблю нашу действитель-
- 35. ность. Вечер над Истрою
- 34. люблю. Городишки дыру неказистую
- 33. люблю. Биллиардное поле озимое,
как позднюю страсть меж мешков увозимых,
- 32. люблю. С рыбачками приствую в диспутах.
- 31. Закинувши голову в темную вышину,
я — только дистанционный смотритель,
как падают рифмы путями хвостистыми.
- 30. Вопьюсь в отраженье кометы под пирсами.
- 29. Вампирствую.
- 28. Уж осень? Ах, осень... Темнеет стремительно.
- 27. Лес пахнет анисовкой.
- 26. Лес, пахнет, как страсть Пастернака семидесяти-
летнего: «Простимся...»
Неужто и это все невоистину?
- 25. Империя тонет. Открыть дыры кингстонов!
- 24. Мы — Фирсы истории, а не крысы.
- 23. Набрать воздух в иснтру...



- Ну, за какую, скажите мне, истину
— 22. летят Сорок дней, вопрошая нас пристально,
летят, на полслове оборваны, жизни
— 21. Тюльпанами черными из Таджикиста..?

А ЧЕРТ ВСЕ ЧИХАЕТ, ХОХОЧЕТ НАД ТРИЗНОЮ.

Но если и, правда, Апокалиптисина —
зачем так рифмуется нынче немислимо?

- 20. *И в мальчике с пальчиками вслед Кисину,
Я верю, Россия воскресе воистину,
и баховской мессой почти превративши*
— 19. *консерваторские зубочистки
в гусиные перья евангелистов,
с листа проиграет мою писанину*
— 18. *его паническое пианиссимо...*

138

Сомнамбулический

- 17. Шли в институт
— 16. ты так рифмуешься со всем Плыли инстинк
ты так рифмуешься со всем единственно
сквозь всех подойдешь на ходу снявши клипсы
Пасхальную истину
— 15. таят твои губы по-местному «липсины»

Ты свитер
снимаешь через голову, как тюльпан
делая йогу ты так же снимаешь с себя тело

С тобою рифмюясь, с ночного пиона
скользнет лепесток по стеблям заголенным,
когда ты умыться бежишь полусонно
в рубашке моей, где края закругленные.

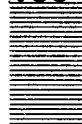
- Вернешься, дрожа холодрыгой знобисто —
— 14. А сад чем ознобнее, тем соловьистее! —
— 12. Уткнувшись в отросшую щеку ворсистую,
— 11. ответишь мне выдохом с привкусом Винстона:
«Воистину».

III

Замковый псалом

- I. С окружной к Покровскому-Стрешневу,
слышу шепот сквозь Времени трещину:
«Я воскресистину, я воскресистину...»
II. Мне свои не узнать окрестности!
Сквозь твою, поэт, манускриптину
я воскресистину
III. по крупцам, по кругу, по гривеннику,
жизнь по кругу идет, по Гринвичу...»
За углом стоит Византийщина.

- IV. И синоптики палестинские
пишут мыслящими тростинками
непонятный глагол «воскрестину».
- V. Что гадаешь нам, сербиянка?
Не скобянку едим — скорбянку.
Все бессребреники Сбербанка.
- VI. Воскрешает, кто камень кресит.
Наше кредо слетает искрами.
Мы в порядке. В порядке бреда.
- VII. В Назарет летят аспиранки,
презрев гегелевские предо-
хранительные спирали,
- VIII. жизнь проходит круговоротно,
повторяя венок сонетный.
Снова войны из-за Тавриды.
- IX. Заплетаю венок сомнений.
Строю арочные ворота.
Круг молитвенный сотворился
- X. Не концовки сонетной калька,
в центре арки — замковый камень,
тот, что Ангелом отвалился.
- XI. Пусть отвергнут камень филистеры,
в камне плачущем перст оттиснутый...
«Я воскрестину слышу — воскрестину...»
- Мне не надо кристальной истины.



Прощальный псалом

- Судьба, принимаемся за инсталляцию,
простимся. Кран дышит соляркою.
И белая пешка, внизу приталированная.
- 10. рукою невидимой шахматиста
— 9. с доски подымается. К новым экзистен-
— 8. циальным ходам? К измереньям таинственным?
- Тобой москвичи изголялись талантливо.
Ты рот разевала для ингаляции.
Ужель ностальгия по-настоящему
являлась тоской по такой инсталляции?
Читатель, чихатель мой постоянный,
прости — на столе твоём нету салями.
- 7. К чему ты, скульптурка эпистолярная
с дырою России, от нас удаляющейся?
Удалили без болеутоляющего.
Тебе — по бульварам, а мне — по Солянке.
Ты скрылась за башенкой итальянскою,
за домом Таирова...

Постписалом

- 6. Зачем Ты нам, Господи, инсталлировал
иерусалимскую инсталляцию?

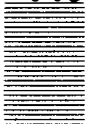
Гора. И дыра опустевшей гробницы.
На Плащанице следы радиации.
И первая зрительница, молящаяся,
в сравнении с космосом Божьим — малявочка,

- 5. уже не блудница, еще не пустынноца,
с неповторимою интонацией —
— 4. под шорох пустыни, как шифер волнистой,—
себе повторяя:
«Воскресе? Воистину».

Зачем Ты внушил мне в Москве ее выставить

- 3. под крики: «Во инста!»?
— 2. Затем ли, чтоб души воскресли из мглистины?

140



ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ

1. Я Пасху пишу на дощатом навесе

МЕНТАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

0. *Сонет Канонический* известен своей четырнадцатистроичной структурой, замковой концовкой и виртуозной рифмовкой, адресованной Вечности, поэтому, когда измученный нашим беспределом автор, впоследствии называемый в тексте *ав.*, стал сотворять молитву против темных сил, он выбрал сонетную форму, тем более, что уже имел опыт общения с небесами через сонет, переводя Микеланджело.

Но молитва, как видим, не сбывается, беспредел не ослабевает, сонет длится и, увы, оказался безразмерным, катрены растянулись до двухсотстрочных и неизвестно когда кончатся. Хронометрически они точно совпадают с протяженностью пасхальной литургии. Обе катрены слились в непрерывный венок, внутренне следуя тяготению сонетных рифм к венковой форме. В процессе работы над поэмой автору открылось явление *дистанционной* магнитной рифмы (см. прим.— 177). В целях экономии издательской бумаги *ав.* писал стихи поэмы гуашевой кистью вкруговую по гипсовому белому полушарию.

Для удобочтения текст разбит на псалмы.

1. Пасхальная инсталляция представляла по замыслу *ав.* армированную гипсовую скорлупу, покрашенную золотом под глобус, в котором зияла дыра в виде нашей пострадавшей страны. Высота изваяния 4,42 м. Автор благодарен арх. М. Г. Крихели (см. 108), лепщикам скульптурной мастерской и всем другим, помогавшим в сооружении объемного видеомы. Заботу по финансированию сооружения взяла на себя московская галерея «Студия 20».

Отец Александр в пурпурном бархатном уборе благословил инсталляцию.

24. Б о б Д и л а н , амер. поэт и рок-звезда, будучи в Москве в 1982 г., пытался побывать в Одессе, откуда родом его предки.

34. П а с к а л ь Б л е з (1623—1662 г.) — франц. математик, физик, рационалист, философ, автор теории вероятностей.

49. К а т ы н ь — место массового убийства польских офицеров советскими властями. В Нью-Джерси воздвигнут памятник жертвам Катыни, в виде фигуры польского офицера со штыком в спине. На постаменте помещены строки *ав.*

КАТЫНЬ

Садится солнце на залив мелеющий
за памятник с обрезом золотым.
В конфедератке, черной как Малевич —
Катынь.
Глядит в нас мальчик неотвратный —
хотим мы или не хотим —
в судейской шапочке квадратной.
Катынь.

58. На Гефсиманской горе, у подножия Сада, расположен русский православный храм св. Марии Магдалины (см. 66).

55. В и л л а Б о р г е з е — арх. Палладио, классический шедевр ренессансной архитектуры.

64. А н н е В е с к и — эстонская эстрадная певица.

66. М а р и я М а г д а л и н а — первая из жен Мироносиц, которой было суждено увидеть воскресшего Христа, принятого ею сперва за вертоградаря. Происходила из галилейского города Магдалы. Была исцелена Христом от злых духов.

«В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба... Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему...» (Иоан. 20, 1, 17). Подобного свидетельства нет у других Евангелистов. Иоанн, склонный символизировать факты, приводит эти слова не случайно, как не случайно именно ему явилось откровение Апокалипсиса.



Фасад инсталляции.

142

После сего Евангелие теряет след Магдалины. Известно, что она во время Пасхи поднесла императору Тиверию красное яйцо, как символ страдания и воскрешения Христа. В конце своей жизни удалилась в Египетскую пустыню, где и окончила земные дни. Погребена в Эфесе. Причислена к лику Святых.

В 886 г. мощи ее были перенесены из Ефеса в Царьград. День памяти Марии Магдалины приходится на 22 июля. Публикация в «Известиях» 21 июля выглядит случайностью, тем более, что дата указана по старому стилю.

81. У р м а с О т т — журналист-интервьюер.

88. Курское молодежное объединение «Центр-поиск», основано синеоким Неверовым. Возникло из театральной группы, поставившей поэму «Ров». В 1986 г. О. Неверов и 5 девятиклассниц своими только руками соорудили каменный монумент в Щетинке над захоронением жертв фашизма (2 тысячи убиенных). С тех пор движение разрослось — в Курске 500 человек, еще более в Новгороде (организация «Долина»). В этом году в Курске состоялся съезд поисковиков из Тюмени, Екатеринбурга, Татарии и т. д. Ав. был рад их приезду на открытие Пасхальной инсталляции. Этим летом ими найден 121 наш солдат и 10 немецких, которые преданы Курской земле.

82. П л а щ а н и ц а — ткань, в которую было запеленуто тело Христа, ткань сохранила абрис Его облечения.

108. К р и х е л и М и х а и л Г а в р и л о в и ч (1960) — архитектор, руководитель «Мастерской Крихели», взявший на свои плечи основную нагрузку по возведению Пасхальной инсталляции.

110. К р и с К е л ь м и (1955 —), рок-звезда, основатель группы «Рок-ателье», участвовавшей в создании оперы «Юнона и Авось». Положил на музыку псалмы «Россия воскрес» и исполнял их с коллегами во время Пасхальной инсталляции. Крыша его, вопреки наветам ав., в полном порядке.

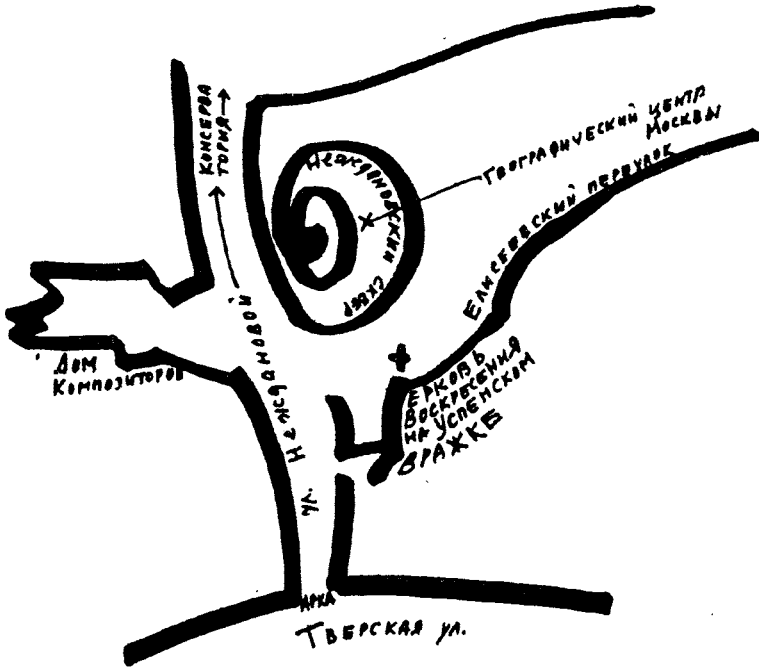
126. По ошибочному, но несомненному убеждению автора, текст всегда выше и содержательнее любого, чаще всего злободневного или политического смысла, подразумеваемого публикой под ним. В этом смысле прав Пушкин в письме к Вяземскому: «Поэзия выше нравственности». Таковы тексты Эзры Паунда, Селина и даже Маяковского, доминирующие над их политическими платформами — фашистскими у первых двух и коммунистическими у последнего. Особенно характерен вечный текст Данте в сравнении с позицией черных гвельфов.

144. В о л ь ф М е с с и н г — гипнотизер.

145. Р а ш и д о в Ш а р а ф (1917—1983) — член Политбюро и СП СССР.

153. «Господа, вам нужны великие потрясения, мне нужна великая Россия» — известная фраза П. А. Столыпина, жизнь которого была прервана пулей террориста в Киеве 5(18).9.1911 г.

51. Церковь Воскресения на Успенском вражке. Расположена у Неждановского сквера, в центре которого находится мета, обозначающая географический центр Москвы.



План инсталляции на Неждановском сквере.

143

122. В и д е о м ы, в просторечьи *видухи*, жанр визуальной поэзии, в котором поэтический образ дается не столько через музыку, сколько через зрительное восприятие.

«Светильник тела есть око; итак если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?» (Лук. 11, 34, 35)

«Видеомы» вышли книгой в издательстве «РИК-Культура» в 1991 г. 19 октября 1993 открылась выставка «Видеом» в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Москва.

149. А н е с т е — греч. «воскресе» — *aneste es necron* — пришедшее к нам из греческого языка — внутреннее рифмуется с русским «воскресе» и м. б. повлияло на образование термина. Для русского уха «воскресе» звучит одновременно и в прошедшем утвердительном времени, так и как бы в будущем, просительном. Впрочем, поэзия всегда видит будущее как совершившееся.

157. Ц в е т н а я Т р и о д а — гимнографический свод песнопений и молитв на темы Пасхи. Обычно набирается красным цветом и фигурными буквицами. Красный цвет — цвет православной Пасхи.

162. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Еванг. от Иоанна).

176. С м. учение о безднах Якоба Беме (1575—1624), поэтического теолога.

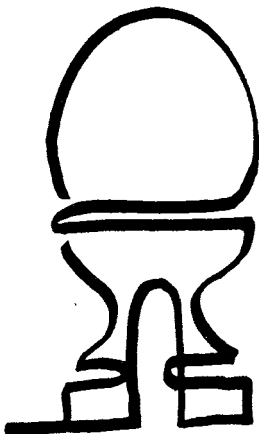
176. С р. с мыслью Преподобного Исаака Сирина — «Сердце милующее молится о спасении всех тварей и спасении падших, которыми являются и бесы». К нему приближается святитель Григорий Епископ Нисский, который оказал влияние на о. Сергия Булгакова. Григорий Нисский создал учение об апокатастазисе, по которому в конечном итоге по великой, абсолютной милости Божьей спасется весь род человеческий, и даже падшие духи (включая дьявола).

178. Автор одноименного романа, Л. Н. Т о л с т о й (1828—1910) не одобрял такие Пасхальные догматы как личное бессмертие, воскресение плоти и Воскресение Христово («В чем моя вера?»). «Не хочет — пусть не воскресает» — заметил по этому поводу догматик Есеров.

185. В цитате стихи Б. П а с т е р н а к а и И. Б р о д с к о г о.

193. Д ля щ е е с я молитвословие «Россия воскресе» (первая часть), было опубликовано 17 апреля 1993 г. в канун Пасхи «Известиями», до тех пор сурово относящимися к публикации стихов.

195. Примером такой конверсии может служить хотя бы обращение в любовь Савла, бывшего ненавистником и гонителем христиан.



Западный фасад
инсталляции.

144

Открытие инсталляции на Неждановском сквере состоялось 20 апреля. Православная Пасха в 1993 г. приходилась на 18 апреля. Исполнители: рок-группа «Аракс», под руководством С. Рудницкого, рок-звезды, театр В. С. Спесивцева и костюмированный балет А. Бартеньева.

193. Е. Шанина — актриса Ленкома, первая исполнительница роли Кончиты в «Юноне и Авось», читала стихотворение «Свеча».

179. Публий Овидий Назон (43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — римский поэт, создавший в понтийской ссылке книгу пятидесяти скорбных элегий.

177. Дистанционная рифма — магнитная рифма, не встречавшаяся ранее. При этой системе слово рифмуется не с соседним, а как и все, рифмуется с единым словом, находящимся на отдалении.

Так например, находящееся рядом слово «Валенса» и «крейсер», не рифмуясь между собой, магнитно отсылают наше сознание к иному Слову, маячащему на расстоянии. Увы, это слово подсознательно, может быть, ныне произносится каждым.

150. Б. Гребенщиков (1953—) композитор, певец, поэт, рок-кумир, в просторечии зовется «БГ», как именуется Бог в старославянских текстах. — 200.

После газетной публикации первой части поэмы ав. случилось быть приглашенным на ирландский Фестиваль поэзии в память Д. М. Хопкинса, Д. М. Х., поэт-классик, католический священник, теолог, рисовальщик, спиритуальный экспериментатор стиха, считал, что совершенствуя форму, проникая в суть Слова, мы приближаемся к пониманию Бога и этим угодны Ему. Особенно Д. М. Х. увлекался развитием сонета, удлинив его в полтора раза. Посылая свой сонет Р. Бриджесу в декабре 1886 г., поэт писал: «Я только что закомпоновал, но еще не закончил этот самый длинный сонет, из когда-либо писавшихся в мире. Эффект музыкален. Читать его следует громко, звучно, поэтично, но избегать риторичности, педалируя рифму. Почти петь в *tempo rubato*...»

Увы, отец Джерард не мог предвидеть нашего беспредела, следуя которому, сонет растянулся абсолютно безразмерно.

Почему крохотная зеленая Ирландия определила ход мировой литературы XX века? Джойс, Йейтс, Бекет... Дистанционное напряжение между каменными кельтскими крестами-солнцами и сегодняшними террористами ИРА, между протестантством и католицизмом дают энергию силового поля. 4 миллиона ирландцев живут внутри страны, 40 миллионов — за ее пределами. Все это создает духовный магнетизм нации.

Мрачные кирпичные здания на дублинской улице дублируют путешествие Улисса. Да и длинный inferнальный коридор колледжа, по которому семилетний Джойс пробирался из столовой в библиотеку, превратился потом в его путешествие по подсознанию.

— 191. «пиндилли» — благозвучный синоним глагола «свистнули». Пинд — горная гряда, одно из мест, облюбованных Аполлоном, тенистое обиталище муз и шаловливых нимф. Не путать с Пиндаром, лириком (522—542 до н. э.).

— 154. Глоссолалия — просветление смысла сквозь невнятицу. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, где они находились. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать...» («Деяния Св. апостолов» 2.2.4) См. работы Андрея Белого и Ролана Барта.

— 150. «и в разум истины приити, молимся и мили ся Ти деем...» (Молитва на исход души. ПМ I, 25)

«Кое зло не вообразил в души моей?

Уже бо и дела содеях: гордость, кичение, ускорение,
празднословие, смех неподобный, самолюбие...»

(Молитва Симеона Метафраста.
ПМ I, 63)

— 148. «Не прикасайся ко мне». Точнее, как толкует Толковская Библия т. 3 СП 1911—13. «Не берись за Меня, не удерживай». Толкование этого текста есть у Иоанна Златоуста: «Христос внушает Марии, чтобы она обращалась с Ним с большим благоговением, т. к. Он стал по плоти более совершенным». Большинство толкователей сходятся на том, что воскресшее тело не было еще *прославлено*, и в момент разговора с Марией процесс *прославления* тела Христа лишь совершался. Как бы желая показать что Он еще не вошел в состояние божественного прославления, Христос называет Отца Своим Богом: такого выражения Он не употреблял никогда ранее в своих речах, имеющихся у Иоанна.

Вероятно, во время расставания Бога с оболочкой человекобога, с человеческим в ней, происходило не только расставание с человеческой плотью, но и с человеческим способом мышления.

— 146. «...и начал ужасаться и тосковать...» (М. 14.33).

— 141. Д и о р и с с и м о — изысканный шедевр парфюмерии.

— 136. Опять досадное невежество ав.! «Мне лишь бы чай пить!» — известная цитата не из А. П. Чехова, а из Л. Н. Толстого, или даже точнее — из Ф. М. Достоевского.

— 130. Далее следуют, обнаруженные у ав., следующие строки:

Прощайте, застольные инсталляции!

Простись, Станиславский, с Базаром Славянским!

На гонорар от поэмы «Воистину»

с друзьями не посидеть воистину.

Ну и ав., ну и бессребреничек!..

— 129. С п у с к В а с и л ь е в с к и й — склон Красной площади, под храмом Василия Блаженного, где в 90-е годы XX века проходили массовые рок-концерты и митинги. 25-го апреля концерт открылся стереопсалмами «Россия воскресе» в исполнении Криса Кельми со товарищи.

— 128. Т о м а с М и л н е р Г и б с о н (1807—84) — англ. гос. деятель, министр в правительстве Пальмерстона, активный борец за законы о свободной торговле.

— 121. «Т р и с е с т р ы» — эротическая киноверсия чеховского произведения, от-
важно отснятая режиссером Б. Бланком на отечественной студии.

— 114. Ф р а н ц и с к А с с и з с к и й (1182—1226) — харизматический святой Западного христианства, учредитель нищенского монашеского ордена его имени, автор книги «Цветочки», подобно Серафиму Саровскому стяжал особую благодать близостью к природе, к идеям раннего христианства (его обращение к брату-ягненку, брату-огню, его беседа с братом-волком) спиритуальному отношению к тварям, к миру и Космосу. «Господь призвал нас не только для нашего спасения, но и для спасения многих».

— 106. В квадратах пересечения меридиан и параллелей на глобусе были вставлены телеэкраны.

— 100. А б е с с а л о м — коварный любимый сын царя Давида, поднявший войско на своего отца. Запутавшись волосами в ветвях дерева, был убит при бегстве с поля битвы. (2 Ц А Р С Т В 14:25—26). Думается, ав. следовало бы нумеровать этот псалом как 00.

— 108. Строка В. Х л е б н и к о в а, чьи инициалы читаются, как перевертень на любой пасхальной скорлупе «ВХ».

— 99. Судя по уже нормативной лексике, нынешняя героиня, которой суждено пред-
стать свидетельницей воскрешения страны, являет собой особу образованную, начитанную, следующую за модными веяниями сегодняшней литературы.

— 96. И ш т в а н — личность и год рождения не установлены. Вероятно, приятель героини.

— 85. У ф и ц и — флорентийская галерея живописи.

— 78. Сходство длиннохвостой пузатой К о ш к и (1992—96) с мандолиной, подразумевает издание мелодичных звуков, но не подразумевает возможности игры на ней.

— 76. Опять ав. лакирует изображение! Не так-то благодетна эта детсадишка. В черновиках у ав. мы обнаружили след. ее признание о любимой подруге, готовящейся стать матерью.

Ее подвешу я за хвостину.
Чтобы не мучилась. Вместо лампочки.
Из труп-маятника, родимые,
полезут, лапочки!
Беру на понт я. Не заводись ты.
Меня подвешивали почище!
Но честнее быть сатанисткой,
чем ваши лажи и ваши тыщи!
Во мраке гипс — как в негре редиска.
Не отлипнуть от паутины.
Не касайся. Я зарядилась
Отпусти меня, отпусти меня.
полетать и т. д.

Не такой уж невинный вампиренок получается.

— 75. «Секс-пистолы» — классическая рок-группа. Аида Чернова, в свое время создавшая с Ю. Медведевым пантомимы для таганского спектакля «Берегите Ваши лица», выступала на открытии инсталляции с композицией «Пиета» — на морозе, босая как Дункан.

— 63. В перевертне «уни-тс!-Иов», имеется в виду благочестивый богач из города Уц, тест спора между Богом и дьяволом, продолжавший веровать, несмотря на испытания. «Уни» — вероятно, универсам, полузакрытый.

— 56. А т о м и с т ы — рассматривают мир в дискретном строении из микрочастиц, подразумевая первичные кирпичики мироздания. Вайшешика — система древнеиндийской атомистической философии, по которой соединением атомов управляет мировая душа, истину дают: восприятие, вывод, память и интуиция. Гносеология учения Вайшешика близка теории познания Ньяйя. Атомы делятся на зеленые, красные, синие, белые и т. д.

— 47. В 90-х годах XX столетия жители гор. Москвы не решались возвращаться поздно по улицам. Перемещение тел при помощи компьютера тогда еще не практиковалось.

— 46. «Улисс» — роман Джойса.

— 44. «Блин!» — вулг. слэнговый термин, музыкально заменяющий исконное существительное «блядь».

— 43. Строка из классического произведения И. А. Крылова.

— 37. см. 63.

— 20. Евг. Кисин (1972) — пианист.

— 19. Ха-ха. Опять ав. демонстрирует свое невежество. В то, что Евангелисты будто бы писали гусиными перьями, ав. уверовал, видимо, насмотревшись картин ренессанских богомазов, еще более нагло неграмотных, чем ав. Позднее изображать их с перьями вошло в традицию. Да что там Крахны и Брейгели!.. Еще ранее Лев, гороскопный символ Св. Марка, изображался с книгой, с пером и даже с чернильницей. Неужды!

Конечно, Синоптики уже не пользовались восковыми табличками, но писали на пергаменте тростниковыми палочками *calamus scriptorius* заостренными с двух сторон.

Но ав.— надо было, видно, покошунствовать с зубочистками. Что из того, что зубочистки срезаются наискось, как консерваторские органые медные трубки?! Мало, ли что как обрезается?

І. Вводя термины из сонетной концовки, ав. явно имел в виду трехперстие, но сам он поистине крестится кукишем!

ХІІ. Акад. Я. Буслав усматривает связь глагола «воскресати» с «кресите», т. е. обтачивать камень, жернов.

ХІV. Священник Павел Флоренский писал, излагая воззрения на смерть и «воскресение» древних мистерий: «Человек умирает только раз в жизни и потому, не имея опыта, умирает неудачно... Чтобы умереть вполне благополучно, надо знать, как умирать, надо

приобрести навык умирания, надо выучиться смерти. А для этого необходимо умирать еще при жизни, под руководством людей опытных, уже умиравших. Этот-то опыт смерти и дается подвижничеством. В древности училищем смерти были мистерии.

У древних переход в иной мир мыслился либо как разрыв, как провал, как ниспадение, либо как восхищение. В сущности, все мистерийные обряды имели целью уничтожить смерть как разрыв. Тот, кто сумел умереть при жизни, он не проваливается в преисподнюю, а переходит в иной мир». (В. А. Никитин. «Пасхальный догмат в русском богословии»).

Далее в черновом тексте следует:

Авангард возвращается в хрестоматии. Много холестерина
в душах. Но все равно воскрестину...
Вижу истину сквозь хлобыстину.
Что есть Троица? Дух меж двоими
Дистанционный свет между ними.
Пробуждается Фет из Шеншина,
как в шиповнике пенье шершеня.
Сквозь вайшешику, сквозь Няйя
я воскрестину из «н-ея»

147

Далее следуют рисунки пером на полях поэмы:

Люкс!

Может быть, киномассовка?
Скачет мне наискосок
киверная амазонка,
и султан — как помазок!

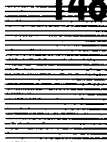
Вы небесны, конебежка,
я ж — на уровне ужа.
Вы послали мне усмешку
со второго этажа.

Я отвечивал поклоном,
приглашая на беляш.
И натянутым балконом
колыхался бельэтаж.

Белым люксом двухэтажным
укатила по росе,
златояблоки соблазна
оставляя на шоссе.

Осколок от псалма

Географический перископ Московии.
Москва, как много в этом слове!..
Ботинки москвасим.
Морды москвасим.
Мерседес христонулся с Мазом.
Москвесе мерседесе!
Водителю —
воистину.



Ха-ха-ос

Да не в мелодии —
на сердце пауза.
В душе колотится
махаон хаоса.

Как демон в мантии
«онорис каузе»,
над нами мается
махаон хаоса.

И не откупишься.
И не покаяться.
— Чем ты пудришься?
— Пыльцой хаоса.

И не откашлится
от Штокгаузена —
в путях дыхательных
першит от хаоса.

В наши ха-хазы
взгляни: окажется,
в глазах у каждого
пылинка хаоса.

Хоботок Вагнера.
Макароны страшные.
Нас сосет вакуум —
махаон хаоса.

Д. М. Х.

Поэт-священник
писал сонеты.
Сонет, свершенник
его обета,
свистал, свежейник,
через запреты.

Теснил ошейник
земного цвета.
Не шиллинг — Шеллинг
его монета.
Господь, отшельника
прости за это!

Все логопеты
пришил к решенью,
что Сатане ты
молился, шельма.
Ты оперировал
вряд ли перьями —
ты апеллировал
к оперенью!

Груз прегрешений.
Заплывы в Лету.
Господь, прошей меня
лучами света!

Даже в пещерной
Стране мошенников,
в дерьме, без денег,
мне сердце щемит
формула света:
«Поэт — священник».

Анкета

Родившиеся в хлеву —
необязательно коровы.
Христа, к примеру, назову.
И Блока с отблеском Авроры...

Темное время

Не ходят люди в кинотеатры.
В тех залах, только погасят свет —
не на экране — идут терракты,
от групповухи спасенья нет.

Детское

Чик-чик, чекануло.
Чекалдыкните метила.
Читайте, дети, русскую литературу
по учебнику Чикатило!

* * *

Хранится в моем шкафу
не один труп.
Из бревен в моем глазу
можно построить сруб.
Но Слово, что я скажу,
слетало с ангельских губ.

Из записок доброго человека

Помощь явная — тщеславная,
чтобы видела толпа.
Верх тщеславья — помощь тайная,
Перед Богом похвальба.

Новый СПб.

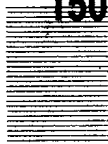
«Здесь будет голод заложен» —
он думал с болью. Заражен
лежал канал за гаражом.
И купол, как ночной горшок,
спал, перевернутый вверх дном,
ненужный. Вновь ошибся он.

Мосточек

Над речушкою головешки.
На двадцатой версте от Москвы.
Почему неизвестные лешии
каждой ночью сжигают мостки?

Эта речка — ничья. Без повестки,
из такого же теста почти,
почему мужички неизвестные
утро каждое чинят мостки?

Чтобы я, человек неизвестный,
перебрался над бездной реки,
кто-то тайный и неизбежный
и сжигает и чинит мостки.



АЛЕКСЕЙ МАЛАШЕНКО

Ислам в нашем доме

Не мусульманин я. И не говорил мне никто из родственников, что были у нас в роду мусульмане. Вот только по отцовской линии вписана фамилия Шаховы. Но это ещё ничего не доказывает.

Быть может, первоначальный интерес к исламу был связан у меня с зачарованностью вязью арабских букв, коими написан священный Коран. Когда я только начинал учить арабский (а давался он с величайшим трудом), то мог подолгу смотреть на эти непонятно откуда начинающиеся и где завершающиеся буквы, сверху и снизу усеянные точками и диакритическими знаками. Говорят, весь смысл Корана в его Первой суре — Фатихе. Смысл Первой суры — в первом её слове. Смысл первого слова — в первой его букве. А смысл буквы **ح** в точке под ней...

КОРАН В РОССИИ

Коран был ниспослан Всевышним. Но на пергамент, кожу, бумагу переносил его слово — Художник. И изобразил это Слово так, что, перелистывая страницы, хочешь познать каждую крупницу мудрости, хранимую каждым словом.

В православной России Кораном интересовались сравнительно недавно — в XVIII веке. При Петре Первом. Русский царь попросил сделать перевод этой книги Петра Посникова, врача, философа, записанного по Аптекарскому приказу, но одновременно выполнявшего различные дипломатические поручения. Посников государеву просьбу исполнил и перевёл Коран, правда, с французского. Книгу напечатали в 1716 году. На протяжении XVIII века в России вышли еще два перевода (и тоже с французского). Наиболее удачный из них принадлежит перу Михаила Веревкина, первого директора Казанской гимназии,

участника сражений против Емельяна Пугачева (Веревкин служил тогда директором Походной канцелярии графа Никиты Панина), литератора и комедиографа. Его работа была опубликована в 1790 году. В 1792 году выходит перевод Корана — на этот раз с английского — Алексея Колмакова, поэта, прославившегося своими одами к сильному мира сего. Колмаковский перевод выдержал 5 изданий. Столько же, сколько и сделанный позже — и вновь с французского — перевод К. Николаева.

В 1878 году в Казани вышел, пожалуй, самый известный перевод Корана с арабского на русский Гордея Саблукова, ученого-востоковеда и, как было принято выражаться в старину, «духовного писателя»¹. Этот перевод, хотя и имел определенные недостатки, длительное время широко использовался российскими учеными. В 1921 году за перевод Корана сел замечательный арабист Игнатий Крачковский. Полностью завершить перевод, отшлифовать его Крачковский не успел.

В наши дни в Институте востоковедения Российской Академии наук подготовлена новая версия русского перевода Корана. Сделал ее известный филолог Нури Османов.

А совсем недавно в Москве появился поэтический перевод Корана. Автор его — женщина Валерия Порохова.

Перевод был опубликован в нескольких номерах журнала «Наука и религия» за 1989 год под очень удачным заглавием: «Коран. Перевод смыслов». Вскоре «Смыслы...» появились отдельным изданием.

Коран труден для понимания. Даже в очень хорошем переводе суть его сур

¹ Первый (так и не опубликованный) перевод Корана с арабского был сделан генералом Д. Богуславским, «приставленным» к великому горцу Шамилю в бытность его в ссылке в Калуге.

может постичь лишь человек подготовленный. Далеко не каждый мусульманин может дать толкование большинства коранических стихов. Тут требуется и владение арабским языком, и знание истории.

Вот как описывал впечатление от чтения Корана, возникающее у неподготовленного читателя, искушенный французский ориенталист Режи Блашер: «Разочарование начинается уже при чтении первых страниц... читатель удивлен сухой невыразительной прозой... затем он оказывается сбитым с толку хаосом откровений, в которые вплетены морализаторские призывы попеременно с юридическими положениями и притчами... затем следуют многократные повторения, пересказ библейских преданий... В итоге, зевая от скуки, читатель бросает книгу, пробежав глазами последние ее главы...»

Блашер по-своему прав. Но почему тогда так тянуло к Корану поэтов? Пушкина, написавшего свои «подражания Корану»? Бунина, выбравшего эпиграфами для целого ряда стихов коранические строки и пытавшегося проникнуть в суть священной книги мусульман?.. Бунин даже пытался перевести отрывки из шестой суры Корана.

Блашер прав. Но все-таки почитайте Валерию Порохову.

НЕ СУДЬБА...

Историю переиграть нельзя. Историк не имеет права пускаться в рассуждения типа, что было, если бы... в пунических войнах победили карфагеняне, а юнкера отстояли Зимний.

Но имеем же мы право на фантазию! Можно ведь футурологам фантазировать о будущем? Значит, порой позволительно вообразить иное прошлое. Переставить задним числом фигуры в уже сыгранной шахматной партии.

Представьте, что великий князь Владимир в 988 году выбрал ислам. Я не говорю, как выглядел бы тогда Московский Кремль (хотя Водовзводная и Никольская башенки и без того чем-то похожи на минареты мечетей), что стояло бы на месте Покровского собора и как все это отразилось бы на общей демографической ситуации.

Главное, очевидно, что нарушился бы баланс между христианским и мусульманским мирами. Последний явно получил бы преимущество в количественном и пространственном отношениях. И вполне может стать, у человечества была бы иная

история. Не лучше и не хуже нынешней. А просто иная.

Но хватит. Пофантазировали. В 988 году у великого князя возможность маневра была более чем ограниченной. Давно уже доказано, что его посольство в Хорезм на предмет ознакомления с исламом носило характер «отвлекающего маневра», было всего лишь тонким дипломатическим ходом. Несколько эксцентрично звучит и суждение, будто Владимир отказался от ислама, не желая лишать себя удовольствия пировать за чарой зелена вина со своей дружиной: ведь мусульманская религия запрещает употребление алкоголя.

Как бы то ни было, но на Руси утвердилось православие. А последователи мусульманства стали именоваться не иначе, как «басурмане».

Но, не приняв ислама, Русь, а впоследствии Россия, все равно оказалась привязанной к мусульманскому миру тысячами видимых и невидимых нитей. Не хочу повторять банальностей относительно евразийской сущности России, рассуждать о двуглавом орле, коего одна глава уставилась на Восток, а другая подмигивает Западу. Просто, если читателю не лень, пусть откроет географический атлас и убедится — действительно Россия и «живет» на Востоке, и с Востоком соседствует.

Нас в данном случае интересует не просто Восток, а Восток мусульманский. Огромная глыба его, именуемая с недавних пор Центральной (нам привычной — Средней) Азией, повисла под подбрюшьем России. Ближе к голове ее — через Каспий теснятся мусульмане Северного Кавказа, за ними — Азербайджан. А за всем этим уходят за горизонт бескрайние просторы ислама, кончающиеся неподалеку от Австралии, переступающие в Африке за экватор и омываемые Атлантическим океаном. Северная граница мусульманского мира проходит возле южной границы России.

Еще совсем недавно исламский мир был «разрезан» Советским Союзом. Ученые и журналисты в Европе и Америке пользовались ими же изобретенным термином «советские мусульмане». Теперь «советских мусульман» нет. Есть просто мусульмане.

Приблизительно 11 миллионов просто мусульман живут в пределах Российской Федерации.

...Начиная с XVI века Россия утверждалась в своем превосходстве над исламом. В 1552 году после отчаянного сопротивления склонилась перед Иваном Грозным Ка-

зань. И едва ли не во всех последующих столкновениях между Россией и мусульманскими государствами Россия в конечном счете одерживала верх. Не один русский полководец сделал себе карьеру на победах над мусульманами. В этом преуспевали и светлейший князь Потемкин, и фельдмаршал Суворов, и генерал Ермолов, Скобелев... Но и били русских тоже жестоко.

Из тех, кто побеждал русских, широко известен лишь блистательный Шамиль. Многие знают другого кавказского шейха — Мансура. И уж совсем не любили ни российская, ни советская историография распространяться о поражении царских войск от туркмен при Геок-Тепе в кампанию 1880—81 годов. (Кстати, юбилей того сражения в январе 1991 года не прошел незамеченным в тогда еще Туркменской Советской Социалистической Республике.)

В Махачкале в Историческом музее висит монументальная картина художника-баталиста Франца Рубо «Сдача Шамиля русским войскам» (за точность названия не ручаюсь). Я много читал о жестокостях той горской войны. Теперь о них часто вспоминают на Кавказе. Русские вели колониальную кампанию, не слишком стесняясь в средствах. И горцы платили им той же монетой. И все-таки... И все-таки на картине Рубо (хотите — назовите ее пропагандистской) изображены исполненные благородства, достойные друг друга соперники. На ней есть победители и побежденные, но нет упоения победой одних и чувства униженности у других.

Каково было отношение в российском обществе к исламу? И было ли вообще какое-то к нему отношение? Вопрос не столь простой, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, в России, очевидно, не было однозначной традиции противостояния христианства исламу, как в других европейских странах. Русь не участвовала в крестовых походах. А ее беспрестанные войны с турками нельзя называть религиозными. Это были столкновения во имя сугубо практических интересов.

С другой стороны, особенно в XIX веке Россия постепенно начинает ощущать себя — и не без оснований — покровительницей угнетаемых мусульманскими государствами христианских народов. В 1807 году она спасает от мусульман Грузию, в 1877—78 годах — болгар. В конце XIX — начале XX веков русские поддерживают армян.

Разумеется, все это объективно способствовало росту известной предубежденности против ислама в образованной среде.

К тому же в ней уже шло формирование европоцентристского мировоззрения, прочно сложившегося в Западной Европе и безусловно отторгавшего и принижавшего все иные неевропейские культурно-религиозные системы.

В обоих доминировавших в XIX веке и существующих сегодня направлениях российской общественной мысли, представленных «европоцентристами-западниками» и «россиецентристами»-славянофилами, исламу не придавалось много внимания. За исключением, пожалуй, философа Владимира Соловьёва, мусульманская религия упоминалась лишь от случая к случаю.

Рассуждая о Востоке, интеллектуалы подразумевали под этим понятием прежде всего Дальний Восток — Китай, Японию, Индию или Сибирь. Термин «Мусульманский Восток» в их трудах не встречается.

Снисходительное отношение к исламу западников (былых и ныне здравствующих) созвучно гегельянской интерпретации мусульманской религии. Русская версия такого подхода кратко и репрезентативно сформулирована в 1906 году Дмитрием Мережковским, полагавшим, что «религия мусульманская — религия кости, недвижности. И поскольку она сопрягается с жизнью, она ее задерживает».

И здесь уместно привести еще одну цитату — слова, написанные еще в 30-е годы прошлого столетия: «Магометанство изжило себя, это правда, и пока они будут магометанами, они не смогут с блеском снова появиться на мировой арене...» Это уже Петр Чаадаев.

Отношение к исламу славянофилов, «византийцев», тоже носившее печать индифферентности, все-таки было более уважительным. Уважение вызывало постоянство ислама, его уверенность в собственной правоте. «Исламизм», писал в конце прошлого столетия русский философ Константин Леонтьев, — *меняя центр, менял племя, менял государственность, но сам не менялся* (курсив К. Л.), как и следовало ожидать от своеобразной религиозной культуры». А полвека спустя другой русский философ Георгий Федотов отмечал, что древние страны Востока, в том числе «арабский мир Ислама», не «бессловесны», как древняя Русь. Им есть что противопоставить европейскому разуму, и они сами готовы начать его завоевание.

(Только в скобках в этой связи отметим, что пиеетом пользовались и страны Дальнего Востока, в первую очередь Япония. Но уже за то, что смогли, сумели использовать

в своих интересах технические новинки европейцев. Сами к ним приспособились, и их к себе приспособили.)

Итак, уважение к исламу — с одной стороны, пренебрежение к нему — с другой.

Что касается официальной политики в отношении ислама, то здесь всегда присутствовала некая настороженность. Вполне понятная и оправданная. Не то чтобы мусульман боялись. Но постепенно в России сложилась традиция «аккуратного» отношения к мусульманам. Во всяком случае, стремление обратить мусульман в христианство, что имело место в XVIII веке в отношении татар, осталось лишь эпизодом. (Имам-хатыб Московской соборной мечети Равиль Гайнутдин считает, что сегодня общее число крещеных татар в стране достигает 90 тысяч.) На Кавказе и в Туркестане власти об этом и думать не смели.

Поначалу эта традиция — взвешенности и осторожности — была характерной и для новых правителей Российской империи.

В самые первые годы советской власти ислама побаивались. И Ленин строжайше требовал от своего полпреда в Туркестане А. А. Иоффе быть там «1000 раз осторожным». «Тут надо быть архистрогим. Это скажется на Индии, на Востоке, тут шутить нельзя...»

И большевики не шутили. То заигрывая с исламом, то объявляя ему коммунистический газават, они сумели в конце концов политически и экономически утвердить свое господство в мусульманских регионах. Но вот сумели ли они сломить мусульманина, полностью трансформировать его сознание — это еще вопрос.

В 30-е годы в Москве уже не делали особой разницы между исламом и русским православием, полагая, что и тот и другое можно в конечном счете сломать, а затем и уничтожить. На смену большевистским интеллектуалам типа полководца Михаила Фрунзе, воевавшим против мусульманского Востока, но и знавшим его, приходили люди типа Емельяна Ярославского, невежественные и примитивные. Они не нуждались в разъяснениях того «незначительного» обстоятельства, что ислам для мусульманина это не просто религия, но и образ жизни...

Доморощенных советских политиков-атеистов раздражал и непонятный, написанный не «по-нашему» — справа налево Коран, и башенки минаретов, и чадра (паранджа) на женских лицах. Раздражало их и то, что мусульмане отмечали свои мусульманские праздники и молились Алла-

ху. Мне кажется, что атеистов раздражал и исламский запрет на потребление алкоголя. Ведь пьющий человек всегда понятен окружающим и особенно начальству. Он, так сказать, свой. А тут не пьют целые народы. Непорядок.

Так что мечети были мало-помалу разрушены или стали использоваться более подобающим образом — в частности, под склады винной продукции (Наманган), под вытрезвители (Чимкент), с женщин сняли покрывало, праздники отменили... Кстати, многие с этого всего действительно запили.

То, что осталось от ислама, было взято под строжайший контроль. Созданные четыре региональных духовных управления, пытаясь обеспечить государству надзор над душами мусульман, всячески препятствовали любой самостоятельности по части организации их религиозной жизни, воспитания детей и т. п. Были прекращены «безнадзорные контакты» советских мусульман с их единоверцами из Ближнего и Среднего Востока.

Наконец, быть может, самое страшное: была уничтожена мусульманская духовная элита — носительница высокой культуры, открытая навстречу переменам, модернизации религии.

С исламом боролись и русские, и местные атеисты — выходцы из мусульманской среды. И неизвестно, кто действовал на этом поприще энергичнее. Во всяком случае, свои, желая выслужиться перед центром, часто становились «большими католиками, чем сам папа римский».

И хотя подрубить корни ислама оказалось все-таки невозможным, повреждения кроны исламского дерева казались почти невозможными.

ИСЛАМ НЕОЖИДАННЫЙ

И тем не менее ислам «вписался» в советскую политическую систему. Вписался благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, некоторые положения идеологии, утверждавшейся большевиками, формально оказались ему созвучны. Прежде всего речь идет о приоритете коллективистских ценностей над индивидуалистическими, подчинении личности общине, об авторитарной традиции в области государственного устройства, о духе мессианства.

Была привычной для мусульман и ориентация большевизма на социальную справедливость.

Сравнивая ислам с коммунизмом, британский историк Арнольд Тойнби писал: «Подобно коммунизму, ислам есть анти-западное движение... и подобно коммунизму, он представляет собой меч духа, против которого бессильно обычное вооружение». Интересно также и то, что Тойнби (да и не только он) рассматривает ислам и коммунизм как своеобразные «христианские ереси»...

Во-вторых, мусульмане после упорного сопротивления коллективизации, атеистической идеологии (о мусульманских инсургентах, именовавшихся ранее басмачами, в последнее время пишут много и интересно) сумели найти своеобразный стиль поведения по отношению к советской власти, приспособиться к ней, подстраиваясь под ее требования, но вместе с тем сохраняя привычный для себя образ жизни и придерживаясь традиционных норм внутри общества, не говоря уже о семье.

Разумеется, в разных мусульманских регионах ситуация различалась. Например, на том же Северном Кавказе мусульмане даже после того, как Советы окончательно «осели» в горах, стремились сохранить хоть частичку независимости от любой не своей власти и порой вели себя непредсказуемо. Здесь на память сразу приходит партизанское движение чечен, вылившееся в 1940 году в восстание под руководством Хасана Ибраилова.

Однако в целом мусульманские земли СССР оставались благополучными союзными и автономными республиками, исправно получали знамена победителей социалистического соревнования, в то время как их руководители, упорно продвигаясь по служебной лестнице, оказывались на самом ее верху. Шараф Рашидов, Динмухамед Кунаев, Гейдар Алиев получали рычаги влияния уже на всю страну.

В центре привыкли смотреть на мусульман как на послушных и тихих подданных. Что касается местной творческой интеллигенции, то с 40-х годов едва ли не излюбленной ее темой стала дружба народов. Идеальность писателей Средней Азии была притчей во языцех даже среди советских литераторов-конформистов. Книги вроде «Аз и Я» непокорного Олжаса Сулейменова встречались с недоумением и исправно критиковались. Лишь очень узкому кругу лиц, в частности, Чингизу Айтматову давалось высочайшее позволение писать то, что они хотят. Впрочем, присматривали и за элитой. Неназойливо, но аккурратно.

В российском обществе отношение к му-

сульманским народам было в целом «нормальное». Немного равнодушное, немного снисходительное. Вот только в армии выходцев из этих регионов не любили — за слабое знание русского языка, явное нежелание приобщаться к современной технике и за «местничество», что выражалось в создании в ротах и на батареях сплоченных коллективов по национальному принципу.

Ни «старший» русский, ни «меньшие» его мусульманские братья, именую себя советскими людьми, как-то не задумывались над тем, что если не по крови, то, во всяком случае, по духу они и впрямь весьма схожи друг с другом. И что именно эта схожесть в немалой степени обусловила то, что в русско-православных и мусульманских землях коммунизм, как бы это сказать, несколько подзадержался.

О похожести социальных ориентаций ислама и коммунизма мы уже говорили.

О тяготении русских к коллективистским ценностям, их предрасположенности к авторитаризму, особой роли церкви в государстве написано и теперь пишется столько, что повторяться нужды нет. Впрочем, не могу удержаться, чтобы не привести высказывания Николая Бердяева (благо, он теперь потихоньку выходит из моды) о том, что после народа еврейского русскому народу свойственна мессианская идея, которая проходит через всю русскую историю вплоть до коммунизма; а также то, что русскому народу... свойственна большая коммунитарность, чем народам Запада, ему мало свойственен западный индивидуализм.

То же или почти то же самое повторяют нынешние коммунофундаменталисты, сами, кстати говоря, не уважающие Бердяева. Но об этом ниже.

Нравится православному человеку, нет ли, но в значительной степени христианская ортодоксия является носителем социальных ориентиров, формально схожих с исламскими. И на обеих религиях, их ценностных системах (разрывая и уничтожая их) успешно паразитировал и продолжает паразитировать коммунизм.

ВЗГЛЯД НА ИСЛАМ ИЗ РОССИЙСКОГО ОКОШКА

Отгремела перестройка. Рассыпался Союз нерушимый... На карте мира появилось целых шесть новых мусульманских государств, пять из которых вряд ли обрадова-

лись свалившемуся на них в одночасье суверенитету. «Союз мы выстрадали», — уверенно и оптимистично говорил в мае 1991 года будущий президент будущего совершенно независимого Узбекистана Ислам Каримов. Увы, страдания эти в конечном счете не принесли желанных результатов. На сегодняшний день лишь Туркменистан с уверенностью смотрит в будущее, видя себя «вторым Кувейтом».

Сравнительно быстро исчерпав радости поднятия национального флага, сотворения гимна и выборов первого президента, мусульмане остались один на один со своими проблемами. Печали мусульман заслуживают специального разговора.

Нас же интересует другое, а именно, что нового обнаружила в своем отношении к исламу демократическая (хотя и очень по-своему) Россия, с исламом граничащая и ислам в себе содержащая. Тем более что российские мусульмане — Северного Кавказа, Волго-Уральского региона, также жители больших городов, прежде всего самой Москвы, — отнюдь не самая пассивная и молчаливая часть общества.

Верхи стремятся в Европу. Точнее к Европе, к Америке. Их можно понять. Там хорошо: уютно, сытно, спокойно. Но Европа дорого и долго платила за это благополучие. Повторить за несколько лет, пусть даже десятков лет путь, ею пройденный, невозможно. «Западнический путь развития России оказывается под большим сомнением», — злорадно, но, в общем-то, совершенно справедливо писали три узбекских социолога, Арипов — Ильхомов — Погребов, в 1992 году в ташкентском «Народном слове». Но и у узбеков с казахами и кыргызами не получилось «сыграть» в Турцию. Не те условия, не те исходные позиции.

Символ стремления — Беловежская веchera 1991 года, на которую мусульмане приглашены не были. «О них забыли», — хмыкнула газета «Правда». Скорее нет: о них слишком хорошо помнили. И славянские лидеры, видимо, руководствовались в белорусских лесах следующим простеньким соображением: никуда они не денутся. А денутся — так и Аллах с ними.

Мусульмане «позвонили» на следующий день. «Верная, но постылая жена», — так определил Среднюю Азию писатель Сергей Баймухаметов. Горько. И жестоко.

Это потом, в 1992 году начался медовый месяц с Турцией, обмен рукопожатиями с Ираном, призрачные надежды на ту же Европу и Америку. Увы, обещаний и посу-

лов оказалось куда больше, чем конкретных дел.

Но, как бы то ни было, костяк СНГ составили православные славяне и турки-мусульмане. Теперь внимание! Продолжаю прерванную выше чаадаевскую цитату. Помните, «магометанство изжило себя...». Итак: «...но пусть они (магометане. — А. М.) в один прекрасный день обратятся в христианство — и вы увидите! Странное будущее, ожидающее вселенную, — полумир славянский и полумир татарский. Пан-славизм и пан-татаризм; вот отныне две руководящие идеи человечества. Надо признать, что эта система удивительно упрощает движение вперед человечества».

Не станем корить Петра Яковлевича за «христианизацию» им мусульман.

Некоторые нынешние политики совсем недавно также мечтали о превращении СССР в государство, основу которого составят, дескать, православные славянские народы и турки-мусульмане, доля которых в населении Советского Союза стремительно нарастала. Говорилось — но уже более глухо — о том, что в государстве этом будет сразу две официальные религии — ислам и православие. И наиболее эффективной и одновременно пугающей европейский мир частью этой идеи был прогноз о первоклассной тюркской армии, обученной славянскими офицерами. Сейчас все это, конечно, выглядит весьма... экзотично.

...Попытка России уйти в Европу неизбежно влекла перемены в ее отношениях с так называемым дальним мусульманским зарубежьем. Забвение Россией прежних ее союзнических обязательств перед рядом радикальных режимов в мусульманских странах, самоустранение от участия в решении ближневосточного конфликта — все это свидетельствовало, что новый политический курс России означал ее отказ от «особых» интересов в мусульманском мире.

Как и в прошлом, вестернизированная, ныне явно преобладающая, часть российской интеллектуальной элиты смотрела на мусульманские народы сквозь затемненные западноевропейские очки. Мир ислама ей, в общем-то, чужд и малоинтересен, хотя публично это, разумеется, и не говорится. На него глядят сверху вниз, а теперь еще сами себе стараются внушить страх перед пресловутым исламским фундаментализмом, так и не удосужившись разобратся, что же это такое.

Правда, как сообщала московская печать, ислам «уважает» вице-президент Руц-

кой, а спикер парламента Хасбулатов даже совершил хадж — священное исламское паломничество в Мекку. Но это еще ни о чем не говорит.

Российский истеблишмент и обслуживающие его интеллектуалы сознательно, а может, и бессознательно не замечают того обстоятельства, что основной вопрос, стоящий ныне перед Россией, до боли похож на тот, что решают мусульманские народы. Вопрос этот — о выборе пути развития. О том, какую модель общественного устройства предполагается создать. И насколько будущее общество будет опираться на парадигму своих цивилизационных ценностей, и в какой степени возможен их синтез с достижениями иной, европейской (западнохристианской) цивилизации.

Подобно мусульманам, россияне пытаются — и пока безрезультатно — выразить свою альтернативу. И как всегда в таких случаях, в обществе сформировались две тенденции: абсолютизации своих корневых, фундаментальных ценностей и отмежевания от них.

В этой связи становится заметен параллелизм русского и исламского фундаментализмов. Для обоих характерны склонность к мессианству, соединение религии и политики, обращение к идее социальной справедливости и резкое неприятие всего, что, с их точки зрения, чуждо исламской и российской цивилизациям — западный дух индивидуализма, демократия (именуемая фундаменталистами «вседозволенностью»), которой они противопоставляют авторитарное, опирающееся на религиозные ценности государство.

Один из членов созданной в 1990 году Исламской партии возрождения (ИПВ) Рашид Хатуев следующим образом определяет «исламскую перспективу», к которой стремятся исламские фундаменталисты. «Во-первых: естественно, ислам... Во-вторых: соблюдение социальной справедливости. В-третьих: соблюдение принципа демократического избрания руководителей. В-четвертых: соблюдение принципа «нет принуждения к религии». В-пятых: соблюдение принципов (ислама.— А. М.) в семейно-бытовой сфере» (газета ИПВ «Аль-Вахдат». 9 января 1991 г.).

Однако сходство между русско-православным и исламским фундаментализмами отнюдь не означает их тождество. И дело тут не просто в различии между обеими религиями. Русский фундаментализм не стал целостным и самостоятельным течением.

Он скорее — одно из направлений оппозиции, в которой заглавную роль играют коммунисты, с большей или меньшей степенью ловкости использующие в своих интересах идею русско-православного возрождения.

В свою очередь и русские фундаменталисты, типа, например, о. Дмитрия Дудко утверждают, что коммунизм, вернее, построение его в нашей стране нужно было, потому что страна христианская начала увлекаться капитализмом.

Ислам же спасать от капитализма при помощи большевистской революции, очевидно, не требовалось. Исламские фундаменталисты коммунизм не простили и не простят.

Россия официальная исламский фундаментализм не приемлет.

Зато отношение российской оппозиции к нему более гибкое. Во всяком случае, с неким благожелательным подтекстом.

И не только к фундаментализму. Но и вообще к исламу, который российская оппозиция отождествляет со стабильностью, сохранением традиций и, что особенно важно, с недопущением на мусульманские земли «демократических штук». «В Узбекистане,— с тихой грустью писала «Правда»,— ставшем президентской республикой, создана довольно эффективная и устойчивая модель управления...» Верится, продолжает размышлять ее корреспондент о Ферганской долине, что «покой и процветание не покинут этот край». Примерно в тех же тонах пишет российская оппозиционная печать и о Туркменистане. А сравнительно недавно сообщала и о других центральноазиатских государствах. Увы, и демократ Акаев и даже жесткий Назарбаев уже не отвечают представлениям великовозрастных ленинцев об идеальном правителе.

Зато радуют оппозицию в России новые власти Таджикистана. Вот только, увы, не сработались местные коммунисты с фундаменталистами, и потому о последних национал-патриоты пишут с явной неприязнью. Интересно, что ситуация в Таджикистане — чуть ли не единственный вопрос, по которому позиции всех «ветвей» российской власти, а заодно и оппозиции очень близки. И недаром телестудия «Останкино» с нескрываемым удовлетворением сообщала о том, как новые таджикские власти «поднимают страну из руин».

Хотел бы сказать, что не считая возможным ставить знак равенства между

экстремистскими действиями отдельных фундаменталистских группировок и фундаментализмом как таковым. Последний является религиозно-политическим движением, участники которого пытаются сформулировать свою концепцию общественного бытия, исходя из неизбежности возврата к изначальным ценностям своей, то есть христианской, мусульманской, индуистской и т. д. цивилизации, ее фундаменту, допуская возможность «достройки» ее с использованием некоторых, в первую очередь научно-технических достижений народов иного вероисповедания.

Исламские фундаменталисты уже давно являются политико-идеологическим жупелом, которым к месту и не к месту пугают друг друга политики и журналисты. Впрочем, и поводов для этого более чем достаточно. Здесь и исламские террористы, активно действующие теперь уже не только в Европе, но и в Соединенных Штатах. И периодически появляющиеся сообщения о рубке рук воришкам в Судане и Пакистане. В этом же ряду и пугающие материалы из Таджикистана.

При этом как-то забыто, что парламент тихой и спокойной Иордании более чем наполовину состоит из тех, кого бы у нас сочли фундаменталистами. Что собравший на последних выборах подавляющее большинство голосов фундаменталистский Исламский фронт спасения Алжира перешел к активным действиям, в том числе террористическим, лишь после того, как в стране произошел государственный переворот и его насильственно «вытолкали» из конституционной политической жизни. В конце концов и таджикские фундаменталисты стали на путь вооруженной борьбы отнюдь не потому, что они фундаменталисты.

Уверен, печальные события в Таджикистане лишний раз убедили российское руководство в том, сколь сложно иметь дело с непредсказуемым мусульманским миром, напомнили об осторожности и необходимости с высочайшей точностью взвешивать там каждый свой шаг. Но легко также представить себе желание российских политиков держаться подальше от всего этого.

Но сколь бы ни были сильны эти субъективные желания, в Кремле все-таки понимают, что, говоря словами государственного советника юстиции Николая Федорова, «ислам — тоже наша судьба».

И «забыть» о нем не удастся.

ИСЛАМ — ОН И В САМОЙ РОССИИ ИСЛАМ

«Календарь Москвы заражен Кораном», — не понятно почему сказал еще в 60-е годы ассиметричный поэт Иосиф Бродский¹.

Во всяком случае, сейчас его слова звучат куда актуальнее. Действительно, в Москве и не только в ней происходит стремительный исламский Ренессанс. Реставрируются старые и строятся новые мечети (на юго-западе столицы с помощью Саудовской Аравии планируют воздвигнуть центр с огромной на 3—4 тысячи молящихся мечетью), открываются религиозные школы. Помпезно отмечаются религиозные праздники. Огромных размеров поздравление мусульман с курбан-байрамом висело в самом центре Москвы, на улице Герцена (кажется, уже Большой Никитской). Одно перечисление разного рода мусульманских клубов и обществ заняло бы несколько страниц.

Голосов возмущения по этому поводу среди русского православного люда не слышно или почти не слышно. Скорее всего на культурно-просветительскую активность мусульманской части населения люди просто не обращают внимания. И это хорошо. Значит, такого рода деятельность естественна в наших больших многонациональных городах. Если хотите, эта индифферентность по сути своей есть форма терпимости.

Привычными становятся религиозные передачи для мусульман, которые год назад начинал на свой страх и риск на московском радио неугомонный Федор Юрин. В одной из школ на Пресне по вечерам работает целый Исламский университет, который посещают, кстати сказать, не только мусульмане, но и граждане других вероисповеданий.

Возникли в России и исламские партии — упоминавшаяся ИПВ, Исламская демократическая партия (Дагестан) и другие. Правда, их влияние незначительно. Но сам факт их появления символичен. Исламу возвращается одна из исконных черт — участие в политической жизни.

Интересно, что Исламской партии возрождения было отказано в регистрации в мусульманских государствах Средней Азии (в Таджикистане она была зарегистрирована лишь осенью 1991 года). Зато она была

¹ На эту его строку мое внимание обратил студент МФТИ Дима Хмельницкий.

официально признана в Дагестане, а ее организационный комитет зарегистрирован в Москве. Кому-то этот факт покажется не столь уж и значимым. И все-таки. Несмотря на малочисленность и внутренние противоречия ИПВ, в России появился очаг исламского политического движения.

Я сознательно абстрагируюсь от положения ислама на Северном Кавказе, где сторонники президента Чечни Джохара Дудаева объявляют своего кумира верховным религиозным вождем — имамом, где существуют такие группировки, как «Исламский путь» или «Джамаати Муслими», где уже действует несколько боевых групп, члены которых именуют себя не больше и не меньше, чем «братьями-мусульманами» по аналогии с мощнейшим фундаменталистским движением в странах Ближнего Востока. Северный Кавказ — сюжет особый. Хотя его влияние на мусульман России бесспорно...

Новым фактором в жизни российских мусульман стала деятельность группы молодых имамов, стремящихся избавиться от контроля со стороны Духовного управления мусульман Европейской части России и Сибири (ДУМСК). Его глава Талгат Татджутдин обвиняется в отходе от принципов ислама, аморальном поведении и т. д. Уже возникли самостоятельные муфтияты.

Однако противостояние в среде мусульманского духовенства прошло почти незамеченным. Одно большое интервью Татджутдина, несколько упоминаний в «Независимой»... Вот, пожалуй, и всё. А ведь события вокруг ДУМСК обнаружили обстоятельство, которого нельзя недооценивать. В среде мусульманского духовенства формируется, уже сформировалось поколение энергичных и честолюбивых пастырей, которые способны сочетать свой наставнический долг с политической деяте-

льностью. Молодые мусульманские наставники, говоря словами одного из них, имам-хатыба саратовской мечети Мукаддаса Бибарсова, «увязывают ислам с политикой».

И это не говоря уже о растущей политизированности ислама непосредственно в самом Татарстане...

В России мусульман меньшинство — не более 8 процентов населения. Где-то я недавно прочитал, что их слишком мало, чтобы сколько-нибудь существенно влиять на ситуацию в стране. Но, во-первых, никакими процентами не измерить активность человека, особенно в момент пробуждения его национального и религиозного сознания. Во-вторых — это для любителей процентов, — в Индии соотношение между исламом и иными конфессиями примерно такое же, как в России, а там, как известно, мусульманское движение давно уже один из влиятельнейших факторов политической жизни. В-третьих, речь идет все-таки об исламе с его потенциальной энергией в области политики. И, наконец, в-четвертых, российские мусульмане при всей своей специфике — суть часть неотъемлемого мусульманского мира, который еще отнюдь не растратил то пугающее Европу чувство, которое именуется исламской солидарностью.

Мы глядим на ислам из российского окошка, но, обернувшись назад, встречаем его в нашем доме.

Конечно, я не объективен. Звучание коранических сур всегда вызывало у меня нечто вроде ностальгии. В мусульманских городах и даже пустынях я чувствовал себя своим, чего не могу сказать о такой милой и миниатюрной Европе.

И ничего не могу с собой поделать.

ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ

«Как тяжело мертвецу среди людей...»

ТРИ ТИПА СОЗНАНИЯ
В «ПРЕСТУПЛЕНИИ И НАКАЗАНИИ»

160

Гигантская «тень будущего» падает из нашего времени на последнюю треть XIX века, когда писалось «Преступление и наказание»... Слова, взятые в кавычки, — не образ, а скорее термин. Согласно синергетике — новейшей теории самоорганизации сложных систем, к коим относится и общество, будущее состояние системы как бы притягивает, организует, формирует и изменяет ее наличное состояние.

Из этого совершенно потрясающего постулата следует, что каким-то непостижимым образом на прошлое России влияли и, более того, формировали его — и большевистский переворот, и кровь гражданской войны, и сталинский террор, и разброд, шатание и раскол нынешней нашей жизни...

Даже если счесть это предположение фантастическим домыслом, все же нельзя не увидеть, как ярко отразились наиболее болезненные проблемы современной России в великих романах Достоевского. Они написаны словно бы для нашего, а не для того времени.

Но сумели ли мы прочесть их?

Нет, пожалуй, ничего удивительного в том, что в «Преступлении и наказании» — романе, читанном и изученном вдоль и поперек — осталось все еще немало тайного и непонятого. Каждая эпоха находит в великих книгах какое-то свое, только к ней обращенное послание. (Мысль эта общеизвестна, но ее не обойти, говоря о Достоевском, масштаб наследия которого сопоставим, по моему убеждению, с эпосами, созданными целыми народами.)

Совсем недавно в России вспыхнул было общий интерес к Достоевскому, и все принялись цитировать его с тем же увлечением, что и запретных прежде Розанова или Бердяева, словно и он вышел только что из «спецхрана». Сейчас увлечение поутихло. Кажется, что Достоевский исчерпан — его социальные пророчества сбылись, итоги его напряженных нравственных исканий стали уже общим достоянием...

Исчерпан, однако, не сам Достоевский, а нынешний уровень осмысления его творчества. Оно многомерно, и за каждым «освоенным» читателями измерением разворачиваются все новые и новые пространства, невидимые прежде. Деятнадцатый век видел в Достоевском писателя социального. Начало нашего столетия обнаружило в нем великого психолога. Сейчас на пороге новой эпохи мы открываем в нем оригинального исследователя человеческого сознания.

В сохранившихся бумагах Достоевского раздумия о сознании впервые высказаны в дневниковой записи от 16 апреля 1864 года, сделанной в день смерти его жены Марии Дмитриевны.

Кому-то может показаться странным и даже безнравственным, что у гроба жены Федор Михайлович задумался о предмете столь отвлеченном, однако, соприкосновение с самым великим личным событием в жизни человека — со смертью — сметает границы личного, распахивая бездонную глубину бытия. Способный узреть — да узрит! Записанные наспех, кое-как, первыми пришедшими на ум словами размышления Достоевского напоминают об озарении Будды. Он увидел ту же истину, что и Шакьямуни, выразив ее в иных понятиях.

Вот что записал Достоевский.

«Когда человек живет массами (в первобытных патриархальных общинах, о которых

остались предания) — то человек живет **непосредственно**. Это цельное, первобытное сознание, в котором полностью отсутствует отдельное личное, индивидуальное...

Однако в ходе развития человечество достигает эпохи цивилизации, времени переходного. «В этом дальнейшем развитии наступает феномен, новый факт, который никому не миновать, это развитие личного сознания и отрицание непосредственных идей и законов (авторитетных, патриархальных законов масс). <...> Это состояние, то есть распадение масс на личности, иначе цивилизация, есть состояние болезненное. <...>

Если б не указано было человеку в этом его состоянии цели — мне кажется, он бы с ума сошел всем человечеством. Указан Христос. (NB. Ни один атеист, оппортунистическое происхождение Христа, не отрицал того, что ОН — идеал человечества. <...>).

В чем закон этого идеала? Возвращение в непосредственность, в массу <...>. И странное дело. Человек возвращается в массу, в непосредственную жизнь, следовательно, в естественное состояние, но как? Не авторитетно, а, напротив, в высшей степени самовольно и сознательно. <...>

В чем идеал?

Достигнуть полного могущества сознания и развития, вполне сознать свое **я** и отдать это **все** самовольно **для всех** <...>».

Итак, Достоевский различает три типа сознания:

прошлое — естественное, цельное сознание патриархального, первобытного роя;

современное — болезненное и расколотое, индивидуальное сознание цивилизованного человека;

будущее — идеальное сознание, добровольный отказ от своей индивидуальности.

Эти три типа и являются главными героями «Преступления и наказания» — романа, в глубинах которого существует слой, где словно в старинной аллегории действуют не люди, а персоны, олицетворения. Типы сознания. Мы без труда их узнаем по именам: Соня — София-Мудрость, идеальное сознание будущего, Раскольников — переходное, болезненное сознание, Разумихин — трезвый, обыденный, «профанический» разум... Вместе с тем, в «материальных» слоях романа все они — вполне реалистические литературные герои. Различные образы одного персонажа накладываются друг на друга, проступают один сквозь другой, множатся, давая рефлексии и отражения.

Разбирая эту сложную призрачную жизнь, я не буду касаться вовсе мира социальной действительности, так называемого «идейного» слоя романа, полно описанного отечественной критикой. Моя цель — пробраться в подземелье, чтобы, спустившись как можно ниже, проникнуть в самые высокие сферы романа.

1

Нелегко распознать в Родионе Раскольникове мертвеца.

Слишком живо нарисован этот «Шиллер», этот «бледный ангел», чтобы можно было сразу догадаться, что он — ходячий труп...

Однако, подобный образ далеко не редкость. Символических мертвецов в русской литературе предостаточно — от «Мертвых душ» до «Живого трупа», от блоковского «Как тяжело мертвецу среди людей» до пьесы Леонова «Нашествие», где бывший купец, бежавший после революции за границу и вернувшийся в родные края вместе с фашистами, в перечне действующих лиц так и обозначен — «из мертвецов», и Демидовна, старуха «из народа», бросает ему: «Не посмотрю, что Лазарь. Вдругорядь уже поглубже закопаем, чтоб не вылезал».

Живой мертвец мелькает и в личных записях Федора Михайловича. В те же дни, когда он начал работу над «Преступлением и наказанием», он пишет в своей записной тетради об «огромной массе отживших людей, ходячих трупов», к коим относил пресловутых «лишних людей» и «нигилистов».

Общеизвестно также, какое важное место занимает в «Преступлении и наказании» рассказ об ожившем покойнике — притча о Лазаре из Евангелия от Иоанна. Притчу обсуждают, читают вслух, ее символика пронизывает текст романа. Все это исследователи изучили и описали весьма подробно. Однако, никто, по-видимому, не заметил, что автор уподобил Лазарю и главного своего героя.

Мысль изобразить Раскольникова мертвецом возникла у Достоевского не сразу. Судя по наброскам к первой краткой редакции романа первоначально «сквозным образом» должен был быть загнанный зверь. В черновике мелькают фразы: **точно зверь, попавший в клетку; преследуют, как зайца, как животное; так, как зверь, вероятно, хлопчет, когда его травят...** В бреду Раскольникову чудится, что его травят собаками.

Но в какой-то момент писатель находит новый образ. На полях 79-й страницы первой черновой тетради романа вписана фраза «Живи, хоть и умерши теперь, но в летах говорящи и рассказыва(ю)щи»: [но] просиша верой <...>». Слова ли эти подсказали Достоевскому образ живого мертвеца, либо, наоборот, вспомнились, когда возник образ, — неизвестно. Но на следующей же странице писатель по-новому правит уже написанный текст. Впервые появляется здесь, повторяясь не раз, не два на одном листе, слово «мертвый». Описывая пейзаж, который Раскольников наблюдает с места, Достоевский меняет **холодность этого вида на полнейшую холодность и мертвенность**, а определение: **свойство, которое все уничтожает**, — меняет на **все мертвит**. Этого кажется ему мало и он добавляет: **тут даже и не мертвенность, потому что мертво только то, что было живо**, и следом еще — **давно уже умерла жизнь...** В роман эти строки не вошли, и вид с моста описан по-иному, но возникшая здесь впервые тема мертвенности набирает силу, широко разливается, временами уходит куда-то вглубь и даже как бы вовсе пропадает, как подземная река, чтобы затем вновь возникнуть на поверхности.

Сопоставление с Лазарем разработано в романе глубоко и последовательно. Достоевский начинает с того, что подробно описывает умирание своего героя.

«Был болен некто Лазарь из Вифании...»

Как и Лазарь, Раскольников заболевает. Случайно подслушав на улице разговор о том, что старуха, которую он возмечтал убить, останется дома одна-одинехонька, и, стало быть, завтра он должен исполнить наконец свою мечту, он возвращается к себе *как приговоренный к смерти*¹. У него озноб, лихорадка, сильная головная боль, он забывается в тяжелом сне. «*Да ты болен, что ль?*» — спрашивает Настасья. Он не отвечает. Вопрос этот Настасья в течение дня повторяет трижды: «*И впрямь, может болен?*» «*Болен аль нет?*» — и ни разу не получает ответа. Да что отвечать?! Болен, конечно, болен. Заражен страшной, «безобразной» своей мечтой, мучается предсмертной болезнью. И когда назавтра он отправляется убивать, то уже не автор, а сам Раскольников мысленно сравнивает себя со смертником, идущим на казнь.

Чем ближе к убийству, тем хуже ему и хуже: *ум его как бы померкал мгновениями, а тела своего он почти и не чувствовал на себе...* Заподозрив неладное, старуха спрашивает: «*Да чтой-то вы какой бледный?*» Он отговаривается болезнью: «*Лихорадка*», и говорит правду — *силы опять покидали его*. Наступает последний миг. Раскольников достает топор. То, что он чувствует, это ощущения умирающего, какими мы их себе представляем: *Руки его были ужасно слабы; самому ему слышалось, как они, с каждым мгновением, все более немели и деревянели.*

И вот удар обухом...

«*Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!..*» — скажет Раскольников много позже, объясняя Соне, что с ним случилось. Теперь он мертвец, и весть об этом — тяжелая медленная мелодия не смолкает в разноголосьи полифонического романа с момента убийства и до эпилога, словно инфразвук, неслышный, но рождающий непрестанное чувство тревоги...

Я думаю, что Достоевский первым разработал прием, который до него в литературе не применял еще никто — намеренное и целенаправленное обращение не к сознанию, а к подсознанию читателей. Нечто сходное было открыто в середине XX века — в киноленту вставляют через определенные промежутки некие кадры, никак не связанные с содержанием фильма. При демонстрации ленты эти кадры мелькают на экране столь быстро, что зрители не успевают не то что разглядеть, но даже и заметить их. Однако это «невидимое» изображение прочно запечатлевается в подсознании...

Достоевский создает эффект, незаметно вплетая в ткань повествования, где слово, где образ, где сравнение, где трансформированное описание покойника. Выпишем из «Преступления и наказания» все места, где Раскольников так или иначе уподобляется мертвому. В каждой цитате окажется какой-либо один признак покойника, все вместе они

¹ Здесь и в дальнейшем курсивом выделены цитаты из «Преступления и наказания».

составят полное его описание. Можно вообразить, что писатель вначале описал мертвеца в одном предложении, которое разбил затем и разбросал обломки по всей книге, и теперь каждое слово из этой уже несуществующей фразы двоятся, троится, повторяется многократно, словно умноженное эхом: ...лежит ...лежит ...лежит... бледный... бледный... мертво-бледный... в гробу...

И если собрать осколки, подбирая один к другому, как составляют дети разрезанную на куски картину, то обнаружится следующее: БЛЕДНЫЙ МЕРТВЕЦ ЛЕЖИТ В ГРОБУ, ЗАБИВАЮТ ГРОБ ГВОЗДЯМИ, ВЫНОСЯТ ЕГО, ХОРОНЯТ, ПОМИНАЮТ, НО ОН ВОСКРЕСАЕТ.

Вот как раскладываются «обломки» этой воображаемой фразы.

БЛЕДНЫЙ...

Достоевский постоянно подчеркивает бледность Раскольникова. Он не просто бледен, а неестественно, мертвенно-бледен: он обернул к ней мертвенно-бледное лицо свое ¹/ Раскольников <...> весь бледный как платок,/ он ужасно побледнел,/ бледное лицо Раскольникова,/ исхудалое бледно-желтое лицо и т. д. Бледность его такова, что пугает окружающих: «Что ты так побледнел? Родя, что с тобой? Родя, милый!»

МЕРТВЫЙ...

Прилагательное мертвый следует за Раскольниковым, как тень: *опять одно недавнее ужасное ощущение мертвым холодом прошло по душе его,/ все было глухо и мертво, как камни, по которым он ступал, для него мертво, для него одного...* И сам он постоянно уподобляется мертвому. Вот, убив процентщицу, Раскольников ищет деньги и вдруг послышалось ему, что в комнате, где лежала старуха, кто-то ходит — он остановился и притих, как мертвый. Возвращаясь после убийства, он дошел наконец до своего переулка и поворотил в него полумертвый. На пороге его комнаты появляется человек из-под земли: «Что вам?» — спросил помертвевший Раскольников. Снится ему убитая им старуха — заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел. Приехали мать и сестра, радостно бросаются они обнять его, но он стоял как мертвый <...> руки его не поднимались обнять их: не могли. <...> Он ступил шаг, покачнувшись и рухнул на пол в обмороке.

ЛЕЖИТ...

Раскольников часто валится и лежит без движения. Это можно объяснить вполне реалистически постоянным недоеданием, болезнью, душевными муками... И вместе с тем, падая и замирая неподвижно, он всякий раз как бы превращается в мертвеца: *Раскольников в бессилии упал на диван,/ повалился на клеенчатый турецкий диван,/ минут десять стоял <...> неподвижно. Затем в бессилии лег на диван <...>; глаза его были закрыты. Так пролежал он с полчаса./ Он лег на диван и отвернулся к стене в полном изнеможении,/ Он чувствовал, что у него онемели руки и ноги, точно отнялись, но и не попробовал шевельнуться.*

Неподвижность и бесчувствие перемежаются лихорадочным оживлением. Раскольников словно бы оживает и умирает каждый раз заново, и кажется даже, что Достоевский описывает разные стадии умирания одного человека, подобно тому как Пикассо изображал на одном листе одну и ту же фигуру как бы одновременно с нескольких точек зрения, отчего видны вместе и фас, и профиль.

Вот агония: *Раскольников лежал бледный, с вздрагивающей верхней губой и трудно дышал./ Волосы его были смочены потом, вздрагивающие губы запеклись, неподвижный взгляд был устремлен в потолок. Мы видим, как он болезненно, с слабым стоном протянулся,/ как он порывался с дивана несколько раз, хотел было встать, но уже не мог. Все это объясняет, почему иногда находится он в состоянии апатии, похожей на болезненно-равнодушное состояние иных умирающих.*

¹ Косой чертой разделены цитаты, взятые из разных мест романа.

Мучительно ему всякий раз умирать, но мучительно и оживать. Вот моменты перехода из одного состояния в другое: *Он лежал на диване навзничь, еще ошолобленный от недавнего забытья. Раскольников все время лежал молча, навзничь <...>. Лицо <...> было чрезвычайно бледно и выражало необыкновенное страдание, как будто он только что перенес мучительную операцию или выпустили его сейчас из-под пытки.*

Умирание и возвращение к жизни Раскольникова Достоевский изображает порой не прямо, а символически — переправляя его через реку. Как известно, в русском фольклоре переправа через реку символизирует смерть, а «тот свет» у многих, если не всех, народов мира находится за широкой водной преградой, рекой или морем.

Множество раз Раскольников пересекает Неву — как бы своего рода Лету — и всякий раз Достоевский с величайшей тщательностью отмечает его переход. На мосту, словно на границе жизни и смерти, Раскольников то погибает, то оживает. Вступив на мост после страшного сна на Васильевском острове, он вдруг ощущает, что свободен от мучавших его все последнее время *чар, от колдовства, обаяния, от наваждения.* В другой раз он переживает на мосту необычные ощущения и бросает в воду монетку, которую ему подали, приняв за нищего (словно платит за переправу через Ахеронт), и в тот же миг ему показалось, что он как будто отрезал себя от всех и от всего. Полный сил и энергии после игры в кошки-мышки с Заметовым в «Хрустальном дворце» он ступает на мост, и вдруг его охватывает полнейшая апатия, ему хочется сесть или лечь, силы полностью покидают его, он близок к обмороку — из мира живых он возвращается в царство мертвых. После смерти Мармеладова и первой встречи с Соней Раскольников вновь на мосту, но теперь он возвращается в мир живых: *«Прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения!.. <...> Не умерла еще моя жизнь вместе со старою старухой!»* Переходит мост он и тогда, когда идет сознаваться в убийстве.

В ГРОБУ...

Достоевский много раз описывает квартиру Раскольникова, не называя прямо, а лишь давая понять, чем на самом деле является эта каморка, походившая более на шкаф, чем на квартиру, *эта желтая каморка, похожая на шкаф или сундук... «Экая морская каюта»,—* кричит простодушный Разумихин, склонный во всем, что касается Раскольникова, видеть лучшее. Эта игра в иносказания тянется все время, пока *там-то в углу, в этом-то ужасном шкафу <...> созревало все это.* Но вот Раскольников убивает, и тут же произносится наконец истинное название «ужасного шкафа»: *«Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб»,—* сказала вдруг Пульхерия Александровна.

ЗАБИВАЮТ КРЫШКУ ГВОЗДЯМИ...

Несколько звуков, сливаясь, образуют в романе слышную как бы за кадром мелодию: судорожное биение звонка на двери процентщицы, тоскливая шарманка, душераздирающие вопли пьяных ночью за окном, жужжащая на стекле муха... Но обратили ли вы внимание на следующие загадочные строки: *Раскольников вошел в свою каморку и стал посреди ее. «Для чего он воротился сюда?» <...> Со двора доносился какой-то резкий, непрерывный стук; что-то где-то как будто вколачивали, гвоздь какой-нибудь... Он подошел к окну <...> и долго <...> высматривал во дворе. Но двор был пуст, и не было видно стучавших. <...> Никогда, никогда еще не чувствовал он себя так ужасно одиноким!*

Писатель не объясняет этот эпизод, никак не связанный с событиями романа. Откуда и, главное, зачем сей стук? Он обретает смысл лишь в образной системе «Раскольников-мертвец». Только в ней он не просто понятен, но и необходим. Обратите внимание, что последняя фраза этой цитаты почти дословно соответствует Тютчеву: «Быть до конца так страшно одному, как буду одинок в своем гробу». Не оттого ли Раскольников не сумел разглядеть стучавших, отчего покойник не может увидеть тех, кто забивает над ним крышку домовины?

ВЫНОСЯТ...

То, что его выносят, ему чудится в бреду. (Но что есть бред литературного персонажа? И его бред, и он сам имеют для нас, читателей, одинаковую сущность, одинаковую степень реальности.) Что же чудится Раскольникову? *Это было лихорадочное состояние, с бредом и полусознанием. Многое он потом припомнил. То казалось ему, что около него собирается много народу и хотят его взять и куда-то вынести, очень об нем спорят и ссорятся.*

Картина почти буквально повторяется в «Сне смешного человека»: «лежу на чем-то твердом, протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Кругом ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка,— и вдруг опять перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе».

ХОРОНЯТ...

Через полторы страницы после описания таинственного стука читаем: *Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. <...> от нее веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствовалась безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вечность на «аршине пространства».* Надо ли пояснять, что это за «аршин»? Что же до самих похорон Раскольникова, то они словно происходят в каком-то ином измерении, и лишь отражаются в романе в виде неясных ощущений, мыслей и слов о погребении... Скажем, Раскольников собирается уходить, мать и сестра упрекают его, что мало побыл с ними. *«Чтой-то вы точно погребаете меня али навек прощаетесь»,— как-то странно проговорил он.*

165



ПОМИНАЮТ...

Просит он Полечку, сестру Сони, помянуть и его, когда молится она за умерших родителей, но потом раздумал: *Не умерла еще моя жизнь вместе с старой старухой,— показалось ему.* «А раба-то Родиона попросил, однако, помянуть,— мелькнуло вдруг в его голове,— ну да это... на всякий случай!» Однако, с ним случилось уже то, что он подразумевает под «всяким случаем».

ВОСКРЕСАЕТ...

Воскресение описывается в эпилоге библейски коротко: *Но он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим <...>.*

Столь же коротка и запись на полях одной из черновых тетрадей «Преступления и наказания»: «Жизнь кончилась с одной стороны, начинается с другой. С одной стороны похороны и проклятие, с другой — воскресение».

Но в промежутке между этими двумя фразами уместается великий роман.

НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Листая «Преступление и наказание», мы к удивлению своему обнаруживаем, что не только Раскольников, но и Разумихин *побледнел как мертвец*, и Дуня, сестра,— *мертвобледная*, сказано и про мать Раскольникова, что она *помертвела*...

Кажется, что Достоевский, раскрашивая Раскольникова широкой кистью, забрызгал краской и тех, кто с ним рядом. Но взгляните и вы убедитесь, что на самом деле это не кляксы, а блики, отсветы. Смертельная бледность ложится на лица героев «Преступления и наказания» лишь тогда, когда они слишком близко приближаются к мертвенной сущности Раскольникова, слишком тесно с ней соприкасаются и тем самым словно заступают за черту, разделяющую ту и эту стороны — живых и мертвых.

Вот как это случается. Оборвав разговор с матерью и сестрой, Раскольников вдруг встает и уходит, бросив что-то невнятное о погребении, о гибели и о том, что его надо

забыть и что, может быть, он сам придет или позовет их, *когда можно будет*. Он не вполне сознает, что говорит и что хочет сказать. Им владеет мертвая его суть, он не в силах выносить присутствие живых. В этот момент и *помертвела* Пульхерия Александровна (мать ближе, теснее всех связана с сыном). Разумихин в гневе выскочил из комнаты вслед за другом, но тут, в темном коридоре, проняло и его. *Горевший и пристальный взгляд Раскольникова <...> проникал в его душу, в сознание. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное как будто прошло между ними... Какая-то идея проскользнула, как будто намек; что-то ужасное, безобразное и вдруг понятное с обеих сторон... Разумихин побледнел как мертвец.*

Обратите внимание, что при сходных обстоятельствах Заметов, который бесконечно далек от Раскольникова и которому тот в «Хрустальном дворце» не на свою гибель, а только на свое преступление намекает, догадавшись, но не поверив, всего лишь *побледнел как скатерть*.

Метаморфозы, происходящие с Раскольниковым, есть лишь одно из проявлений той игры видимости и сущности, что разворачивается на страницах «Преступления и наказания», и он с головой втянут в эту игру. Иллюзия полностью скрывает от него смысл происходящего с ним и вокруг него. Все, что он видит, — это лишь проекции его собственных фантазий. Но он и не хочет видеть того, что есть, *он и тысячу раз <...> готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию*.

Раскольников догадывается порой, что видит все не так, как оно есть: после убийства ему стало страшно, что может быть все его платье в крови, а он не замечает оттого, что *ум помрачен*. Временами он не может отличить сон от яви. «*Ты его видел?*» — допытывается он у Разумихина. — «*Ты его точно видел? Ясно видел?*» Он не знает точно, говорил ли со Свидригайловым или это была фантазия, и он только *призрак видел*. В бреду ему чудятся страшные вопли, но и очнувшись, он убежден, что вправду приходил поручик Порох и избивал его квартирную хозяйку.

Иногда и мы, читатели, не знаем, случилось ли то или иное происшествие или только почудилось. Подмигнул, скажем, Порфирий или *может быть, только так показалось Раскольникову*. Это мелочь — неважно, подмигнул ли он на самом деле, но и это незначительное обстоятельство усиливает ту зыбкую атмосферу, которая окутывает Раскольникова. То и дело его сознание словно застилают рваные клочья бреда, ему мерещится что-то смутное, неясное, внезапно бред рассеивается — он видит все окружающее ярко и отчетливо, сознает каждую мелочь, защищает хитро, смело, расчетливо... До следующего затмения.

И лишь одну иллюзию Раскольников непоколебимо сохраняет до самого конца, до последних строк романа. На поверхность это глубоко спрятанное заблуждение выходит лишь однажды — во сне Раскольникова о пьяном Николке, забившем насмерть лошадь.

Проснувшись, он облегченно вздыхает: «*Слава богу, это был лишь сон!*» И это вправду было лишь страшное сновидение. Словно опасаясь, что происходившее во сне будет принято читателем за подлинное событие, Достоевский всячески усиливает и подчеркивает его ирреальность. Мало того, что само состояние сна подобно смерти, мало того, что сновидение пригрезилось Раскольникову на острове, где он и без того словно бы символически отрезан ото всех живых... Но и страшного Николку он видит, когда идет во сне с ныне уже умершим отцом на могилу к мертвому брату. Смерть словно бы возведена в N-ю степень.

Николка, истязающий лошадь, — это не просто еще одно видение из тех, что проносятся обрывками перед умственным взором Раскольникова. Это сон о России. Во сне ему мерещится: «*Так вот какая ты, Россия! Вот каков твой народ! Страшная, пьяная толпа у кабака. Бессмысленная и жестокая...*» Но сон запал ему в душу (Достоевский особо это подчеркивает) и стал основанием и оправданием злодеяния Раскольникова. Пусть по пробуждении он думает с ужасом: «*неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп...*» Однако, то что он видел во сне, развязывает ему руки. Он словно бы делает вывод: «*Раз вы, люди, таковы, я объявляю вас вне закона. У меня нет с вами ничего общего. Раз вы так тупы и бессмысленно жестоки, то и с вами можно поступать так, как заблагорассудится настоящей личности*». Весь вопрос для него был в том, является ли он сам настоящей личностью.

Не случайно сцена эта, где действует «народ», является Раскольникову в бреду. Его больное, расколотое сознание заблуждается в основном для русского образованного

человека пункте. «Вопрос о народе в настоящее время есть вопрос о ж и з н и (разрядка моя — В. М.)», — утверждал Достоевский в написанной за несколько лет до «Преступления и наказания» статье «Два лагеря теоретиков», в которой прослежены корни беды, случившейся с Раскольниковым и давшей ему фамилию. Имя ей — раскол. Раскол русского образованного человека, состоящий в том, что «мы разобщены с народом, что история вырыла между им и нами пропасть <...> Петровские реформы создали у нас своего рода *statum in statu*¹. Они создали так называемое образованное общество <...> совершенно разобщенное с народной массой, мало того, ставшее во враждебное к ней отношение».

Это одна из центральных идей Достоевского, мы еще вернемся к ней позже, а сейчас, коли речь идет о больном сознании, стоит вспомнить, в чем видел он корни заболевания. По его убеждению, и петровские реформы, и последовавший раскол образованного общества с народом — это не сама болезнь, а лишь симптомы. Что же есть болезнь? **«Сознание — болезнь. Не от сознания происходят болезни (что ясно как аксиома), но само сознание — болезнь».**

Мысль эта неоднократно повторяется в записных тетрадях Достоевского 1864—1865 годов. «Строго говоря: чем менее сознает человек, тем он полнее живет и чувствует жизнь. Пропорционально накоплению сознания теряет он и жизненную способность. Итак, говоря вообще: сознание убивает жизнь».

Если не вглядеться, не вдуматься в эту мысль, не понять и не прочувствовать ее до конца, невозможно понять вполне суть романа «Преступление и наказание» и, быть может, всего творчества Достоевского.

Недаром развернувшаяся на страницах «Преступления и наказания» мистерия ищущего, страдающего и находящего истину сознания совершается на глазах обыденного трезвого Разума — Разумихина, который не только не в состоянии помочь («*Что ж, неужели я все дело хотел поправить Разумихиным и всему исход нашел в Разумихине?*» — спохватывается Раскольников), но и не догадывается о происходящем.

Разум? Что ж разум! Не помощник он больному человеку, заблудшему сознанию, подошедшему к границе жизни и смерти. Помочь и спасти здесь может только София, Мудрость.

2

Как и можно было предположить, Раскольников не единственный мертвец в «Преступлении и наказании». Достоевский непременно должен был дойти до конца, рассмотрев современного Лазаря в разных измерениях и ракурсах, исследовав различные возможности. В черновике «Преступления и наказания» есть запись: «Свидригайлов — отчаяние, самое циничное. Соня — надежда самая неосуществимая <...>. Он страстно привязался к ним обоим». Понятно, почему мертво отчаяние. Но может ли быть мертвой надежда?..

Раскроем книгу на том месте, где Раскольников впервые входит в странную комнату Сони. Обрисовывая ее, Достоевский не допускает ни единого кладбищенского намека, а между тем у читателя должно возникнуть (и возникает) впечатление, что описан непомерно огромный гроб, но впечатление смутное, неясное. *Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена <...> перерезала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убежал куда-то вглубь, так что его при слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был уже слишком безобразно тупой.* Это как бы чертеж гроба, нечетко выведенный детской рукой. Сравнение с сараем дает понять, что стены сбиты из досок, а скошенные углы — «ужасно острый» и «безобразно тупой» — невольно напоминают о скошенных крышке и стенках домовины. Недаром Раскольников, и сам обитающий в «ужасном шкафу», оглядываясь кругом, все же угрюмо замечает: «*Я бы в вашей комнате по ночам боялся*».

Странны и слова, которыми Раскольников начинает разговор.

— *Какая вы худенькая! Вон какая у вас рука! Совсем прозрачная. Пальцы как у мертвой.*

¹ Государство в государстве (латин.).

Он взял ее руку. Соня слабо улыбнулась.

— Я и всегда такая была,— сказала она.

— Когда и дома жили?

— Да.

— Ну, да уж конечно! — произнес он отрывисто (...).

Он-то знает, с какой поры она стала походить на мертвую. Скоро выясняется, что он подразумевает. Раскольников убежден и пытается убедить Соню в том, что и она, как он, совершила преступление, перешла за черту, стало быть, и она, как он, мертва. — «Ты же переступила... смогла преступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... с вою (это все равно!)». Его лишь возмущает бесполезность ее гибели — ибо она «п о н а п р а с н у умертвила и предала себя».

Недаром Раскольников твердит, глядя на нее: «Юродивая, юродивая». От слов и поступков Сони веет строгим аскетическим духом древних подвижников. Лишь в житейском представлении юродство — врожденное телесное или душевное уродство. В старинной русской религиозной традиции это «безумная мудрость», духовный подвиг, добровольно принятые на себя лишения плоти, «самоизвольное мученичество». Подобно подвижникам, Соня живет в гробу и почитает себя великой грешницей.

Она почти достигла вершины, полноты человеческого развития в понимании Достоевского. Соня сделала самое трудное и самое главное — отказалась от самой себя, от бесполезной «ювелирной вещицы — личности» (выражение Федора Михайловича). Она уничтожила эго, безраздельно и беззаветно отдала себя другим.

Как сурово судит себя эта девушка, по летам почти еще ребенок... Всю прошлую свою обычную детскую жизнь она почитает мертвым сном, смертью. И лишь беда близких заставляет ее проснуться. «Умертвив себя», она воистину воскресла: **«Я сама была Лазарь умерший, и Христос воскресил меня».**

Слов этих, столь важных для понимания замысла «Преступления и наказания», нет в окончательном тексте романа, каким мы его знаем. Они сохранились лишь в черновиках, и теперь невозможно узнать, включал ли их Достоевский в знаменитую сцену чтения Евангелия. Дело в том, что она непоправимо искалечена — сокращена и переделана по требованию редакции «Русского вестника», где впервые печатался роман. Напомню обстоятельства конфликта писателя с издателем журнала М. Н. Катковым и редактором-исполнителем Н. А. Любимовым.

Как все это происходило, Достоевский рассказывал А. П. Милюкову в письме от 10—15 июля 1866 года: «Одну из этих, сданных мною 4-х глав,— н е л ь з я напечатать, что и решено было им, Любимовым, и утверждено Катковым. (...) Про главу эту ничего не умею сам сказать; я написал ее в вдохновении настоящем, но, может быть, она и скверная; но дело у них не в литературном достоинстве, а в опасении за н р а в с т в е н н о с т ь (...) Любимов объявил р е ш е н ь е, что надо переделать. Я взял, и эта переделка большой главы стоила мне, по крайней мере, 3-х новых глав работы, судя по труду и тоске (...) не знаю: удовольствуются ли они переделкою и не переделают ли с а м и?»

В чем же Достоевский погрешил против нравственности? Как считают современные исследователи, возражения редакции «Русского вестника» были вызваны прежде всего тем, что слова Евангелия писатель в этой главе вложил в уста «падшей женщины», сделав ее вдохновенной толковательницей учения Христа и наставницей Раскольникова на пути к его возрождению. Но это лишь предположения. Первоначальный текст главы не сохранился.

Закончив переделку, Достоевский сообщил Любимову о том, что «зло и доброе в высшей степени разделено, и смешать их и истолковать превратно уже никак нельзя будет» (из письма от 8 июля 1866 года).

Из редакции последовал ответ:

«Убедительно прошу Вас не сетовать на меня за то, что я позволил себе исключить некоторые из приписанных Вами разъяснительных строк относительно характера и поведения Сони (...). Скажу только, что, ни одна существенная черта в художественном изображении не пострадала» (из письма М. Н. Каткова — Ф. М. Достоевскому без даты).

С тяжёлым чувством читаешь эти строки. Не ведая, что творит, Катков вломился в святая святых произведения, где высказаны были вслух заветные мысли Федора Михайловича.

Общий замысел, разумеется, не мог исказиться лишь оттого, что редактор вымарал из книги несколько страниц, пусть даже очень важных. Травмирован лишь один из

участков сложного, многоуровневого организма. На развитии событий и поступках действующих лиц переделки и сокращения XX главы не сказались. Никак не затронуты плотные, внешние, «материальные» слои романа. Иное дело — глубокие и тонкие слои, в основном, те их области, что связаны с Соней. Они — пострадали. Сместилось или замерло движение тайных токов, смолкла еле слышная переключка голосов в недрах книги. Без восстановления этих связей, без реконструкции изученной беседы нам не проследить и не понять сокровенную суть Сониного образа, а с ним вместе и всю полноту поднятых в романе вопросов.

Неужели никогда мы не узнаем, о чем на самом деле говорили Соня и Раскольников? Нет надежды, что отыщется рукопись. Стало быть, вместе с ней пропал навсегда и первоначальный замысел беседы...

Мог ли он исчезнуть, растаять без следа?

Нет, конечно, не мог. Хотя и писал Достоевский главу «в вдохновении настоящем», но не по наитию. Слишком много здесь сходилось концов, слишком в тесный узел они связывались, чтоб могла эта глава придуматься с ходу, во внезапном озарении. Всего вернее, о ней Достоевский думал не раз, прежде чем окончательно написать ее, и по своему обыкновению, мысли записывал. И записи, как спрятанное письмо в рассказе Эдгара По, непременно должны лежать на самом виду: в черновиках романа, в набросках и дневниках Достоевского, в его заметках и статьях тех лет, когда он задумывал и писал «Преступление и наказание».

И они действительно лежат на виду. Не увидеть их невозможно, если верно поняты общий замысел романа и внутренняя логика первой встречи Сони и Раскольникова.

«Я великая, великая грешница!» — кричит она.

«Что ты великая грешница, это так», — соглашается с ней Раскольников. У него свои основания считать так... А что думаем об этом мы, читатели? Мы пробегаем глазами эти строки, не вдумываясь в них, как бы соглашаясь с ними, торопимся дальше, не спрашивая о том, почему Соня — великая грешница? Невольно поддаемся мы инерции обыденной морали, подсказывающей, что Соня пусть и жертвует собой, чтобы спасти родных от голодной смерти, но вместе с тем, торгуя своим телом, совершает великий, хотя и невольный грех...

Однако, что называет грехом Достоевский? В записи, сделанной в день смерти жены, сказано об этом: «Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовь в жертву своего я людям или другому существу <...> он чувствует страдание и назвал это состояние грехом».

Как это не похоже на то, что говорится в романе о Сонином «грехе». Вслушайтесь, как внезапно меняется стиль речи Раскольникова, когда говорит он о ее положении. Понятно, что он увлекся, вошел в азарт обличения и поучения, но никогда ни до, ни после не был он так казенно красноречив: «Как этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются?» Да и Достоевский, кажется не отстает от него в сильных выражениях: *мысль о бесчестном и позорном ее положении, /весь этот позор, /мерзкая смрадная яма* и т. п. Стиль Федору Михайловичу несвойственный...

Угадывается недреманное око Михаила Никифоровича Каткова. Видно и невооруженным глазом, как вписывает он эти словечки, разводя как можно шире «добро и злое», отделяя зерна от плевел. Огрехов при сортировке все же избежать не удалось. Остатки первоначального текста беседы сохранились... Увлечшись разграничением «такого позора, такой низости» и «других противоположных чувств», Раскольников восклицает мысленно: «Разве так можно говорить, как она? Разве в здравом рассудке так можно рассуждать, как она? Разве так можно сидеть над погребелью, прямо над смрадной ямой, в которую ее уже втягивает, и махать руками и уши затыкать, когда ей говорят об опасности?»

Эти восклицания Раскольникова никак не связаны с предыдущим разговором. Не махала Соня руками, уши не затыкала и вообще не произнесла ни слова. После фразы «я великая, великая грешница» беседа Сони и Раскольникова из диалога превращается в монолог. Раскольников вещает, возмущается, опровергает про себя Сонины «рассуждения». Но самих этих рассуждений мы так и не слышали. Их вычеркнул Катков. Что же было сказано такое, что столь возмутило его? Как была построена эта беседа?

Во второй тетради черновиков и набросков к «Преступлению и наказанию» на странице 134 под заголовком «К характеристике Сони» записано: «После смерти

Мармеладовой, когда он называет ее святою, она с испугом говорит: «Ах, что вы! Я великая грешница». Когда же он думает, что это она говорит о желтом билете, и высказывает ей это: Соня, усталая от его непрерывных слов на эту тему говорит ему: я не про это, но я неблагодарная была, я против любви много раз погрешила, и рассказывает тут историю (сочинить мастерски), как униженной и убитой Мармеладовой захотелось раз воротничка вышитого, Сонинного, и она попросила у ей, и та ей не дала, что воротничок пропал сам собой и что теперь, если б воротить только и если б она попросила — «Как бы я отдала, все бы отдала».

Это и есть план беседы Сони и Раскольникова. Здесь записано самое главное — спор двух принципов: олицетворенного в Раскольникове принципа «требую все» и принципа, олицетворенного в Соне, «отдаю все».

Безнравственным показалось Каткову в этом споре то, что Соня не считает свое ремесло греховным. Она не помнит о нем, не придает ему ни малейшего значения... Более того, она сочла бы безнравственным вообще думать о себе, о своем собственном положении. Правда, Раскольников прочел в ее взгляде мысль о самоубийстве и понял, до какой чудовищной боли истерзала ее, и давно уже, мысль о бесчестном и позорном ее положении, но я убежден, что слова эти вписаны Катковым.

Помышлять о самоубийстве Соня не могла ни при каких обстоятельствах. Это противоречило бы и идейной, и художественной логике романа, согласно которой Соня и Свидригайлов — две крайности, между которыми должен выбрать Раскольников: Соня — Лазарь уже воскресший. Свидригайлов — Лазарь без надежды на воскресение...

Свидригайлов убивает себя, Раскольников размышляет о самоубийстве, Соня даже не догадывается о такой возможности. Не то что мысль о смерти, но даже и догадка о ней была бы для нее грехом, поскольку это было бы бегством, спасением для себя лишь одной, когда гибнут близкие.

Рассказ Сони о воротничке остался в романе и после правки. Вырванный из плоти, он кажется несущественным, неважным. Но приставьте его на место после слов о грехе, и он мгновенно прирастет к живому, и тут же заполнятся пустоты, расправятся спутанные линии. И главное, сразу же в глубине романа восстановится мощное и ровное течение между двумя полюсами. Протянутся силовые линии к эпилогу «Преступления и наказания», где Раскольников заболевает от мук уязвленной гордости. *Ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого промаху, который со всяким мог случиться.*

Вот два разноименных нравственных полюса — ось, вокруг которой кристаллизуется роман: он, загубив жизнь двух людей, терзается муками гордости лишь оттого, что не выдержал и донес на себя. Она, загубив ради других свою жизнь, терзается муками совести лишь оттого, что не отдала все, пожалела отдать воротничок. Достоевский намеренно выбрал предмет вовсе ничтожный и бесполезный, чтобы выявить самую суть, приблизить и самопожертвование, и грех к самой черте. Отдать — значит, отдать все до нитки, не оставив себе даже мысли об отданном. Есть особая строгая красота в том, что Соня отдает инстинктивно, бессознательно, словно не замечая, что отдает. Она ведь и умирает вместе с Раскольниковым, узнав о его преступлении.

Близится минута, когда Раскольников должен признаться Соне, что убил. Силы покидают его, он непрерывно дрожит всем телом. И Соня переживает вместе с ним все стадии умирания. *Она вдруг задрожала всем телом, ей, как и ему, все хуже и хуже. Соня начала дышать с трудом. Лицо становилось все бледнее и бледнее. Все ближе и ближе страшный миг признания. Точно конвульсии пробежали по всему ее телу.* У Раскольникова нет сил сказать прямо. Обиняками он высказал почти все и теперь требует, чтобы Соня угадала сама. И она, почти уже догадавшись, медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь, и все неподвижнее становился ее взгляд на него. И вот последний удар.

— Угадала? — прошептал он наконец.

— Господи! — вырвался ужасный вопль из груди ее. Бессильно упала она на постель, лицом в подушки.

Лазарь воскресший, она вновь мертва. Убила ее та же сила сострадания, что прежде воскресила. И теперь ей предстоит вместе с Раскольниковым пройти долгий путь от смерти к жизни. Не воскреснет он, нет спасения и ей.

3

Как ни странно, третий Лазарь — Свидригайлов вовсе не бледен. Напротив, это полнокровный, цветущий господин со свежим, не петербургским цветом лица. Он не похож на покойника и подозрительным в его внешности может показаться разве что *какое-то странное лицо, похожее как бы на маску*.

Она-то, эта маска, и выдает его. Дело не только в ее мертвенной неподвижности, но и в том, чем она является по своей сути. Ученые полагают, что маска изначально символизировала умершего, а само слово, обозначающее ее, во многих языках понимается как «смерть», «предок» и «изображение мертвого».

Стоит присмотреться внимательнее и к гостиничному номеру, в котором Свидригайлов проводит ночь перед самоубийством. Достоевский описывает очень подробно и размер его, и форму. *Это была клетушка до того маленькая, что даже почти под рост Свидригайлову <...>. Стены имели вид как бы сколоченных из досок <...>. Одна часть стены и потолка была срезана наискось... Какое это жилье со скошенными стенами сколачивают из досок под рост человеку?*

Обоих гробовых жильцов — Свидригайлова и Раскольникова — объединяет какая-то странная связь, которую они сами не могут объяснить. При первой же их встрече Свидригайлов говорит: *«Давеча я как вошел <...> тут же и сказал себе: «Это тот самый и есть!»* И при этом сам чистосердечно, без притворства не знает, что ответить на возмущенный вопрос Раскольникова, какой это «тот самый»? А когда Свидригайлов рассказывает, что его посещают умершие, Раскольников к собственному своему удивлению признается, что был убежден, что с его гостем непременно случается что-нибудь в этом роде.

Посещения окончательно выдают Свидригайлова. *«Являются, что ли?»* — переспрашивает Раскольников. Нет, уточняет Свидригайлов, именно изволят п о с е щ а т ь. То есть, это Марфа Петровна, умершая жена, изволит, а Филька, дворовый человек, покончивший с собой, тот просто *вошел, и прямо к горке, где стоят <...> трубки*, когда хозяин, забывшись, крикнул после его похорон: *«Филька, трубку!»* Рассказывая, Свидригайлов выделяет неоднократно, что мертвецы именно *входят, приходят, уходят в дверь; всегда в дверь*. Это самые что ни на есть обыденные визиты. Разговор с ними идет о ничтожных пустяках, что называется, на бытовые темы: о часах, которые забыли за хлопотами завести, о новом зеленом платье, а несчастного Фильку хозяин попросту прогоняет: *«Как ты смеешь <...> с продраным локтем ко мне входить»*.

Смысл посещений Достоевский объясняет нам устами Свидригайлова: *«чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира»*. Посещения обнаруживают подземельную, скрытую сущность Свидригайлова — близость к другому миру. Внешне он здоров, выглядит моложе своих лет, но полностью нарушен в нем «нормальный земной порядок». Больно его сознание.

Какой же тип сознания представляет Свидригайлов? Личность эта с оттенком некоего демонизма — одна из самых загадочных фигур «Преступления и наказания». В отличие от Сони и Раскольникова, чьи имена «прочитываются» с первого же взгляда, его так сразу не раскусишь. Исследователи выдвинули немало всяческих догадок о том, откуда взята и что означает его фамилия. Но ключ вовсе не в фамилии, а в его имени...

Через несколько лет после завершения романа в «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский, описывая некоего помещика, процитировал начальные слова стихотворения Шиллера «Отречение», что дали имя Аркадию Свидригайлову: **и он в Аркадии рожден**. Это и есть разгадка! Рожденный в Аркадии, счастливой сельской стране... Думаю, что и саму идею двух полярных начал, воплощенных в Соне и Свидригайлове, подсказало Достоевскому то же самое Шиллерово стихотворение:

Есть два цветка — Надежда, Наслажденье,
И мудрый выберет одно из них.

Достоевский постоянно и последовательно проводит параллель между двумя этими крайностями. Свидригайлов и Соня во всем антиподы.

Она — воскресение, он — окончательная смерть.

Она — духовное, он — сладострастное.

Она: «себя — другим», он: «все — для меня».

Она — идеальное сознание будущего, он — прошлое, патриархальное.

Я полагаю, что нет нужды подчеркивать еще раз, что речь, разумеется, идет о большом патриархальном сознании. Да и откуда в России могло бы взяться здоровое — после реформы 1861 года, разрушившей деревенский мир? Даже двух парнишек — единственных крестьян, выведенных в «городском» романе, нельзя счесть идеальными пейзажами.

Говоря точнее, это не крестьяне, а недавние выходцы из деревни — Николка да Алешка. Последнего мы даже не видим, а слышим лишь его голосок, восхищающийся Петербургом: *«И чего-чего в ефтом Питере нет! (...) кроме отца-матери все есть!»* Да и Николка почти не появляется сам, а он нем лишь рассказывают остальные персонажи романа, бегло рисуя самородный русский характер: душу, талант, детскую непосредственность, поиски духовности... *«Он и петь, он и плясать, он и сказки, говорят, так рассказывает, что из других мест сходятся слушать (...) целых два года, в деревне у некоего старца под духовным началом был»*. Писатель дал ему имя Николы-угодника, Николая Мирликийского, любимого русского святого... Однако, парень этот не благодатный отрок и не простая сельская душа, не образец нравственного здоровья — оторвался он от ветки родимой и мечется, не находя себя, между старцем, запоями и дружбой с одним художником. Эта еще одна грань старого, уходящего в прошлое, общинного сознания, но грань лишь едва намеченная.

Вернемся к Свидригайлову. Патриарх он, правда, какой-то сомнительный, так сказать, новообразованный — помещиком стал лишь благодаря женитьбе на Марфе Петровне, тем не менее, он и *хозяином порядочным в деревне стал*, и кнутом, и правом сеньора пользовался. Да и в Петербурге Свидригайлов еще и недели не жил, а уже *все около него было на какой-то патриархальной ноге*.

Аркадия, родом из которой происходит Свидригайлов, вовсе не сельская или первобытная община. Он явился из книжной Аркадии «разума, природы и правды», возмеченной Жан Жаком Руссо. Вглядевшись повнимательнее в Свидригайлова, мы замечаем, что из него нет-нет да выглядывает Руссо, каким виделся он Достоевскому. (Как известно, Федор Михайлович считал самого французского вольнодумца личностью неприглядной, а философию его — вздорной и вредной.) То Свидригайлов ввернет упоминание о *la nature et la verite*, природе и правде — слова из «Исповеди» Руссо, неизменно вызывавшие насмешку Достоевского, то совсем в духе «Исповеди» примется «заголяться» перед Раскольниковым.

(Позже, в набросках к «Подростку» Достоевский прямо связал бесстыдную «искренность» с именем Руссо: «Как Руссо находил наслаждение загибаясь, так и Он находил сладострастное наслаждение загибаться перед юношей, даже развращать его полною своей откровенностью». Сравните строки эти с исповедью Свидригайлова перед Раскольниковым в трактире.)

Странно смыкаются в Свидригайлове западное вольнодумие и русское крепостничество. При всем том, что он совершенный джентльмен и совсем не медведь, при том, что он выходец из руссоистской Аркадии, а не из деревенского мира, мысли ему приходят порой в голову совершенно неожиданные и малопонятные. Вот что говорит Свидригайлов, сидя в «ужасном шкафу» Раскольникова вечером, когда бьется и жужжит, ударяясь с налета о стекло, большая муха: *«Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность»*.

Что за странная фантазия?

Почему вдруг баня? Да еще деревенская...

4

Над загадочной этой фразой думали многие из тех, кто писал о «Преступлении и наказании», толкуя ее по-разному. Но никто, кажется, не догадался послушать, что о бане рассказывали (и рассказывают порой поныне) русские крестьяне.

Баня — это место, где обитает или появляется всяческая нечисть. Еще сравнитель-

но недавно считалось, что в ней живет банник. В Никольском уезде Вологодской губернии его представляли в виде голого старика, покрытого грязью и листьями от веников. В Олонецкой губернии существовало предание, что банник душит по третьему пару. В Саратовской губернии считали, что в бане живет шишага отвратительного вида, которая может запарить человека до смерти. А в Смоленской, вступая на полки, приговаривали: «Хрещеный на полки, нехрещеный с полка».

С принятием христианства на Руси баня сделалась местом «нечистым», своего рода антиподом церкви. Хотя более всего это говорит о том, что и сама баня до крещения Руси была своеобразным храмом. Это словно бы тамбур между мирами, откуда нетрудно заглянуть в крошечное царство.

Вспомнив об этом, мы понимаем, наконец, отчего вечность представляется Свидригайлову в виде бани. Не имея надежды на воскрешение, он не может надеяться и на смерть. Нечистый, «заложный» покойник, он обречен навечно застрять между мирами.

Загадочная фраза Свидригайлова выводит нас в новое, доселе неизвестное измерение «Преступления и наказания», погружающее читателя в атмосферу архаических славянских верований. Отголоски первобытного сознания пронизывают роман, связывая обращенное в будущее произведение с древнейшим прошлым. Сквозь притчу о русском Лазаре XIX столетия, сквозь библейскую символику просвечивает какое-то другое изображение, гораздо более древнее, смутно знакомое.

Что же за образ проступает оттуда, из глубины?

Издревле верили славяне, что покойники бывают двух родов. Умершие родные предки становились добрыми покойниками-«родителями», «дедами», покровителями и защитниками живущих. Они спокойно лежали в земле, освящая ее.

Люди, умершие неестественной смертью, убитые враги становились мертвяками, «заложными» покойниками, упырями. Выходя из могил, они бродили по земле, губя живых и причиняя им вред.

Представления «об особой, но отчасти управляемой силе мертвяков-упырей» должны были возникнуть еще очень рано, еще в недрах охотничьего общества <...>, — пишет Б. А. Рыбаков в «Язычестве древних славян». — Погибшие неведомо где, побежденные вредоносными силами, очевидно, сами становились в глазах сородичей опасными представителями невидимых, предполагаемых врагов. В состав упырей попадали, по всей вероятности, <...> и «изверги рода человеческого» — преступники, изгнанные из племени и умершие вне племенной территории».

И вот вглядываясь в «Преступление и наказание», мы видим в Раскольникове человека, подошедшего к границе жизни. Кто-то чужой поселился в нем в момент убийства. Последние остатки жизни покинули его, когда занес он над головой старухи топор. *Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила.* Так он объясняет Соне страшный механизм перерождения: *«Разве я старушонку убил? Я себя убил <...>. А старушонку эту черт убил, а не я...».*

Из него постоянно выглядывает сидящий в нем бес: *укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил...* Огрели его на мостовой кнутом, а он *злобно заскрежетал и защелкал зубами.* Да разве это студент? Упырь, одно слово, упырь!

Ясно теперь, почему мать беспричинно боится его: *«боюсь, боюсь... какой-то он, господи!.. Вот ведь и ласково говорит, а боюсь! Ну чего я боюсь?..»* Так боится, что крестится со страху на лестнице, идя к сыну. Чего-то не договаривает, сама себе боится признаться. Не должна, коли подумать, бояться мать сына, пусть и мертвого. Страшит ее сидящее в его теле злобное неведомое существо.

Встречает беса, правда мелкого, и сам Раскольников. Придя в участок, чтобы сознаться в убийстве, наталкивается он на полицейского-прогрессиста (еще одна химера вроде крепостника-руссоиста), Илью Петровича, поручика Пороха. Но это бес до того уж ничтожный, что даже традиционной своей формулы, какой обычно должен встречать пришельцев, и той до конца договорить не в силах: *«А-а-а! Слыхом не слыхать, видом не видать, а русский дух... как это там в сказке... забыл!»*

Так завершается в «Преступлении и наказании» тема раскола, образованного человека, отколовшегося от почвы, от народа, от живой жизни. Он не просто мертв, он превращается в беса. Спрятанная в глубинах романа, эта тема звучит затем в полную силу в книге, которая так и названа — «Бесы».

5

Достоевский первым открыл и описал новый вид преступности. Он предсказал, что на смену преступлениям алчности выходят преступления б е с к о р ы с т н о с т и.

Опасны не одни только зависть и страсть к наживе. И они, эти привычные пороки эгоизма, падают под ударами эгоцентризма, вооруженного топором. Даже попытки «спасти» человечество оборачиваются для него бедой, если основаны на убеждении, что одному только спасителю известна истина.

Раскольников, убивая процентщицу, не мечтал обогатиться — он тоже, как и Соня, жертвовал собой, чтобы спасти близких (вы помните: к убийству его окончательно подтолкнуло известие о том, что Дуня выходит замуж за Лужина, чтобы избавить от бедности мать и брата). Ужасной оказалась эта жертва, подсказанная больным и расколотым сознанием, убежденным, что в нем одном и заключается истина.

В эпилоге «Преступления и наказания» Раскольникову приснился сон, в котором весь мир оказался одержим страшной болезнью — разумные микробы, «трихины» заразили людей каким-то фантастическим индивидуализмом. *Никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований.* Они полностью потеряли способность понимать друг друга, договариваться между собой, начались войны, грабежи, пожары, мор...

В нашем столетии сон этот сбывся и наяву он оказался, может быть, даже пострашнее, чем виделось Достоевскому. Крематории и лагеря массового уничтожения не пригрезились даже ему. Выяснилось, что эгоцентризм одиночек — не более чем обычная человеческая слабость в сравнении с коллективным эгоцентризмом, охватившим целые страны, народы и социальные системы.

Россия одной из первых приняла на себя его удары. Но одна ли она больна?

Те, кто с надеждой и восхищением смотрят на западный мир, не замечают, что и он одержим безумием коллективного эгоцентризма.

Предсказывал это не один Достоевский.

В середине нашего века Питирим Сорокин указывал на кризис важнейших аспектов жизни, уклада и культуры современного «цивилизованного» общества. Он констатировал: «Больны плоть и дух западного общества, и едва ли на его теле найдется хотя бы одно здоровое место или нормально функционирующая нервная ткань...» Он писал о том, что вопреки господствующему мнению, войны и революции не исчезают, а напротив, достигнут в XX веке беспрецедентного уровня, станут неизбежными и более грозными, чем когда бы то ни было ранее, что демократии приходят в упадок, уступая место деспотизму во всех его проявлениях, что творческие силы западной культуры увядают и отмирают...

Однако речь идет не о «закате Европы», не о гибели западной цивилизации, а кризисе, сопровождающем неизбежный переход от современной чувственной культуры, основанной на главном принципе: «**Объективная действительность и смысл ее сенсорны**», к грядущей и д е а ц и о н а л ь н о й культуре, зиждущейся на принципе **сверхчувственности и сверхразумности Бога, как единственной реальности и ценности.** Как доказывает Сорокин, эти две формы культуры чередовались несколько раз на протяжении истории западного мира. Нынешний кризис не означает полного исчезновения западной культуры и общества, но предвещает одну из величайших революций в культурной и социальной жизни. Переход от монархии к республике, от капитализма к социализму или наоборот, утверждает Сорокин, «совершенно незначителен по сравнению с заменой одной фундаментальной формы культуры другой»...

Действительно, нет никаких сомнений в том, что мы стоим на пороге новых горизонтов сознания. Пока оно лишь слабо брезжит где-то вдали, и здесь угадываются лишь его отсветы.

Каким оно будет?

Об этом сейчас мы можем лишь гадать, сверяя неизвестное с тем, что нам известно. Будущее бросает на нас свою тень, и мы пытаемся разглядеть ее, оборачиваясь в прошлое. Может быть, ему известно о будущем больше, чем нашему времени.

Прислушаемся к Достоевскому. Его пророчества слишком точно сбываются, чтобы могли мы ими пренебречь.

Ю. КАГРАМАНОВ

Украинский вопрос

175

Н ынешнее наше многоговение обо всем на свете оставляет почти незатронутой тему, которая, по идее, должна волновать россиян куда более многих других — российско-украинского «развода». Я не имею в виду технические вопросы, такие, как раздел Черноморского флота или заграничных валютных авуаров, возвращение (или невозвращение) ядерного оружия, распределение энергоносителей и так далее. При любом разводе возникает необходимость дележа имущества и еще ряд других, чисто практических вопросов, но разве не естественно в этой ситуации задуматься о самом главном: что было в основе брака — любовь или некое недоразумение?

Конечно, в данном случае все произошло слишком неожиданно; отсюда преобладающая реакция с российской стороны — немота, ступор. Мало того, что Украина «слиняла» при первой же представившейся ей возможности, сейчас уже из независимого Киева доносятся речи, для русского уха звучащие просто дико. Например, такие: «Столетия нашей совместной жизни в их (русских) государстве научили нас не доверять им, бояться их, а определенную часть нашего населения, особенно угнетаемую и преследуемую, — даже ненавидеть их» (писатель Дмитро Павлычко, ныне председатель Комиссии по иностранным делам ВС Украины в «Независимой газете» от 20.III.93.). Гром среди ясного неба!

В свое время Г. П. Федотов писал, что русская интеллигенция (не говоря уже о других слоях населения) несет один грех перед украинским национальным движением: она его не замечает. Если бы она была в этом отношении повнимательнее, то заметила бы, что отложение Украины в идеологическом плане исподволь готовилось давно и достаточно основательно. Другое дело, что «моментальность» перехода от «реального социализма» к реальному национализму вызвана политическими причинами, главным образом, конъюнктурными (и шкурными) интересами украинской партократии. Но без предварительной идеологической подготовки, проведенной теми, кого вчера называли диссидентами (в свою очередь, опиравшимися на дореволюционную традицию, после победы большевиков продолженную украинской эмиграцией), такой переход был бы вообще невозможен.

Психологические основы «самостийности» заложены еще в середине XIX века, когда зародился украинский культурнационализм, с самого начала имевший антивеликорусскую окраску. Не то чтобы русская интеллигенция его совершенно не замечала, но он представлялся ей чем-то малозначимым, периферийным в рамках самой украинской культуры (в равной мере это относится и к дореволюционной русской интеллигенции, и к тому, что осталось от нее в советский период). Попытка Украины стать независимой в 18-м году для нее — пренеприятнейший сюрприз. Характерна реакция М. Булгакова (в «Белой гвардии») — смесь иронии с недоумением: «Все говорят на украинском языке, все любят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей...»

Булгаковские персонажи, да, наверное, и сам Булгаков, не хотят видеть того, что здесь «есть проблема». И что проблема эта не вдруг возникла. Достаточно сказать, что у самого знаменитого из украинцев Тараса Шевченко неприязнь к москалям — одна из основных тем (издатели, особенно в советский период, позаботились о том, чтобы скрыть от читателя наиболее антивеликорусские его стихи). Даже облаканный в революционно-демократических кругах Петербурга, он не изменил себе сколько-нибудь существенно

в этом смысле: не только царизм был ему отвратителен, как считали его русские друзья и покровители, но и москаль как таковой для Шевченко — «чужой чоловік» уже в силу своих национальных особенностей.

Антивеликорусские настроения кобзаря иногда объясняют тем, что в юности он был влюблен в польку, которая оказала на него соответствующее влияние. Так это или нет, гораздо важнее другое обстоятельство, тоже не лишенное некоторой интимности: у самой «неньки Украины» был продолжительный, растянувшийся на несколько столетий «роман» с Польшей. Русских всегда как-то мало интересовала судьба той части Киевской Руси, которая стала называться Малороссией (а со временем приняла не то польское, не то казачье имя Украины) и которая вскоре после монгольского нашествия подпала под власть сначала Литвы, а затем Польши, — до той поры, пока она не воссоединилась с северо-востоком, который стал называться Великороссией. «Польский» период представлялся и представляется малозначительной «интермедией», не нарушающей стройности исторического действия, суть которого в «братском единении» украинского и великорусского народов. Сами украинцы, похоже, так не считают.

Другая, распространенная ошибка (не только к Украине относящаяся) — недооценка исторического прошлого как «участвующего» в настоящем. Хорошо сказал Г. К. Честертон: тот, кого в театре интересует выстрел или объятие, может прийти перед самым занавесом, но если вы хотите знать, кто кого убил, кто кого целовал и почему, вы должны посмотреть пьесу с самого начала. Нельзя понять душу народа или его, как теперь предпочитают говорить, ментальность, не зная его истории. Для Украины близость с Польшей имела слишком серьезные последствия, чтобы допустимо было сбрасывать ее со счетов «за давностью лет» (я сейчас не имею в виду Западную Украину, входившую в состав Польши еще сравнительно недавно, до 1939 года). Можно говорить о раздвоенности украинской души, не утратившей со времен Киевской Руси ощущения родства с Великой (и Белой) Россией, но и заглядывающей в польскую сторону.

А как же вековая вражда, стоившая такой большой крови и украинцам и полякам? Целые украинские села и слободы, стертые с лица земли вместе со всеми своими обитателями, умученные православные монахи и монахи, гетманы, живьем замурованные в стену или зажаренные в медных быках? Все это было (как и подобные же, несколько не меньшие жестокости противной стороны). Но и тяга к Польше была тоже. Ее выдал такой, в общем, вполне прорусски настроенный украинец, как Гоголь, создав Андрия («Тарас Бульба»), очарованного сразу и панночкой, и звуками органа в костеле, и даже польскими витязями, что в его глазах «один другого красивей». Правда, Андрий у Гоголя — «отрицательный» герой, противопоставленный своему «положительному» брату Остапу, прямодушному воину, «разговаривающему» с проклятыми ляхами только саблём да пулей. Но я, например, несколько не сомневаюсь в том, что и в Андрия писатель вложил часть своей души (это было замечено еще современниками Гоголя, а в недавнее время — В. Солоухиным, усмотревшим у него тайную любовь к католической Польше)¹. Остап и Андрий — как бы два выражения украинского лица, когда оно обращено к Польше.

Привлекательность Польши в том, что она является частью иного, западного мира; притом это очень своеобразная его часть, со своим характером, в котором есть и нечто общеславянское, а значит, родственное. Не только украинцы, но и русские люди порою к нему неравнодушны: если не слишком углубляться в историю (в XVII веке, к примеру, в окружении царя Алексея Михайловича полонофильство, в культурном смысле, стало хорошим тоном), а ограничиться XIX веком, то это Глинка во втором акте «Жизни за царя» и, наверное, Мусоргский в «Борисе Годунове» (должно быть, сыщутся и литературные аналогии, но мне они что-то не приходят в голову).

Русской интеллигенции пора открыть для себя (и для России) украинцев «с другого боку». Это во-первых. Во-вторых, пора ей отдать себе отчет в том, что отталкивало и отталкивает их от великороссов. В основе разномыслия (или разночувствия) двух ветвей восточного славянства — различие исторического опыта в период после крушения Киевс-

¹ Еще сильнее подобная раздвоенность у другого русского писателя, тоже украинца по национальности, — Короленко. В детские годы в нем сидел, по его признанию, «зародыш польского шляхтича восемнадцатого века, гражданин романтической старой Польши, с ее беззаветным своеволием, храбростью, приключениями, блеском, звоном чаш и сабель» («История моего современника»). И если со временем, как пишет Короленко, «москаль» в нем перетянул «ляха», то это произошло, главным образом, благодаря знакомству с великой русской литературой.

кой Руси. Украина (то есть то, что позднее стало называться Украиной) познала страшное монгольское нашествие, но не познала ига. От ига ее оберегла Литва, которая в XIII—XIV веках присоединила к себе большую часть украинских земель и в XVI веке сама была ассимилирована Польшей (Галиция вошла в состав Польши уже в XVI веке). Напротив, великороссов опыт ига в значительной мере *перестроил*; деформировал, если угодно — ибо приучил их в буквальном смысле «бить челом» перед властью преобладающей, чего не знала Киевская Русь, где объем свобод был примерно на европейском уровне и в зачаточной форме уже существовали кое-какие демократические институты. О том, насколько глубоко ордынское прошлое впечаталось в душу великорусского народа, свидетельствует феномен сталинщины, означавший — в плане государственного устройства и прав личности — никем из дореволюционных наших прозорливцев не предвиденный откат на несколько столетий (если не тысячелетий) назад.

Поэтому и переход Украины под руку русских царей ни в коем случае не следует изображать идиллически. Рука у русских царей была тяжелая; и многие из тех обвинений, которые им адресовали и адресуют «самостийники», вполне оправданны. Для украинцев, еще сохраняющих память о киевских вольностях и уже познакомившихся с кое-какими понятиями из области прав человека, пришедшими с Запада, непривычна была та жесткость и порою жестокость, с какою Москва, а потом Петербург навязывали им свою волю. Есть доля истины в том, что говорит Дмитро Павлычко: «Петр I, этот первый большевик, с ленинским лицемерием... то есть во имя «защиты простого народа от произвола местных властей», учредил имперскую систему судопроизводства на Украине; вместо демократических европейских традиций, вместо магдебургского права стало господствовать право сильного, более близкого трону». Непривычной была жесткая опека и для казачества, которое, вообще-то говоря, приносило Украине немало вреда, а вместе с тем всему населению показывало пример личной независимости, даже несколько утрированной (опять же, не без влияния польской шляхты). Тем более, что, в отличие от русских казаков, селившихся отдельно от основной массы народа (по Дону, Яику и так далее), украинские большую часть времени жили в обычных селах и слободах.

Поэтому и выступления против московско-петербургской власти на Украине следовало бы оценивать не по одной-единственной шкале «вместе с Россией — или против нее». Это относится и к самому известному из них — заговору Мазепы. Хрестоматийное представление о нем, как об изменнике, лишает его фигуру некоторых существенных нюансов. Мазепа ведь не потому восстает против царя Петра,

Что презирает он свободу,
Что нет отчины для него.

Отчасти даже наоборот. Пушкин в данном случае, как и в некоторых других (к счастью — немногих), проявил односторонность. «Нельзя смотреть на Мазепу, — писал Федотов в статье «О Мазепе» (1938) — как на демонического героя «Полтавы». Его заслуги, хотя бы перед культурой Украины (то есть России), его великопленные киевские церкви требуют амнистии его политической ошибки. Ведь не судим мы князя Курбского за измену. Современная Британия давно уже приняла в свой Пантеон шотландских героев, боровшихся против Англии столько веков. Британия не Англия, а нечто высшее. Россия не Московия, и даже не Петербургская империя.»¹ К последней фразе, несколько загадочно звучащей, я еще вернусь, а что касается Мазепы, то пора хотя бы сейчас, когда мы даже на генерала Власова (русского, изменившего русским, и с кем — с фашистами!) смотрим несколько иными глазами, видеть в нем не только изменника².

Примечательно, что с присоединением Украины к России и еще больше с распадом самой Речи Посполитой тяга к Польше не уменьшилась, едва ли даже не усилилась. Так, историки относят реполонизацию Киева (прочно закрепленного за Россией в середине XVII века) к первой трети XIX века! То есть к периоду, когда большая часть самой Польши уже попала под скипетр русских царей. Такова была реакция местной

¹ Г. П. Федотов. Защита России. Париж, 1988, с. 210.

² Самого Гоголя, которого трудно заподозрить в украинском национализме, по поводу заговора Мазепы, видимо, грыз червячок сомнения. Иначе как объяснить следующее его замечание, «спрятанное» в малоизвестных «Материалах по истории Украины»: «...Чего можно было ожидать (от царя Петра. — Ю. К.) народу, так отличному от русских, дышавшему вольностью и лихим казачеством, хотевшему пожить своей жизнью? Ему угрожала утрата национальности, большее или меньшее уравнивание прав с собственным народом русского самодержца».

знати на политическое усиление Петербурга: в пику ему она отдавала предпочтение польскому языку и польской культуре перед русским языком и русской культурой. Как видим, «домашний, старый спор» не ограничивался полями брани, но переносился также и на почву культуры.

Когда к середине XIX века на Украине выросла своя интеллигенция, националистическая ее часть проявила обоюдоевразядность равно в отношении русских и поляков; в то же время в культурном отношении она ориентировалась преимущественно на Польшу. Те, кто создавал из местной «мовы» украинский литературный язык, постоянно обращались к словарю польского, а отнюдь не русского языка. Даже гимн украинских националистов «Ще не вмерла Украина» был «скалькирован» со знаменитого гимна «Еще Польша не згинела». Центром национального возрождения становится не Киев, а Львов, главный город Галиции, которая в XIX — начале XX века принадлежала австрийцам и где поэтому на глубокую полонизацию (Галиция, или Галичина — наиболее ополяченная часть Украины) сверху наложилась еще и германизация (известно, какую роль сыграл Львов также и в нынешнем движении к «самостийности»).

В большой мере в этом повинен сам Петербург, от политики терпимости в национальном вопросе, проводившейся при Александре I и даже еще при Николае I, перешедший к политике насильственной русификации западных областей империи. Вехой здесь стало польское восстание 1863 года. После его подавления волны репрессий обрушиваются не только на Польшу, но и на подозрительно близкую к ней Украину. В первую очередь было распущено научно-просветительское Общество св. Кирилла и Мефодия, основанное в 1847 году П. А. Кулишом и Шевченко. Запрещен был выход книг, в которых история Украины освещалась с позиций, существенно расходящихся с официальной. Несколько позднее специальными правительственными постановлениями было запрещено употребление где бы то ни было, кроме как в быту, украинского языка, квалифицированного, как «мужичкий», «хохлацкий» и «подлый». В результате всех этих действий осталось лишь одно место, где украинский культурнационализм еще мог дышать полной грудью — находящаяся за пределами империи Галиция; естественно, что усилился его «галицийский акцент», сохраняемый по сей день.

Все сказанное, однако, не означает, что Украина была лишь «хитростью и силой втянута» (тот же Павлычко) сначала в Российскую империю, а затем в советскую. Насчет советской возражать не буду, а вот первую часть этого утверждения можно объяснить только предвзятостью. Да, московским боярам хитрости было не занимать (в орде научились) и сила у царей кое-какая была, но вряд ли им удалось бы «втянуть» Украину, если бы не существовали для этого определенные предпосылки. Во-первых, со времен Киевской Руси сохранялось еще чувство единства всех восточных славян. Во-вторых, что особенно важно, основная часть украинцев исповедовала «русскую веру», то есть православие (слово «русский» не было синонимом «великорусского» и относилось также к украинцам и белорусам). Как пишет известный украинский историк И. И. Лаппо, «преследования «русской веры» в Речи Посполитой привели... к кровавым восстаниям русских (то есть православно-украинских. — Ю. К.) народных масс, к отделению в середине XVII века Киевщины с переходом ее к Московскому государству и выросшей из него Российской империи, на протяжении XVII и XVIII столетий.»¹ Можно, конечно, этому суждению историка противопоставить контрсуждение какого-нибудь другого историка, но ведь есть факты, которые нельзя отрицать: а) религия в те времена играла очень большую роль, большую, чем культура (да и сейчас она кое-что значит); б) польско-литовские паны, католики по вероисповеданию, для православных украинцев были чужаками, если не врагами, поэтому желание перейти под руку московского царя было естественным, даже неизбежным (поскольку о независимости тогда не могло быть и речи: приходилось лезть или в польский «кузов» или в московский — другого выбора не было). По крайней мере для XVII века это основные тона в общей картине украинско-польских и украинско-русских отношений, все остальное — обертоны.

Да и воссоединение Украины с Россией в советский период (после кратковременного периода независимости) логично объяснить не только и даже не столько политикой большевиков (какова бы она ни была), сколько продолжающимся действием естественных-исторических связей.

Много предвзятого и в том, как рисуют положение Украины в составе империи.

¹ И. И. Лаппо. Западная Россия и ее соединение с Польшею. Прага, 1924, с. 183.

Само понятие «империя» стало едва ли не бранным словом в устах всех националистов, да и многих российских демократов тоже. Спору нет, есть за что ее и костить, и гвоздить — даже если иметь в виду империю дореволюционную; и уж тем более — советскую, представлявшую собою, по сути, злую карикатуру на свою предшественницу. Но не следует перегибать палку в другую сторону. Лишь по недоразумению можно считать имперское мышление каким-то специфическим вывихом русского ума, как это делает, например, гарвардский профессор Омелян Прицак (кажется, переселившийся теперь на Украину). Не считая нужным особенно углубляться в этот вопрос, он утверждает, что «по своей модели русские — кочевой народ. Они не слишком обращали внимание на окружающий их мир, вечно стремились в иное пространство. Поэтому, а не только по политическим причинам, многим из них до сих пор снится империя. Ведь не где-нибудь, а в России государство объявило себя Третьим Римом и заявило, что четвертого не будет.»

Все-таки русские — более оседлый, чем кочевой народ. Другое дело, что известный кочевой народ продолжительное время оказывал на него дурное влияние, о чем я уже говорил. И все же: не «Вторым Сараем» названа была Москва, а Третьим Римом! Идея-то пришла с Запада. Европейцы Средних веков и начала Нового времени считали себя наследниками Первого Рима; для них это было чем-то само собой разумеющимся, не нуждающимся в доктринальном оформлении. Прав был Тютчев, написавший, что идея Империи «была душою всей истории Запада»¹. Речь идет именно об идее, потому что оба ее позднейших воплощения — империи Карла Великого и Оттона I — удались лишь частично. Только в XIX веке, когда на смену ей пришла национальная идея, империя перестала быть в Европе единичным понятием; возникают национальные или многонациональные империи, генетически уже не связывающие себя (по крайней мере, официально) с Римом. Но вот на исходе XX века национализм почти укрощен (речь по-прежнему идет о западной части нашего континента) — и что же? Европейцам опять «снится» империя в ее прежних, «римских» очертаниях: историки, политологи, культурологи, экономисты, юристы обращаются к ее истории (особенно к истории Священной Римской империи германской нации), видя в ней отдаленный прообраз нынешнего Европейского сообщества.

Уподобление царства, хоть и относительно большого, но малолюдного (население Московии, скажем, при Василии III — намного меньше населения Франции), а главное, расположенного на периферии европейской цивилизации и уже сильно отставшего в экономическом и культурном отношении, Третьему Риму было актом, как мы сегодня скажем, весьма амбициозным. Оно осталось бы историческим курьезом, если бы не было поддержано делом. Сейчас, оглядываясь на пройденный путь, видишь, что концепцией Третьего Рима была угадана задача вселенского масштаба, предопределена «высота полета», уловлено явление некоего духа, заставившего народ «подтянуться» и начать «работать» в определенном направлении. Ибо если верно, что у каждого народа есть свой дух (*Volksgeist*, по формуле «открывшего» его И. Гердера), не менее, если не более, верно другое: дух формирует народы.

Конечно, как и все земные учреждения, Российская империя остается феноменом очень неоднозначным. Не так просто восстановить историческую перспективу, где были бы учтены хотя бы основные ее плюсы и минусы. Есть немалая доля истины в «Истории одного города» Щедрина — кривом зеркале, отразившем, однако, лишь то, что уже было криво в самой действительности. Но, вероятно, не меньшая доля истины и в одах Державина и других «сладкогласных» одописцев, славивших коронованных «матушек», между прочим, и за покровительство «служителям Парнаса». Культура тоже ведь нуждается в некоем геополитическом обеспечении. Кабы не «крыша», созданная империей, еще неизвестно, родился бы у нас Пушкин и вся великая русская культура, которую он «потянул» за собою; а значит, неизвестно, появился ли бы и сам Щедрин с его кривыми зеркалами.

Вернемся к Украине. Кроме того, что империя оградила ее православное большинство от религиозных преследований, она сделала и другое, пожалуй, еще более важное дело: покончила с Дикой степью, со времен Киевской Руси постоянно грозившей славянскому населению разорительными набегами. Речь Посполитая ставила перед собою эту геополитическую задачу, но ни на йоту не продвинулась по пути ее решения; а смелые вылазки казаков, вроде знаменитого Богуна, доходившего едва ли не до Бахчисарая, для

¹ Литературное наследство. Т. 97. Кн. I, с. 222.

крымчаков были все равно что булавочными уколами. Лишь в результате нескольких победоносных кампаний Румянцева и Суворова

Края азийски потряслись;
Упали царствы под рукою...

Потенциальный противник был отброшен аж на противоположный берег Черного моря, а Украина «приросла» Новороссией — обширными пространствами плодородной земли между Северным Донцом и Дунаем. (Когда Украина заявила о своей независимости, не только в ура-патриотическом, но и в демократическом лагере раздались голоса, оспаривающие ее права на Новороссию. Действительно, Новороссия была завоевана не украинцами или, точнее, главным образом не ими; да и сейчас там больше говорят по-русски, чем по-украински. Но в географическом смысле она настолько естественно примыкает к Украине, что вряд ли правомерно поднимать этот вопрос).

Империя дала Украине мир. В продолжение двух столетий после изгнания Карла XII ни одна война не велась на ее территории. Причем в последнее из этих двух столетий Россия вообще не вела «больших» войн (разве что Крымскую, да и та была локализована на «пятачке» вокруг Севастополя).

«Самостийники» не любят задумываться над такого рода вопросами: не хочется признавать, что «их» (великороссов) империя что-то дала Украине. Тогда поставим другой вопрос: в какой мере империя была для украинцев «чужой»?

Ну, во-первых, идея Третьего Рима, сформулированная иноком Филофеем, как считают, генетически восходит к Владимиру Мономаху, Великому князю Киевскому. Легко предположить, что, не будь татаро-монгольского нашествия и последовавшего за ним перемещения «энергетического центра» Руси на северо-восток, именно Киев объявил бы себя преемником Константинополя после того, как последний был взят турками в 1453 году¹. Москва сделала это как бы «за него», продолжив его дело.

Но обратимся ко временам значительно более близким. То, что присоединение Украины к России в 1654 году совпало с началом церковных реформ — вероятно, простое совпадение. Но есть в этом совпадении нечто символическое: ведь именно украинцам суждено было сыграть в реформированной русской церкви очень большую, даже ведущую роль, которую они удерживали на протяжении всего XVIII века и, возможно, первой половины XIX. Такое их выдвижение объясняется просто: сутью реформ, проведенных патриархом Никоном, было упорядочение православного учения и богослужения, что в большой мере было ответом на «вызов» рационалистического Запада, а украинские церковники, по понятным причинам, гораздо лучше чувствовали этот «вызов» и были лучше подготовлены к тому, чтобы на него откликнуться. Да и с греческой церковью, на которую равнялся Никон, Киев имел тогда значительно лучше налаженные связи, чем Москва.

Известно, что основным смыслом церковных реформ (задуманных и начатых еще прежде Никона, в царском дворце) было укрепление империи. Реформы Никона предварили реформы Петра I, которые без них вряд ли были возможны; церковь должна была прежде заговорить «по-гречески», чтобы Петр мог заговорить «по-голландски». Но украинцы не только косвенно — через церковь — поучаствовали в деятельности Петра, но и непосредственно: так, выпускники Киевской академии возглавили реформу образовательной системы², вообще содействовали распространению европейского просвещения и культуры (что не удивительно, если учесть, что Киевская академия была также центром музыкального и театрального искусства). Некоторые из них поучаствовали и в деле государственного строительства, а Феофан Прокопович, который, как бы к нему ни относиться, был незаурядным религиозным и политическим мыслителем, фактически сделался ведущим идеологом петровской эпохи, «разработчиком» множества указов по самым разным вопросам государственной жизни. Им также написана, специально по

¹ Представляется достаточно оправданным мнение украинского автора: «...Великий город пал едва ли не в самом начале своей бесспорно грандиозной исторической миссии, предположительно охватывающей всю Восточную Европу. Смерть его можно сравнить с безвременной гибелью полного сил отрока при самом его вступлении в пору созревания». (Вадим Скуратовский. Как по улицам Киева-Вия. — «Наше наследие» № 2, 1988).

² Вот красноречивый факт: в период с 1701 по 1775 год из 19 ректоров Московской славяно-греко-латинской академии, ставшей «кузницей кадров» не только для церкви, но и для светских учреждений (из ее стен вышел Ломоносов), 15 были выпускниками Киевской академии (Н. А. Шип. Русско-украинское культурное сотрудничество в XVIII — первой половине XIX века. Киев, 1988, с. 7).

требованию царя, «Правда воли монаршей», ставшая, по сути первым в истории России юридическим трактатом, соответствующим уровню европейского теоретического мышления; Ключевский назвал ее краткой энциклопедией русского государственного права.

В 20-х годах все эти факты дали основание (или повод) известному филологу и «евразийцу» кн. Н. С. Трубецкому выступить с концепцией, не лишенной некоторой сенсационности. В статье «К украинской проблеме»¹ он утверждал, что петербургский период русской истории явился продолжением и развитием не столько московских, сколько киевских традиций; ибо московские к началу царствования Петра уже дышали на ладан. Империя нуждалась в киевской «вылощенной учености западного образца»; в результате произошла «украинизация великорусской духовной культуры». Трубецкой также считал, что великороссы притягивали и притягивают украинцев своей «государственностью большого стиля», а украинцы великороссов, наоборот, духом свободы и государственным «минимализмом»; хотя он и признавал, что, кроме взаимного притяжения, между ними всегда имело место также и взаимное отталкивание.

Надо иметь в виду, что Трубецкой, подобно другим «евразийцам», был сторонником «единой и неделимой» (в каком-то обновленном, соответствующем пореволюционным реалиям варианте), поэтому ему «выгодно» было представлять империю скорее украинской по духу, чем великорусской: тем самым «снялся» вопрос об отделении Украины, ибо какой же ей смысл отделяться от «украинской» империи? Отсюда очевидная гиперболизация киевской «компоненты» в духовном составе империи и недооценка московской. Но этой гиперболизацией Трубецкой объективно привлек внимание к факту, дотоле остававшемуся в тени, а именно, что Киев сыграл чрезвычайно важную роль на переходе от московского периода к петербургскому.

Русский историк А. А. Салтыков, разойдясь с Трубецким в некоторых вопросах украинско-русских отношений, поддержал основную идею его статьи, только придал ей, как и следовало, более скромные пропорции. Он, однако, указал на то, о чем у Трубецкого нигде внятно не говорится: в духовном составе самой Украины (на переходе от XVII века к XVIII) следовало бы различать «поздние отблески древнего сияния Киевской державы», новую украинскую «этничность» и западные культурные влияния. По суждению Салтыкова, «киевская образованность, да и вообще все шедшие в Московию из Украины многочисленные токи, были ценны для Москвы и для зарождающейся российской нации не своими этническими, специфически украинскими излучениями, а главным образом, заключенным в украинской культуре западным, европейским духом. Этот дух и возвратил России ее древнее европейское выражение, ее древнее европейское лицо, в значительной степени утраченные в Москве»². Здесь можно возразить, что новый европейский дух не вполне соответствовал европейскому лицу древней Киевской державы, но сейчас для нас важно другое; во второй половине XVII — начале XVIII века (а применительно к церковной жизни — до конца XVIII века) Украина выполняла, главным образом, функцию «шлюза», через который западные влияния шли в Россию.

Естественно, что, прорубив «окно в Европу», Россия все меньше нуждалась в киевском посредничестве. Постепенно Украина превращалась в ту провинцию — очень живописную, чем-то даже более привлекательную, чем сама Великороссия, но все-таки провинцию, — что открывается в «Диканьке» и «Миргороде» раннего Гоголя. Но если в Москве или Петербурге гоголевские пасторали (вперемежку с бурлеском и «страшной сказкой») вызывали умиление, то на Украине они в скором времени кое-кого стали раздражать; ибо здесь уже зрело нечто новое — болезненное переживание своей провинциальности.

Когда национальная идея, которую Европа породила на пороге XIX века (и которую на пороге XXI она же и убивает), достигла малороссийских пределов, определенная часть местной, немногочисленной тогда культурной верхушки стала примерять ее к родным палестинам и обнаружила у себя «недостачу»: язык есть (хотя еще и не литературный), фольклор есть, вообще «этничность» налицо, но сколько-нибудь сложной культуры нет и, что самое главное, нет традиций государственности, а значит, и соответствующих исторических фигур; национальная идея — это ведь идея нации-государства, а не просто этнической общности без политического «оформления».

В помощь было призвано казацкое прошлое, по-своему действительно яркое, часто героическое; ревнители «самостийности» стали бредить Дикой степью, червонными

¹ Евразийский временник. Кн. V. Париж, 1927.

² А. А. Салтыков. Евразийцы и украинцы. Ужгород, 1930, с. 25.

и золотыми жупанами, дальними походами и жаркими сечами во славу «вильной Украйны». Они только не могли договориться между собой, считать ли казачество украинской разновидностью шляхты (витязей, что «один другого красивей») или прообразом грядущей, демократической Украины. Увы, как показали историки (включая даже такого «самостийника», как П. А. Кулиш), ни то, ни другое не выдерживало критики. Ни по своему положению в обществе (или вне его), ни в культурном отношении казачество никак не может считаться аналогом шляхты. С другой стороны, демократическим (или хотя бы протодемократическим) его подобает называть лишь в кавычках: запорожские сечевики, какими они были в XVI—XVII веках, по сути, представляли собою разбойную вольницу, славную не только дальними походами, но и тем, что под горячую руку она грабила и истребляла собственный, малороссийский народ. И надо было обладать большим воображением, чтобы увидеть в ней носительницу украинской государственности. О какой государственности может идти речь, если самого гетмана дозволено было в любой момент поднять на пики!

Казачество не могло заместить то, чего на Украине никогда не было. Ведь с того момента, как она перестала быть частью Киевской Руси, у нее действительно не существовало собственной государственности, даже в слабой форме, скажем, региональной автономии (если не считать казачью автономию). Не было у нее и своего, национального дворянства, еще не так давно представлявшего собой единственную социальную группу, в лоне которой могла существовать сложная культура (не одним украинцам с этим «не повезло»: в таком же положении были и белорусы, латыши, эстонцы, а также финны, словаки, хорваты и некоторые другие народы; даже у англичан на протяжении четырех столетий аристократия была франко-норманнская, и если бы она сама себя не истребила в войнах Алой и Белой Розы, трудно сказать, как развивалась бы английская культура).

Отсюда уязвленность «самостийника», «вычитывающего» в лице русского (великоросса), когда оно к нему обращено, снисхождение, насмешку, даже тогда, когда на самом-то деле их и нет (о чем русский, как правило, не подозревает). Даже имя «Украина», как говорят, вытеснило «Малороссию» потому лишь, что последнее заведомо «умаляет» ее обитателей. А ведь историками установлено, что разделение России на Великую и Малую пришло в XIV веке из Византии, где оно не имело оценочного смысла: греки привыкли называть Малой ближнюю часть Греции, а Великой — дальнюю (Юг Италии); подобным же образом различали Малую и Великую Азию. (Можно также вспомнить, что в Великобритании — по-английски Great Britain — в период, когда существовала Британская империя, последнюю называли иногда Greater Britain — «большая» или «более великая Британия»).

Эта уязвленность никогда никуда не исчезала и тотчас же дала о себе знать, едва только для этого представилась возможность. К примеру, Артемий Левченко в небольшой, но содержательной статье «Русско-украинские хлопоты» («Независимая газета» от 13.XI.92), обращаясь к теме «неартикулируемых предпосылок» русско-украинского разговора (что само по себе представляется в высшей степени своевременным), выдвигает на первое место «русскую традицию смеяться над Украиной и украинским». «В XVIII — XIX веках, — пишет Левченко, — в России складывается представление об Украине как о смешном месте, о малороссийском — как о бурлеске, пародии на великорусское. Замечательно в этом отношении слово «оперетка», на все лады повторявшееся булгаковскими героями — и повторяемое на все лады теперь, когда украинская государственность опять строится заново. Думаю, не Булгаков это словечко придумал — можно себе представить, как естественно оно звучало в устах завсегдатаев оперных театров. Зипуны и армяки на сцене — это большая опера: «Хованщина», «Жизнь за царя»... Свитки и шаровары — в лучшем случае «Запорожец за Дунаем». Российская государственность со всеми ее атрибутами представляется из этих лож освященной вековой традицией, внушающей трепет и благоговение; украинская — с бунчуками, булавами, головами, галушками и прочими неразличимыми для имперца атрибутами — вызывает насмешку».

Левченко выделяет одну-две нотки, тем самым нарушая в целом «мелодию» отношения русского к украинцу, которая — нельзя этого отрицать — всегда была теплой, сочувственно-родственной. Для сравнения: в польском взгляде на украинцев то и дело посверкивает холодное высокомерие. Читайте «Огнем и мечом» и «Пан Володыёвский» Генрика Сенкевича, самые известные художественные произведения на тему «поляки на Украине».

А бунчуки и булавы, вопреки тому, что думает Левченко, вовсе не кажутся смешными сами по себе; другое дело, что как символы государственности они воспринимаются лишь с большой натяжкой. Что касается булгаковских героев, то они в своем восемнадцатом году, наверное, имели основания иронизировать на сей счет: возобновление давно прерванной традиции, если брать ее внешнюю сторону, в любом случае рискует обернуться фарсом, а в травестиях новоиспеченного гетмана Скоропадского (бывшего командира Императорского лейб-гвардии кавалерийского полка, спешно натянувшего зеленые шаровары и засевшего за учебник украинского языка) и «демократа» Петлюры эта возможность реализовалась в полной мере; добавлю, что Петлюра, ожививший старую гайдамацкую «идею» («бить всех панов, а заодно и жидов») достаточно последовательно сочетал с фарсом гиньоль.

В тоне Левченко пишет и Марина Новикова в статье «Киев: город и миф» (киевский журнал «Новый круг» № 1 за 1992 год). Здесь «засмеянным» представляется Киев: «Редко какая «мировая» столица была столь яростно атакована ухмыляющимся, паче того, дьявольски ослабившимся «буффом», прозой «безбытийной» обыденщины, планомерно внедряемым со стороны империи "хуторянством"». Я задумался было над тем, кого конкретно имеет в виду автор (уж не самого ли Гоголя?), как несколькими строками ниже последовало некоторое уточнение: Новикова говорит о попытках «снизить его (Киев), ополшить, низвести до «коровьевской» фарсовости». Опять Булгаков явился во облаке! Между прочим, уместно вспомнить, что до «коровьевской» фарсовости низведен был не Киев, а Москва, и сделал это не кто иной, как киевлянин (хоть и русский по национальности). Уместно также вспомнить, что главный город Украины, как никакой другой восточнославянский город, славился своими колдунами и ведьмами (Киев — «Иерусалим земли русской», но тут же и Лысая гора — восточнославянский Брокен), что позволяет выстроить некую гипотезу относительно того, откуда названный киевлянин «выписал» целую свору нечистой силы, которой он сбил с панталыку (куда как уместно сочное украинское выражение!) столицу великой и могучей советской державы.

А если серьезно... Я уже говорил о некоторой слепоте Булгакова: он не разглядел, что сводить украинский национализм (я употребляю сейчас это слово в нейтральном смысле) к «оперетке» и несправедливо и нереалистично. Впрочем, это не лично его грех, а той «естественно имперской» среды, к которой он принадлежал. Но я что-то не помню, чтобы Булгаков где-то погрешил против своего родного города. Скорее наоборот — опозитизировал, хотя и в своей специфической манере, не без усмешки. В очерке «Киев-град», например, это, прежде всего прочего, «город прекрасный, город счастливый» его дореволюционной молодости. Тихий, обаятельный, утопающий в своих знаменитых садах, провинциальный... Да, провинциальный, но что делать, если он и был таким на самом деле.

Относительный провинциализм Украины, оказавшейся в поле действия двух более сильных культур, русской и польской, — результат сцепления исторических обстоятельств, в котором Россия (Великороссия) вряд ли повинна. Так или иначе, это объективный факт, по сути своей драматический, а отнюдь не комический. Драма в том, что в свое время именно Малороссия явилась месторазвитием (как сказали бы евразийцы) восточнославянской цивилизации, а Киев был и в самом деле городом «мирового значения», когда ни Москвы, ни Варшавы еще не существовало на карте. Причем это драма не только украинской культурной верхушки, которой пришлось мириться со своим провинциализмом, но и всего восточного славянства: был обрублен ствол, обещавший вырасти в пышное дерево и принести плоды, возможно, еще более значительные, чем те, что созрели на почве Москвы и Петербурга.

Что возобладает в отношениях между Украиной и Россией в ближайшем будущем — силы притяжения или силы отталкивания? В значительной мере это зависит от того, как будет осмыслено их прошлое, какие воспоминания перевесят — сближающие или разделяющие. Но памятуя о бывшем, почему бы не подумать также и о несбывшемся — о том, что в силу тех или иных причин не реализовалось? Полагаю, что именно в таком смысле надо понимать фразу Федотова, что Россия не Московия, и даже не Петербургская империя: Россия есть не только то, чем она стала, но и то, чем в тот или иной исторический момент обещала стать. История полна нереализованных возможностей, иные из которых еще не поздно реализовать. Конечно, мы живем в такое время, когда трудно замахиваться на что-то большое, не рискуя показаться смешным — дескать, не до

жиру, быть бы живу, но ведь именно в такие времена, когда все рушится, освобождается творческое воображение, без которого история, как цирковой конь, кружилась бы на одном и том же месте. Так почему бы не предположить, что возможна какая-то новая форма объединения Украины с Россией (в том, что подавляющее большинство россиян желают его, нет никакого сомнения), основанная на селективном, так сказать, подходе к общему наследию, на возбуждении позитивных духовных связей, испокон веков существующих между двумя народами.

Я никоим образом не преуменьшаю значения экономических факторов. Кстати, они сейчас работают как раз в направлении сближения Украины с Россией. Уже во второй половине 1992 года разрыв прежних хозяйственных связей самым негативным образом начал сказываться на украинской экономике и в настоящий момент — я пишу эти строки в июне — привел ее к глубокому кризису. В направлении сближения с Россией работают также некоторые факторы геополитического ряда: в черноморской зоне, например, Украина может остаться один на один с Турцией, примерно равной ей по «весовой категории» державой, где два миллиона потомков крымских татар, если верить газетам, мечтают вернуться на свою «историческую родину» (сколь ни маловероятной представляется сегодня такая возможность, нельзя ее совершенно сбрасывать со счетов). Но ни экономикой, ни геополитикой не склеить того, что разбито. Новое объединение, если таковое станет возможным, должно быть основано не на расчете, а на общих влечениях и привязанностях. Всякое существо есть то, что оно любит, заметил В. С. Соловьев, и это столько же относится к целым народам, сколько к отдельным людям.

Но возобновятся ли «семейные» отношения или нет — решать Украине. Уже сейчас там складываются два противоположных взгляда на данный предмет; один из них прорусский, другой условно назовем галицийским. Нетрудно предвидеть, что первый возобладает в бывшей Слобожанщине и, возможно, в Новороссии, второй — в Галиции и некоторых других западных областях. Все будет зависеть от того, что скажет основная часть Украины, ее исторический heartland. От русских же (или россиян) сейчас требуется только одно: понимание и готовность к диалогу.

Есть, правда, возможность сделать решительный шаг навстречу украинцам: а именно, предложить им объявить Киев столицей новой восточнославянской федерации (к которой скорее всего присоединилась бы и Белоруссия). Эта «странный» идея забрезжила уже в прошлом веке. Я знаю, например, что фельдмаршал А. И. Барятинский, главнокомандующий на Кавказе, и автор ряда смелых политических проектов, высказывал ее Александру II (мне, к сожалению, не удалось выяснить, чем он ее мотивировал). В 20-х годах нашего века, в эмиграции, ее поддержал известный публицист кн. А. М. Волконский, видя в ней средство обуздать разыгравшийся украинский национализм, но также и обновить «умытую кровью» Россию; «...говорю о Киеве — столице, — писал Волконский, так как не исключена возможность, что он заслужит эту честь, что из него же вновь «пойдет» русская земля». «На другой день» после распада СССР автор этих строк (тогда еще ничего не ведая о своих знатных предшественниках) тоже предлагал перенести столицу обновленного Союза в Киев, выдвинув в пользу такого решения ряд доводов культурно-исторического и политического свойства. Я не стану повторять, какие это были доводы, все равно та моя статья не имела в пределах Российской Федерации почти никакого отклика. Мы погружены в текущую политику (и политиканство) и к принятию «судьбических» решений (а порою даже и к обсуждению соответствующих вопросов) не готовы. И все же я продолжаю думать, что идея Киева как восточнославянской столицы — продуктивная идея. Если вообще *genius loci* (дух места) способен еще противостоять духам всеобщего усреднения, если Аскольдова могила с Владимирской горкой «значат» сегодня больше, чем общеобязательные Черёмушки, то в этом случае Киев — место, которое излучает русскую (в прежнем смысле, то есть восточнославянскую) идею в ее «утреннем», наиболее гармоничном, уравновешивающем мировое и почвенное начала виде; и, наверное, город на Днепре еще мог бы сыграть роль связующего центра для трех восточнославянских народов (включая сюда, разумеется, неславянские народы Российской Федерации). Надо только суметь подняться выше сиюминутных забот и попытаться заглянуть в завтрашний день, памятуя о вчерашнем; ибо, как сказал философ, будущее — это «плодоносящее прошлое».

ИГОРЬ ДЕДКОВ

Объявление вины и назначение казни

185

Прочитан Астафьев ¹, критические умы на какое-то время воспламенились, и последовали вопросы, много вопросов, обращенных к себе и к каждому, к непроницаемо сомкнувшимся водам Истории, к высшей силе справедливости и воздаяния.

«За что на нас война? Где причина? За какой грех пришло это возмездие?.. Кто же такое с людьми, с их природой, с их душой?.. Кто сбил народ с панталыку? Куда девалось нормальное естественное бытие?.. Что за порча окающая уводит народ с пути?» (Л. Аннинский) ²

«Кто плачет, кто мучается, кто умирает в этом тяжелом тумане?.. А что, если вся страна наша чертова яма?» (А. Немзер) ³

Вопрос о яме, «невыговоренный» в романе, но «просящий на язык», «ужасает», по мнению критика, и писателя, и читателя.

Другой ужасающий вопрос: «За что прокляты?» вынесен Аннинским в название статьи.

Каков роман, таково и эхо чувствительных душ; стелание отзывается стеланием.

«Человек поднимается к Богу с помощью вопросов, которые он Ему задает,— говорит в автобиографическом романе Эли Визеля «Ночь» (о судьбе еврейского мальчика, прошедшего через Освенцим) нищий мудрец из Сигета.— ...Человек спрашивает, а Бог отвечает. Но мы не понимаем этих ответов. Их невозможно понять, потому что они исходят из глубины души и остаются там до самой смерти. Настоящие ответы... ты найдешь лишь в самом себе... Я молю Бога, который во мне, чтобы Он дал мне силы задавать Ему правильные вопросы».

А если я хочу — неправильные?! — встрепенется чья-то строптивая душа. Сколько угодно! — и если прав сигетский мудрец («всякий вопрос обладает такой силой, которой в ответе уже нет»), то победа ей обеспечена, хотя бы видимая и временная. Но в наши дни всерьез волнуют лишь сегодняшние, сиюминутные победы,— не так ли? Сегодняшних — достаточно. А тихие ответы — из глубины вновь и вновь заглушаемых выкриком новых неотразимых вопросов,— так чистый колодец заваливают хламом ожесточенные ревнители чистоты доставшегося подворья.

Когда настроение и тон автора преобладают в творимом им мире, и редкая деталь картины не преображена его пристрастной оценкой, то такая монотонная тотальная субъективность дарит нам обычно образцы обличительного и панегирического жанров. Более сложные случаи я опускаю, речь пока не о них, да и панегиристы, очередные приживалы очередной власти, еще только надувают щеки, готовясь трубить, а вот метание камней — обличение, разоблачение, уничтожение, вынесение приговоров — излюбленное занятие, которое, кажется, никогда не наскучит. Эти камни — те же вопросы, затвердевшие в своей заведомой правоте.

Берегись, прошлое, мы срываем свое зло на тебе. А, может, дело обстоит еще хуже: мы выгораживаем себя, свою немощь. Ты, ты, виновато, не мы. Но и это не все: самое худшее — необоримая тяга и страсть соответствовать и следовать моменту: в политике, в морали, даже в нравах и вкусах. Объясняют: не моменту, нет, что вы! — новейшему, высочайшему, мировому уровню истины, правды, свободы, демократии, но — взгляните,

¹ Виктор Астафьев. Прокляты и убиты. Роман. Книга первая «Чертова яма». «Новый мир», №№ 10—12, 1992.

² Л. Аннинский. «Литературная газета» от 3 марта 1993 года.

³ А. Немзер. «Сегодня» от 2 марта 1993 года.

вслушайтесь,— моменту! у коего истина и прочие прекрасные вещи — в подчинении. Сегодняшние ответы столь же расхожи и легки, как и вопросы, они не требуют усилий, их не нужно ждать, они подразумеваются, ими напигованы газеты, забит эфир, их декламируют и поют, ими закусывают и запивают, они всегда готовы к массовому употреблению.

Да, да, конечно, всем миром, всем народом сбиты с панталыку, с праведного пути и порчены (коммунистами, евреями, агентами германского генштаба, лицами кавказской национальности). Ненужное зачеркнуть.

Да, да, разумеется, страна наша — чертова яма. (Кто припечатает эту страну покрепче, тот молодец.)

Даже неумолимо строгие критики обнаруживают в себе немалые резервы снисходительности, когда находят в произведении нечто (вопросы — ответы), подтверждающее их собственные нынешние взгляды (ответы) или способствующее их наилучшей демонстрации перед публикой.

«Чертова яма», может быть, и роман, или вступление к нему, или его первая часть, по которой судить рано, но столь же возможно, что перед нами своего рода «записки натуралиста», ступившего с высокого борта корабля современности на низкие берега далекой юности. Вспомнив старую русскую традицию, почему бы не определить «Чертову яму» как разновидность физиологического очерка, а точнее как физиологический очерк красноармейской казармы по состоянию на осень, зиму 1942—43 года, и это будет не самое приблизительное из определений.

В 21-й запасный пехотный полк (номер и дислокация части — неподалеку от Новосибирска — подлинные) читатель прибывает по воле автора вместе с очередным пополнением (призывники 1924 года рождения) и с ним же — в конце повествования — убывает в сторону фронта. Испытание молодых людей казармой — главный сюжет. От испытания у героев Астафьева и его читателей остаются яркие, будоражащие, даже взвинчивающие впечатления. Критики, на которых я уже ссылался, высказали их дружно, восприняв изображенное как «лагерь», «лагерный ад», «преисподнюю», «первозданную пещеру», как проступающий «мрачный опыт ГУЛАГа».

А что? — местечко в самом деле адово: «равнодушно-злые люди», выгоняющие новобранцев из вагонов, «хриплый ор», «безвестность», «вселенский вой иль стон», «жуткий вой», исторгаемый «не по своей воле и охоте» тупо шагающими людскими колоннами. Удивительно ли, что «покорность судьбе» тотчас овладела Лешкой Шестаковым, ввергнутым в этот кошмар мобилизацией, и душу его немедленно «посетило то, что должно поселяться в казарме и в тюрьме,— вялое согласие со всем происходящим». (В дальнейшем автор закрепит в нас ощущение родственности упомянутых общежитий, не раз давая понять, что казарменный быт «мало чем» отличается от тюремного.) Тем не менее остается неясным, почему само слово «казарма» для Лешки — «презренное». Не пугающее, не тревожное, не еще какое-нибудь, а именно «презренное», и презрение это — не от опыта и знания, а как бы ниоткуда, от наития что ли, от догадки про грех и крах «казарменного социализма». Через заведомое презрение воспринимают казарму, в сущности, все персонажи, и слово автора этого солидарного презрения — отвращения не нарушит. Наоборот, всей отпущенной ему художественной силой оно преобразит бытовое, бедное, элементарное в дьявольское, адское, катастрофическое, и сказано будет про убогие, полувырытые в землю казармы, что «ни пламя, ни проклятье земное, ни силы небесные не брали» «эти подвалы», «лишь время было для них гибельно — сопревая, они покорно оседали в песчаную почву со всем своим скудным скарбом, с копошащимся в них народом, точно зловещие гробы обреченно погружались в бездонные пучины». И штришком к сумрачной этой картине — закопченное жердье нар, белеющее на торцах «костями, как бы уже побывавшими в могиле», с выступившей на них серой. И пахло серой.

Страшно. Но не очень. А если и страшно, когда читаешь, то не из-за метафор. За ними («гробы», «пучины») — реальность, и она посерьезнее, пострашнее. Метафора казармы принадлежит литературе, соперничеству и рынку метафор, а реальность казармы принадлежит такому-то полку, месяцу и году, авторской памяти, земной материи, тому, что было с людьми. Но и эта реальность — уже литература, очерк ли, вытянутый по направлению к роману, или роман, не пересиливший очерковой тяжести и публицистического гнева, и эти имена, вырывающие кого-то из канувшего казарменного кишения, уже не всплеск и подарок памяти, а имена героев романа, и надо сильно стараться, чтобы они

не разбредались, не терялись, и что-то в их характерах и судьбах по-романному сплеталось и свивалось, придавая повествованию внутреннюю связность и основательность. Автор старается, он не забывает о своей литературной цели, — о самом правдивом романе о войне, но при всем при том кажется, что главным пока для него остается все-таки сама первоначальная реальность, пахнущая серой, но еще сильнее «гнилью, прахом и острой молодой мочой». И вот эту-то реальность, воскрешенную в слове, извлеченную из небытия со всеми ее стонами, проклятиями и грязью, он, — подзадержавшийся в пути свидетель обвинения, — и решил обрушить на чистое сукно судейского стола как вещественное доказательство огромной государственной вины и закоренелой коммунистической преступности. («Есть человек. И есть безличная, безжалостная, безобразная сила — коммунистическая власть», — сформулирует Немзер.) И пока писатель не втиснул в этот «вещдок» всю давнюю и нажитую боль, пока не раскалил ее памятью о сгинувших парнишках сорок второго года, успокоиться он не мог. Если же, верный логике советской действительности, он отправил своих героев-новобранцев на сельхозработы и невольно смягчил обвинительный тон («веселые вояки», «не менее веселые девчата» и т. д.), то был для такого смягчения и другой резон, посерьезнее. Близился срок, маршевые роты в свой черед покидали казарму («преисподнюю»), и должно же было наступить перед такой дорогой хоть какое-то душевное замиренье, затишье, молчание. Впереди их поджидало адское местечко в совсем ином роде и совсем другой «вселенский вой»... («вселенский», «жуткий» вой в «Чертовой яме» — это всего лишь остротенное пение в строю; см. выше: «не по своей воле и охоте исторгали...»).

Но про то, что впереди и каков там будет накал и расход предельных, обличительных, разгневанных слов, нам ничего не известно. Когда-то Виталий Семин писал о «ступенях ужасного»; вероятно, высшая ступень ужасного (атаки, кровь, смерть) еще только ждет героев Астафьева, но и начато едва ли не с высшей («лагерный ад», «тюрьма» и т. п.)? Казарма с ее порядками столь отвратительна, что Аннинский с Немзером опять же дружно отметили авторскую ремарку: на месте расположения 21-го полка ныне плещется рукотворное Обское море. И плещется неспроста: сама материальная память о «чертовой яме» смыта с лица земли (не Божий ли промысел?). Но, с другой стороны, позволительно ли, чтобы всё было смыто и забыто, и дамы из Академгородка не жили на пляже, не подозревая, что где-то здесь когда-то «доходили до ручки» молодые сибирские ребята, и лишь обские воды скрыли навек безобразные следы их тягот и страданий?

Разумеется, дамам и всем нам не худо бы знать, что было здесь и там, и повсюду до нас: и в первом слое, и во втором, и в третьем, — насколько достанут знание и воображение. Астафьевская казарма — в верхнем слое; смыты бедные армейские времянки с их убогим скарбом, а она осталась. Она сбережена, и ее людское скопище, это живое многоликое существо, дышит нам в лицо.

Писатель изобразил это существо и среду его обитания с прилежанием натуралиста и тщанием физиолога. Мне бы хотелось лишь систематизировать некоторые жизненные проявления и особенности описанного им организма. Не все же вскрикивать: ужас! ужас!, надо что-то и понять, и разглядеть...

Не помню, в какой момент чтения Астафьева я вдруг понял, что или про что я читаю, так как читаемое неожиданно встало в ряд с тем, что было читано давно, в детстве или молодости, и тут мне захотелось кое-что из сегодняшнего и давнишнего своего чтения разместить рядом, чтобы можно было сравнивать и видеть развитие или стояние на месте старой русской или российской темы.

Таким образом, в левом столбце дальнейшего текста — некоторые особенности явления, изображенного Астафьевым, а в правом — дополнения из прежнего отечественного опыта и прежней литературы.

ОСОБЕННОСТЬ ПЕРВАЯ. ОТПРАВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

(Как водится у натуралистов, Астафьев скрупулезно точен; у тех, кого такая точность коробит, прошу прощения: я вынужден следовать за автором, как сам автор следует за непринужденностью самоновейшей эстетики.)

Приказано «следить, чтоб новобранцы ходили по нужде подальше в лес, бить палкой тех, кто вздумает мочиться в казарме»; наутро «нассано было возле нар, подле дверей, в песке сплошь белели солью свежие лунки»; в лесу «все вокруг было испятнано мочой, всюду чернели застарелые коричневые и свежие желтенькие кучи»; в отхожем месте было «так загажено, так вонько и скользко...»

«Некоторые не пользуются отхожими местами, загадили все углы на дворе, и даже кто-то ухитрился напакостить на крыше амбара. Нужники — для наших нечистот. Но и в нужники нужно ходить с толком... Не про вас ли это сказано: да возвратится пес на блевотину свою?»

ОСОБЕННОСТЬ ВТОРАЯ. ПРИЕМ ПИЩИ. СРЕДА ОБИТАНИЯ

«За длинными, грубо сколоченными из двух плах прилавками, прибитыми ко грязным столбам, прикрытыми сверху тесовыми корытами наподобие гровых крышек, стояли военные люди, склоненные как бы в молитве к прилавкам — потребляли пищу из алюминиевых мисок... Меж столов и подле раздачи грязь вовсе глубока и вязка... Возникали стычки, перекатно гремел мат, сновали воришки, больные, изможденные люди подбирали крошки, объедки со столов и под столами».

«Каши и сахара было подозрительно мало», она «становилась по виду все ближе к вареву, именуемому на Руси размазней. В жидком супе уже не рыбий кусок плавал, какое-то бурое крошево из рыбы и серой разварившейся крупы или картошки».

«Плохо освещенная казарма казалась без конца, без края, вроде бы и без стен, из сырого леса строенная, она так и не просохла, прела, гнила, была всегда склизкой, плесневелой от многолюдного дыхания. Узкие, от сотворения своего не мытые оконца, напоминающие бойницы, излаженные меж землей и крышей... Стекла при осадке в большинстве рам раздавило...»

«Навалилась вша, повальная, беспощадная...»; «выбирают самых крупных вшей из гимнастерок, из кальсон, кидают их вниз на командира... на ребят...»

«Столовая помещается в подвале. От пыли и сырости там висит сизый туман... Круглые столы когда-то были выкрашены в желтую краску, от нее остались едва заметные следы. Столы изрезаны вензелями, крестами, матерными словами, непристойными рисунками. Все это замазано жидкой грязью». По углам «корки, бумага, мослаки, тряпки, пузырьки, огурцы, капуста. Окна... небольшие, наполовину в земле, забраны толстенными решетками; стекла от древности зеленовато-мутные».

«На обед подают щи с солониной и затхлую пшенную кашу с прогорклым маслом. Во щах — тараканы, черви». «Кормили скверно; хлебная мука мешалась с мякиной, в супе попадались беловатые червячки, в каше мышиный помет».

«Стены с промерзшими насквозь углами грязны — в черно-бурых полосах и пятнах, в плесени и ржавчине; потолок подперт деревянными столбами, потому что он давно погнулся и без подпорок грозил падением; пол в зимнее время посыпался песком либо опилками... Вонь и копоть... воздух мозглый, какой-то прогорклый, сырой и холодный».

«Вшей тоже не оберешься. Если склониться над спящими, увидишь: перекошенные брови, рты, трупную прозелень, отеки, желтизну, струнья, синяки, золотушные болячки...»

ОСОБЕННОСТЬ ТРЕТЬЯ. САМОРЕГУЛЯЦИЯ, ИЛИ ИЗЖИВАНИЕ СЛАБЫХ И БОЛЬНЫХ

Портрет юного человека по имени Попцов: «истаскавшийся по помойкам, оборвавшийся на дровах, измылившийся на мытье полов и выносе нечистот», «синюшный, дрожащий», «с нехорошим отеком на лице, псиной воняющий», «В санчасть Попцова не брали, он там всем надоел, на верхние нары не пускали — пообмочит всех». «Все более стервенеющие сослу-

Портрет юного человека по имени Савельев: был «опрятным и упитанным, но его пришлось отдельно положить спать из-за болезни. Савельева задражили, засмеяли. Его толкали, щипали, били, мазали чернилами, отнимали завтраки... Отверженный, гонимый, Савельев похудел, опустился. Голова, шея, руки покрылись паршой. От него дурно пахло. Покорно при-

живцы били Попцова, всех доходяг били, а доходяг с каждым днем все прибавлялось и прибавлялось. На нижних нарах... лежало до десятка скорченных, скулящих тел». «Слюнявым телячьим хлюпаньем» отзывается «хнычущий доходяга» Попцов на последние, уже смертельные побои.

Портрет групповой: «на нижних нарах ютились горемыки больные, на которых дуло из неплотно закрытой двери, тянуло от сырого пола, и как их... не наказывали, они волокли на себя всякое тряпье, вили на нарах гнезда. Стащенные за ноги, сброшенные на пол, снова и снова упрямо заползали на нары,... только бы не на мороз в мокрых, псиной пропахших штанах...»

нимал он теперь насмешки и побои... Савельев тупел». Жил в каморке для больных недержанием мочи. «Клеенок на тюфяках нет и в них — черви».

А это еще один юный изгой: «какое-то скверное, точно гнилое лицо», «куда бы он не приходил, воздух делался противным и вредным для легких... из пятисот человек в продолжении восьми лет не нашлось никого, кто бы решился не только дать ему руку, но и сказать ласковое слово...» «казна не купила... даже клеенки, чтобы предохранить тюфяки от сырости и гнили; вместо этого страдавших этой болезнью имели обыкновение... сечь голенищами... В тюфяках заводились черви, и несчастные должны были спать чисто на гноищах».

189

После всего этого хочется спросить: а много ли нового под голубыми небесами нашей родины? Александр-Невская столичная бурса, где маялся Николай Помяловский, отозвалась в тамбовской бурсе, где воспитывался большевик Александр Воронский, и проглянула в армейской казарме, пестовавшей молодого бойца Виктора Астафьева, будущего автора новых очерков бursы. Российской и все еще бессмертной. (Теперь для всех прояснилось, что правый столбец заимствован из «Очерков бursы» Помяловского и «Бursы» Воронского, а можно было бы присоединить к ним еще воспоминания о бурсе иркутской Афанасия Щапова,— всё о том же, поверьте, всё о том же. Это Щапов привел однажды слова какого-то потрясенного наблюдателя бурсацкого быта: «Боже мой! И как еще живы-то, сердечные, остаются! Да, действительно, это — вопросительный физиологический факт».) Напомню, что бурса, даже в своих приходских, начальных классах,— это не только малолетние школяры, но и великовозрастные парни, по которым скучала армия. Неизбежность образования (иначе им, детям, чаще всего, сельских священнослужителей, не получить места даже дьячка и пономаря) накладывала печать насильственности на бурсацкий быт и бурсацкую науку. Но глубинное родство бursы и казармы, увиденной по-астафьевски, не в этой насильственности, что держит молодых людей, не позволяя им разбежаться. Она поистине неизбежна, особенно в нашем случае, и объясняется просто для всех законопослушных и мало-мальски просветленных душ: война. Главная общность в другом: в кромешной бедности, в сребролюбии властвующих, в привычно-будничном, элементарном, как есть и пить, небрежении к человеку, особенно зависимому. Ничего, он стерпит, свыкнется, перебьется, выживет и найдет кого-то еще, кому преподаст ту же науку: терпи и подчиняйся. Будто время не властно, будто оно стоит. Революция как наводнение, но река возвращается в русло, и те же берега, и вода опять зацветает... Из черных «волг» пересели в белые «мерседесы», и — старая песнь: Господь терпел, и вам велел, бедный да возблагодарит богатого, слабый да убоится сильного, больной пусть уступит место здоровому... Старая бурса, новая бурса... Александр Константинович Воронский, вы писали, что «революция вбила бурсе осиновый кол». Вы ошиблись. Кол давно сгнил, мертвое живо, оно по-прежнему ищет утешения в жестокости, ему нужна пища. Но я не прав: в одну и ту же реку нельзя войти дважды,— этого не оспоришь, и новая старая бурса чем-нибудь да нова. Да и писатель, ее живописующий и проклинаящий полвека спустя, что-то, должно быть, существенное хотел добавить к нашему устоявшемуся, консервативному пониманию вещей, хотел просветить нас, привлечь на свою сторону — сторону обвинения,— разве не так? И потому:

ОСОБЕННОСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ. ЯЗЫК

На этот раз двух столбцов не получится. Книги Помяловского и Воронского были написаны в 1863 и 1932 годах. В те времена писатели как-то обходились без воспроизведения непристойностей. Наверное, они излишне стеснялись и неоправданно отделяли

литературу от жизни, не позволяя им быть чем-то одним: то ли благодушным праздником, то ли единым непотребством. Но новейшее описание армейской казармы, сделанное в пору всеобщего душевного и морального раскрепощения, без демонстрации сокровенных богатств русского мата обойтись принципиально не может. Я понимаю, что надо бы привести какие-то яркие примеры, чтобы показать небывало возросшую (и каким простым способом!) художественную мощь нашего литературного языка. Но лучше подожду, когда цитировать начнут другие, и станут выносить в эпиграфы, в газетные заголовки: это-то и будет конечным торжеством российской свободы, после чего и желать станет нечего. Вероятно, объясняя я себе, непристойное слово и жест — важнейший элемент правды, и без них образ всякой жизни, а тем более казармы, пресен и фальшив. Но тогда почему помяловские, воронские, решетниковы, левитовы и другие бурсаки, а также дворяне, вроде Толстого и Тургенева, насчет этой правды прекрасно осведомленные, как-то удержались в старомодных рамках, и несмотря на это свое ханжество, не только не забыты, но и чтимы? Мало ли что, слышу я в ответ, ваш довод недостаточен и пошл, выросли новые бестрепетные люди, люди без предрассудков, свободная литература демократической эпохи решительно превзойдет размахом и бесстрашием правды слабонервную, слезливую, интеллигентски-чистенькую, благородную словесность навсегда похороненного прошлого. Может быть, проникаясь этой мыслью, думаю я, ближайшее счастливое будущее принесет нам улучшенное издание некогда знаменитой «лейтенантской прозы», и мы, наконец, услышим свободную окопную солдатско-офицерскую речь. То-то выросли бы их нетленность и общественный резонанс. Что поделать — мешали коммунистические надсмотрщики-моралисты! В свете подобных эстетических соображений уже не понять, отчего тревожили и чем насыщали наши души такие пресные, благопристойные сочинения, как «Убиты под Москвой» или «Пастух и пастушка». Какие там упущены возможности! Но они и без тех возможностей уберегли множество душ от покорного подчинения пропаганде и безверия, они мешали разрушению человека догматами государства. Зато теперь вникай, дорогой читатель, в орфографию русского мата, впитывай, привыкай, пусть впечатывается она в твоё сознание (и деток, и внуков твоих, любознательных книжечеев!) отчетливыми типографскими знаками. Это нужно, чтобы ты понял, до какой языковой ущербности довели твой христолобивый, чистый помыслами народ партийные зануды и фарисеи, до какой оголтелой грубости мыслей и чувств! Есть один такой фарисей в «Чертовой яме» — капитан Мельников, политический начетчик, бессмысленный, невежественный энтузиаст и тупой безбожник. Лик у него «серый», голос «зычный», сознание «заморенное», складки «бабьи» сгоняет на «костисто выгнутую спину», — ясно, такого жалеть нечего, и потому смешно и весело, когда Леха Булдаков, спасенный войной от тюрьмы, поманив пальцем Мельникова, «вытянул кадыкастую шею и, наплевав сырости в ухо комиссару, шепотом возвестил: «Не страдай девку м.», и т. д. (продолжать не буду, поверьте: гадость), и тут же сказался припадочным. «Бойцы уважали Леху Булдакова, — сочтет нужным сообщить тут же писатель, — за приверженность к чтению газет, за политическую грамотность». Но не добавит, что в этой бурсе, то есть казарме, более всего уважали тех, кто ставил рекорды наглости и бесстыдства.

Что ж, образ Мельникова — это тот знакомый случай, когда характер, личная судьба, человеческая индивидуальность не имеют значения. Важно, что он — комиссар, и на нем вина всех комиссаров, самых худших из комиссаров, и она его раздавливает. Для нашей литературы всегда было важно, кто он: революционер, контрреволюционер, эсер, меньшевик, дворянин, белый офицер, кулак, сын кулака, еврей, бандеровец, марксист, ревизионист, и т. д. То есть: кого сегодня гонят. Определение вины или невиновности зависело от того, кто он именно, и каждой исторической поре соответствовал свой язык гонения и дискредитации. Нашей поре, видимо, соответствует мат. Или то, что по своему внутреннему цинизму и упоенному победительному ощущению вседозволенности совпадает с матом.

Матерщина в романе, как и в жизни, пособник, спутник и провокатор жестокости и хамства. Она воспроизводится как бытовая повседневность, как выражение постоянной озлобленности, пустоты, нравственной атрофии. Она — как мгновенный спуск к определенному уровню мышления и понимания (упрощения) человека. Существование в тексте отнимает у матерщины всякий автоматизм, и она красуется, лезет в глаза и звучит вызывающе: вот она я, прорвалась! Из романа она возвращается в жизнь в том же самом качестве пособника жестокости. Литературная реабилитация или легализация мата лишь закрепляет его права на внезапное, бесцеремонное вторжение в мир читательской души.

Астафьевские герои кажутся людьми без возраста. Лишь мелькнувшее раз-другой словечко «парнишка» возвращает им, грубым, прокаленным, циничным, какую-то возрастную приметку. Они не знают уважения ни к старшим годами, ни к воинским званиям, ни к фронтовому опыту, ни друг к другу. Воровство, кулачное право, захребетничество, наглое своеволие, преследование слабых, — вот норма этого мужского сообщества. Лешка Шестаков, может быть, наиболее близкий автору персонаж, вспоминая детство и ругань отца, удивлялся, как черный потолок бани не обрушился на «осквернителя слова, веры, материнской чести», и, значит, по малолетству чувствовал что-то нехорошее, но теперь, огрев «по башке черпаком» сержанта-фронтовика, сам ввергается в пучину жестокости и «чернословия». Казарма орет, визжит, влаивает, стонет, материт весь свет, и порядок в ней наводят выверенным способом: «Старшина для примера сбрасывал со второго или третьего яруса первого попавшегося бойца. Тот, загремев вниз, ударившись об пол, вопил, ругался; осатаневшие дневальные лупили уже всех подряд прикладами макетов, с боем... тычками, пинками выдворяли на мороз разоспавшихся вояк».

Подумаешь, тычки, пинки, дело житейское; бурсаки чувствовали бы себя как дома (из обычаев бursы, из одних только экзекуций, — кого сечь в две лозы, кого в три, и т. д., — составил бы впечатляющий параллельный текст), да и солдаты царской службы удивились бы не сильно. Разница в одном: русские классики, обходясь основным словарным запасом «великого и могучего», так изобразили несправедливость и жестокость мира сего, что сочтены были едва ли не главными подстрекателями революции. Если же счесть, что новые несправедливость и жестокость превзошли уровень, достигнутый к семнадцатому году, то по-своему резонно было призвать на помощь, — во имя максимальной тождественности отражения! — дополнительные, более мощные средства языка, — поувесистее пролетарского булыжника, попронзительнее деликатного, интеллигентского «не могу молчать». Писатель прибег к ним не первым, а вслед за другими искателями новой художественно-этической выразительности, хотя те искали ее совсем в других целях, более близких, простите, к содержательной стороне мата. Кроме того, утверждая, что русский народ сбит «с круга и хода», писатель нуждался в неотразимых доказательствах. Матерщина стала одним из них. В результате безобразия жестокости предстало чем-то безобразно-неновым, еще одной разновидностью хулиганства, старой наследственной болезнью, пережившей смену царствований, политических режимов и всех своих докторов. Истинная новизна обнаружилась в другом, и ее можно было бы определить так:

ОСОБЕННОСТЬ ПЯТАЯ. КОЛЛЕКТИВНАЯ МЫСЛЬ И СТРАСТЬ

«Сколько же он (Мельников. — И. Д.) голов позамутит, сколько слов попусту изведет», — думали старшина Шпатор и старший сержант Яшкин». (Разрядка здесь и далее моя. — И. Д.)

Прочитав это, можно решить, что тут какая-то описка. Чтобы в сугубо реалистическом сочинении два персонажа одновременно думали одними и теми же словами?! Но удивляться не стоит: многие в романе думают как бы вместе и одинаково. Выходит, коллективная мысль тоже своего рода физиологический факт. Хотя неясно, в какой мере он принадлежит воображению, а в какой — действительности. Ясно одно, что бурсе и воображению писателей бursы он не принадлежит: там думали порознь.

Наше сознание долго приучали, как к достоверности, к тому, что весь народ, все трудящиеся (района, города, области, республики, страны) охвачены небывалым трудовым энтузиазмом (порывом), испытывают огромный политический подъем, полностью, все вместе и каждый в отдельности, поддерживают решения партии и правительства (плenums, съезда), единодушно приветствуют мирные инициативы... Эмпирической проверке подобные утверждения не поддавались; к тому же их подтачивали ирония и здравый смысл, но что-то, видимо, в нас от этих хорошо отштампованных формулировок оставалось. Оставались соблазн и как бы право говорить за многих, за множества, за народ, и та же словесная конструкция с той же легкостью, едва переиначенная, стала использоваться новыми народными водителями в противоположных политических целях. Иллюзия существования коллективной мысли, коллективного вдоха и выдоха, непреходящая, и упование на нее, нужда в постоянных ссылках на нее — тоже. Фантом коллективной мысли всегда сулит некоторое облегчение: индивидуальность, способная доставить массу хлопот, скрадывается, растворяется, ее как

бы накрывает высокой волной единодушия и ее уже не видно, она как та ускользающая малая величина, которой позволительно пренебречь. Пытаясь изобразить поведение какого-либо человеческого множества, художник испытывает тот же соблазн, и тогда у его героев оказывается одна голова на всех и единая нервная система. «Народ (на политзанятии.— И. Д.) грохнул и окончательно проснулся»,— пишет Астафьев.— «Народ одобрительно шевельнулся, коротко всохотнул», «сплошь думающие о доме... парни вздрогнули всей толпой», «публика (красноармейцы на заседании трибунала.— И. Д.) разом присмирела», «публика в зале вся сплошь на стороне подсудимого...» и т. п. Что это? Расхожий, обычный прием, передающий общее настроение? Если бы так... Если бы не настойчивое сведение (тому еще будут примеры) человеческого разнообразия и разнородности к суммарной, слитной реакции «народа», призванной что-то важное автору подтвердить и доказать. (Помните! — всю эту позабытую реальность, стонущую, грязную, изрыгающую проклятия и ругательства,— на чистенькое сукно судейского стола! И ее мысль, ее самосознание — тоже, билась же в ней какая-то мысль!) Доказать даже как бы количественно: не один кто-то там так думал, тосковал, негодовал, а все — с п л о ш ь...

«На таком краю человеческого существования...»,— читаю я и вздрагиваю, мгновенно вспомнив давнее, семинское, запавшее: «даже если бы осуществился самый жуткий бред, и только кто-то один на самом краю света...» Так что же на том краю, что? Вот завершение астафьевской мысли: на таком краю, «в табунном скопище, п о л а г а л и они (красноармейцы.— И. Д.), силы и бодрость сохранить, да и выжить — н е в о з м о ж н о». Вот — семинской: если бы только кто-то один на том краю «ценой жизни победил бы грозные обстоятельства, то это и было бы человеческой мерой» («Нагрудный знак «OST»).

О чем бы ни спорили, скажет Семин дальше, «я чувствовал, что всегда спорят об этом — какая мера человеку по плечу».

Так что же возможно и что невозможно? Что по силам человеку в дурных, грозных, калечащих его обстоятельствах?

Но такие вопросы не обращают к толпе, скопищу, и толпой, скопищем, казармой на них не отвечают.

(Когда-то, в 50—70-е годы,— и раньше, разумеется, и всегда, но я говорю о ближнем времени,— от ответа человека на подобные вопросы могла зависеть вся линия его жизни и судьбы. Семинский роман «Нагрудный знак «OST» (1976) излучал энергию сопротивления. Это было равнение на сопротивление. Не безрассудно-героическое, но равнение, упрямое, твердое, выдержанное до конца дней. Астафьев пишет роман в другую пору, когда стойкость, верность убеждениям, подвижничество, порядочность оказались не в чести и под подозрением. Победители тоталитаризма,— имя им легион, откуда и взялись? — обожают мрачные истории: чем беспросветнее, тем лучше, чем зловоннее и чернее чертова яма прошлого, тем белее их свежестираные одежды и ослепительнее деяния. Спрос — на страдания, страдательность и страдальцев, на мучеников и мучителей, на агнцев и злодеев, спрос — на обвинение...)

Интересно все-таки, почему астафьевские «вчерашние школьники, зеленые кавалеры и работники», «дети рабочих, дети крестьян, спецпереселенцев, пролетариев, проходимцев, воров, убийц, пьяниц, не видевшие ничего человеческого», что-то такое «полагали» единым дружным полаганием?

Или — все как один, один к одному, трагический хор, звучащий в душе автора даже спустя полвека? Или,— если сказать проще,— едва переступившие порог казармы, они были приведены к общему обезличивающему знаменателю («невозможно... выжить») страхом. Еще бы, им предстояла «подвальная крысиная жизнь», общество людей, «превращенных в животных». Что может быть хуже и страшнее?

Когда боец Васконян, «полуармянин-полуеврей», картавый баловень судьбы («Кого бы и что бы я увидел из пегсонавной машины и театгавной ожи», а теперь вот проникся «юбовью» к «юдям», и так далее в той же скрупулезной транскрипции), принимался рассказывать «собратям по службе» о графе Монте-Кристо, королях и принцессах, то «дети рабочих, крестьян» и других означенных лиц «с б л а г о г о в е н и е м в н и м а л и сказочкам о роскошном мире, т в е р д о в е р я, что так оно, как в книгах писано, и было, да все еще где-то и есть, но им-то, детям своего времени и, как Коля Рындин утверждает, Богом проклятой страны, все это н е д о с т у п н о, для них жизнь по Божьему велению и правилу з а к а з а н а».

Невозможно, заказано, недоступно! — трагическое коллективное мироощущение.

Принадлежит всем и никому конкретно. Страна проклята Богом, сохранить силы и бодрость невозможно, роскошный мир богатых и удачливых недосягаем, жизнь по Божьим заветам запрещена. Что остается? Остается — все-таки выжить, и — выживут, перетерпев три месяца — нет, не тюрьмы, не лагеря, не арбайтслагеря, даже не бурсы с их-то сроками, — а казармы, и выживать дальше, хотя дальше, скорее всего, и настанет то самое «невозможно». Остается еще вера в Бога, и писатель настаивает на ее заметном присутствии (бойцы крестятся в тяжелые минуты, кто-то шепчет молитвы), однако, его герои чувствуют себя обделенными: жизнь по Божьим установлениям им не позволена («заказана»). Получается, что таковая жизнь то ли даруется, спускается с небес, то ли кем-то разрешается, то есть от кого-то, кроме самого человека, зависит и сводится к праву открыто перекреститься и помолиться. Даже «старообрядец» Коля Рындин не понимает, что жить по Божьему велению не запретишь, нет ни у кого таких сил, а истинная вера не нуждается в ее нарочитом обнаружении перед всеми.

Бог, поминаемый у Астафьева, — предполагаемый последний заступник; если нет никого другого, так хоть он, может быть, отведет опасность, пощадит и помилует. Это как раз тот случай, когда в религии ищут «спасительного убежища», а не «стимула к ответственности» (В. Страда). «Невозможно», «заказано», «недоступно» — словарь пассивных, покорных, понурых, поглощенных стихией безобразия и беспорядка. Их Бог — Тот, к кому «так любят обращаться женщины, дети, идеалисты и люди, находящиеся в несчастьи» (Н. Помяловский). Они, мученики казармы, несчастны, но их вера не делает светлее ни их души, ни окружающее мрачное пространство. Она очень удобна, так как ничего от них не требует. Вспышки богобоязни лишь озаряют окрестность, но доверия не вызывают. Автор хотел бы поставить в заслугу своим героям их пробудившуюся религиозность, но уже сама по себе коллективность пробуждения заставляет усомниться в глубине и серьезности столь знаменательного явления, обойденного вниманием прежней военной прозы.

«Человек живет в мире и в его истории, — писал о. Сергей Булгаков, — он подвластен принудительной необходимости этого мира, но он не принадлежит ему и способен возвышаться над ним. Чрез это противоборство сил мира и духовных устремлений в человеке устанавливается та историческая диагональ, по которой движется жизнь в ту или иную эпоху».

Над упомянутой принудительностью возвышаются у Астафьева немногие: дети (братья Снегиревы, сбежавшие из казармы погостить к мамке) и замечательный Коля Рындин, пример «несгибаемости» в защите святой веры. Всей «политической и сексотной коdle» (читай: все тому же гнусному капитану Мельникову) не удалось согнуть его «в бараний рог»: «как молился, так и молится». «Положительный пример», «несгибаемый человек» (гнется «только перед Богом в молитве»), — «так думали красноармейцы, каждый по отдельности, каждый из тех, кто еще не совсем разучился думать»... Что же еще думали они каждый по отдельности? А вот что: «Коля Рындин молодец, не пасует перед трудностями, хер положил он на все увещевания и угрозы агитаторов-ублюдков».

Хотя Коля молодец, но не совсем, есть прегрешения в его роду (соединившись в колхозе с «деревенскими пролетарьями», вовсе «испоганились»), и потому «не допускает» Бог его молитву («о милости к служивым») до высоты небесной, карает его «вместе со всеми ребятами невиданной карой, голодью, вшами, скопищем людей, превращенных в животных». А сверх того бросит Он непременно их всех, мучеников 21-го полка, в «геенну огненную», не забыв, конечно, комиссаров, «главных смутителей-безбожников». Их-то он, «милостивец», погонит в ад «первой колонной», «сымет с их красный галифе да накаленными прутьями пороть по ж. примется». Хорош Бог Коли Рындина, неумолимый, грозный, ветхозаветный, и в то же время наш, здешний, с развитым классовым чутьем, презирающий голытьбу, мелочный и мстительный экзекутор. За что он комиссаров, понятно. Но за что горемыкам, детям горемык, ниспослана «страшная казарма», «озверение» и прочие ужасы? А за то, что дошли до безверия, сами себе подписав приговор «на вечные муки».

Бабушка Секлетинья учила Колю: «все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут Богом прокляты и убиты». Это тоже понятно, и даже понятнее, чем пророчество самого Коли. Но частые ссылки на Бога чем-то напоминают недавние непрестанные ссылки на классиков марксизма-ленинизма. Они тоже были высшей инстанцией, но под сводами другой церкви, макушкой другой, всецело земной пирамиды. К ним апеллировали, доказывая чью-то чистоту и безгрешность или черную отступническую греховность

и безверие. И кто-то за них, безмолвствующих, отмеривал меру нашей вины и праведности. Схожим образом Коля Рындин с бабушкой-пророчицей и автором, берясь посредничать между Богом и людьми, спешат с назначением казни от Его имени. Когда-то великий поэт, даже угадывая виновных («Вы, жадною толпой стоящие у трона...»), не брался судить сам: «Но есть и божий суд, наперстники разврата! Есть грозный суд: он ждет». Ныне же дело обстоит проще и понятнее: ублюдков-комиссаров — раскаленными прутьями, а всю эту безбожную молодежь — на вечные муки. Напрасно бабушка Секлетины отделяла сеющих смерть от пожинающих. Все, все прокляты в проклятой стране и потому будут убиты. Мысль, изничтожающая прежний миропорядок, им же и воспитана. Предвкушая и призывая адскую казнь, торжествует воображение, обвиняющее людей скопом, массами, классами, сословиями, нациями, и т. д. Индивидуальные бытие, судьба, характер, ответственность,¹ всё пустяки, всё подверстывается под вину коллективную: профессии, партии, государства. И — никакой надежды, и никакого шанса, и не смейте вопрошать: за что? Хотя шанс давался всегда, и было сказано: «Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову. Тогда придите, и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю» (Ис., гл. 1, ст. 16—18).

Нет, совсем не лишний вопрос: за что? За что затравлен «собратьями по службе» и добит Попцов? За что сильными и наглыми гонимы слабые и больные, эти «согбенные старички с потухшими глазами»? За что обещаны «вечные муки» всем остальным, безымянным, безликим, навеки восемнадцатилетним, изображенным грубым табунным скопищем? За что прочие страшные кары, перечисляемые так и этак чуть ли не сладострастно? И, главное, причем тут Бог? И скороспешное «проклятие»? И весь этот стон и крик о проклятии, — причем? Бурсак не считал вошь и побои карой господней; узнику арбайтслэгера немецкая каторга не казалась божьим возмездием; герои Помяловского, Воронского, Семина видели, что зло рукотворно и по-человечески низменно. Проклятие, побеждаемое баней, чистой одеждой, врачебной помощью, нравственным порядком, как можно догадаться, к высшим неотвратимым карам отношения не имеет. Но мало ли что: писатель настаивает: «прокляты и убиты», его текст вопиет о проклятии и убийстве, о чертовой яме, куда сброшен отвергнутый Богом народ.

В свое время, обсуждая роман Семина, критика любила ссылаться на его слова: «За тридцать лет, прошедшие после войны, я много раз пытался рассказать о своих главнейших жизненных переживаниях. Но только обжигался. А что можно рассказать криком!»

Кричать через столько лет, вспоминая боль, страх, унижения, свою беспомощность, и надеясь вызвать в чувствительных душах ответный крик возмущения и сострадания, может быть, было бы и объяснимо, но Семину этого было мало. Он знал, что слух послевоенного человека «уже не настроен на крик», и что «чем дальше прошлое, тем короче в нем время, тем легче воспринимаются в этом коротком времени самые страшные несчастья». Память делается «старчески уступчивой», а сегодняшнее живое «нетерпение» «готово многим пренебречь».

Автобиографический герой Семина следовал главной страсти автора: понять, пробиться к смыслу! Смысл был для него как вспышка света. «Те, которые ж и з н ь п о н я л и, — темны. Непрерывно понимать и сомневаться». И потому роман — преодоление темноты окончательного, предрешенного знания, непрерывность понимания и сомнений. Он писал роман о людях, о русских и немцах, а не обвинительную речь против фашизма. Фашизм — тоже люди, и он их тоже хотел понять.

Семинское понимание писательства кому-то покажется сегодня элементарным, а кому-то — излишне напряженным и мудреным. Зачем мучиться, напрягаться, когда и так все ясно? Наконец-то, ясно всё до конца. До дна, до полной исчерпанности. И названы уже новые основоположники и святые, и указаны новые герои, и провозглашены навсегда новые идеалы. Осталось одно: расквитаться со старыми... И вот ухо современного человека снова настроено на крик, как в годы войны или во времена массовых гонений,

¹ Вот странность: почему бурса Помяловского или Воронского состояла не из скопища, а из лиц? И арбайтслэгер у Семина — не из серой толпы, а из лиц? Или сознавалось, что в любых обстоятельствах весь интерес — в единичном человеке, в индивидуальности его поведения, судьбы, всего существа.

судебных и внесудебных расправ. Когда вокруг кричат, должен кричать и ты, чтобы тебя услышали. Некоторые говорят почти шепотом, но взгляните в их лица: они искажены криком. Эти люди расквитываются... Чем изощреннее проклятия вслед прошлому, тем как бы чище становятся их души. Можно ли выпилить у дерева часть ствола, выросшую за семьдесят пять лет, чтобы не обрушилась, не погибла вся крона? Невозможно, немислимо, но — пилят... Они заново поняли жизнь, и отныне снова светлы и непогрешимы. Я не хочу сказать, что Астафьев похож на этих людей, он всегда старался держаться в стороне от всякой коллективной, тем более официальной мысли, но — времена необычайные, редкостные, сам воздух — звенящий и пьянящий... Музыка революции, музыка контрреволюции, — все равно, — громкая музыка. Дурманящая. Оглушительная. Оглушающая...

Астафьев, вероятно, понимал, что обличение порядков в каком-то запасном полку на фоне войны вряд ли произведет сильное впечатление. В сравнении с передовой, где за те же три месяца народу перебито — гибель, рядом с бедой, охватившей огромные пространства родины и вошедшей в миллионы семей; казарменные ужасы¹ явно из тех, что можно вытерпеть. Даже если кричать о них криком, сравнения не заглушить. И крик был утяжелен. Образ «чертовой ямы» стал разрастаться, чтобы вместить в себя чуть ли не все послереволюционные злоключения народа и страны. Но, кажется, «вместимость» избранного материала и сюжета была преувеличена; метафоры «чертовой ямы» и «котлована» хоть и родственны, но неравноценны: в астафьевской — преобладают авторские чувства. Если бы они, как прежде, входили в состав астафьевской картины мира, — этого горького и вечного праздника жизни, — придавая ей резкость и мягкость одновременно, то и ощущения крика не возникало бы. Но на этот раз чувства отслаиваются и верховодят, мысль тушется, и перед напором чувств отступает; сколько-нибудь объективное понимание фактов оказывается ненужным; главное — вместе с автором и его героями негодовать, возмущаться, обвинять... Два события, потрясшие казарму, призваны окончательно присоединить к трагическому хору и нас, читателей. Сначала к высшей мере приговаривают (и тут же заменяют штрафной ротой) «бунтаря» Зеленцова, а затем — сбежавших к «мамке» братьев Снегиревых, расстреливая их перед строем полка. Когда судили Зеленцова, коллективные мысли снова роились и «стучались под стриженными коробками и оседали вглубь, на сердце, на русское давно надсаженное, перенатруженное сердце» восемнадцатилетних новобранцев. И были это «такие вот мысли»: «Эх, Зеленцов, Зеленцов! Кореш, товарищ, друг, что ж ты на рожон-то лезешь? Разве ты не знаешь, не ведаешь, где живешь? Разве плетью обух перешибешь? Разве тебе неведома доля-участь наших дедов, отцов? Изведут они, изведут эти хозяева жизни кого хочешь, да все по правилам своим, по советским законам, и пуля не пожалеет. Патронов только на врага-фашиста не хватает, на извод же своих соотечественников у Страны Советов всегда патронов доставало, не хватит — у детей последнюю крошку отымут, на хлеб выменяют пули и патроны».

Зачем так много «стриженных коробок», когда на всех достаточно одной? И, самое отрадное, ей абсолютно все ясно и понятно, и святая злоба вскипает в молодой груди, — одна злоба, одна грудь, — на батальон, на полк, и, видит Бог, вот-вот несдобровать «хозяевам жизни», вот-вот замаршируют колонны прозревших на Москву. И забыты тотчас всякие пустяки: что у Зеленцова «наглое рыло», что его все боялись, что он — захребетник, вор и подлец (чистил по ночам вещевые мешки маршевиков, отправляющихся утром на фронт). А вершина его героического сопротивления гнусному советскому режиму — столкновение с капитаном Дубельтом, посмевающим поинтересоваться, почему Зеленцов спит среди бела дня в клубе за печкой (после картежной игры и пьянки), когда другие тянут солдатскую лямку. Капитан поинтересовался, и был услышан: «А кто ты такой? И х. тебе надо?» Тогда капитан неблагородно топнул ногой и выразился неблагородно: «Ты с кем разговариваешь, мерзавец?!» И, разумеется, получил по заслугам: «Не ори. А то геморрой оторвется». Капитан был поддет «на кумпол», Зеленцов разбил ему нос и очки, «да хорошо еще, что не прирезал», «не успел»...

Жалеет «народ» Зеленцова, ропщет «публика» против судейских, ненавистен ей

¹ Кажется, и мною вслед за автором сказано о них довольно. Но кое-что упущено. Например, как некий генерал оглядывает «строй, состоящий из дрожащих от умывания холодной водой, ободренных солдат...». Или авторское замечание, что «даже такой льготы, даже такой роскоши, как путный туалет, лишены были красноармейцы сорок второго года».

неизвестно за что паршивый очкарик Дубельт. Коллективная мысль преклоняется перед наглостью, хамством, распущенностью, подыгрывая и прислуживая этим ближайшим хозяевам жизни. Хамство Зеленцова, Булдакова (помните про «мокреть» и ухо «ублюдка-комиссара») или Мусикова («заморыш с шустрыми, злыми глазенками») однотипно, уголовно или полууголовно, и почти всегда оправдано порочностью родителей, тяжестью быта, жестокостью политической системы. Отпетые герои Помяловского — крупнее и ярче: в них больше индивидуальности, «диких» природных сил. Но если у Помяловского можно прочесть, что такой-то бурсак (например, Тавля) — «отвратительная гадина» и его «все ненавидели и презирали», то у Астафьева тот же Зеленцов — «кореш, товарищ и друг», то есть свой, будь он хоть трижды пакостник, а вот всякие политруки, трибунальские судьи, командиры — это чужаки, преследователи, дерьмо. Линия различения проходит не между людьми разной нравственности («честные» — «бесчестные», и т. п.), а между «своими» и «чужими». Чужие — это наемники, разнообразие служащие государства, то есть «советские». Автор убежден, что после революционная власть, выводя новую породу человека и крайне спеша, свернула с человеческой тропы туда, «где паслась скотина». Результаты в селекции были достигнуты «невиданные»: «обозначился облик советского учителя, советского врача, советского партийного работника», но особенно — деятеля правосудия советского. Чем более человек был «скотиноподобен», «безмозгл», «беспоощаден характером», тем больше он годился «для справедливого карательного дела». При таком внемудожественном подходе художника к своей задаче персонажей обречена: они не проходят в различные люди по причине их «советскости». Совершилось нечто губительное для искусства: оно даже в условиях свободы — продолжило мстительную сортировку людей; неважно, что по новому принципу, важно, что — сортировку. Протестуя против классового и прочего упрощения, оно подвиглось это упрощение совершенствовать и заново ужесточать. Кажется, оно поверило, что какая-то внешняя дьявольская сила способна выскрести из миллионов душ все человеческое, стопроцентно их опустошить и подчинить себе. Такое искусство преувеличивает могущество государства и недооценивает слабые силы человека. С них бы ему и начинать, желая что-то понять, а не внушать и навязывать. Ярлык на лоб, ругательства («безмозгл» и т. п.), насмешка, — всё это подменяет самое трудное в искусстве и жизни: понимание. Автору достанет язвительности, чтобы беспощадно высмеять мать одного из новобранцев — «железную большевичку», всю жизнь кричавшую со сцены про весну человечества. Да с какой сцены, с какой? — хочется уточнить. Где же это она зловредно сеяла, распыляла стихотворную отраву? Оказывается, в районном доме культуры, в леспромхозовском клубе, и выше не было должности у нее, чем «методист-инструктор самодеятельного искусства и физкультуры», но — каков сарказм («заправила народного искусства», «боясь денно и ночью за новую пролетарскую культуру», и т. д.)! Хоть мельком, но расскажет автор и про других недостойных родителей, например, о «вечных пионерах», «кочующих по ударным стройкам», жаждущих «трудовых подвигов» и держащих сына в небрежении. («Да х., их знает», где они, — скажет о них сынок. — «Все лозунги орали, песенки попевали»). Дурацкая участь, не правда ли: мотались, мыкались, маялись. Наискосок листа с наскоку набросанной биографией — резолюция: заслуживают презрения. Но вспомним и другое отношение к «вечным пионерам» — хотя бы «житие» Евдокии-великомученицы и ее Калины Ивановича (Ф. Абрамов «Дом»). Какой же путь — судилища или понимания — к истинному смыслу человеческой судьбы надежнее? Если к тому же помнить, что прикасаться к ней надо бы деликатно, по-божески. «Историческая диагональ» (С. Н. Булгаков), по которой движется жизнь, была бы всего лишь вульгарной, саможизненной для человека горизонталью, если бы «принудительной необходимости этого мира» противостояли Зеленцовы да Булдаковы, то есть русское хулиганство, внесенное Н. О. Лосским в список наших национальных черт. Булгаков по опыту отечества знал, что и духовное возвышение над «принудительностью» мира не всегда безупречно и может быть опасным (героизм и подвижничество революционной интеллигенции), но, кажется нам, и в своей безупречности оно делает человеку честь. Во всяком случае, в историческом пространстве точка «чертовой ямы» вряд ли послужит опорой для упрямой диагонали несломленного человеческого духа.

Но как быть с братьями-близнецами Снегиревыми? Разве не простейшее и вечное духовное начало (любовь к «мамке», к дому, вера в доброту окружающего мира)

породило их наивный, детский поступок, сочтенный не просто самоволкой — дезертирством? Притаив из дому калачей, они кричали «по-детски радостно, беспечно»: «Ешьте, ешьте!» Где вы пропадали? — спрашивали их. «А дома!» — «ликующими голосами» сообщали братья. И еще про что-то говорили они в один голос, «все ликуя...»

Когда зачитали приговор, и братья стояли перед выкопанной могилой, — этот страшный эпизод долгие, как в замедленном показе, — один из них все еще с надеждой глядел на строй своих товарищей, а те в тягостном ожидании всматривались в его кричащий, отчаянный взгляд. И клочкотала в их головах очередная коллективная мысль: «Неужели он и в самом деле не понимает? Неужели все еще верит?...» Так «смятенно» думал не один Скорик (особист. — *И. Д.*), и Щусь думал, и бедный комроты Шапошников, совсем растерзанный своей виной перед смертниками, многие в батальоне так думали...» И еще они думали, что майор, оглашающий приговор, вот-вот скажет: «...но движимая идеями гуманизма, учитывая малолетство, .. наша самая гуманная партия, руководимая и ведомая...» (Причем тут партия — в приговоре? — не понять, но коллективная мысль всегда как бы в легком тумане). Лучше бы астафьевские герои думали поодиночке и вовремя, тогда бы читатель не только бы ужаснулся убийству, но хоть что-нибудь понял из того, почему оно допущено, по чьей слабости, трусости, равнодушию, служебному испуганному усердию, увидел бы, как и через кого и насколько просто сработал карательный механизм, — не из железа же он, даже не из сталинских приказов, а из человеческой плоти, и даже духа. Но задумано было явно иначе: потрясение и возмущение должны были перекрыть все вопросы и сомнения. «Вот что творят, сволочи, вот что творят!» — должно было стучать в наших головах. Чем больше утверждается грозная фатальность происходящего, тем меньше претензий к человеку. Он как бы освобождается от ответственности, как, например, чувствительный и чуткий особист Скорик (пополнять литературную галерею особистов-негодяев, видимо, не захотелось) или «бедный комроты Шапошников». Он ничего не может, они все ничего не могут, никто ничего не может. Возмущение расстрелом (и наказанием Зеленцова) описано так, что похоже на «волнения в войсках»: выкрики, угрожающие жесты, чуть ли не все крестятся, кто-то молится... Но это — все тот же знакомый крик, только повыше тоном, и, как всякий крик, он быстро обрывается, но из такого крика — крик к крику — и выстраивается обвинение.

Из истории Снегиревых, — в сущности, вставного, краткого эпизода (еще один пункт обвинительной речи), — могло бы выйти что-то отдельное, повесть или рассказ. (Помните шукшинского Степку, сбегавшего из мест заключения за три месяца до освобождения: не выдержала душа?) Может быть, тогда бы была понятнее природа чрезвычайной наивности братьев и вся подоплека вынесенного приговора. Но оставим пустые предположения: есть то, что есть, — крик полвека спустя. И он — воздействует, он — ко времени крика. Аннинский признается, что сцена расстрела потрясла его; меня — тоже, как всякая картина убийства, но крик к крику — это всего лишь еще одно объявление чьей-то вины. Объявление, а не установление. В самом деле, что еще устанавливать, если «чертова яма», и всё, что в ней творится, — порождение гнусного антинародного строя, зловонное узилище мучеников режима (см. вышеприведенные определения: «преисподняя», «крысиная жизнь» и т. д.). А начало режиму положил «выродок из выродков, вылупившийся из семьи чужеродных шляпников и цареубийц, до второго распятия Бога и детоубийства дошедший». Мало того, «будучи наказан Господом за тяжкие грехи бесплодием» и «мстя за это всему миру», он «принес бесплодие самой рожалой земле русской, погасил смиренность в сознании самого добродушного народа, оставив за собой тучи болтливых лодырей, не понимающих, что такое труд, что за ценность каждая человеческая жизнь...»

В этой тираде — некий итог и недостающее объяснение. Указан источник всеохватного зла, и бестрепетность указания потрясла меня не менее сцены расстрела. Мне-то казалось, что даже кратчайшего прикосновения мысли художника к чьей-то судьбе довольно, чтобы на миг единый почувствовать себя в чужом сюртучке или тужурке, или, грубее сказать, в чужой шкуре, услышать частые удары чужого сердца, как свои... Но художник, не милующий, а взыскивающий и казнящий, и казнит-то, как видим, не по-царски... По всем правилам новейшего времени он ставит в вину человеку его сословную, национальную и физическую природу и готов унижить весь его

род.¹ Но главное даже в другом: указана первопричина всех российских зол и бедствий, вот он — окаянный злодей, погубитель самого рожалого и самого добродушного народа, вот он! — а все остальные — всего лишь заблудшие души и жертвы, и хотя среди них тоже попадаются злодеи и «юродивые деспоты», например, товарищ Сталин, но не он же первый, не он — основатель и провозвестник... «Выродок из выродков» реально правил страной четыре с небольшим года; ему же вменяют в вину еще семьдесят лет долгого исторического времени: было бы на кого списать побольше грехов и преступлений, чтобы дальше не разбираться. Чем чернее он, тем мы, разумеется, светлее и чище. А на кого, думаю я, списать тогда, например, несчастья бурсы, дотянувшиеся из 40-х (Помяловский, Щапов) до 90-х годов (Воронский) прошлого века? (И перекинувшиеся почему-то в казарму 40-х годов века двадцатого?) На кого — это отсутствие смиренности и добродушия, это присутствие безбожия и хамства, это — по сей день — небрежение человеческой жизнью, особенно слабой или плохо защищенной? На кого?

Сошлюсь на свидетельство Александра Воронского: «Русское озорство, буслаевщина, хулиганство, скоморошество, разгильдяйство — все это бурса. Бурса ходила в грязи, в коростах, в парше; от бурсы разило на целую улицу мерзостью, бурса боролась со всякой попыткой к чистоплотности — все это наше, родное. Бурса воспитывала, развивала обособленность, ханжество, буквоедство, святошество, изуверство — и это наше, «расейское». Бурса помимо духовенства укрепилась в канцеляриях, в судах, в управлениях, в школах, в казармах, в семьях, в дружбе, в знакомстве. Не сродни ли бурсацкому начальству и бурсакам щедринские градоправители, стряпчие, Головлевы, ташкентцы, пошехонцы, глуповцы?.. Бурса проникала в науку, в искусство... Сколь много утруждали нас семинарским суемудрием и суесловием толстые фолианты, «труды»!.. Мы знаем писателей пакостников, охальников, срамников, грязных скоморохов, строчил и казуистов, неотесанных обломов. Все это бурса... Нет, не говорите: от бурсы — большая огромная тень! Революция вбила бурсе осиновый кол...»

Простите, я повторюсь: кол давно сгнил, Александр Константинович, революция переоценила свои силы. Она пыталась рывком поднять угол «исторической диагонали», презрев земное притяжение обычной человеческой жизни, ее инерцию, ее духовный запас и опыт, медленные силы ее роста. Революцию пьянил четкий рисунок графика, непрерывно лезущего вверх. («Все вверх, все вперед неуклонно пойдем, как бы ни был бы крут и тяжел подъем...») Но, изначально готовая принести в жертву многие классово чуждые или непослушные жизни, она была обречена. Железобетонная балка мнимой «исторической диагонали» рано или поздно должна была обрушиться; слабые человеческие руки не выдержали ее тяжести. След от нее, устремленной в светлое будущее, по сей день греет что-то сердца, и смеяться над этим грешно. В своем вечно ненасытном чреве революция переварила старая российская бурса во главе с горько-тифлисским бурсаком. Астафьев помог нам разглядеть получившуюся смесь: она отвратительна. Выступая в роли обвинителя или ревностного свидетеля обвинения, писатель, возможно, и преуспел, и потряс публику, но более силой и пронзительностью выражений, чем логикой и анализом; художник в нем словно бы отступил, предпочтя индивидуальному — коллективное, или мнимо-коллективное, пониманию — обличение, осуждение, скороспешную казнь. Один наш польский современник рассуждает так: «Мы, конечно, говорим «нет!» коммунизму по многим причинам. Но свобода, которая реализуется только в «нет!», превращается в невозможность сказать «да!», т. е. в неспособность любить, и это выражается в ослаблении чувства греха и в той ловкости, с которой мы пытаемся оправдать наше безнравственное поведение» (С. Грыгель). Или еще, добавил бы я, поведение наших героев с их ослабленным чувством греха и ответственности, сколько бы с перепугу они бы ни крестились. (Я не знаю, таковы ли были прототипы, но их литературные тени, явившиеся через полвека, таковы.) Освобожденные от чувства долга, дисциплины, добросовестности, они заранее оправданы; виноваты их советские родители, советские учителя, советские командиры. Если мученики из «Чертовой ямы» скоро будут убиты, то не потому, что прокляты вместе со всей страной, а потому лишь, что плохо

¹ Палку, сильно перегнутую в одну сторону, обычно столь же сильно перегибают в другую. Лучше всего — позволить ей выпрямиться. Подразумеваемый в ряду «цареубийц» Александр Ульянов, окончивший гимназию с золотой медалью, студент-естественник Петербургского университета, секретарь Студенческого научно-литературного общества, заместитель председателя Совета объединенных землячеств (председатель — В. И. Вернадский), «умный, привлекательный человек с большими интересами» (В. И. Вернадский), повешен в 21 год за подготовку покушения на царя, и никакой крови, кроме теоретической, на нем нет.

обучены и недисциплинированы. Бурса в условиях войны, да какой! — явление противоестественное, но возникает она из усилий обеих сторон, пастырей и паствы, и потому лучше не спрашивать, кто сбил народ с панталыку? И, может быть, лучше последовать совету поэта:

Как знак беды, как памяти истица,
Могильная возшла плакун-трава,
И нам осталось каяться-креститься
И выдыхать истошные слова.
Живой воды перед концом отведав,
Припоминать священный звукоряд,
Молиться за отцов, а также дедов,
В безумии не знавших, что творят.

Л. Григорьян

И все-таки что-нибудь они да знали, ведали, не про других хотя бы — про себя. Герои Астафьева — судьи над другими, не над собой, им легче. А вот семинского Сергея («Нагрудный знак «OST») терзала, мешала жить, влачиться по течению, простая вроде бы мысль: «Из того, что я не сделал, складывалась совсем другая жизнь». Такой вроде бы пустяк: отправляясь на занятия, астафьевские бурсаки расхватывают макеты винтовок (они полегче), оставляя нерасторопным дурачкам винтовки настоящие, тяжелые, финские. (Винтовок было мало, и почему-то только финские). Семинского героя в таких случаях мучила совесть: из того, что он не сделал по слабости, лености, трусости, непониманию, складывалась поистине другая жизнь — труднее, но достойнее. Другая жизнь обитателей «Чертовой ямы» — это все та же общая жизнь в потоке, в гуще, в массе: похитрее словчить, побольше схарчить, поудобнее устроиться, отсидеться, отлежаться... Но без чувства д р у г о й ж и з н и, без самоукора, без тоски по ней, может быть, упущенной, но желанной, сквозящей, мерцающей, какая вера в Бога?! И не взамен ли ее и в подмен выдыхают запоздалые «истошные слова»?..

199

Виктор Астафьев своим романом возвращается на войну, а Василий Быков пребывает там, в сущности, безотлучно. Кажется, он провел своих героев по всем ступеням ужасного, но осталась еще одна: установление собственной вины.

Егор Азевич из новой повести Василя Быкова «Стужа»¹ живет как бы двумя жизнями зараз: настоящей (таясь от немцев и .полицаев в лесах, полях, сараях) и прошлой (вспоминая свою карьеру партийного активиста). Но сознание другой, несбывшейся, как бы сданной им жизни, — так сдают что-то врагу, не умея защитить, — нарастает в нем вместе с ощущением своей огромной вины перед людьми. Он не назовет своего предательства предательством, доноса доносом; разве, уговаривая, произносили: «предайте!» или кричали: «доносите!» Всё было пристойно, по-житейски размыто, мягонько; и славная девушка Полина просила так ласково, и чего-то похожего требовал долг, и в итоге совершалось все необходимое и непоправимое. На краю жизни, а дни его сочны, его казнит не слово, а сама память, хранящая лица и голоса тех, кого он любил и помог убрать с дороги во имя каких-то высших интересов партии и отечества. Он виноват даже перед камнем — старым домашним крестьянским жерновом, расколотым им в чьих-то сенцах в неистовстве классовой борьбы. Так кто же он, этот Азевич, и зачем возится с ним писатель? Разве недостаточно знать, что он — сельский политрук, из кучеров выбившийся в инструкторы райкома, чтобы потерять всякий интерес к этому сексоту и ублюдку? Но на вопрос: кто он? существует более простой ответ: он — человек, и этот ответ исчерпывающ для художника. И потому сначала надо понять, как старался понять Рыбака или Портнова, или Сотникова, — только в понимании всё: и вина, и оправдание, и приговор, если кто-то непременно настаивает на приговоре, и даже сокрытое от самого человека объяснение его судьбы, этого всякий раз единственного скрещения лучей света и тьмы.

Быков по-прежнему остается верен себе; и в прошлые времена, и в нынешние — это признак силы и независимости. Неужели суетиться, подлаживаться ко всемирной и всероссийской пошлости, добирая «правды» и «выразительности» за счет всевозможных непристойностей, в том числе и политических, а примеров тому — тьма? Да, да, как всегда, полная сосредоточенность на одном, двух, трех героях, преодоление пространства, опасность, сжимающееся кольцо обстоятельств, холод, голод, болезнь или раны,

¹ Василий Быков. Сюжета. «Полымя» № 1, 1993.

ускользающее время жизни. В этом внешнем однообразии — трагическая повторяемость, может быть, главных сюжетов эпохи и заключенная в них бесконечная новизна человеческого опыта; только в пограничье этих ситуаций человек — то, что он есть на самом деле. Азевич бредет по родной белорусской земле, вздрагивая: а вдруг узнают, вдруг выдадут? Ему кажется, что прошлое подстерегает его, и он вот-вот на него наткнется. И наткнулся, не ведая того, и когда уже спасенный, выхоженный, стал расспрашивать добрую свою спасительницу, деревенскую тетку, про то, про сё, услышал, что она его помнит и узнала: «молоденький такой, в буденновском шлеме...» И еще он узнал, что это ее жернов треснул тогда на три части... Остается Азевичу недоумевать: неужели нет в ней ненависти к нему и к таким, как он? Что за характер такой незлобивый, словно не разбирающий, где добро, где зло? Что это за доброта? Деревенская, женская, национальная? Хорошо или плохо, что она такая? А вдруг достанет этой доброты и на немца?..

Азевич так и не поймет, что он этой тетке с в о й, — тот, такой молодой, в шлеме... Несмотря на все беды, несмотря ни на что, с в о й. Логика здесь бессильна, этого не объяснишь, и Быков не берется объяснять. За зло плачено добром? Или тетка (Азевич так и не узнал ее имени) разглядела, что зла в этом человеке уже нет, что оно изжито внутренней работой, а общая беда соединила теперь всех?

Уже прошившись, в поле, в вечерних сумерках Азевич неожиданно для себя перекрестился («нам осталось каяться-креститься»). Он почувствовал, что теперь в самый раз — и темно, и не стыдно. «А то и поможет. Ему, и той тетке, и всем, кто оказался в беде. Кто же еще им поможет...»

Может быть, писатель напрасно отдал своему герою кое-что из общих мест «антибольшевистской» публицистики и слишком легко отделил его от его прошлого: наивная жертва, заблудшая овца. Счастье, что развернутые эпизоды прошлого имеют свой самостоятельный смысл, и огромная вина Азевича никаким скорым его прозрением не перекрывается. Его можно пожалеть, и его спасают, жалея.

В Азевиче писатель представил нам чрезвычайно актуальную модель существования и поведения личности. То есть «самоказнь» в духе Азевича вполне представима, особенно сегодня. По крайней мере, теоретически. Может быть, что-то подобное и происходит, и кто-то мучительно живет в двух временах, на их перекрестке, и все носит и носит свое прошлое с собой, ничего не забывая. А какие-то другие люди в это время клянут и преследуют прошлое, будто их там не было, будто они ни при чем и алиби их абсолютно. Бедный Азевич, как честна и наивна его «самоказнь», его допытывание у самого себя: кем же он был, что сумел натворить?

«Кто он?» («Тень») — был такой фильм у Ежи Кавалеровича, вышедший на наши экраны в пятьдесят восьмом году. Первые наброски в папку Федора Абрамова под названием «Кто он?»¹ легли в том же, пятьдесят восьмом. Почему-то мне хочется не только совпадения. Я не помню фильма в подробностях, там годы Соппротивления: поляки стреляют в немцев и друг в друга, свои — в своих.

Весной 1943 года Федор Абрамов из курсантов пулеметного училища не по своей инициативе стал следователем «Смерша». Позади были тяжелое ранение, блокадный госпиталь, четыре месяца на родине, запасный стрелковый полк, им не описанный. Отныне в его биографии — неприятная строка; не отмыться. Но материалы к повести «Кто он?» (публикация Л. В. Крутиковой-Абрамовой) говорят: а он и не хотел «отмываться» и казаться лучше, чем был. Он хотел ответить на поставленный вопрос, относя его не только к ускользающей фигуре человека, предавшего партизан, но и к своему главному герою — следователю, то есть к себе самому.

Но какие могут быть вопросы, если вина объявлена: смершевец,² и назначена казнь: до конца дней трепетать, что кто-то всё разузнает и разнесет на весь белый свет. И это — ваш хваленый Абрамов, народный заступник, обличитель режима, правдолюбец! Следователь у Кавалеровича говорил: «Даже волос отбрасывает тень, а человек тем более. Поищем тень, а там и человек найдется». Профессия следователя «Смерша» отбрасывала густую зловещую тень, по ней — угадывали и припечатывали человека.

Судя по абрамовским наброскам, он мог выстроить прекрасную линию обороны:

¹ Федор Абрамов. Кто он? Фрагменты незавершенной повести. «Знамя» 1993, № 3.

² Разумеется, Абрамов не скрывал этого факта своей жизни. Он отражен в его автобиографиях и в ряде книг, посвященных его творчеству.

и сразу же не понравился начальству, и на политзанятиях не потрафил, пробился университетский гонор, и вообще держался чужаком, и важнейшее задание провалил, и в действующую армию, наконец, был спроважен. Но писатель не мог себе позволить этой фальши, этого запоздалого жалобного стона втянутой, замороженной жертвы. На вопрос «кто он?» Абрамов отвечал, добираясь до истинных мотивов каждого своего поступка. Нет, он не подозревал никого из коллег «в преднамеренной жестокости», и «в общем-то не задумывался о противоестественности» всего того, что «потом называлось бериевщиной». От предложенной службы в контрразведке «не отказывался» и очень хотел служебного успеха, тем более, что там же служила женщина, которая нравилась, да и генерал, который всем заправлял, вызывал расположение. И вообще в нем пробилось тогда какое-то неизжитое предвкушение романтики: «Контрразведка... Против разведки. «Смерш»...— «Смерть шпионам», и т. д. (Напомню: Федору Абрамову было тогда 23 года).

Вот ключ к этим признаниям: «С годами Абрамов все больше и больше искал разгадки происшедшей с нами трагедии не только в тоталитарной системе, но и в поведении, психологии, уровне сознания каждого человека» (Л. Крутикова-Абрамова).

Ему советовали начинать дело с разглядывания фотографии. Важно, говорили ему, «сразу же вызвать в себе ненависть к подследственному». Важно еще до следствия «возненавидеть этого гада». И вот он разглядывает фотокарточку, и она не вызывает у него никаких чувств: «Заурядное лицо, небритое, по-тюремному худое, остриженная голова, шинель». Но, прочитав обвинительное заключение, составленное предшественником, он ощутил, как в нем поднимается долгожданное и праведное: «Гад, гад,— подумал я...— матерый шпион».

Назавтра он «увидел чахлого невзрачного парнишку», чей облик никак не вязался с его страшными преступлениями (сдался в плен, завербован, вел подрывную работу в партизанском отряде и т. п.).

Для кого-то невзрачность была бы знаком: прижимай к стенке, добивай, а он не смог. К тому же невзрачный страшный враг от своих прежних показаний отказался.

Ну, что ж, он раскрутил это дело, доказал невиновность одного и вину другого. Но победа следователя пришлось не по вкусу начальству. Абрамов не скрывает, что наперекор всей логике он чувствовал и переживал свою вину. «Ко мне даже вахтеры охраны изменили отношение». У него требовали пропуск, как бы не узнавая. Электроплитку из кабинета унесли. Никуда не вызывали, заданий не давали. Медосвидетельствование показало его негодность для «Смерша» и годность для фронта.

Он не успел про все это написать. Он соприкасался со всемогущей системой, жутковатой, холодной и мелочной, как ее малая часть. Система кажется бессмертной в своей мелочности даже сегодня. Возможно, она бессмертна, как бурса, и в остальном.

Его повесть могла бы стать исповедью «человека, отравленного страхом эпохи». Она рассказала бы о человечности, достигаемой «ценой величайшего страха».

«А ведь так хотелось бы написать. Один против всех. Гордость. И т. д. Но ничего этого не было».

Если бы вокруг него были бы какие-нибудь отвратительные создания, злодеи и очередные ублюдки. Но это «были не злодеи. Злодеи бы — проще». «Нет, люди были не хуже, не лучше, чем все». Он даже переживал: «почему я не могу быть таким, как они? Да, я хотел быть таким же, как они». Он не скрывал: «одиночество, оторванность от коллектива — страшно. Я и не подозревал, что я прирос к нему».

Нет, он себя не щадил. Он готовился выговорить правду, опровергающую всякие упрощения обличительного свойства. Он отвергал упрощение не просто человеческого состава системы, но — жизни, которая всегда больше системы. Но что-то не давало ему покоя («Один против всех?») и он снова спрашивал себя о том же: «Кто ты? Что ты за человек?... Может ли быть борцом одинокий человек?» И отвечал: «Может. И должен быть борцом». Он отвечал так, держа в уме весь свой последующий литературный и человеческий опыт.

Кто-то усмехнется: знакомая проблематика 60—70-х. Терзания на тему: и хочется, и колется. Декламация на тему: даже если кто-то один на краю света «ценой жизни» и т. д. Но я осмелюсь предположить: история еще не кончилась, лик ее теней, и весь этот эмоциональный героический вздор еще пригодится.

Вот прекрасные качества, редкостные сегодня, как, впрочем, и вчера: он не хотел выглядеть лучше, чем был; не хотел, чтобы окружавшие его и начальствовавшие над ним

выглядели хуже, чем были. Он мог бы свалить все на страх с той самой ночи, когда его повезли, ничего не объясняя, на новое место службы. Он мог бы рассказать, как попал под подозрение. И еще что-нибудь. Например, как молодой, изголодавшийся, таясь, доедает остатки картошки или блинов за генералом. Он мог, наконец, издать крик ужаса от позднего и торжествующего прозрения!

Но ничего этого не случилось. С 1958 года и до конца дней он возвращался в свой проклятый сорок третий и вкладывал в папку все новые и новые листки. А понять он хотел всё то же: кто он? И насколько зловеща и предостерегающа тень?

Если то, что было с ним и с другими, можно было бы счесть болезнью, эпидемией страха и покорности, психическим сдвигом, мороком, то следовало бы назвать все симптомы и всё, что длило и распространяло заболевание, предопределяя падение человека, который был не хуже и не лучше других. И еще — установить причины сопротивляемости того одинокого, который «должен быть борцом»...

Почему все-таки, знающий жанр обвинительного заключения не понаслышке, он никогда к нему не прибегал и дух его на художественное творчество не распространил? Может быть, думаю я, из отвращения.

202

«За какой грех пришло это возмездие (война.— И. Д.)?», — напомним я один из вопросов Л. Аннинского. По мысли критика только Астафьев и еще Быков в «Знаке беды» поставили этот вопрос «с такой ясностью».

Не собираюсь оспаривать «правильность» вопроса, хотя он строится на том, что война — «возмездие», и остается назвать, за какой «грех». Охотников ответить и назвать (революция, террор, ленинизм, сталинизм и т. д.) много и даже чересчур, и романы для этого читать необязательно. К тому же вопрос можно тиражировать, распространив его на многие несчастья XX века вплоть до наших замечательных дней. Точно так же, как и вопрос: «за что прокляты?» Но я все-таки о другом: у Быкова в «Знаке беды» главный вопрос иной: «Завошта?» — «За что?» Он же звучит и в быковской «Облаве»: «Люди, за что вы так?.. Я ж отдал вам все — берите. Только за что же меня так люто? Люди, одумайтесь!»

Наверное, это чересчур земные вопросы, никакого мистического оттенка. Как и некоторые другие, которые задавала старая русская литература. «За что?» — спрашивает белорусская крестьянка, бывшая батрачка, передовая колхозница, сжигаемая заживо в родном доме полицией. «За что?» — спрашивает Федор Ровба, раскулаченный белорусский крестьянин, которого травят как зверя.

За что? Беззащитность, разорение, унижение, надругательство, смерть?

Писатель не знает за своими героями вины. Они, можно сказать, были праведниками. И вопрос их обращен скорее не к Богу, а к людям, к тем, среди кого жили. К народу, которому принадлежали. К власти и государству.

И что-то нет спешащих с ответом. Или сказать нечего, и это самое страшное в нашей вчерашней и сегодняшней российской судьбе.

Или поверим, что наши беды — наказание Божие за безобразие «чертовой ямы», за эту армейскую бурсу и бестолочь?

Недалек день, и, может быть, вжимаясь лицом и всем телом в родную землю под вражеским огнем, мученики запасного полка (на страницах второй части романа) с теплым чувством и тоской вспомнят тот «ужасный вой», который исторгали их груди, когда с песней они возвращались с занятий под надежную крышу сибирской казармы?

СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ

«А потом я напишу о любви...»

БЕСЕДУ ВЕДЕТ НАТАЛЬЯ ИГРУНОВА

Меня всегда поражало, с какой смелостью подходит Светлана Алексиевич в своих книгах к осмыслению самых больных — для всего общества и конкретных людей — проблем, будь то судьба женщины на войне или трагедия «афганцев», или состояние безвыходности, подтолкнувшее человека к самоубийству. Примеривая ее журналистскую, писательскую работу на себя, всегда думала, что я бы не смогла идти к тем людям, к которым шла она, с теми вопросами, которые она задавала, а потом переносить их слезы и боль на лист бумаги. Как, впрочем, не смогла бы быть хирургом. Но опыт ее, взгляд на мир были всегда интересны.

В предисловии к новой книге С. Алексиевич «Очарованные смертью» (опубликованной в апрельском номере «Дружбы народов») есть фраза: «Мы боимся быть самими собой; или не умеем». Как остаться самим собой, сохранить себя? во что верить? на что опереться? — все это тоже вопросы из разряда «вечных», «мучительных», очень личных, заостренных нашим временем. В один из приездов Светланы в Москву я и предложила ей порассуждать об этих проблемах.

С. А. Эти вопросы я и сама для себя продумываю сегодня. У нас нет навыков личной жизни — единичной, одинокой, духовной, полной личной жизни. Почему? Мы жили в коллективистском обществе, у нас коллективистское сознание, соборное, если искать более красивое определение, хотя оно, может быть, и не совсем точное, поскольку соборность не то понятие, с которым столь свободно могли бы обращаться такие атеисты, как мы. Мы совершенно не умеем жить в одиночку, и одиночество становится самым страшным испытанием. Но надо жить, надо пройти через одиночество. Так было устроено наше государство, что человек до конца не принадлежал ни дому, ни семье, ни любимому человеку, ни даже собственным детям. Все оправдывалось идеей. Мы нечто невероятное впервые в мире строили. У нас нет навыка личной жизни — у нас есть навык делать все всем вместе. Чем мы гордимся? Тем, что делали вместе: победой в войне, покорением космоса. Такова сложившаяся общественная этика.

Н. И. Я тебя слушаю, а в голове: самое дорогое у человека — это жизнь... позор за подленькое и мелочное прошлое... самое прекрасное в мире — борьба за осво-

ждение человечества... То, что на слуху с детства, со школы.

С. А. Это была наука не жить. Не жить для себя, то есть для того, для чего человек и создан на земле, для чего ему дана эта книга — Библия. Ведь она зачем и о чем? О том, что каждый из нас должен пройти свой путь.

Н. И. Ты считаешь, жизненный принцип, сформулированный Николаем Островским — а за ним уже целая культура — неверен по сути?

С. А. Да, это было заблуждение, то, что сейчас можно назвать социалистической культурой, но в каком-то большевистском варианте. Насколько я понимаю, в нашем опыте нет представления о социалистической идее как таковой. Уже давно практически никто не читал подлинников ни Струве, ни Богданова, ни Плеханова... Социализм как интеллектуальный опыт нам неизвестен. (Хотя, когда я читала социалистов-утопистов, думала, что они, как и националисты, всегда должны быть в оппозиции, иначе насилие неизбежно.) К сожалению, у нас есть только опыт той жизни, которой мы жили. На сегодняшний момент общество в растерянности: старые ориентиры признаны ложными, очевидна их при-

мативность, человек использовался как средство для воплощения, реализации идеи, самоценность его жизни не признавалась. Европа пережила идеи Фрейда, Швейцера, массу других — мы их не пережили, не освоили. В общем-то, тот социализм, который мы знали, был достаточно мещанской штукой. Самое обидное, что мы так и не добились обещанного благополучия, мяса и колбасы. И еще неизвестно, окажись их навалом, что с нами бы сейчас было. Может, жили бы себе дальше, как и жили. Так вот, старых ориентиров нет. Исчезли целые пласты литературы, искусства, которые были порождены этой жизнью. Мечемся, пытаемся оглянуться назад, в «серебряный век», вернуться в начало столетия. Сейчас время не только междувласти политического, но и безвластия духовного. Церковь к высокой роли духовной власти тоже не готова, она смята, уничтожена, увлечена политическими целями, хочет стать еще одним институтом власти. Я не раз была в Германии, видела, чем занимается там церковь — душами людей. Даже когда государство дает гарантии защищенности, противостояние государства и личности остается. И существуют люди, выброшенные за борт жизни: у кого-то нет работы, кто-то попросту несчастен, кто-то не смог взять психологическую планку. Ими занимается церковь. Подпитывает души. Ничего подобного у нас нет. В лучшем случае одесят гуманитарной помощью. А ведь духовный голод — это вещь действительно серьезная. Поменялась знаковая система. И очень трудно в одиночку все это осознать, осмыслить. Не почувствовать себя выброшенным из жизни.

Н. И. Ты говоришь: жить прежде всего для общества — это подход советский. Немного категорично для меня. Вот смотри, человек иной культуры, иного времени, чем Островский, пишет практически о том же самом: «Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется делать историю, чтобы те же поколения не имели права сказать про каждого из нас: то было ничтожество, или еще хуже того...» Это Чехов. Разительно похожие мысли, даже сами слова, но — чувствуешь? — насколько интонация иная. Видно, надо говорить, все же, об идее и ее воплощении.

С. А. Да, казалось бы, пустяк, интонация, форма. Но за чеховской интонацией встает русская культура, великая литература.

А когда читаешь Островского — за ним стоит война. По крайней мере, я так ощущаю. Опыт войны — опыт нескольких поколений. Я, когда работала над «Очарованными смертью», вдруг почувствовала: написав три книги о войне, не понимала, что она так глубоко в нашем сознании. Мера всех вещей. Мы люди войны.

Мы никак не можем понять, где же мы жили — в социализме? в коммунизме? Неужели тот мечтаемый рай на земле похож вот на эту нашу жизнь? А жили мы в военном коммунизме, что иначе не назовешь, как бесконечное состояние гражданской войны, на которой убивают — и вслух, громко, но и тайно. С нами произошло самое ужасное — мы воевали друг с другом и каждый воевал сам с собой, со своим желанием что-то иметь, чем-то владеть, со своими мыслями, как бы незаконными, со своим подсознанием. Когда я работала над «Цинковыми мальчиками», я однажды пришла в дом, когда там стоял гроб и мать плакала над гробом и проклинала убийцу. Через два месяца я встретила ее в школе, она выступала перед детьми и с пафосом говорила о том, что ее мальчик герой и что эти ребята должны подрасти и пойти на войну, повторить его подвиг. Я была потрясена, что побежден даже инстинкт матери. Даже эти слова: герой, подвиг, — все это военные слова, из военной лексики. А наши свадьбы — с проходом к братским могилам и курганам славы?.. Все у нас на крови. Победа в Великой Отечественной войне — великая победа. Но это и как бы найденный смысл жизни для нескольких поколений, оправдание крови. Я теперь даже не знаю, надо ли было писать столько книг о войне. Вдруг мы приучали к войне, к крови? Правда, еще недавно я думала иначе и надеялась, что, когда идешь до конца, до самого конца, там уже начинается другое. Было очень трудно писать, — невыносимо для женского сознания. Деталь из рассказа: когда человек наступает на итальянскую мину, от него остается полведра мяса. Я задавалась вопросом: возможно ли это передать словами? И надо ли заглядывать в эту бездну? И я написала именно из-за того, что надо идти до конца. В надежде, что повсюду начнется ненависть к войне. Теперь я думаю о другом: мы ведь не знаем путь нашего сознания. Включишь сегодня телевизор — везде стреляют. Человек, выросший на войне, — это совсем другой человек...

Н. И. Кто-то может увидеть здесь противоречие: определяя как единственный,

подлинный круг человеческого существования частную жизнь, для себя ты выбираешь другое — борьбу: уже самой своей профессией, книгами, проблемами, которые для осмысления отбираешь.

С. А. Но я же не говорю, что должны быть только семья и дачные заботы. Разве можно только сидеть на даче и смотреть на небо? Я за активную жизненную позицию. Как же можно это взаимоисключать! Когда я говорю об одиночестве, то не имею в виду, что надо отойти от общества. Просто на все вопросы человек должен ответить сам. И тогда появятся понятия личного греха, личной вины. А то вот мои афганцы: они считают, что достаточно судить двадцать генералов — и все, проблема ответственности за эту войну будет закрыта. И когда я спрашиваю у парня: а твой личный грех в этой войне есть? ты же рассказывал, как расстрелял девчонку, тебя это мучит? Война есть война, ты хотел вернуться живым, но ты убивал. А он не хочет об этом помнить, он считает, что за все и всех должны ответить двадцать генералов. Вот это и есть коллективистская этика. Каждый из нас должен сам за себя отвечать. Но это не значит, что нужно отойти от общества.

Н. И. Против тебя тоже возбудили процесс в Минске?

С. А. Да, из-за «Цинковых мальчиков». Четыре года назад вышла книга. Еще были партия, Главпур, они мешали выходу книги. Им не нужна была правда о том, как обманывали ребят и посылали на эту войну-преступление, в чужую страну. Как их там обворовывали свои же прапорщики, как умирали они оттого, что были плохо обучены. Как умирали оттого, что не хватало лекарств. Даже гробов не хватало. Это потом их навезли и даже оставили...

Я пошла к калекам, к матерям погибших солдат, и они мне рассказывали. Одни кричали, другие говорили шепотом. Они рассказывали и не верили, что это можно будет напечатать. Вышла книга. Она вышла уже в другое время, в другой стране.

За каких-то несколько лет мы все оказались в другом времени и в другой стране. Нет той страны, которая посылала этих ребят умирать, а матерям возвращала в цинковых гробах. Винить надо себя и спрашивать себя: кто мы? как мы отдали детей своих на бойню? кому мы принесли их в жертву? А этого мы не умеем. У нас психология жертвы — кто-то виноват, а не я. Вот этим матерям сказали, внушили: ваши дети — герои, а она, писательница, сде-

лала из них убийц, наркоманов. О них надо песни слагать, называть их именами улицы, ставить памятники; это она у вас все отобрала. А нам нужен враг. Присутствие врага оправдывает твоё страдание. Так мы жили десятки лет. Страдать. Когда страдаешь, не надо думать. Когда есть враг, нет твоей вины.

И вот суд. Иски матерей с требованием запретить книгу. Слепой солдат-афганец, когда-то искренний и честный парень, теперь брошенный в бедности, без работы, требует возместить ему ущерб за поруганную солдатскую честь — пятьдесят тысяч рублей. Я смотрела на это обожженное лицо и думала: вот этого парня обманули второй раз. И оценили обман в пятьдесят тысяч. И должна их отдать не КПСС, не Министерство обороны, а писательница, сказавшая правду.

Я не виню их. Их так долго обманывали, что они, наверно, уже не могут жить иначе. Слишком долго мы еще все не будем жить иначе. Мы этого не умеем.

Н. И. Извини, я задам тебе прямой и резкий вопрос. Ты говоришь: каждый из нас должен сам за себя отвечать. Ты готова отвечать за свои книги?

С. А. Если говорить о книгах, о профессии, скажем так, — это разговор о жизни нашего сознания, о жизни слова. Жанр, в котором я работаю, — это воспоминания. Исповедь. Человек рассказывает. Насколько человек может сам о себе рассказывать? Это первый вопрос. Второй: а что есть реальность? То, как мы сидели минуту, секунду назад и о чем говорили, — это уже воспоминание. То есть реальность — это воспоминание. Воспоминание — всегда версия. У каждого своя версия, своя, я бы даже сказала, тайна жизни. Утром и вечером — уже два разных человека. Утренний человек и вечерний человек видят мир по-разному. А через пять, десять лет — каждый из нас уже совершенно другой человек. Мы, наверно, проживаем несколько жизней за одну свою жизнь. Добавим к этому, что я в бы и р а ю из рассказанного мне. И возникает вопрос: что есть документ? Люди рассказывают — я слушаю. То, что называется книгой, — скорее, образ времени, образ войны, и это уже мой образ. И тут я, конечно, готова брать ответственность на себя, потому что этот документ — это я. Значит, судить будут меня. За то, что я вижу мир так, а не иначе. А мне мир и человек в нем видятся трагически. Мир не научился радости. Наши отношения с Богом... С даром Жизни... Трагические.

Н. И. Почему ты выбрала такую жизнь для себя? Могла ведь быть совсем другая дорога в журналистике, в литературе.

С. А. Я уверена, что нам дан путь. Кажется, так у Блока: талант — это чувство пути. В литературе он зависит от природы одаренности, скажем. Может быть, если бы у меня была поэтическая одаренность, я бы писала совсем другие вещи. По натуре своей я книжный человек (я ведь из семьи потомственных сельских интеллигентов, из учительской семьи). Мне бы сидеть дома и читать книги. Я не хочу на улицу, это жизнь меня туда тащит. По темпераменту я склонна не перестраивать мир, а познавать.

Н. И. Тогда почему же такой непростой для тебя выбор?

С. А. Потому что я оказалась в таком отрезке истории. Мы заложники нашей истории. Меня спрашивают: почему у вас столько книг о смерти? Я говорю: но если человек всю жизнь живет в сумасшедшем доме или в тюрьме — о чем он может писать? у него другого опыта нет. Я живу в этой стране, история которой — кровь и кладбища, разрытые могилы. И вот стоишь над этой могилой, а тебя спрашивают: почему ты думаешь о смерти? А о чем же еще я могу говорить?!

Я могла бы взять стипендию и прожить пару лет за границей, как это делают некоторые. Ни в коем случае их не осуждаю, выбор у каждого человека свой. Но по складу характера я этого сделать не могу. Во мне сидит совестливость сельских учителей: как это я буду есть, когда кому-то голодно? Совестно, не по себе. Хотя вот это, как раз, от того самого коллективистского воспитания.

Н. И. Я бы, скорее, отнесла это к влиянию той самой великой русской литературы.

С. А. Может, ты и права. А вообще, я считаю: есть судьба. И уйти от нее нельзя.

Н. И. У тебя была какая-то внутренняя цель, когда ты начала писать последнюю свою вещь о самоубийцах?

С. А. Да, была — познание мира. Для меня всегда интересен человек в условиях сверхнасилия — то, чем я занимаюсь с первой своей книги. Человек и, если так можно сказать, его пределы — великое в нем и страшное. Война была страшным насилием. Или вот сейчас — я хотела понять, что такое обыкновенный социализм, как идея живет в сознании каждого отдельного человека. Думалось ведь: партии не станет, и все изменится. Оказалось —

нет, все дело в нас, в том воспитании, которое мы получили, в нашей культуре. Осмыслить и переосмыслить все это очень трудно. Я вижу, как людей рядом со мной жизнь ломает — столь многое нужно постичь и понять за очень короткое время.

Н. И. Заставляя ребят-афганцев осознать их собственную вину, ты обрекаешь себя на жестокую роль.

С. А. Но ведь когда я писала об афганцах, я писала книгу не о войне и не о судьбах этих людей. Я пыталась разобраться в том, что такое мы, почему с нами все это можно было сделать? Книгу, которая бы вернула человека к мысли о том, что он сам отвечает за свой путь. Никому нельзя передоверить свой выбор, свою вину, свой грех. Книга не об Афганистане, Афганистан — только повод. Точно так же, как сейчас самоубийства и социалистическая идея — только повод, дающий возможность задать человеку вопрос: почему ты в это верил? Почему ты не думал, не отвечал за свою жизнь — вот о чем я хотела написать.

Н. И. Но это же совсем не просто — поломать стереотипные установки и как бы вновь осознать вещи, которые по прошествии времени уже будут казаться естественными, очевидными. Ну кто из нас сегодня возразит против того, что вера — дело интимное, во что верить — проблема личного выбора человека. Это сегодня. Но вот меньше двадцати лет назад «Комсомолка» задает вопрос: во что нужно верить? И не какой-нибудь записной оракул-обществовед — Юрий Валентинович Трифонов отвечает. Он отвечает достойно: нужно верить в хороших людей. Но даже у него не возникает сомнения в правомерности такой постановки вопроса.

С. А. Духовная жизнь — это интимный процесс. Это то, что в нас разрушено.

Н. И. Ты читала Ортегу-и-Гасетта? Его много печатают в последнее время.

С. А. Я отметила для себя его «Восстание масс», но пока не прочитала.

Н. И. Знаешь, у него есть статья, будто специально написанная для нашего разговора, — «Идеи и верования». О чем он говорит — если очень коротко: есть верования, люди их не замечают...

С. А... Они просто живут в их атмосфере, как мы жили в атмосфере социализма...

Н. И. Да, именно так, хотя он находит для сравнения субстанцию более прочную — твердь, на которой устойчиво стоит человек. В смутные времена — как

сейчас у нас — человек теряет почву под ногами и летит в пропасть. Все нужно переосмыслить, собственное существование как бы перечеркивается. Человек оказывается уже не перед привычным однозначным утверждением или отрицанием чего-либо — сомнение ставит его в ситуацию выбора. Возникает ощущение нестабильности. Естественно желание попытаться вынырнуть из этой пучины сомнений. Человек начинает рассуждать. Прорехи, неизбежные в системе верований, в такие исторические моменты заполняются идеями. Ты не думаешь, что нечто похожее происходит с нами?

С. А. Мне кажется, что то, о чем он говорит, все-таки проблема немногих людей, затрагивает тонкий слой культуры. Массы людей, тех, что обычно называют обывателями, иные. Они живут на уровне мифологии и предрассудков. Основная масса людей идеями не живет — она живет просто жизнью. На глубине народного бытия важно другое: родился, женился, проворовался, в тюрьму посадили, разлюбили, бросили, дорого, дешево...

Н. И. А на уровне «хорошо — плохо», «добро — зло»?..

С. А. Да, конечно, но это уже держится, я думаю, на традиционной культуре и религии... У массы людей верования облекаются в формы, если можно так сказать, общего движения: раньше все не праздновали Пасху, а теперь вдруг все начали праздновать. Это не задевает жизнь людей глубоко. Вообще очень мало людей живет разумно, осмысленно. В основном — приспособляясь к той жизни, которая есть. Вынуждены с ней считаться. Вступали в партию, потому что все вступали в партию, надо было пройти по определенным ступенькам для карьеры. Сейчас некоторые уже опять вступают — а вдруг коммунисты вернутся к власти? Но говорить, что это верования?.. Это способ выжить. Каждый думает о семье, детях. Я спрашивала у героев последней своей книги, почему они вступали в партию, и почти всегда был прагматический какой-то интерес, хотя я искала для книги именно людей идеи, которые искренне во что-то верили.

Но, повторюсь, я заметила, что масса людей все-таки живет не идеями, а предрассудками. Здесь сказывается и образование наше, очень поверхностное... Я встречала очень мало людей, которые продумывали свою жизнь.

Н. И. А герои вашей последней книги? Пройдя через смерть — начали они думать о своей жизни?

С. А. Очень немногие. И что важно — почти ни у кого нет покаяния. Меня ведь не интересуют вожди или лидеры, меня интересует массовое сознание. А трагедия интеллигенции — совсем иная трагедия.

Н. И. А трагедия «очарованных смертью», по-вашему, в том, что разрушился привычный уклад жизни?

С. А. Да, знаковая система поменялась. И как бы ни призывал академик Лихачев к покаянию, это слово, которое больше всего не любят мои герои — и мои афганцы, и мои старики.

Все-таки мы люди другой культуры. Нет уважения к личности. Нет уважения к власти, к государству. Помню, лет пять назад я возвращалась домой из Германии вместе со знакомой немкой. Она хотела провезти две Библии (одну свою, другую — в подарок). Ей объясняют, что можно только одну, но, если она скажет, что в подарок и что она не знала, — ей простят, позволят. Для нее эти уловки — из разряда невозможных. Законы существуют для того, чтобы их выполняли, но если это плохие законы, нужно бороться, чтобы их отменили. Человек воспитан в иной правовой культуре. У нас: припрятать, но провезти. Проблема — как выжить в существующих условиях, а не как изменить законы.

Еще одну историю расскажу. Наша писательская делегация во Вьетнаме. Не буду называть имен, все это очень большие писатели. Обедаем. Рядом с ними оказались двое американцев. Разговорились. Они рассказывают, что уже десять лет ищут останки погибших летчиков — два или три экипажа, негры. Реакция нашего великого писателя: из-за каких-то негров столько времени и денег потратить?! Мы, гуманисты, коллективисты, привыкли считать на миллионы...

Н. И. Ты ставишь очень высокую нравственную планку для своих героев. Вряд ли многим она под силу. А сама ты сильный человек?

С. А. Не знаю. Но не слабый, конечно.

Н. И. У тебя самой был какой-то перелом, кризис — не могу подобрать слово «помягче» — после августа 91-го, распада Союза?

С. А. Во всяком случае, никто не думал, что так быстро все развалится. Да и национализм я никогда не поддерживала. По натуре я космополит, как бы это ни раздражало наших националистов белорусских. Я много ездила по миру. Я, конечно, всегда хотела жить у себя, здесь, в этой нашей действительности — бело-

русской? русской? советской? — трудно дать точное определение, видимо, все же — советской. Но я не могу сказать, что ощущаю себя человеком какого-то «куска» земли. Здесь мне многое близко, дорого, но я и другую жизнь принимаю, мне интересна и эта жизнь. Я вообще не понимаю, как белорусы могут быть националистами после Чернобыля. Это для меня загадка.

Н. И. Ты ведь в последнее время именно Чернобылем занимаешься?

С. А. Да, и ближе соприкоснувшись с этим, начинаешь чувствовать себя представителем определенного биологического вида. Когда насмотришься на диких кошек, одичавших собак (там ведь собаки-волки появились), мне кажется, так смешно носиться с тем, что ты украинец, белорус или русский... Какая-то другая этика должна появиться после Чернобыля. По-новому должны выстраиваться отношения с природой, новые нравственные вопросы стоят.

Н. И. Назови главные для тебя.

С. А. Ну, прежде всего, то, что человек взял на себя какую-то несоответствующую ему роль в этом мире. Мы ведь пока живем под старым лозунгом: не будем ждать милостей от природы... Мы не пытаемся понять природу. Делаем оружие, вместо того, чтобы задуматься над трагизмом человеческого существования. Помню, как я ненавидела военных, когда умирала моя сестра, в 35 лет, от рака. Я думала: атомные подводные лодки бесчисленные, бомбы, хитрое, страшное оружие, — на это деньги есть, а на то, чтобы лечить людей, — нет... Вот о чем люди должны думать. Такой маленький кусочек жизни. Как это у Бунина: смерть занимает огромное место в таком крохотном человеческом существовании? А люди еще убивают друг друга из-за того, что у кого-то другая форма носа. Мы, по-моему, вернулись к шестнадцатому веку. И мне трудно сказать, что это только советское, вина этих 70 лет. Нет, конечно, духовного восхождения не произошло, какое восхождение — у разверстой братской могилы стоим, но сказать, что все началось с семнадцатого года — еще раз подтвердить, что все мы воспитаны на «Кратком курсе». А не на Библии и Достоевском...

Н. И. Не хочется задавать «глобальных» вопросов, типа: а что, по-твоему, современному человеку необходимо в себе восстановить? Хотя ты наверняка думала об этом. Сузим вопрос: что помогает тебе чувствовать сегодня ту самую «твердь» под ногами?

С. А. Чем лично я спасаюсь сейчас? Жизнь складывается непросто и нелегко, но я нашла свое дело, занимаюсь тем, чем хочу. Я достаточно независима. Я познаю жизнь, мне это интересно и, ко всему, это еще и моя профессия.

Н. И. Ты людей любишь?

С. А. Здесь, в Москве, в метро стою в очереди за жетоном. Передо мной девушка. Вдруг какой-то нагловатый молодой парень оттесняет ее. Она пытается протестовать: «Вы здесь не стояли.» Он в ответ бросает: «Помолчи, если хочешь жить.» И сдачу, четыре рубля, ей сует, за то, что замолчала: «Бери.» И никто в очереди не заступился. Я промолчала. Все мы промолчали. В Минске я еще могла бы ввязаться, но уровень агрессивности в Москве выше, чем в Минске...

Н. И. А ведь герои твоей последней книги и этот юный «властелин жизни», как это ни парадоксально, — явления одного порядка. Известно, что самоубийство — агрессия, направленная на себя. И научно доказано, что в «смутные времена» возрастает и число самоубийств, и агрессивность, число преступлений. Но это к слову, извини, я тебя перебила...

С. А. ... Я только хотела сказать, что люди мне страшно интересны. И тех, среди кого я живу, о ком пишу, я очень люблю.

Н. И. А ты их жалеешь?

С. А. Да, да, жалею. Хотя в последнее время я чувствую, что христианином быть очень тяжело. А те, о ком я пишу, мне безумно интересны. Но я все больше думаю, что психология жертвы, которая вырастает на почве жалости, — это самое страшное, что в нас воспитано. Кто-то виноват, а я жертва. Но, видимо, что-то в нас самих такое заложено — ни с каким ведь другим народом такой эксперимент не провели... Надо искать не вовне, вопрос должен быть внутри: возвращен: что такое я? как моя жизнь складывается?

Да, жить сейчас трудно. Но нужно выжить. Иначе зачем Толстой с Достоевским? Зачем столько страданий? Может, Чаадаев прав — и мы на земле для того, чтобы все самое страшное проверялось на нашем народе?..

Н. И. А о чем будет следующая твоя книга?

С. А. О Чернобыле. А потом я напишу о любви. Об этом вечном поединке между мужчиной и женщиной...

Н. И. Ну что ж, все мы дети своего времени. Воистину: и вечный бой...

Еще один «автопортрет человечества»

РУБРИКУ ВЕДЕТ
ЛЕВ АННИНСКИЙ

В петербургско-парижском издательстве Гржебина вышла книга Бориса Парамонова об Эренбурге; книга эта увенчивается заявлением, способным ввергнуть в столбняк как юдофилов, так и юдофобов: Парамонов надеется, что ему удалось «сделать антисемитскую брань пробой высокого качества».

Я надеюсь, что мне удастся обернуть этот прием на книгу самого Б. Парамонова. Великолепный писатель и замечательно образованный философ, иначе говоря, самой высокой пробы автор, он вызывает у меня... не позыв к брани, конечно, но желание возразить. Не по конкретным позициям (книга блестящая и по-своему безупречная), а по позиции общей: про «человечество».

Эренбург, конечно, тема скользкая. Аналог Микояна. Писал ерунду, но не скурвился. Не став художником, ухитрился стать классиком. Это я цитирую Парамонова. Другие говаривали проще: пач-чему не расстрелян?! Суть почти та же. Парамонов литературную проблему отчеркивает так: поэт — никакой, прозаик — кое-какой, публицист в конце концов — в духе газеты «Правды». Но — гениально осуществившийся еврей!

Что такое «еврей»? Еврей, — отвечает Б. Парамонов, — это человек, способный отдать все за факт выживания. Пожертвовать всем — за факт бытия. Может, это и безумие, потому что «факт бытия», лишенный качеств бытия, есть мнимость, нуль, пустота, дырка, соблазн. Но это и есть еврейский случай, еврейский казус. Еврей — проекция человечества. Или проект человека. Он — испытатель по преимуществу. Все беды, которые обрушиваются на голову человечества, первым делом обрушиваются на голову еврея. Все качества, которые вызревают в человечестве, сначала вызревают в еврее.

Так пишет Борис Парамонов. Я хочу ему возразить, вернее, «обернуть» его мысль.

Я думаю, что «автопортрет человечества» — это роль, заложенная, в принципе, в каждого человека и в каждый народ. «Проектом человечества» ощущали себя греки, потом римляне. То же можно, наверное, сказать про испанцев, еще не отдавших англичанам мировую инициативу в Новое время, и про англичан, эту роль перехвативших. В другом смысле «автопортрет человечества» (тогда говорили: «Европы») — французы XVII века. Американцы, конечно же, очередной «проект человечества». Да что говорить: мы, русские, только что прошли через эту эйфорию.

Что до российских евреев, которые оказались «проектом человечества» вместо того, чтобы превратиться в русских или хотя бы стать осознанно частью российской интеллигенции, то о реальных обстоятельствах этой истории хорошо размышляет Давид Самойлов в своих воспоминаниях об отце (см. настоящий номер «ДН»): поскольку российские евреи были заперты в черте оседлости, они готовы были вырваться не просто «на просторы России», но вообще «куда угодно: в Австрию, в Америку, в Германию, в Южную Америку...»

Те, что вырвались на просторы России, стали-таки «частью русской культуры и русской сверхнации». Это последнее определение у Давида Самойлова очень точно, хотя не очень привычно: нации — это великороссы, украинцы, белорусы, а русские (и позднее советские) — именно сверхнация, имперский народ.

Те, что вырвались в Америку, стали людьми американской культуры и американской сверхнации. В любом случае сверхнация — «ступень между нацией и человечеством». Так реализуется общечеловеческое начало.

Разумеется, реализуется не в каждом и не всегда. Но заложено — в каждом. Мы-то ведь говорим не о случае реализации, а о том «вечном», что реализуется. Но тогда — в чем смысл еврейской су-

209

дбы? В испытании диаспорой? В том, что сохранили «факт идентификации»? Но ведь и цыгане — сохранили... Б. Парамонов возражает: цыгане ничего не создали, кроме «тряпок» и «музыки». Я отвечаю: так и евреи создали, по Парамонову, то, что не зависит от качеств и ценностей. А если не зависит, то чем цыганский вклад меньше? Скитание цыган (или, скажем, армянский спюрк) — не опровержение, а подтверждение того, что судьбы народов уникальны и непредсказуемы, и, стало быть, на роль «модели» может претендовать каждый народ, причем сама «модель» истончается до абстракции. Но еврейские качества! Это их умение вжиться в невозможность, выжить в бездне, абстрагироваться от морали, найти «ту сторону добра и зла». Их гениальность — не как «дар», а как выбор: встань и иди!

«Выбор»? О, конечно! Но тогда почему эти качества — «врожденно» еврейские? «Встань и иди» — внутренний импульс всякого настоящего американца, например... Но Борис Парамонов может и сам привести мне примеры, он на них по ходу дела натывается и с подкупающей прямоотой заявляет. Гёте — более «человек», чем «немец», и это значит, что Гёте был «еврей». Ну, Гёте еще ладно, но «евреями» оказываются у Парамонова Достоевский и Ницше, что, конечно, есть артистизм высшей пробы. Полукровка Шкловский у Парамонова — куда больший еврей, чем чистый еврей Эйхенбаум, потому что Шкловскому мало было делать теории прозы, ему еще чесалось подкидывать сахар в бензобаки большевистских броневиков.

Разведчик, «нарывающийся» провокатор, «нарыв» на теле человечества... Правильно. Но причем тут кровь? Кровь МОЖЕТ быть катализатором, может быть препятствием, кстати, если кровь — препятствие, то она может стать еще большим катализатором преодолевающего ее духовного усилия. Но только — если все это осознается. Заталкивая личность в биологическое предопределение, вы подкашиваете всю проблему. Если еврей получает качества, делающие его «моделью человечества», с фактом рождения, то какой смысл во всей этой парадигме?

Так в том-то вся и штука! — отвечает Б. Парамонов. — В том-то и загадка еврей-

ства! В его судьбе духовная роль неотделима от биологической заданности. Да, «еврейство нужно выбрать...» — Дальше идет страшное по своему смыслу уточнение: «...Так, во всяком случае, было до Холокоста».

Холокост — аргумент запредельный. Но ведь для испанских евреев эпохи Торквемады таким запредельным аргументом был Эдикт — им было не до «Индии», по которую поплыл Колумб, им было не до «Нового Света», который в тот момент открыло человечество, — для евреев это было время катастрофы, они теряли все, у них не было выбора...

И однако ситуация выбора никуда не исчезла. Да только ли евреи знали свой Холокост? А балтийские пруссы при тевтонском нашествии, а филистимляне под ассирийцами... правда, рассказать об этом оказалось некому.

Я не спору, что евреи — состоявшийся автопортрет человечества, но... с какого момента? А пока Авраам не покинул Ура Халдейского, они были — «автопортретом»? А кто же тогда был «автопортретом», если евреи сидели «на том берегу реки» и не знали, что они евреи?

Да, прав Борис Парамонов: сложилось так, что племя, две тысячи лет провисевшее без корней в воздухе, сумело построить воздушный замок, на который заворуженно (с завистью, ревностью, ненавистью) все эти две тысячи лет глядит человечество. Но будет ли так дальше? По мере того, как под замок подводится каменный ближневосточный фундамент, мираж оплотняется, и что дальше? «Мировое еврейство» станет «нормальной нацией»... в ряду других. С полной возможностью и дальше осуществлять в себе «проекцию человечества». Но без получения этого права с «фактом рождения». Опасно делать «образцового человека» из «вот этого Адама». Опасно смешивать зов Абсолюта с «голосом крови». Крови не оберешься.

А что до Эренбурга, который писал «много ерунды», но был хорош как еврей, — так насчет «ерунды» вопрос всегда открытый. Это не угадаешь: станут ли перечитывать и что извлекут из «ерунды» будущие читатели. Вот Борис Парамонов — вычитал же у Эренбурга такое, что не оторвешься.

ДАВИД САМОЙЛОВ

Из книги «Памятные записки»

СНЫ ОБ ОТЦЕ

Мне сны снятся редко. Но среди них постоянно — все один и тот же сон об отце; уразуметь его я не умею.

А сон вот какой.

Столовая в нашей старой квартире. Все прежнее, но словно заброшенное. И мама не дома, а где-то в чужом месте. Это я вижу одновременно — дом и не-дом. Что-то от меня скрывает. Дома никого. Отца нет. Я не первый раз стараюсь его застать. И во мне странное предчувствие. Наконец, где-то на завершении сна, я вижу отца. Но он не радуется мне, отворачивается, говорить не хочет. Он чужой, равнодушный. Я понимаю, что он ушел от нас, что он нас разлюбил. И что у него есть другой сын.

Просыпаюсь с тоской.

Единственное мне ясно, что это сон об уходе. А прежде снилось другое:

Мне снился сон. И в этом трудном сне
Отец, босой, стоял передо мною.
И плакал он. И говорил ко мне:
«Мой милый сын, что случилось с тобою!»

Лицо в этом сне было точно такое, как в гробу. Это был сон о гневе. Это был сон о том, что он не был счастлив.

Я понимаю теперь, что чувствовал это где-то с самого раннего детства. В мою любовь к отцу всегда примешивалась доля жалости. Он вошел в мою жизнь какой-то жгучей лирической нотой, еще неразгаданной до конца. И в стихотворении «Я маленький. Горло в ангине» я плачу не о бренности мира, это литература. Я плачу об отце.

И позже я плакал о нем. О нем в себе.

Дождь идет. Осень. Сумерки. Я иду по городу, руки затолкав в карманы. Иду отцовской походкой, усталый. У меня болят ноги ¹. Я думаю о доме и о работе. Я — отец. Но думаю почему-то: «Бедный папа!» И слезы наворачиваются на глаза.

И он — я знаю — так же бредя по дождливому городу, полный забот и усталый, думает: «Бедный сын!»

Наверное, ни я, ни он не были никогда бедными. Но в этой взаимной мысли была какая-то высшая жалость, связывавшая нас без слов. Может быть, жалость об утраченном общем детстве и тоска об утрате друг друга.

Отец — мое детство. Ни мебель квартиры, ни ее уют не были подлинной атмосферой моего младенчества. Его воздухом был отец.

Он и сам какой-то стороной своего существа всегда принадлежал детству. Он не то чтобы любил детей, он, скорее, любил детство, легко входил в него, как входят в детскую комнату, и там не переставал быть тем, чем был. Так же вошел он и в мою раннюю жизнь. Я ощущал его равным. И это равенство только украшалось его взрослым опытом. Он не играл в дитя и не играл с ребенком. Вообще играть не было ему присуще. Если все мы немного актеры, это совершенно не было свойственно отцу. Он не был внешне ребячлив, наоборот, почти всегда серьезен, с особым, простодушным юмором, какого-то тоже детского пошиба.

Отец был ясен и чист душой. Вот что более всего соприкасалось с моим ранним сознанием. Вот в чем он не изменялся, а оставался. А я уходил, во мне многое оседало, отпадало, перемешивалось. Он же оставался. Сны об уходе — может быть, о моем уходе от него. И жалость, и горечь, и тоска, и ощущение безвозвратности — это все о разлучении

¹ Так это же сон про это. Не только в антураже смерти.

душ. Мне иногда кажется, что я плохо знаю отца — мы ведь все друг друга плохо знаем. А иногда думаю, что знаю его слишком хорошо, лучше, чем он сам себя знал. Я ведь давно стараюсь отца из моих составных частей особо выделить и к этой части особо присмотреться.

Тут нужна большая работа души. Ведь каждая наша составная часть прилегает к другой и оттого утесняется, изменяется, срастается. А над этими частями лежит и то, что их соединяет, не менее важное — нечто производное, но в этом средостении и есть самое тело моей души. И отца надо из себя вынуть, расправить, связать с тем, что помнится. Вот какая работа нужна — как реставрация старинной картины — та же бережность, та же осторожность. И потом все равно не будешь знать, насколько воспроизведение соответствует оригиналу. И никогда не узнаешь.

Для того, чтобы правду воссоздать, обязательно кусок живого надо выделить. А выдели — и нарушится связь живого с живым, части с целым. И умирает живое, умирает правда. Вот и думай, как достичь, как постичь, как выделить не вырезывая, как различить не нарушая.

Вспоминай осторожно!

Я маленький. Горло в ангине. Это у меня бывало часто. А еще скарлатина, дифтерит, корь, свинка, воспаление легких, малярия. Всего не помнит даже мама. Все детство я болею. Но, кажется, только по зимам. И болеть привык. Особая тишина стоит в нашей квартире, когда я болею, какая-то жужжащая, как прятка, тишина. За тюлевыми занавесями только небо. Оттого и не помню — были галки зимой или не было.

Интересное свойство памяти. Когда мы вспоминаем целый период жизни, мы, в сущности, не помним всего протяжения времени, а лишь детали, узоры на бесконечном сером полотне. Эти детали и соединяются в один день, который для нас — картина того или иного времени. А нахватамы частности из разных дней. Память художественна. Помним день, а кажется, что помним время¹. Одаренные люди лучше помнят, потому что ярче подробности их памяти и лучше соединены в картину. Более того — от способа соединения деталей в одно зависит наше ощущение протяженности времени. Нагромождение сюжетов и деталей, не сошедшихся в «один день», рождает чувство быстрого протекания времени. Длинная жизнь потому вовсе не та, которая насыщена событиями. Чаше всего, лишенная верного расположения деталей, она кажется быстротекущей и может быть бесплодно ушедшей. Длинны «один день».

Мое начальное детство — день болезни, картина, где для меня самого неразличимы разные по времени мазки.

Видимо, ранняя пасха. Потому что Теофил Андреевич, грек, подарил мне большое с узорами шоколадное яйцо. А в нем — я знаю — другое — поменьше, а в этом — третье — маленькое деревянное крашеное. А дядька-провизор принес шоколадного медведя. Медведь сидит в деревянной коробочке и изображает зоопарк. Другой дядька — владелец «Меркурия» — дал мне несколько тяжелых медных пятак. Ими я кормлю медведя.

Но все это мне уже прискучило. Я жду отца.

Отец возвращается с работы всегда в одно и то же время. По нему можно проверять часы. А если он чуть запаздывает, фантазия рисует мне страшные картины. Мне чудится, что он попал под трамвай. Меня прохватывает озноб. Это уже на всю жизнь — фантазия делает ожидание для меня мучительным.

Я прислушиваюсь к шагам на лестнице. И вот, наконец, слышу его шаги, его стук в дверь. Его звонок.

И мгновенно успокаиваюсь.

Папа входит и сразу ко мне. Он приносит какой-нибудь пустяк — карандашик, блокнотик. Он совершенно не умеет покупать, тратить деньги. Да, по-моему, у него в кармане всегда одна мелочь. Но почему-то этот карандашик, блокнотик дороже мне драгоценного шоколадного яйца. Я чувствую к ним нежность, потому что это бедный подарок. И его надо приласкать и спрятать под подушку, чтобы ему хорошо жилось.

Отец садится обедать. Ест он быстро, безо всякого внимания к пище.

— Как тебе понравилась телятина? — спрашивает мама.

— А разве это была телятина? — удивляется папа.

Мама, кормя отца обедом, тут же выкладывает ему все события и происшествя дня.

¹ Объяснить, почему «один день».

Это я слушаю с интересом. Папа тоже слушает, поддакивает. Но очень редко выражает мнение, разве что по вопросам, касающимся непосредственно жизни семьи. Он редко высказывает мнение о ситуациях и людях. Мама, та как будто всегда точно знает, что хорошо и что плохо. И всегда темпераментно утверждает точные свои понятия. Папа, я чувствую, знает это для себя гораздо точнее, чем мама. Но ему не нужно оценивать других, чтобы определить правильность своей жизненной линии. Он как будто никогда не избирает, внутренне не колеблется, но всегда неуклонно движется в одном, раз навсегда установленном направлении. Его движет что-то внутреннее, чему он сам никогда не ищет названия: долг, вера, обязанность, убеждение.

Перед отцом как будто не стояли никогда нравственные дилеммы. Он как будто всегда ощущает свое простое назначение в этой жизни. И мучается только тогда, когда ему кажется, что это назначение он не может хорошо осуществлять. Он не стремится оценивать других, потому что полагает, что у других тоже есть свое назначение, о котором не ему судить. Вместе с тем, он не пытается воспроизвести чужое назначение, стать на чью-то точку зрения. У него есть своя линия. И то, что не его линия, он отодвигает от себя. Это как бы его не касается.

Он доброжелателен к людям и исходит из презумпции добра. Но он и наивен. Зло, ложь, корысть, воровство совершенно неприемлемы для него. И уже убедившись в том, что данный человек безнравствен, что его, отцовская линия, не может обойти или обогнуть подобное, он говорит кратко и раздраженно:

— Это мерзавец.

И навсегда уходит, отгораживается от такого человека. Он полагает его несуществующим. Это его форма нелюбви. И отнюдь не нейтральная. Папа умеет не любить, не принимать, и «отодвигание» для него не механический, а скорей болезненный процесс. Как бы это объяснить! Он не тратит сил на приятие человека. А на неприятие, на равнодушие тратит. Он тратит силы не на сокрушение зла, а на уход от него. Пожалуй, так.

Я жду, когда отец покончит с обедом и займется мной. Он со мной не играет, а только рассказывает. Он пересказывает свое детство, и я снова его проживаю. Я ищу ему аналогий в своем детстве, так непохоже.

У него было мало игрушек. И у меня мало. Я их не люблю. Мой дед с отцовской стороны служил бухгалтером на спичечной фабрике и детям своим приносил спичечные коробки. Они из них склеили большой дом. И я мечтаю о такой игрушке, она мне нравится больше, чем слон из папье-маше с качающейся головой и чем паяц Микель, которого дернешь за веревочку — и он двигает руками и ногами. Микелем его прозвал папа — он утверждает, что паяц похож лицом на Микель Анджело.

В детстве отца пугали Микитой, может, это был дворник, может, сосед. Микита живет и у нас. Он не очень страшный, зовем мы его Микитка. Но и я его слегка побаиваюсь.

Он представляется мне не человеком, а странным существом, вроде Берлуки.

Берлука мне однажды приснился. Он лежал студенистой, слегка светящейся массой между нянькиной кроватью и тумбочкой, весь переливался и покручивал один длинный тараканий ус. Я проснулся в страхе.

Теперь я понимаю. Нянька пела одну и ту же песню:

Разлука ты, разлука,
Чужая сторона.

Из Разлуки стал Берлука и соединился с Микитой. Наша с папой домашняя мифология.

Начинается эта мифология с ожидания конца света. В раннем детстве отца появляется комета, вероятно, знаменитая комета Галлея. И в маленьком городке ждут конца света. Старая папина бабка с внучатами забирается с вечера на печь и ждут. Я переживаю то же потрясение, потому что уже знаю, что такое ожидание.

Я даже забываю, что конца света вовсе и не было.

Он когда-то все же был — для папы и для меня.

Этот рассказ соединяется у меня в сознании с библейскими историями. Папа не рассказывает сказки, а пересказывает Библию. Он рассказывает так же, как про комету. У меня нет ощущения, что все это было давно и происходило не с нами. Я вижу гибель Содомы и Гоморры и жену Лота, превращенную в соляной столб. Мне представляется всемирный потоп и так заботливо помещенные в Ноев ковчег семь пар чистых и семь пар нечистых. Как это понятно и практично.

Библейские сказания путаются у меня с папиным детством. Он рассказывает так, словно происходило все рядом с ним, с людьми, хорошо ему знакомыми. История Иосифа, в сущности, история мальчика из папиного городка, у которого были злые и завистливые братья.

А история младенца, пущенного по реке, чтобы избавить от избиения, и выловленного дочерью фараона! ¹ Есть же еще добрые люди. Я же не знаю, что фараонов давно нет.

И странное ко всему этому причастное существо — бог.

Удивительно, что бог — образ ранний — не порождает во мне истинно религиозных представлений. Даже картина сотворения мира не ощущается как могучая аллегория созидания жизни из божественного духа. «В начале было слово». Так ведь уже было. Значит, было все, названное словом. И сотворение мира — лишь упорядочение того, что было, вроде приборки и расстановки по местам, вроде работы Федора Абрамовича, шоркающего затемно метлой где-то по невидимому тротуару.

Этот образ бога-работника остается у меня надолго. Лет в восемнадцать я писал:

Весь перепачканный и черный
Он шел, со лба откинув прядь,
К земле еще не нареченной —
Игру материи смирять.

214

Для меня бог был натурфилософской, космогонической метафорой. Не более того. Потребность иного представления пришла вместе с развитием понятия о смерти, т. е. о высшей цели бытия. Из двух потребностей — космогонической и нравственной (где-то ощущается, что и они неразделимы) — вторая «ближе к шкуре», необходимей. Бог, рождающийся из нравственного импульса жизни, из необходимости объяснить себе себя, надежней и ошутимей, чем бог-демиург, может быть, еще и потому, что наши представления о материале мира примитивны и ненадежны, несмотря на все успехи современных наук.

Отец внушал мне не взгляды, а представления.

Видимо, начальное представление о боге как нравственной категории идет от него.

Он не был изначально религиозен. Библия для него — реальный атрибут детства. По ней он учился читать. Когда бабушка моя послала учиться грамоте старшего сына, увязался за ним и мой отец, которому от роду было лет около четырех. Учитель взял его в учение за половинную плату. И отец тоже сел за стол, чтобы твердить нараспев библейские строки — в полутемной, убогой, провонявшей селедкой каморке беднейшего из учителей. А когда кто-нибудь приносил плату за учение, учитель радовался и приказывал скандировать всем: — Хороший мальчик Шмуэл (или Мотл или еще как).

И мальчик, принесший деньги, радовался. И над темными строками священной книги вставала детская радость. И эти строки постепенно прояснялись и входили в память и непонятным образом вписывались в кривые углы затхлого помещения, в шагаловскую заоконную кривизну местечка. Я, кажется, понимаю, как можно было воспарить над этим, как парить вместе с этим в библию-сказку, библию-мудрость, библию-дух.

Так сплавлялся в душе ребенка высокий и твердый дух с текучей, с зыбкой, с детской действительностью. Только детская душа может преодолеть подобное противоречие и создать поэзию детской жизни из столь разнородных и несводимых на первый взгляд материалов.

Внушена ли была ему вера в бога? Бог был скорее традицией, а не верой, в той полувольномудрой среде европеизирующегося еврейства, к которой принадлежал отец отца, мой дед Абрам, служащий спичечной фабрики.

Отталкивание от среды было сильно уже в том поколении, не говоря уже о поколении отца — будущих врачей и юристов 20-х, 30-х — и далее годов нашего века.

Отец, чуть оперившись, конечно, начал с вольномыслия. Но, чем дольше он жил, тем нужней был ему бог.

У нас в доме справлялись праздники — и Пасха и Судный день. Сперва это была дань традиции. Но чем скромней и приблизительней становился с годами обряд празднования, тем торжественней было самоощущение отца. Ибо в празднестве видел он не праздник еды и обряда, а некий символ, для которого достаточно и намек, и приблизительного исполнения.

¹ Я это до сих пор вижу, как спускается девушка к реке, раздвигая камыши, а по реке в деревянной лодочке-люлочке плывет младенец.

Он, чем дальше, тем больше укреплялся в боге. Вместе с тем, может быть, и сужая сферу божественного от пределов всеобщего до пределов собственной души. От пределов церкви до пределов веры. От пределов вероисповедания до пределов домашнего духа.

Иногда он молился — нечасто, в самые большие праздники. И не так, как дед, получавший удовольствие от слов и от пения. И не истово, а отрешенно, как бы беседуя с самим собой. Думаю, что фанатический элемент в составе его натуры, тот, о котором говорено будет ниже, толкал его молиться тайно, про себя, на ходу. И не молиться, а молить. И не за себя, а за меня. Как, вероятно, молил он о том, чтобы я остался жить на войне. Может быть, это были самые мощные импульсы его воли и самые, с его точки зрения, результативные в пределах тех целей, которые он перед собой ставил.

Да и кто знает, что такое молитва! Мы, люди трезвого взгляда, склонны более всего считать ее застарелой формой психотерапии. Между тем в молитве частная воля осознает себя как часть вселенской всеобщей воли, и может быть, как таковая, способна до некоторой степени изменять характер всеобщего явления воли, т. е. быть результативной. Кто знает!

Отец не был фанатиком, тем более религиозным. Для знавших его он скорее был образцом терпимости. Но в жилах его текла кровь фанатиков.

Суровая фигура — мой прадед. Он стоит одиноко в семье, отделенный почтением и страхом от детей и внуков, от простой, суеверной и благоговейщей жены, весь погруженный в молитву и высокое учение Талмуда. Он живет не в местечковой действительности, а поверх нее, может быть, и не зная белорусского наречия — разговорной речи неученой прабабки. Ему нет нужды общаться с окружающим лицом. Все дела, связанные с домовладением, ведет жена. Ни одна пылинка, кроме синагогальной пыли и праха древних книг, не должна коснуться бархатной ермолки и черного сюртука. Ни один волос не должен упасть из благословенных пейсов. Общение с богом — единственное дело внушительного старика.

В восемьдесят лет, почуяв приближение смерти, мой прадед продает свое недвижимое имущество и уезжает умирать в святую землю, в землю Израиля. Он уезжает один, ибо бабка не хочет оставить детей и внуков. Да она и не нужна ему. Уезжает один в тогдашнюю пустую и выжженную землю. Умирать. Это было в конце прошлого века.

Фанатические начала передались в форме особой непреклонности нисходящим коленам отцовской семьи. Фанатизм был глубоко в нем запятан, смягчен временем, образованием, понятиями.

Но где-то наличествовал и в нем.

Отец уважает веру. Всякую веру. Его собственная вера совсем нетрадиционна. Она многими чертами напоминает толстовство. Он был бы идеальным сектантом. И его меньше всего интересует обряд, вся внешняя сторона религии. Его даже не интересует вероисповедание. Терпимость христианства, может быть, ближе ему, чем карающий и осуждающий бог иудаизма. Но выкрестов он не терпит.

Церковь для него нечто иное, чем вера, нечто интимное, относящееся к традиции национальной и семейной. Да церковь такова и есть по замыслу — она связана с начальным, детским ощущением бога и с таинством, которое — уверен и я — открывается во всем начальном окружении человека, в его раннем сознании. Это потом может забыться, но обязательно где-то выплывает, какой-то особой потребностью вновь приобщиться к изначальному, к своему, родному, где соединено земное и небесное: отсюда — «А ты все-таки попка, попка пригласи!» — в устах бывшего русского нигилиста Алексея Николаевича Дорошенко.

Церкви не знавшим, ее и не узнать.

Не слишком ли поспешный способ растворения русских евреев в русской нации — принятие православия? Не должна ли произойти сперва та степень внедрения в культурную почву, в мироощущение, как у Пастернака, например, чтобы принятие церковного крещения было голько последним знаком причастности, унификации внешнего облика. Нет ли в этой поспешности элементов неуверенности и недостатка собственного достоинства? Ведь это не принять учение, а прийти во храм!

Русскому еврею не вернуться в синагогу. Но и сразу не вступить во храм. И надо ли торопиться? Не сразу и Русь строилась православной. Не сразу образовалась она в нацию православную, когда утопила идолов в Днепре. Не раньше, чем народился деревенский попик, не раньше, чем потемнели иконы, не раньше, чем отъехали византийские иерархи, не раньше, чем языческий бог стал святым Николой.

Так смотрел мой отец на перемену веры. И, наверное, взгляд его на это правильный.

А о перемене веры много будет говорено ниже. Но главный, по-моему, в вопросе о выкрестах был момент национальный. Наряду с заданным понятием о боге, было в нем задано и понятие о нации.

Сейчас о нации судят космополиты, которые вовсе ее отрицают, либо почвенники, для которых категория эта выше бога и гуманизма — всего выше.

Отец не судил о нации, а просто к ней принадлежал.

Он принадлежал к нации, как к религии и к семье, то есть принимая эту принадлежность как главные постулаты своего существования. Он был не из тех, кто постулаты подвергают сомнению. Он твердо на них строил свое духовное здание. И вера, нация и семья были три главных камня, положенных в его основание.

О его вере я уже сказал. Скажу о его нации.

Евреи как нация явление уникальное. И это не требует доказательств. В России дореволюционной эта нация впервые за две тысячи лет обрела некое территориальное единство — черту оседлости. И оказалось, что в черте начала загнивать. Черта была не хуже других границ, не хуже, например, наших нынешних твердых границ. Но евреи, лет триста имея границу, ничего существенного не создали, ни литературы, ни музыки, ни живописи, ни философии. Ничего. Где-то внутри этой нации есть потребность перейти границы. И когда это невозможно, она загнивает, обращается в быт и деторождение — в сохранение рода для грядущих времен. Это, может, и неосознанно, но это так. Для грядущего царства духа плодятся еврейские мещане и ремесленники. Их главные опоры — бог и чадолюбие.

Уникальная судьба еврейской нации порождает взгляд на уникальность всех перипетий этой судьбы. Существование и складывание российского еврейства внутри черты оседлости как раз и конец этой уникальности.

В черте оседлости еврейская нация стала загнивать. Она была не хуже и не лучше других частей образующейся имперской нации — не грязнее поволжских инородцев, не суевернее русских крестьян, не фанатичнее староверов, не корыстнее городских мещан. И была фатальная перспектива загнить или подняться до уровня имперской нации, стать ее органической частью.

Разные нации по-разному ощущали эту необходимость в конце XIX века. Некоторые пассивно, некоторые с внутренним сопротивлением. Евреи ощущали это активно, в чем, может быть, сказывались особенности их полуправного положения, а, может быть, энергия, заложенная в национальном характере. Это была эпоха перемешивания сословий, социальных укладов, экономических устройств и национальных элементов.

Русская нация переживала эпоху складывания в имперскую нацию, т. е. утрату некоторых своих культурно-этнографических особенностей и приобретение качеств сверхнациональных. В этом явлении м. б. одна из причин необычайного взлета русской культуры в начале нашего века.

До эпохи складывания России в имперскую нацию русских евреев как таковых не было. Их не было или почти не было в России. Русские евреи начали образовываться, когда отслужившим николаевским солдатам дано было право селиться в российских городах, когда образовательный ценз и принадлежность к гильдейскому купечеству позволили пересечь черту оседлости, когда все права фактически получили выкресты (а они появились тогда, когда на деле к исконному русскому населению стал подмешиваться еврейский элемент).

Процесс был возможен только в это время — пору складывания — ни раньше, ни позже.

И в русской нации в ее новом качестве сразу же проявился еврейский элемент — Рубинштейны, Левитан, Антокольский, а еще на поколение — Пастернак, Мандельштам.

Из черты оседлости выпускались лишь интеллигенты или те, кто в перспективе порождал интеллигентов. Так еврейский элемент, изначально, становился частью имперской интеллигенции.

По-своему — в легкости этого перехода сыграло роль исконно русское воспринятое понятие о народе как о крестьянстве, устаревшее уже понятие. С этой точки зрения еврейского народа не существовало. Тем легче было воспитанникам русской идеи уйти от полународа к народу.

А тоска по народу-крестьянину была. Это я знаю по отцу. Когда-то, в николаевскую пору была попытка посадить евреев на землю, попытка неудавшаяся, остатки ее — лишь

немногочисленные сельские колонии в Таврии, но именно в ту пору часть евреев приписана была к сельским обществам.

Отец мой по документам — не мещанин, не купец — а крестьянин некоего (позабыл уже, какого) земледельческого общества.

И хоть к земле его родные имели не больше отношения, чем любой из жителей маленького полусельского городка, отец с удовольствием вспоминал свое именно крестьянское сословие. Наибольшее уважение испытывал он именно к крестьянскому труду. Любил домашних животных, особенно тех, с которыми имел дело с детства — лошадей, коров, собак и домашнюю птицу.

Эта тоска — по основе нации — крестьянству, может быть, основа почвенничества Левитана.

Я однажды спросил отца, какой партии он сочувствовал. Со смущенной улыбкой ответил:

— Эсерам.

Конечно, правым.

Процесс образования сверхнации, как и любой серьезный исторический процесс, дело трудное и мучительное. Если взять лишь одну сторону этого процесса — прирастание еврейской ветки к основному стволу формирующейся сверхнации, — и то приживание было болезненным, трудным, мучительным для обеих сторон и вместе с тем где-то ощутимой целью, с обновлением и освежением и ветки и ствола.

И все-таки великое историческое преобразование происходило, давало свои результаты. Революция, обнажившая и обострившая все стороны русской жизни, по-своему перекроила и этот важнейший момент в жизни нации, катализировала процесс, революционизировала его, перевела из стадии эволюции в стадию катаклизма.

Показателем того, как далеко зашло формирование сверхнации в предреволюционной России, является та легкость, с которой масса во время революции отказалась от русской традиции и обычая, от церкви и от социального устройства, восприняв как будто и завезенную из Европы идею интернационализма. Идея эта вовсе не была внешней, как теперь полагают многие, она отражала нечто, уже произошедшее в самом фундаменте русского сознания, которое в эпохи исторических катаклизмов всегда отступало в сферу самообороны, самовыделения, ухода в сбережение традиции, веры, уклада. А тут — все наоборот. Как будто чувство самосохранения покинуло русскую нацию.

Безжалостная ломка всего (о безжалостности ее пришлось потом много пожалеть) была русским диким способом первого самоощущения себя сверхнацией.

Тут уже рухнули все эволюционные, все органические формы. В частности и органическое вживание еврейского элемента в сферу русской интеллигенции. Через разломанную черту оседлости хлынули многочисленные жители украинско-белорусского местечка, прошедшие только начальную ступень ассимиляции и приобщения к идее сверхнации, непереваренные, с чуть усвоенными идеями, с путаницей в мозгах, с национальной привычкой к догматизму, со страстным желанием, чтобы название процесса, взятое наспех, соответствовало сути дела.

Это была вторая волна зачинателей русского еврейства, социально гораздо более разношертая, с гораздо большими претензиями, с гораздо меньшими понятиями.

Непереваренный этот элемент стал значительной частью населения русского города, обострив, осложнив сам процесс вживания, не усвоив его великого всемирно-исторического смысла.

Тут были и еврейские интеллигенты или тот материал, из которого вырабатывались интеллигенты и многотысячные отряды красных комиссаров, партийных функционеров, ожесточенных, поднятых волной, одуренных властью.

Еврейские интеллигенты шли в Россию с понятием об обязанностях перед культурой. Функционеры шли с ощущением прав, с требованием прав, реванша. Им меньше всего было жаль культуры, к которой они сами не принадлежали.

Трудно сейчас народному сознанию отделить тех от других. Тем более, что за полстолетия произошло переваривание, вхождение в организм и этого чуждого начала, рождение от него новых поколений, смешение и прочее. И даже чувство исторической вины, если не у самих «комиссаров» и «чекистов», то у их детей и внуков, решающих искупить грехи отцов поспешным вхождением в церковь, о чем уже немного сказано.

Поколение еврейских интеллигентов, пришедших в Россию из черты оседлости, не имело времени подготовиться к тому, чтобы стать органической частью имперской

интеллигенции. Времени на это не было им отпущено. И они обретали это сознание на ходу, в ходе жизни. И навсегда, как и мой отец, остались людьми двойного сознания, как бы некоторым ни хотелось скрыть это от себя или от других.

У отцовского поколения не было чувства обреченности стать частью русской культуры и русской сверхнации. Они были из промежуточного пространства между Россией и Восточной Европой. У них, если и была потребность вырваться из затхлости черты оседлости, то не обязательно на простор России, а куда угодно — в Австрию, в Америку, в Германию, в Южную Африку.

Отец начал свое высшее образование в австрийском Кракове. Потом он учился в лифляндском Юрьеве.

Семья его — мать, два брата и две сестры — оказались гражданами Польши. Мои родственники жили в послереволюционной Литве, в Германии, во Франции и в Америке.

Лишь революция направила осколки взорвавшейся и распавшейся черты оседлости в сторону России. И именно тогда началось вживание этих осколков в тело имперской нации. И осознание еврейского элемента частью этой нации.

Мой отец, как уже было сказано, был человеком двойного сознания. Но он, в отличие от очень многих, не желал отбросить ни одной части своей двойственности. И понимал подспудно, что процесс вживания труден и связан не только с уравниванием в правах, но и с ощущением исторического права, которое рождается поколениями, — которое результат реального вклада в жизнь нации. Большинство «комиссарской» части пришедшего в Россию еврейства начинало с прав. Отец начинал с обязанностей.

Поэтому он никогда не испытывал чувства национальной ущемленности, не страдал от так называемой дискриминации.

Дискриминация — черта несложности, незаконченности процесса. Она черта некультурной истории, невозвысившегося сознания.

Органическое ощущение себя внутри исторической эволюции отодвигает всякую обиду на дискриминацию. Попробуй обижаться на исторический процесс! Достаточно его понимать.

Отец наделен был этим чувством справедливости исторического процесса, вероятно, не понимая его сверхзадачи, зато прекрасно ощущая его конкретику.

У него не было обиды на русскую нацию за непринятие. Скорее, раздражение на тех, кто этого принятия слишком настойчиво добивался.

Он всегда удивлялся, когда его еврейские коллеги жаловались на преимущество русских при распределении должностей и званий. Еврей-министр или военачальник казались ему явлением скорей неестественным, чем естественным. Могло показаться, что он вообще не любит карьеристов. А мне он говорил неоднократно, что в русском государстве править должны русские. Что это естественно и претендовать на это не стоит.

Он считал своей обязанностью делать дело честно и самоотверженно и в нем соединяться с честной и самоотверженной частью русского общества — с интеллигенцией его призыва.

В его сознании, где было три основных данности, профессия врача была четвертой. Он так же не обречен был стать врачом, как и стать русским евреем. Но силою обстоятельств повернутый на эту стезю, он принял как данность все нравственные обязательства, связанные с этой профессией.

Утверждение, что Гитлер уничтожил русских евреев, не совсем точно. Он уничтожил черту оседлости, т. е. нацию, как Сталин уничтожал или пытался уничтожить крымских татар (а где крымские болгары, караимы и прочие?) или поволжских немцев.

Русских евреев он уничтожил не в большей степени, чем другие сорта русской нации. Статистики нет. Но если русские евреи погибали даже в большей пропорции на фронте, то получается полмиллиона. Пятая часть. А белорусов четвертая.

Об этих потерях писать да писать, вспоминать да вспоминать. Но не в этой памяти главная магистраль нашего времени. Когда-нибудь вспомним и об этом. Но не о том сейчас речь.

Важно то, что евреи после войны перестали быть нацией.

Приживание евреев к русской нации — процесс болезненный, ввиду антисемитизма власти и оттуда народившегося народного антисемитизма, ибо чувство это было чуждо русской нации, практически не знавшей евреев.

Им бы в Австрию куда-нибудь податься — граница рядом, и прав побольше. Там,

в Австрии и генералы были евреи. А у нас, в России, один из турецкой кампании и то, кажется, неудачный.

Нет, повалили в русскую гимназию. И, несмотря на пресловутую процентную норму, научились тому, что и есть начало нации, — языку.

Отец мой язык знал отлично. Чуть подкартавливал иногда. Да и я чуть подкартавливаю — вековое устройство гортани.

Русская гимназия — начало еврейского элемента в русской нации.

Так начал инородческий еврейский элемент диффундировать в русскую нацию. Наряду с другими этническими элементами, ее составившими.

Так стал он частью социальной прослойки, заполняя вакуум, созданный террористической властью. Так ведь и такое бывало в истории. Например, англосаксы, а потом норманны в формировании британской нации.

Сперва это социальная прослойка, а потом — часть нации, пойдя разберись теперь. И с русскими евреями так же было, может, в другом масштабе, в другом ракурсе, но похожее — в формирование нации вступает новый этнический элемент.

Это было бессознательно, как всегда бессознательно бывает в истории. Но как и в норманнах — свойство плыть, так и тут — свойство оседать и присоединяться.

Но и без гимназии поперли в русскую революцию. Эсеры, уж чего более почвенного — а и там полно евреев, правда, самых безжалостных — террористы.

Хороший или дурной элемент общества — русские евреи? Вопрос праздный. Хороший или дурной элемент нации татары или угро-финны? Это историческая данность. Состав русской нации, ее этническая особенность, для русской нации органическая — смешение, адаптация, ассимиляция. (О чистоте славянства. Язык. Культура — критерий.)

Русская власть не сможет избавиться от этого элемента польским путем, путем вытеснения. Да и большой кровью не сможет избавиться. Для этого нужно вырезать половину русской интеллектуальной элиты до четвертого колена. А такая кровь не проходит даром. Она остается раной на совести нации и, значит, все равно действующим фактором ее нравственной жизни, как до сих пор изгнание издавна мавров из Испании. Все равно мавританский и иудейский элементы вошли в состав испанской культуры. Все равно остались раной на совести Испании.

Русские евреи — историческая данность. Это тип психологии, ветвь русской интеллигенции в одном из наиболее бескорыстных ее вариантов. И искренние руситы и почвенники не могут оскорбить русско-еврейского интеллигента своим неприятием, они тем показывают только низкий уровень своего мышления и неверие в бескорыстие (грубость ума, мещанскую подозрительность). Ибо в том, чтобы быть русским евреем, корысти нет!

А уж сейчас, когда возможен отъезд, и совсем корысти нет.

Отъезжая, возвращается еврейское мещанство. Элита, если уезжает, не возвращается, но чаще всего не уезжает.

Можно ли обижаться на русскую нацию.

Отец не обижался.

ПРОИЗРАСТАНИЕ ТРАВ

Первое стихотворение я сочинил лет шести. Было это на даче, на 20-й версте ранним утром. Я проснулся в детской кроватке с никелированными шариками и с веревочной сеткой. Было светло, солнечно, тихо. Вся тесовая крошечная комната, где я спал, была наполнена светом, свежим запахом сада и движущимися тенями, потому что солнце стояло еще далеко от зенита и лучи проникали сквозь деревья, которые не виделись, а угадывались по запаху и движению теней.

Вдруг мне в голову сами собой пришли стихи.

Осенью листья желтеть начинают,
С шумом на землю ложатся они.
Ветер их снова наверх поднимает
И кружит, как вьюгу, в ненастные дни.

Стихи были непохожи на то, что меня окружало. Они выразили, видимо, мгновенно пронзившее меня чувство непрочности счастья, преходящести того солнечного радостного мира, который тогда меня окружал. Стихи родились из вдруг почувствованного протекания

времени. Мне и сейчас кажется, что стихи — это острое чувство наполненности каждого предмета и явления временем, чувство текучести и непостоянства, насыщающих каждый предмет, чувство порой радостное, но чаще грустное.

Я придумал стихотворение об осени и сама возможность так кратко и складно выразить то, что я иначе выразить не умел, меня поразила и породила желание сочинять еще. Но как к этому подступиться, я не знал.

Мне казалось тогда и долго еще потом (как и многим кажется), что достаточно описать то, что тебя окружает и твое отношение к окружающему, что достаточно рассказать о своем состоянии, как получатся стихи. Я не говорю о технической стороне этого дела, но если даже она преодолена, все равно расстояние от такого творения до стихотворения очень велико. Потому что поэзия — не оценка; оценочный момент — ее подпочва, на которой трава не растет; оценочный момент — принадлежность личности автора, он передается и поэзии, однако не порождает ее, потому что нуждается в некой абстракции, в остановке мгновения, в выделении времени как абстрактной категории. Поэзия же в физическом ощущении протекания, движения, заполненности всего временем, в вещественности времени, в восприятии времени как главного структурного элемента всего сущего и, следовательно, стиха.

Смешно было бы требовать от меня в столь юном возрасте понимания того, что сказано выше. Не обладал я и столь сильным талантом, чтобы, интуитивно это почувствовав, уметь воплотить в стихах. И долго во мне, после первого поэтического ощущения, не было даже подобных проблесков.

Поэтому, наверное, я не помню самых ранних стихов, кроме отдельных строф или строчек.

Потемнело все кругом,
Молнии блещут живо,
Рассыпаются огнем,
Как искры от огнива.

Конечно, родители пришли в восхищение от моих ранних стихов и немедленно показали их Василию Григорьевичу Яну. Он отнесся к ним благожелательно и сдержанно, правильно полагая, что не стоит лишними похвалами растревлять мое воображение и порождать надежды, скорей всего несбыточные.

Я благодарен ему за то, что он охлаждал порывы моей матери сделать из меня вундеркинда. Отец никогда не имел к этому склонности, не смея подозревать, что из его сына может действительно получиться поэт. У отца были слишком высокие представления о личности писателя и он представлял себе редкость такого явления, как талант. Я тоже до поры не осознавал себя поэтом и не готовил себя к литературной карьере, просто сочинял, когда сочинялось.

В доме у нас стихов не читали. Из поэтов был один лишь Жуковский. Его я хорошо знал. Но, пожалуй, не подражал. Были еще Гейне в истрепанном издании Маркса и два тома из собрания сочинений Есенина.

В школе буквари и книги для чтения были наполнены другими стихами, главным образом о праздниках. В этом духе стал сочинять и я.

Любил я перекладывать в стихи некоторые понравившиеся мне рассказы, например, рассказ о том, как в Китае изготавливается чай. Излагал и некоторые эпизоды истории. В этом, видимо, сказывался будущий переводчик и автор исторических стихов.

Я рассказываю все это не для того, чтобы создать подробную летопись своего творчества. Мне и самому это неинтересно.

Интересно мне, а может быть и еще кому-то, как и какие понятия формировала среда, «с которой я имел в виду сойти со сцены и сойду». Это главная цель первой части моих записок. И вот почему.

У нас существует уже целая литература, утверждающая мнение, что культура и мыслящая часть общества были уничтожены в России в 20-е — 30-е годы, что осталось мертвое поле бездуховности и страха, неспособное породить ничего, кроме страха и бездуховности; что рухнули нравственные устои, что Россия четыре десятилетия была страной рабов и тупиц. И лишь несколькими избранным удалось спасти душу и сознание и возговорить к рабам, ко слабым духом. Да и возговорить без особой надежды быть услышанными и понятыми.

Не стану здесь с этим спорить. Скажу только, что возговорившие не могли бы

возговорить для мертвого поля. Да и возговорили тогда, когда на поле стала пробиваться трава. И что не все семена были выполоты, не все забито плевелами. Что надо быть благодарными этим скромным семенам травы, этим малым корням, прораставшим себе в тишине, не мечтавшим расцвести пышным цветом на роскошных нивах искусства или политики.

Нельзя представлять себе, что интеллигенция дореволюционной формации, та средняя интеллигенция, которая продолжала существовать в России, лишенной культурной элиты, была похожа на огромный слой людей с высшим образованием, наскоро изготовленных в последние десятилетия — врачей, учителей, инженеров, агрономов, была похожа на «средний слой» нынешнего нашего общества.

Разница в том, что интеллигент старой формации был не только суммой знаний и умений, но и неким комплексом понятий, так усердно и утрированно высмеиваемых нашей литературой на протяжении десятилетий.

Интеллигентный слой того времени был уже, компактней, замкнутей, с известными даже сословными амбициями, но и с замечательной традицией честности, порядочности, семейной морали, уважения к делу, сознания своей просветительской миссии; со своим кругом чтения и обязательным демократизмом и народолюбием.

Интеллигенты этого типа — к ним принадлежал и мой отец — не считали себя слугами правительства или партии, а традиционно полагали, что исполняют свой долг перед обществом, просвещая, излечивая или создавая машины или научные концепции для людей, а не для властей.

Отец никогда не внушал мне идеи борьбы с властью. Власть он считал неминуемым злом. Он внушал мне скорее индифферентность к власти как к преходящему явлению общественной жизни. Но рядом внушал и чувство ответственности, и понятие о долге по отношению к обществу. В той среде, где я воспитывался, подспудно ощущалось, что власть и общество — не одно и то же. Оттуда я вынес идею о том, что процессы, происходящие в обществе, в сущности важнее процессов эволюции власти.

Рабочая интеллигенция, в среде которой я рос, не была производителем высоких духовных ценностей и новых понятий. Она была хранителем созданий духовной культуры в нашей стране.

После революции, когда разгромлены или повергнуты в бегство были высшая духовная элита, дворянство, священство, оставалось реально два класса, сохранившие культурную преемственность — рабочая интеллигенция и крестьянство. В этих сословиях сохранялись ценности литературы, философии, живописи, театра, а с другой стороны — и ценности народной культуры, главнейшая из которых язык.

Сходились эти две среды хранителей русской культурной традиции в понимании нравственности.

Народное трудолюбие и нравственность высоко почитались, например, моим отцом.

Крестьянская среда была подвергнута колоссальной перетряске и понесла огромные жертвы в 30-х годах, но не окончательно была уничтожена. Уничтожилась она после войны, причем война была великим катализатором процесса уничтожения и самоуничтожения крестьянства.

Выразителем трагедии уничтожения крестьянства оказался Твардовский, который за это и может называться великим писателем. Он сам выразил и собрал вокруг себя литературу, сумевшую запечатлеть и трагедию, и культурную функцию крестьянства после революции. И я в последнее время круто пересмотрел взгляд на ретроспективность прозы «Нового мира».

Мир духовного созидания отличается от мира физических и химических явлений своей уникальностью, неповторимостью процесса. Человеческая история, так же как и акт творения, уникальна и неповторима. Уникальность — свидетельство разума или, по меньшей мере, воли, наличествующей во вселенной. Уникальность — лакмусовая бумажка, свидетельствующая наличие духовного начала.

Физики говорят, что наличие одного атома свидетельствует о бесчисленном множестве атомов. И это верно. То, что способно повторяться, принадлежит бесконечному множеству. Наличие же одной вселенной, сама идея вселенной не предполагает другой вселенной. Уникальность вселенной, — косвенное, данное нам лишь в мысли свидетельство ее духовного начала, разума, воли акта творения.

Мы можем воспроизвести все, что происходит в мире бездуховном, материальном столько раз, сколько нам захочется.

Явления истории невоспроизводимы, они происходят один раз. И лишь материальные условия, в которых происходит духовное бытие человека, в какой-то мере воспроизводимы. Отсюда и идут все теории общественно-производственных формаций. Теории, удобные для моделирования чисто внешних процессов человеческого существования и мало что дающие для истинного понимания истории, человеческой психологии и т. д.

Только недавно ученые занялись вопросами о духовной структуре исторической личности, об изменчивости и опять-таки уникальности понятий времени и пространства у людей разных эпох. Наши философы и писатели заднего ума рассуждают на тему, что было бы, если бы ничего не было.

А было и будет только то, что должно или должно было быть, со всей уникальностью процесса истории как явления высшего разума или высшей воли. Познание этих высших явлений скорей всего малорезультативное, ибо мы не знаем еще, постижимы ли эти явления — познание этих высших явлений и есть цель исторической нации.

Философы заднего ума рассуждают о том, что большевики сумели захватить власть благодаря ошибкам других партий, что им удалось уничтожить церковь, религию, духовную элиту, нравственные устои крестьянства — основы нации. Они рассуждают о том, что было бы, если бы ничего не было.

У истории нет второго пути. И хлебаем мы и хлебали вовсе не большевистский яacobинизм, а старую русскую историю — Иван и Петр. Уничтожение церкви произошло давно. А демократизма у нас и не было. Мы живем русской историей, которая медленно приближается к истории европейской.

Году в 28-м меня отдали в школу. Школа была далеко от дома — на Самотеке, переулок Большой Каретный. Не знаю, почему меня отдали в эту школу.

Тут я хочу возвратиться к тому удивительному времени, когда я был — дитя и медленно шествовал я от Бахметьевской до Каретного переулка по садам и бульварам, от Екатерининской к Самотеке.

Эта школа была результатом больших слов и непохожа ни на русскую гимназию, ни на нынешнюю школу.

Помню первые тетради, карандаши, тоненькие ручки, перья 86-й номер, бледные чернила, тесные парты.

Школа! Я ее любил и люблю этот старый дворянский особнячок в Большом Каретном. Я опять возвращаюсь к идее, которая мучит меня и не может не мучить — к идее нашего назначения.

Эта школа чем-то была хороша. Вот чем. Бедностью, истинным демократизмом, верностью понятию самоуправления, особой свободой.

Рядом со мной в первый день занятий сидел ученик Царьков, маленький хлипкий мальчик, которого, как и меня, привела в школу мама, женщина, по моим тогдашним понятиям, ужасная.

Учительницы не было в классе. И Царьков заорал. Он просто орал от чувства необычности того, что с ним происходит.

Учительница Александра Николаевна, которую я возненавидел на всю жизнь, вдруг вошла в класс.

— Кто кричал? — спросила она.

— Кто кричал? — спросила она меня.

И я ответил: Царьков.

И учительница Александра Николаевна, вопреки всем понятиям, внушенным мне дома — вере в то, что учителю надо говорить правду — вдруг с яростью, вероятно, непедagogичной, схватила меня за плечи и стала трясти, говоря:

— Как ты смел предать товарища!

Я понял только после этот урок.

Учительница Александра Николаевна, видимо, принадлежала к той среде, которая породила нас.

В нашей новой школе, бедной, демократической, шатаемой поспешными педагогическими концепциями, в школе, постоянно устраиваемой, с кучей случайных людей, назначаемых нам в учителя, — в новой школе костяком были старые педагоги, лишь формально принимавшие новые веяния, а на деле исподтишка учившие нас по старинке грамоте и арифметике.

Хорошим, добрым учителем в первых классах был Алексей Юрьевич, по прозвищу

Козел. Плохо выбритый, седой, в очках, необычайно тощий, в синем сиротском халатике, он умело обучал нас письму и чтению. Ненавидел он только игру в расшибец, в орлянку, которой мы весной и осенью отдавали все большие и малые перемены, прячась в углу школьного сада, за каменной стеной которого размещалось турецкое посольство. Когда мы самозабвенно били дореволюционным пятак по стопочке мелких монет, сэкономленных от горячего завтрака, Алексей Юрьевич с необычайной легкой прытью выбегал из-за угла. С криком «Козел!» мы разбегались. А он, поймав кого-нибудь, давал шлепка, деньги же забирал. Ходил слух, что на эти деньги он живет.

Математику преподавал Федор Федорович Виноградов, огромный усатый старик, всегда отдувавшийся, близорукий и наивный. Пользуясь его близорукостью, на уроках шалили. Он грозно кричал:

— Староста! Запиши мне этого дезорганизатора! — И записку с дезорганизатором клал в карман и, видимо, там забывал или путал с записками учеников, достойных похвал за поведение и учебу.

Лентяям он неподкупно ставил «неуд». Но можно было на том же уроке исправиться.

— Федор Федорович, вызовите меня, — просил ученик, только что получивший двойку.

— Да ты же уже отвечал, — недоумевал Федор Федорович.

— Что вы! — изумлялся весь класс. И ученик шел вторично к доске и с помощью виртуозно поставленной подсказки выправлял положение.

Федор Федорович давно вышел на пенсию и потому имел ограниченное число уроков, но в школу приходил ежедневно, охотно заменял заболевших учителей, давал дополнительные уроки и неизменно завтракал с нами — ел крупные котлетки, политые несладкой клейковиной и пил жидкое какао, пахнувшее жестяной кружкой.

Тогда в Москве только пустили троллейбус. И Федора Федоровича тотчас прозвали Троллейбусом. Я слышал, как он в недоумении рассказывал в учительской:

— Подходят, спрашивают: «Федор Федорович, вы видели троллейбус?» Я говорю: «Нет!» А они: «Тогда поглядите в зеркало». Где же это я в зеркале увижу троллейбус?

Была у нас хорошая учительница литературы Евгения Алексеевна, смешная историчка Елизавета Ивановна, Швабра.

Немало было их, верных, преданных делу, добрых и бедных учителей, на которых стояла тогдашняя неустроенная школа.

Когда я начал учиться, существовал еще бригадный метод. Потом увлекались педологией. Нас водили на профотбор, где задавали различные тесты и по ним устанавливали, кто к чему способен.

Мне в пятом классе сказали, что я более всего склонен к химии. Поверив в это, я купил пробирки, колбы и реактивы, смешивал купорос еще с чем-то, чтобы получилось еще что-то. Года два я был химик.

Стихи я писал, как Бородин музыку — между прочим. Но авторское честолюбие все же постепенно во мне нарастало. И я, наконец, решился показать свои стихи в «Пионерскую правду».

Поход мой в «Пионерскую правду» окончился неудачей. Консультант, которого я принял за редактора газеты, по фамилии Меерович, расхвостил мои стихи, особенно «Песню о Чапаеве», на которую я возлагал большие надежды. Консультант сказал на прощание:

— Поэта из тебя не будет. А грамотным человеком ты можешь стать.

Удивительно, что этот удар я пережил сравнительно легко. Один день я был в отчаянии и даже решил бросить писание. Но назавтра восторжествовали мой природный оптимизм и логика. Мнение Мееровича не показалось мне абсолютно авторитетным. Я не признал за ним права определять мое будущее, хотя критику стихов счел справедливой.

Я чувствовал то, что не мог знать во мне консультант «Пионерской правды».

Работать! Вот какой вывод сделал я из этой встречи.

Я не мог отстать от писания стихов, потому что оно доставляло мне неизъяснимое удовольствие. Помню, как мурашки пробегали по всему телу, предвещая вдохновение, и перо легко и бездумно летело по бумаге.

Таких школ, как наша 19-я, давно уже нет в Москве. Это был ветхий барский особнячок, двухэтажный, с пилястрами, слегка покосившийся, выкрашенный дурной краской в желтоватый цвет.

Здесь, наверное, просторно было помещаться барину с дворней. А нас было в семи

классах с параллельными человек пятьсот, а то и больше. Из маленькой прихожей дверь открывалась в темный коридор, по обе стороны которого располагались тесные классные помещения, уставленные разномастными партами и столами. Из того же коридора лестница вела на второй этаж. Где тоже было несколько классов — шестые и седьмые, а также физкультурный зал и учительская.

В подвале устроена была столярная мастерская, там же столовая.

Зимой в перемены толклись в коридорах и маленьком верхнем рекреационном зале, где в углах с азартом «жали масло». А летом выходили во двор перед домом или в сад за домом, где играли в чехарду (три шага) или в расшибалку.

Младшие классы были одеты в синие халатики, старшие — в партикулярное платье, довольно нерескошное у большинства из нас.

Чернила были водянисты, поэтому многие носили с собой чернильницы-невыливайки, мел всегда был подмочен и писал плохо.

Школой управляли часто сменявшиеся директора, нечто вроде щедринских градоначальников, из которых я запомнил только одного — он преподавал у нас историю.

Это был довольно молодой, неразговорчивый человек. Он велел нам прочитать про устройство генеральных штатов во Франции. И потом месяца два спрашивал про это устройство. Мы знали его наизусть.

Директора этого вскоре сняли, как нам казалось, за роман со старшей вожатой. А может, и еще за что-нибудь.

Постоянными властями в школе были педагогический совет и учком, часто заседавшие совместно. Председателем учкома два года состоял Шепелев, бессменными членами Острецов, Зигель и я. Я два года выпускал изредка стенгазету, которую писал сам от строчки до строчки.

Класс наш (тогда говорили: группа) был довольно пестрый.

Третий его составляли малюшечки, знаменитая трубная шпана, во главе которой в нашем классе стоял Кака Комиссаров, худой, блондинистый мальчик, на лице которого всегда было написано жестокое спокойствие. Его любимое выражение было «Поец Мерентух!» Что означало это имя и прозвище, мы не знали, да, наверное, и сам Костя не знал. Во всяком случае «Мерентух» был личность недостойная.

Малюшечки учились без усердия, у них были какие-то таинственные дела, с учителями разговаривали с обезоруживающей дерзостью. Их старались не трогать. Но и они своих не обижали. И в классе не воровали.

Из остатков аристократии учились у нас хрупкий взъерошенный мальчик — Алеша Плещеев, внук, а может быть и внучатый племянник, поэта Алексея Николаевича; и дергающийся, нервный и смирный Каулен, наверное, фон-Каулен из остзейских дворян, с рыжей рано пробивающейся щетинкой.

Они как-то незаметно из класса исчезли. Судьба их мне неизвестна.

У нас не было тогда ощущения социальных перегородок. Наоборот, школа приучала нас к равенству. И все же была явная тяга к своим. Ядро класса составляли дети интеллигентов. К ним прибивались и остальные.

Любимым другом моим с первых же классов стал Алеша Червинский (Червик). Это был миловидный, добрый мальчик, белокурый, с большими зеленоватыми глазами, произносивший «л» на польский манер, дефект речи, присущий, кажется, и его матери, тоже белокурой и доброй, тогда очень еще молодой, но какой-то поблекшей и чем-то измученной. Алеша был внуком архитектора. Отец его, кажется, тоже был архитектор. Жили они в небольшой квартире в двухэтажном деревянном доме на 3-м Самотечном, в доме, каких теперь почти уже не осталось — с большим двором и садом, где мы часто играли в осенние и весенние дни.

В квартире Червинских, несмотря на обилие старинных вещей, много лет служивших семье, чувствовалось какое-то запустение, неприбранность. Ощущение того, что в какой-то день решили, что давнее их жилье — не постоянное, а временное, потому и не стоит тщательно прибираться или покупать новые вещи.

Эту обставленность старыми вещами и отсутствие интереса к ним я наблюдал во многих семьях того времени. Это был, как мне кажется теперь, какой-то социальный признак, какой-то знак социальной неуверенности.

С Алешей дружба у нас была не «интеллектуальная», не основанная на общем интересе к каким-нибудь наукам и искусствам — это была истинная душевная привязанность. Нам просто и легко было друг с другом. Мы вместе проживали свое детство

и взаимно открывались. Мы и влюблялись одновременно, в одну девочку, и делились ранними любовными переживаниями, друг к другу не ревнуя. Соперниками своими считали остальных поклонников.

Лет с 13-ти, осенью, мы часто уезжали с Алешей в выходной день в Подмоскowie, которое он хорошо знал, ловили рыбу, собирали грибы, готовили себе еду на костре и, обычно, сойдя утром на станции одной железной дороги, выходили к вечеру к другой, ближайшей радиальной от Москвы, и по ней возвращались домой.

С Алешей мы проучились — душа в душу — семь лет, а на восьмом, когда пришлось разойтись по разным школам, его постигло страшное несчастье. Случайным выстрелом, чистя охотничье ружье, он убил свою любимую тетку, незамужнюю учительницу, жившую вместе с его семьей.

Надо было знать Алешу, чтобы понять, какое потрясение было для него это случайное убийство. Он сразу порвал с прежними друзьями. Учиться дальше не мог. Попал в армию 18-ти лет. И погиб в первых же боях 41-го года.

Проходя мимо его дома, уже после войны, я всегда испытывал страшное искушение зайти и узнать, живы ли его родители, расспросить о последних годах Алешиной жизни. Но ни разу не решился.

А теперь, кажется, и дом этот снесли.

Еще моим другом был Володя Рожнов — ныне Владимир Евгеньевич, доктор наук, профессор, верующий в психотерапию. Теперь он лысый и в теле. А тогда был тощим мальчуганом с непокорным хохолочком на затылке, из первых наших учеников и всего класса любимец. Звали его «Вовочка».

Володя был хорошо воспитан, в любом обществе не терялся, по-французски знал в совершенстве (мать его была француженка). Умел он быть порой и заносчив, что меня раздражало, но в общем, был доброго нрава.

К Володе я тоже нередко заходил после школы. Он жил в шестизэтажном доме, вроде нашего, напротив цирка. Мать Володи была всегда приветлива и весела, умела с нами общаться и беззаветно обожала сына и восхищалась им. Внешне она чем-то напоминала позднюю Анну Андреевну — скорей всего чертами лица, а не выражением. Впрочем, она была намного моложе.

Не помню, много ли книг было у Рожновых, но книги были особенные, которые я рассматривал каждый раз с памятным и сейчас благоговением. Это была огромная библия на французском языке с иллюстрациями Гюстава Доре. Художника этого, как и любого другого, не берусь судить по недостатку знания, но кажется он мне из тех, что создали то, что пересоздать уже невозможно. Его рисунки к «Гаргантюа» или к «Дон Кихоту» принадлежат не искусству, а сознанию. Они часть текста. Другие иллюстрации могут нравиться или не нравиться, но они всегда куда-нибудь уведут от чистого зрительного восприятия текста.

Володя интересовался искусством. У него были книги по итальянской живописи, по скульптуре. Он тщательно и долго перерисовывал «Мадонну Литта» Леонардо да Винчи и в этом достиг большого искусства. Помню и его тщательный рисунок со скульптуры Веласкеса «Давид».

Тогда это все внушало огромное уважение к Володе. Дивило меня и еще одно его качество: он удивительно легко писал. Размашистым просторным почерком он мог написать несколько тетрадей на любую заданную тему, в то время, как я с трудом выжимал из себя несколько страничек куце сочинения.

Володя Рожнов — один из тех школьных друзей, которые в друзьях остались и по сию пору, несмотря на долгие перерывы в общении. Нас соединяет братское чувство общего детства.

В шестом-седьмом классах мы сидели втроем на предпоследней парте, у окна, — Червик, Володя и я. Перед нами — Шахов, Уединов и Шепелев.

О них тоже хочется рассказать. Борис Шахов лицом был — белый негр. Белобрысый, веснушчатый, но курчавый и широконосый. В очках. Потом курчавость его поуявля.

Он — зырянин. В нашем классе, где были русские, евреи, татары, армяне и много разных смесей, он все же был экзотикой. Но интерес он вызывал не своим зырянством (тогда не было того нездорового интереса к национальной принадлежности, какая проявилась в послевоенные годы), а тем, что был художник. На уроках он сидел, отгородившись локтями от всего окружающего и рисовал пером или карандашом, ревниво следя, чтобы никто не заглядывал в рисунок. Если его вызывали учителя, он отрывался от своего занятия

и порой отвечал (по истории и по литературе), всегда с юмором, а порой просто молчал. Его оставляли в покое, потому что знали, что он — художник.

Борис был молчалив и стеснителен. Особенно неразговорчив с девочками. Они это заметили и часто к нему приставали. Он помалкивал и краснел. Но из себя не выходил.

Молчаливость его происходила из стеснительности. Когда он стал старше, оказался разговорчив, а под хмелем и болтлив.

Товарищи его любили все. Но дружил он, пожалуй, с Рожновым и со мной. С первым — на почве увлечения живописью. Со мной — из-за интереса к поэзии.

В комнате общежития на Цветном, во дворе рядом с киношкой, куда мы сбегали с уроков, Шаховы занимали комнату. Помню мать Бориса — рано постаревшую женщину, обремененную четырьмя детьми, простую женщину, говорившую по-русски с акцентом северного племени. Отец Шахова где-то учился, а потом, кажется, преподавал. Он был еще молодой человек строгого вида, тоже в очках.

Слышал я, что Шахов-старший был один из первых образованных зырян, просветитель своего народа, составитель грамматики и писатель.

Борис об этом рассказывал мало.

В большой неуютной комнате общежития у него был небольшой шкафчик возле железной койки. Шкафчик этот содержался в необычайном порядке. Там стояли книги Бориса, всегда аккуратно подклеенные и обернутые бумагой поперх обложки.

Борис был книголюб.

Сперва он увлекался детективными выпусками — весьма модным в то время чтивом. В пятом классе мы, сэкономив из денег, даваемых на завтрак, убегали с уроков на Лубянку, где у стены Китай-города находились мелкие лавчонки букинистов и книжные развалы. Знатоки там, среди книжной рухляди, собирали ценные библиотеки. Мы же охотились за выпусками. За штуку платили пятак. Выпуски о Шерлоке Холмсе, Нат Пинкертоне, многосерийная «Пещера Лихтвейса» и подобная чепуха были в то время валютой у московских мальчишек.

В шестом классе Шахов начал увлекаться поэзией. У него в шкафчике стали появляться тощие сборнички 10-х и 20-х годов, книжечки современных поэтов. Увлечение Бориса, может быть, возникло под влиянием его тезки Бориса Лебского, начинающего поэта, жившего в том же общежитии на Цветном.

Подражая Шахову, я тоже стал собирать поэтические сборники, а к десятому классу и разбираться в них. Тогда еще легко было купить «алконостовского» Блока, по томам собрать довоенное издание его сочинений, собрать Маяковского, Хлебникова, купить цветаевские «Версты», «Anno Domini» или «Четки» Ахматовой, «Тяжелую лиру» Ходасевича, «Дикую порфиру» Зенкевича, книги Гумилева, Нарбута, Сологуба, Бальмонта, Северянина, Белого.

Многие из этих сборников были у Шахова. Ему единственному я читал «серьезные» свои стихи и поэмы.

В восьмом классе мы и с ним разошлись по разным школам. Но все равно потом встречались.

Шахов оказался вдруг в Ташкенте, куда, кажется, перевели работать его отца (не узбеков ли учить зырянскому). Там произошел с ним случай, весьма характерный для тех лет. Гуляя с девушкой в парке, Борис купил почтовую открытку с портретом Сталина, — купил, чтобы написать любовное объяснение. Объяснение, которое он написал, ему не понравилось, и Борис разорвал открытку и бросил в урну. Его тут же взяли и присудили к двум годам отсидки за антисоветскую пропаганду в узком кругу.

Отсидев, Шахов поступил в московское училище живописи имени 1905 года. Стал художником.

Он не стал хорошим художником, жесток был его рисунок, жестки краски. Он стал художником хуже, чем мог бы быть, потому что был самородком распространенного типа — способным, но не замечательным.

Самородчество — особая русская тема.

То, что нормальный интеллигентный ребенок впитывает с самыми ранними понятиями своей среды, воспринимает естественно и без труда, самородкам, в силу их позднего стремления к знанию, дается с трудом, в том уже возрасте, когда мозг не обладает способностью естественно воспринимать огромный объем сведений, необходимый современному мыслящему человеку.

Этот труд чаще всего непосилен даже для способного человека и жестоко ломает его

психику, и порождает характер, искаженный комплексами, — главным образом комплексом неполноценности, выражающимся в зависти или неприязни к «природному» интеллигенту, которому без труда даны сведения и понятия, которые с таким трудом осваивает самородок.

Этого комплекса не избегает самородок даже самого мощного таланта, вроде Горького, написавшего энциклопедию самородничества — «Клима Самгина».

Один Чехов по своему уму и беспощадности самооценки сумел скрыть и раздавить в себе самородческий комплекс и подменить его, заменить интеллигентским комплексом вины — комплексом, совершенно не свойственным аристократии, — комплексом разnochинским. Об этом еще надо подумывать.

Шахов был обыкновенный самородок. Самородок средней руки. Пока он был молод, в нем привлекала жажда знания. А потом раздражать стали посредственные критерии и инстинктивная провинциальная субординация.

После войны Шахов нередко приходил ко мне. Он тяжело болел чахоткой и радовал какой-то удивительной силой и нежеланием умереть и оптимизмом.

— Я стал чувствовать, что Москва гористый город, — сказал он однажды, когда мы шли от Туберкулезного института к Самотеке.

Едва выздоровев, Шахов запил. Потом, не прекращая пить, женился на дочери экономки писателя Тихонова. И тут что-то с ним произошло.

Суждения его о живописи стали скучны. Идеологом своим он считал Иогансона. Начал иллюстрировать детгизовские книжки, самые скверные. Рисунки его ничего не обещали. Он становился злобно ортодоксален.

В конце 40-х годов встречался с Глазковым, заходил к Слуцкому, все реже — ко мне. Лет двадцать мы не видимся. Говорят — он ослеп.

Вторым перед нами сидел Борис Уединов, по школьному прозвищу — Уеда. Уеда — один из самых высоких людей в классе, темный шатен с продолговатым лицом, с крупным носом, всегда заложенным. Он молчалив, может, оттого, что обладает тонким, не по росту ломающимся голосом, к тому же слегка гундосит и неразборчиво произносит ряд согласных. Он — одна из авторитетных фигур. Жил Уединов на Садово-Кудринской в сером особнячке рядом с Филатовской больницей. Ареал нашей школы был в сотни раз больше нынешних микрорайонов, где на несколько домов-башен одна школа. Ученики нашего класса жили от площади Борьбы (бывшей Александровской) до Трубной и от Сухаревки до Кудринской.

Впрочем, Москва была намного потише. Садовое кольцо еще заложено булыжником. До начала тридцатых годов — в садах. Еще существовал круговой маршрут трамвая «Б», по всем Садовым цокали извозчики, тоже постепенно исчезая в 30-е годы; пыхтели старомодные автобусы марки «Jeuband». Еще жива была Сухарева башня и гудела Сухаревская толкучка.

К Уединову долго было идти пешком мимо Петровки и Триумфальной. Квартира их была просторная, некоммунальная, если верно помнится — в два этажа.

В кабинете отца — солидные книги. Оттуда впервые — запах солидных, старых, редко доставаемых книг. Мы подолгу рассматривали энциклопедии и почтительно ставили на место.

Все в этом доме было серьезно и основательно, пока не произошла какая-то ломка, о которой Борис никогда не говорил. Отца его — крупного инженера — я никогда не видел. А тут и вовсе прекратился о нем разговор. То ли ушел из дому, то ли еще что-то случилось.

Неблагополучие чувствовалось в лице матери, внезапно постаревшем и обрюзгшем, с волосами, дурно выкрашенными перекисью водорода; чувствовалось в том, что меньше стало вещей и книг; в том, как быстро возросло значение старшего брата — Игоря.

С середины 30-х годов все чаще замечал я, что в семьях происходят странные изменения. Но как-то пассивно это замечалось, потому что дома было всё в порядке; потому что об этом не говорилось; потому что происходило нечто скрытое, тайное, может быть — адюльтер, мезальянс — что-то семейное, скрытое, тайное, непонятное.

Мама работала во Внешторгбанке. Три или четыре из ее сослуживиц имели прикосновенность к высшим партийным кругам.

Дамы эти иногда приходили к нам пить чай с шульгинским земляничным вареньем. Они беседовали о служебных делах, о туалетах и хозяйстве, а порой в их рассказах мелькали детали о некой высшей жизни, о каких-то дипломатических поездках, о Париже

и произносились имена и отчества людей такого ранга, которые принадлежали истории и в нашем доме произносились только при чтении газет или иногда пониженным голосом назывались в анекдотах Виктора Марковича.

Дамы эти бывали за таинственной завесой власти и потому сами носили на себе отблеск таинственности и значительности, хотя в остальном были милые, сытые и хорошо одетые женщины. Может быть, кроме некой Веры Львовны, более сдержанной и одетой небрежно. Ее муж был коминтерновец и в ее облике отражался ригоризм и аскетизм мирового рабочего движения.

Изредка за дамами заезжали их мужья, прямо «оттуда», из высоких ведомств, где решались судьбы мира, а походя и судьбы таких, как мои родители и даже я.

Мужья, после радушных упрасиваний, соглашались выпить чаю с вареньем. И благожелательно ели варенье, разговаривая скупое и как бы нехотя. На них, еще более чем на женах лежал отсвет таинственной власти. Они и были сама власть, суровые комиссары гражданской войны, бывшие каторжане, в памяти которых гремели канонады и рокотали пулеметы — и они в крылатых бурках — а la Котовский — вылетали на разгоряченных конях впереди атакующих красных эскадронов.

Правда, я никогда не мог себе представить маленького, кругленького Канторовича, брата «того» Канторовича, в роли лихого кавалериста. Но все же, насилуя воображение, соглашался с возможностью такого явления.

Чаще других заходил к нам муж Веры Львовны — работник Коминтерна. Это был рыжий фанатик с белесыми глазами. Он порой отвечал на недоуменные вопросы папы с беспощадной ясностью и стальной решительностью участника баррикадных восстаний. Папа его не любил.

В 37 году разом полетели мужья правительственных дам, в том числе и брат «того» Канторовича.

Рыжий фанатик подзадержался. И еще успел разок побывать у нас, объясняя папе всю правильность, своевременность и благодетельность происходящего.

Вскоре и он был арестован и запропал навсегда, как и остальные. И никогда ему не пришлось больше объяснять своевременность твердых мер и презрительно есть земляничное варенье.

Мамины сослуживицы, сразу похудевшие, заплаканные, стали появляться у нас в доме, собираясь в отъезд, в провинцию.

Им посылали посылки, к нам многие времена спустя приезжали их дети, родственники и знакомые. И всех их принимали мои родители, не думая о том, что опасно общаться с семьями врагов народа, потому что папа всегда считал подлым отречься от друзей, попавших в беду.

Может быть, даже рыжего фанатика ему было жалко.

А так было все в порядке — как будто в порядке — и у меня, и у Червика, у Вовочки, у Хемса и Лившица, у Шени и Шахова — все было в порядке.

За хорошую учебу шефы — 3-й Москвошвей — премировал брюками. Были праздники, выборы, перевыборы, успехи. Были, наконец, зимы и лета. Был каток ЦДКА. И тогдашний московский мороз — розовый, с инеем в парках, какой-то невероятной детской красоты — и непонятно было тогда, только ощущалось — как хороша Новая Божедомка — слева ампиры Туберкулезного института и Мариинской больницы, — справа милые особнячки и маленький молочный завод, — а дальше просторы, заиндевшие деревья Екатерининского парка — слева Самотечные переулки, а впереди — Садовая с садами, Садовая с садами.

Третий на парте перед нами — Шура Шепелев — Шеня. Он не только в классе — во всей школе — первый ученик. Председатель учкома. Шура — с высоким лбом, веснушчатый мальчишка, с умным, точным взором. Он — гордость школы и победа педагогическо-социальной концепции. Из бедной, многодетной семьи, без отца, мать — уборщица. И, действительно, хорош был Шеня, спокойный, собранный, всегда знающий уроки, полный какого-то достоинства и благородства.

По всем социальным признакам и по блестящим способностям ему бы делать большую карьеру. Но на всех служебных лестницах, которые предстают нашему взору, его фигуры не видно. Может, не хватило темперамента, может, замах пропал, может, наоборот — слишком сильно было эмоциональное начало в этой натуре, весьма незаурядной.

Я знаю о нем, что после школы он попал в офицерское училище и в войну не погиб.

Развел нас нелепый конфликт на почве ревности. Шепелев, заревновав, ударил меня по щеке, завязалась короткая драка. Мужчины сочувствовали Шепелеву, женщины — мне.

Произошло это в 7-м классе из-за Наташи Корнфельд, в которую мы все время от времени влюблялись. Но это было как раз то время, когда я был влюблен в другую, а с Наташей, как всегда, сохранял дружеские отношения и исповедовался в своих увлечениях.

С Шеней мы вскоре примирились. Но отношения наши сломались. Участь в разных школах, мы не встречались.

И у меня остались только воспоминания, как в откровенных беседах о любви мы подолгу прохаживались мимо Наташиного дома в Большом Каретном (ныне улица Ермоловой) рядом со школой, выходя к Садово-Самогечной по крутому склону, еще хранившему очертания древнего берега реки, возвращаясь к началу Колобовских переулков и оттуда вновь к Садовой — к Садовой уже без садов.

В те годы обучение было совместное, как и сейчас, и никто из нас не думал, что оно могло быть иным. Но в первых классах мальчики и девочки держались особняком; даже я, воспитанный в девичьем обществе, не позволял себе в классе обращаться к подруге детства Люсе Дорошенко иначе, чем «Эй, ты!»

Классу наверное к пятому взаимный интерес пересилил традиционное отчуждение. В нашу компанию, описанную выше, вошли девочки.

Известную роль в этом сближении сыграл дом Наташи Корнфельд.

Это был дом светский, цивилизованный, процветающий — с умной, волевой и красивой хозяйкой — матерью Наташи Екатериной Васильевной — с приятным хозяином, архитектором Яковом Абрамовичем Корнфельдом — с бабушкой-писательницей и двумя прелестными дочерьми Наташей и Таней — светский — с гостями, с паркетами, с книгами — дом, где умели принять, втянуть в беседу, угадать настроение, присмотреться, тактично отсеять, тактично же и привлечь.

Как среди мальчиков никого нельзя было сравнить с Рожновым, так среди девочек выделялась Наташа.

Она небольшого роста, пухленькая, с полными губами, с чудесными серыми глазами, с ямочками на щеках — маленькая женщина, умная, тактичная, памятливая, ко всем внешне ровно расположенная — результат воспитания, а не добродушия, — очень способная ко всем наукам.

Моим первым товарищем еще до школы был Жоржик Острцов. До знакомства с ним я находился в окружении девочек. Их было четыре, я — пятый в прогулочной группе.

Острцовы занимали две комнаты в шестикомнатной густонаселенной квартире. В бóльшей жили две тетки Жоржика — строгая и степенная Елена Ивановна, врач Туберкулезного института и добродушная Елизавета Ивановна, учительница. У Елизаветы Ивановны была дочь Маруся, несколькими годами нас помладше, славная девочка с заячьей губой. С ними жила древняя, выжившая из ума бабушка, к тому же еще слепая. И, кажется, жил еще дядя Жоржика Иван Иванович, во всяком случае, постоянно находился в доме.

Семья Жоржика — его отец — бывший командир Красной Армии, по демобилизации ставший школьным завхозом, мать — медицинская сестра того же Туберкулезного, и он сам помещался в довольно большой пустынной комнате с тремя дверьми. Одна из дверей выходила в длинный темный коридор, а две другие были заделаны фанерой и заклеены обоями, потому что за ними жили соседи Острцовых, таким образом поделившие бывшую анфиладу на несколько изолированных помещений.

Глубже по коридору находилась комната злой старухи Цеповой, грозы коммунальной квартиры. В старухину дочь, некрасивую, но веселую и живую Марусю, много лет без взаимности был влюблен Иван Иванович. Он был заметно старше Маруси, неудачник и старый холостяк. Желая ублажить свою возлюбленную, он играл на гитаре, иногда на старом фортепиано и пел чувствительные романсы. В конце концов они поженились, но Иван Иванович недолго наслаждался семейной идиллией и вскоре помер, оставив веселую Марусю с малолетней дочерью. Таким образом, еще одна семья Острцовых потеснила старуху Цепову и обосновалась в тридцать шестой квартире.

Родом Острцовы — поговору судя — были из северорусской провинции; класса разночинческого. В большой комнате над диваном висел большой фотографический

портрет конца века — красивый, строгий человек в форменном мундире, невысокого, видимо, ранга.

Это дедушка Жоржика.

Под портретом на старом диване, перед столом, покрытом клеенкой, сидела обычно слепая старуха, жена дедушки, и ела или хотела есть. Бабушку кормили грубой пищей 30-х годов, а над прожорливостью ее добродушно издевались. Подражая взрослым, разыгрывали бабушку и мы, дети.

Говорили при ней о роскошных обедах, которые якобы ели вчера в гостях. А я рассказывал бабушке, что дед мой служит при кавказском наместнике и обещался прислать ей из Тифлиса апельсинов.

Иногда Жоржик, сопровождая себя на рояле, пел песенку:

Я толстая свинья,
Глядите на меня,
Все время ем да ем,
Не брезгую ничем.

230

Бабушка не дождалась тифлисских апельсинов, а однажды тихо умерла.

Видать, не все Острецовы жили в квартире 36-й, ибо вскоре после смерти бабушки в большой комнате появился молодой человек Сашка Острецов, племянник и кузен, музыковед по образованию.

С его приходом рояль выдворили из большой комнаты и поселили в расположении Жоржикиных родителей, потому что Сашка имел привычку целыми днями разыгрывать какие-то партитуры, подпевая без голоса, а может быть и без слуха — «ти-ти-ти-ти-ти».

Мать Жоржика целыми днями была на работе, а то и дежурила по ночам. Отец появлялся совсем редко, кажется, работал где-то на периферии. А Жоржика трудно было вывести из себя. Сашка был поклонник Шостаковича, печатал статьи в журнале «Советская музыка» и долгими часами играл любимого автора. За него он, кажется, и погорел в тридцать седьмом году.

Я только в 18 лет, забыв Сашкино музицирование, понял, что Шостакович замечательный композитор.

Сашке лет было, наверное, под тридцать. Он был тощий, востроносый и весь движущийся. К нам он относился снисходительно, но отношений не заводил. Он пел свое «ти-ти», а мы занимались своими делами. Обычно играли мы у Жоржика, потому что взрослых не было целый день.

У Жоржикиного отца, бывшего командира Красной Армии, было много военных уставов. Мы их усердно читали. И оттого образовались у нас военные игры. Сперва обучали мы по уставам оловянных солдатиков. Но их было мало и все они могли только изображать стойку «смирно». Вскоре солдатами у нас стали пуговицы. Их было больше, но все они были разномастные и тем противоречили принципу армейского единообразия.

Тогда мы произвели великую реформу и войско образовали из крупной перловки. Крупу мы красили бельевой краской и каждый цвет изображал род войск: красная перловка — пехоту, зеленая — кавалерию, коричневая — артиллерию.

Крупинки, завернутые в фольгу, означали офицеров, а маленькие раскрашенные горошины — генералов разных рангов.

Главнокомандующим был король — стеклянная граненая пуговка.

Крашеную крупу мы насыпали в спичечные коробки, на которых написаны были названия частей: такой-то полк, такой-то дивизии. Полков этих со временем накопилось огромное множество. Из спичек клеили мы маленькие пушки. Из пробок вырезали танки и броневики. А из любой дощечки — военные корабли.

Создали мы и сложнейшие правила игры.

В комнате Жоржика мы могли безнаказанно расчерчивать пол мелом на манер топографической карты, рисуя сушу, море, реки и дороги. Цепочками крупы обозначали передний край, расставляли артиллерию, поднимали в воздух самодельные самолетик.

У каждого у нас была своя армия. Правда, войны мы затевали редко, потому что целый день надо было перетаскивать из квартиры в квартиру десятки и сотни коробков с войсками, корабли, самолеты и прочее. Для этого времени хватало только в дни каникул.

Чаше устраивали мы маневры, смотр, парады и почетные встречи военных делегаций, прибывавших на каком-нибудь крейсере.

А иногда кто-нибудь из гороховых генералов поднимал восстание в углу комнаты

и большая часть войск переходила на его сторону. Королю оставался верен только гвардейский корпус, с которым он и выступал на усмирение мятежа.

Конечно, король всегда побеждал. Брал в плен мятежную горошину, которую судили мы строгим судом, а потом казнили, выбрасывая в форточку. То есть переселяли в иной мир.

В крупную армию играли мы несколько лет. У меня чуть не до восьмого класса сохранялись корабли и коробочки с гвардейским корпусом, где каждая крупинка отдельно была покрашена эмалевой краской.

Уже будучи взрослым человеком, солдатом на Волховском фронте, в долгие ночные часы на посту вспоминал я нашу игру, и ей-богу, готов был поиграть в нее с Жоржиком.

На книжной этажерке Острецовых были не одни только военные уставы, но и другие разрозненные книги, которые мы тоже принялись изучать.

Так прочитали мы с Жоржиком растрепанных Ксенофонта и Полибия. А потом увлеклись философским словарем Ищенко. В промежутках между крупными войнами мы вытвердили наизусть этот словарь и свободно могли сказать, что такое субстанция, метафизика, ноумен, феномен или другое в этом роде. Было нам лет не более, чем по двенадцати.

Тогда же попалась нам книга Баммеля «Теория и практика диалектического материализма», где философские высказывания Маркса, Энгельса и Ленина расположены были в систематическом порядке. Оттуда узнали мы имена Беркли, Юма, Декарта, Спинозы, Гегеля. И уже сознательно стали разыскивать у знакомых книги по философии. Помню несколько введений в философию, которые мы прочитали в ту пору: Челпанова, Вундта, Введенского. Помню какую-то антологию по античной философии. Читал я трактаты Спинозы, «Прологомены» Канта, все, что попадалось, и, конечно, без всякой системы.

В эту же пору, а может быть и раньше, философией стал увлекаться и наш школьный друг Феликс Зигель.

Втроем мы и составили нечто вроде кружка любомудров.

Из всех нас троих Жоржик был самый необычный и самый образцовый. Среднего роста, со светлыми волнистыми волосами, прямым носом, высоким лбом, он был лишен расплывчатой детской миловидности, а был тем, что называют — человек приятной наружности. Серые глаза он по близорукости слегка прищуривал, отчего его неулыбчивое лицо казалось строгим. Единственным контрастом собранным чертам его лица был рот — маленький, женственный, лишенный акцента воли.

Жоржик одет был всегда опрятно, но аккуратность его была без педантизма. Очень подходил к его облику отцовский форменный мундирчик черного цвета со стоячим воротником. Эту одежду Жоржик носил все старшие классы, именовалась она «вицмундир» и как нельзя лучше оттеняла внешнюю строгость нашего друга.

В характере его главной чертой я назвал бы сдержанность. Он сам никогда не проявлял сильных эмоций. Не любил нежностей и горячих дружеских признаний, которыми мы часто обменивались в ту пору. Но сдержанность была без резкости. Жоржик всегда держался доброжелательно и ровно. Не было в нем лишней стеснительности, но и никакой показной бойкости. Он не умел быть фамильярным и не терпел фамильярности по отношению к себе.

В семье его уважали и жил он без лишних наставлений, без настоячивых забот, почти полностью предоставленный самому себе. Однако он никогда во зло не использовал своей свободы. И временем своим распоряжался разумно.

В школе он был первый ученик и для всех полный образец. Учился он без видимых усилий, но усердно и с детским чувством долга. Уроки были всегда у него приготовлены. И знал он по всем предметам все, что требовалось, и даже, наверное, больше.

Его манера держаться с чувством собственного достоинства, серьезность, справедливость, а также успехи в науках внушали уважение и даже восхищение его соученикам. Почти все школьные годы он был для нас вроде нормы и недосягаемого образца.

Описав внешность и поведение Жоржика, я, знавший его с детства и общавшийся с ним два десятилетия, почти ничего не могу сказать о его внутренней жизни и даже о его мнениях и отношении к окружающему. Может быть, его сдержанность была частью скрытности. Но он как будто ничего не скрывал и на вопросы отвечал ясно и логически. Не было в нем и хитрости, хотя и не было простодушия. А мнения его, видимо, оттого не запомнились, что были слишком разумны и оттого обесцвечены.

Он как будто всегда искал средних решений, не прибегая к крайностям. Это относится и к нашим философским дискуссиям.

Феликс до того, как стал убежденным обновленцем, был берклианец. Он горячо защищал субъективный идеализм, спорил одержимо и нередко переходил на личности. Ниспровергал он, в основном, меня, который был не менее убежденным материалистом. Жоржик придерживался «средней» точки зрения. В скептической философии Юма ему нравилось признание обеих субстанций — духовной и материальной.

Осталось ли это навсегда? Ход его взглядов я утерял, когда в восьмом классе окончили наши дискуссии.

Жоржика не только уважали, но и любили товарищи. Его готовы были ревновать друг к другу. Но он не давал к этому повода, относясь ко всем с ровным дружелюбием.

Он был идеальный хранитель тайны исповеди. И ему исповедовались Феликс, я и другие соученики в своих любовных увлечениях. Он выслушивал нас серьезно, терпеливо и непроницаемо. Было ясно, что сам он не подвержен любовному чувству. Это принималось нами, как должное, как лишнее доказательство особенности Жоржика и даже его превосходства над нами.

Девочкам, конечно, он нравился. Они кокетничали с ним. Но он как бы этого не замечал. И в конце концов от него отстали. И если кто был в него влюблен, то тайно и издали.

Перейдя в новую школу после восьмого класса, Жоржик очень скоро завоевал и в новом классе непререкаемый авторитет, стал первым учеником и бессменным на три года старостой. И все это произошло естественно, и без всяких усилий с его стороны. Он был лишен рисовки и не праздновал своих побед.

В общем, все самое лучшее, что можно сказать о человеке, можно было сказать об Острецове.

Но что-то начало происходить с его авторитетом в середине 9-го класса.

В третью школу — Первую опытно-показательную имени Горького на Вадковском переулке (ныне — 204-я — на углу Тихвинской и Сущевского вала) перетащили меня Феликс Зигель и Жорж Острецов.

Я уже в восьмом классе познакомился с будущими соучениками и стал регулярно посещать «пятые дни» у Лили Маркович, в замужестве Лунгиной.

«Пятые дни» были постоянным сборищем. В небольшой (но отдельной, что было редкостью в те времена) комнате собирались регулярно для чтения стихов и душевных разговоров люди необычной для меня среды и гораздо более разнообразного душевного опыта.

У Лили бывали Юра Шаховской, большеглазый аристократического вида князек; Люся Толалаева, дочь какого-то начальства; Илья Нусинов, рано умерший кинодраматург, сын известного литературоведа — тогда Илья мечтал о карьере математика; заходили красивая и очень большая Мила Польстер, племянница скульптора Ватагина; Анна Ильзен; заглядывал Лева Безыменский; я привел Бориса Рождественского ¹.

Во всех развитых странах нашего века происходит один и тот же процесс индустриализаций города и деревни, а затем НТР, — процесс, связанный с колоссальными перемещениями масс из деревни в город, из одного социального слоя в другой.

Эти колоссальные смещения, перемещения, перемешивания неизбежно связаны с ломкой психологической и социальной. В саморегулирующемся обществе существуют естественные регуляторы процесса — экономические, регуляторы политического устройства — демократизма, традиции, среды и т. д.

Регуляторы не замедляют процесс, но тормозят его на поворотах, смягчают остроту, придают естественность течению.

Большую роль играет здесь такой фактор, как консервативное сознание среды, пересматривающееся медленно и как бы покрывающее процесс. Среда разрушается медленно, сохраняя свое нравственное ядро до тех пор, пока не сформируются новые центры нравственного тяготения.

В России же традиция такова, что социальные и экономические изменения происходят не средствами среды, а средствами политики. На Западе медленнее всего разрушается среда. У нас сперва разрушают среду средствами политики и при разрушенной среде путем

¹ Право принадлежать к элите надо выстрадать.

реформы «сверху» создают субъективную схему нового, которая так или иначе далека от подлинной, естественной общественной потребности и после этого годами и десятилетиями утрясается — порывисто, с колоссальной затратой и потерей общественных средств и энергии.

Таковы были процессы при Иване Грозном, реформы Петра.

Таков был и 37-й год.

Недаром Сталин, кося глазом на историю, чаще всего примерял клобук Ивана или мундир Петра.

При разрушении среды и крушении сословного сознания единственным спланирующим общество элементом остается нация и единственной общей идеологией — национализм.

Не Сталин ввел в России национализм. Он естественно заменял рухнувшие — космополитический гуманизм буржуазии и интеллигенции, природную религию крестьянства, вселенскую религию священства, интернационализм партии и рабочего класса.

Процесс этот происходил и происходит во всех странах на протяжении 20-го века. В разных странах по-разному. А в наиболее социально развитых и с некой поляризацией, с обратным процессом, с противоположением, который неминуемо будет усиливаться со складыванием новых социальных слоев.

Национализм 20-го века — результат социальной неутрашенности, перемешанности, крушения традиционных общественных структур.

233

ШУЛЬГИНО

После отъезда Янов в Самарканд мы каждое лето жили в Шульгине. Это моя деревня. Лет наверное восемь, т. е. все мое сознательное детство, мы провели в этой чудесной подмосковной местности и тесно жили с семьей Аксины Ивановны Мещаниновой, дом которой стал как бы нашим вторым домом.

В конце 20-х годов от Кунцева была проложена небольшая Усовская ветка железной дороги.

Если сойти с поезда на второй станции — Раздоры — с левой стороны по движению и пройти через сосновый бор по утоптанной дорожке, с опушки откроется поле, а за ним, на невысоком пригорке — первые избы деревни Шульгино. По полю ведет к нему дорога.

В летнюю пору, когда порожняя телега лихо съезжала к лесу, за ней оставалось густое облако пахучей пыли, медленно относимое ветром на соседние хлеба. А после сильного дождя полевая дорога превращалась в грязь, а в низинке долго не высыхала большущая лужа. Ее обьезжали и обходили, топча окраины посевов.

В конце 20-х годов в Шульгине дворов было наверное меньше ста. Располагались они двумя порядками вдоль единственной улицы с проезжей частью, ничем не отличавшейся от проселка, с затоптанной травкой по обочинам, с двумя дорожками вдоль палисадников.

Многие избы стояли за невысокими заборчиками шагах в пяти от улицы. Перед фасадами росли желтая акация и рябина, порой георгины и мальвы, а изредка яблони с кислыми яблоками, объединяемыми детворой задолго до созревания. Плодовые сады были редки.

Избы по большей части — некрашенные пятистенки, крыты дранкой, в пять окон с резными наличниками. Кое-где были пристроены терраски, иногда застекленные, умножавшиеся по мере того, как увеличивалось число дачников. Помню лишь один дом, четвертый с краю, с железной крышей, покрашенный светлою охрой. Там жил крепкий хозяин, через несколько лет раскулаченный и высланный в отдаленные места.

Пятистенные избы, свежие, со смоляными слезами, строили семьи, где хватало взрослых работников, на месте обветшавших строений довоенного времени, семьи, сумевшие поднять хозяйство за время нэпа. Это были середняки — большинство населения деревни.

К пятистенному срубу примыкала обычно холодная горница, сложенная из бревен старого дома, где хранилась одежда, ненужная утварь, летом спали, а под осень сушили орехи. Под единою с домом крышей помещался двор — бревенчатое строение с воротами. Там держали орудия для сенокоса, уборки и пахоты: косы, грабли, серпы, плуги, цепи. Стояла колода с маленькой наковаленкой для отбивки кос. На стене висели хомуты и сбруя.

Часть двора, отделенную бревенчатой стенкой, занимали хлев и конюшня — два стойла с кормушками для коровы и лошади. Их держали по одной. Во дворе густо пахло свежим навозом, дегтем, овчиной.

Под крышей двора потолка не было, видны были стропила и dranka. А над помещением для скота был настелен бревенчатый потолок. Над ним на насестах спали куры, утром хлоптала несущка и орал петух, красавец с роскошным гребнем, с алой серьгой, весь отливавший синим и черным металлическим блеском.

Когда стали сдавать на лето дачи, в крытый двор выносили тесовый стол, ставили лавки, вдоль стен стелили солому, клали овчины. Тут обедали и вечерали при свете керосиновой семилинейки, и спали тут же.

В некотором отдалении от крытого двора, за небольшой лужайкой, где летом привязывают телка, — большой сарай для сена и соломы, где после сенокоса на высоком сене предпочитает спать молодежь, чтобы, с гулянки придя после третьих петухов, не будить ворчливых родителей. Перед сараем — ток (гумно) — прямоугольная площадка, с которой перед молотьюбой срезают пробившуюся травку. А за сараем — узкая усадьба, с правой стороны деревни упирающаяся в дорогу, идущую вдоль оврага, а слева — в дорогу, идущую вдоль полей. На усадьбе сажают картошку, капусту, морковь, свеклу, горох.

Овраг, промытый талыми водами параллельно деревне, перегороден двумя земляными плотинами, подпирющими два пруда. Верхний — чистый, оттуда воду берут для хозяйства и качают при пожарах. В другом купают лошадей и купаются деревенские ребяташки.

Шульгинские поля с трех сторон ограничены лесом — с севера и запада сосновым бором с густым орешником, с востока — лиственным лесом и сыроватыми кустарниками. К югу поля граничили с пашнями деревни Подушкино — Верхнего и Нижнего — скрытой за бугром.

Земледелие было трехпольное. Сеяли рожь, овес, выращивали картошку, на парах сеяли вику и клевер. Поля были разделены на узкие полоски, наделы крестьянских семей.

Пахали однолемешным плугом, бороновали бороной деревянной со стальными зубьями, окучивали картошку культиватором, а то и сохой с железным сошником. Созревшую рожь жали серпами, а иные косили, а потом вязали в снопы. Снопы складывали в крестцы. А потом свозили на гумна. Молотили цепами, отвеивали деревянной лопатой. Позже появились ручные молотилки и веялки.

Пахотной земли было мало. Не знаю, какие были урожаи. Но ржи хватало на прокормление семьи до нового урожая, на пойло корове, на семена. Могли бы, кажется, хлеб докупать в недалекой Москве, да денег всегда не хватало. Торговать было нечем. Везили в Москву молоко, сметану, творог, от себя отрывая. Когда-то занимались извозом в зимнюю пору, да, видно, стало невыгодно. Так что корова оставалась единственным источником денежных доходов.

Родители мои начали снимать дачу году в 1927-м. Помнится, я еще не ходил в школу. Шульгино еще не стало дачным местом, москвичи только осваивали Усовскую ветку, а прежде в Шульгино приходилось ходить от Немчиновки, примерно семь километров.

Для меня нет места лучше и прекраснее, чем Шульгино. Дом Аксины Ивановны — первый у околицы, крайний справа при въезде в деревню. С террасы этого нового бревенчатого дома открывается превосходный пейзаж — поле, в начале лета зеленое, потом золотистое и за краем его темный сосновый лес. Этот пейзаж, дорогой моему сердцу, помню до мельчайших деталей. Какая-то пчелино-жужжащая благостная тишина царит в этой деревне.

Я не знал деревни зимой.

Шульгино — это лето. Детское лето. Нескончаемое лето.

Зима — это Опалиха. Иногда прекрасная. И все же — зима.

В детстве все было лучше, чем сейчас.

Я просыпался на ранней заре от мирных выстрелов кнута и от пастушьего рожка. Мычали коровы, блеяли овцы, кудахтали куры. Утренний воздух смешивался с запахом теплой скотины.

Это бывало мимолетным пробуждением. И я вновь засыпал.

И вставал уже позже, когда солнце начинало пригревать.

На открытой террасе, выходящей прямо в поле ¹, уже стоял готовый завтрак: яйца,

¹ Терраса с солнечной стороны прикрыта была широким холстом. При ветре он надувался и гудел, как парус.

лишь утром снятые с лукошка, теплый ржаной хлеб, удивительно душистый, только что вынутый из печи, масло, тоже душистое, желтое, пахнувшее ледником, со студеной слезкой, творог — синоним белизны, слоистый и тоже душистый¹. Все это было неповторимого вкуса и запаха.

После завтрака начинались бесконечные игры и беготня. Молодые мои родители давали мне полную волю, и все дни я проводил с шульгинскими ребятишками, занимаясь тем же, чем занимались мои деревенские сверстники. То мы шли гурьбой в Раздорский лес — сосновый с орешниковым подлеском — собирать землянику; то скакали босые по теплой пыльной дороге верхом на палочках. Палочек-коней у каждого было по несколько. Я до сих пор ощущаю силу воображения, превращавшую ореховую палочку в коня, и свое чувство к каждому из моих коней, помню ногами нежнейшую пыль на дороге; ощущаю ступнями сыроватую прохладу лесной тропы.

И чувствую запахи, ныне утраченные. В нас стареет, отупляется и обоняние. И теперь ощущаешь лишь крепкие запахи — липа, сирень, жасмин, сено, а тогда были тысячи оттенков — нагретый ореховый лист, мох, телега, лошадь, прошедшая по лесной дороге.

Я узнавал в Шульгине названия трав и растений, приметы, порядок сельских работ и названия орудий, повадки домашних животных — словарь Шульгина, его язык — чистейший московский говор — постепенно впитывались моим сознанием и становились его практической частью.

С соседскими ребятишками бегали мы купаться в крохотную речушку Самынку, куда впадал совсем уже крохотный ручей — Соплянка. Это было под лесом, в низинке. Соплянка вытекала из осинового заросли, казавшейся огромной и непроходимой, и присоединялась к Самынке в живописном овраге — там сейчас поворот Подушкинского шоссе. Самынка была глубиной по колено. Дно — чистейший мелкий песок. Небольшие стайки плотвичек и мальков плавали и были бы неприметны, если бы не тени их на дне. Из вилок делали остроги и порой удавалось попасть в плотвичку.

Вода в речушке — ледяная. Мы выкапывали яму в песке и садились по горло. Долго, Впрочем, не просидишь.

Чаще купались мы в лошадином пруду, с водой шоколадного цвета и дном, где нога утопала в мягком и холодноватом внизу иле; где полно было головастиков и лягушек и плавали, извиваясь, толстые пиявки.

Пруд пахнул тиной, застоялой водой. Это нас не смущало. Мы плескались часами в мутной, грязной воде.

В этом пруду купали лошадей.

Это было одно из любимых наших занятий.

Хромой Андрей, наш сосед, молодой крепкий мужик, женатый на рябой пожилой Шелатонихе, детей не имел, поэтому мне поручал красно-бурую добрую кобылку Зорьку. На ней удобно было сидеть, такая она была гладкая, маленькая и удобная.

Поняв, что ее ведут купать, она рысцой бежала к пруду. Останавливалась на берегу. Ноздрями шумно выдыхала воздух. Осторожно вступала в пруд. Долго пила. Поднимала голову от воды. Я ей посвистывал. Она снова пила. Потом опять отрывалась от воды. Капли стекали с ее добросовестной морды. И вдруг она решительно шла на глубину и плыла, вытягивая шею и отфыркиваясь. Я подгонял ее к берегу. Мыл и до сих пор ощущаю ее крепкие кормленные бока, гладкую шкуру, запах гривы, дыханья и конского пота.

Отец мой с военной поры любил лошадей. И мне внушал любовь к ним. Я целый день ожидал встречи с Зорькой, для нее припасая краюшку хлеба с солью или кусок сахара.

Ничего нет лучше, чем мягкие конские губы, осторожно берущие с ладони хлеб или сахар! Зорька глядела на меня кроткими карими глазами с лиловатым отливом, с прямыми простодушными ресницами. И иногда, пошаливая, дотрагивалась губами до моей шеи, щекотно дыша в затылок.

Это славное добродушное существо терпеливо сносило мой неумелый уход. Я без седла ездил на Зорьке к пруду, поил и купал ее, а вечером подъезжал к околице, где верхами собирались шульгинские мальчишки, и мы гнали коней «на елань», так назывался отдаленный луг, где в ночном отдыхали и паслись деревенские кони. Дождавшись темноты, мы разжигали костер близ лесной опушки, пекли картошку. Стреноженные кони хрустели

¹ Творог, похожий на слоистые облака.

травой и фыркали недалеко, а потом мы шли ночным лугом, зябким росным вечером домой, в деревню, шала, крича по дороге.

По воскресеньям приезжал Виктор Маркович Повзнер, инженер и старый холостяк. Он был мужчина с (нрзб) морщинами на лбу и на щеках, с волосами, гладко причесанными на косой пробор, смуглый, высокого роста.

Приезжал он утром с собственным гамаком, привешивал его в лесу и отдыхал до обеда. Читал иностранную книгу, ел бутерброды из алюминиевой банки, пил кофе из термоса и сосал прохладительные конфетки.

Он когда-то учился в Швеции и считал, что быть стоило только шведом.

Утром, отправляясь за земляникой, я набредал на Виктора Марковича и страстно хотел попробовать бутерброды из банки и мятные драже. Но он не угощал меня, даже если я с ним здоровался.

После полудня Виктор Маркович сворачивал свой шведский лагерь и шел к нам обедать. За столом площадку держал Виктор Маркович. Он был анекдотчик.

— Где вы купили ваш саракулевый как?

— В магазине Марл Карсы.

Взрослые подробно смеялись. Виктора Марковича уважали за шведские привычки, но осуждали за то, что скуп.

К обеду приезжали и другие гости: Янчевецкие, Можаровские, двоюродный брат мамы Борис, ипподромный игрок. Долго пили чай с земляничным вареньем, с пирогами, испеченными в кастрюле «чудо».

Я с особенным нетерпением ожидал дядьку, приезжавшего на велосипеде из соседней Барвихи. Он давал мне деньги на мороженое.

В послеобеденную пору приходил мороженщик. Он толкал перед собой ящик на двух колесах, набитый подсолненным льдом. За ящиком оставался мокрый пунктир на пыльной дороге. Мороженщик останавливался у околицы и его тотчас окружали мальчишки и девочки. Он степенно открывал ящик и тогда можно было увидеть два жестяных цилиндра со сливочным мороженым. Круглой ложечкой с длинной рукоятью он ловко вынимал из цилиндров круглые шарики и клал их на блюдечки или же, что особенно ценилось детьми, другой ложечкой вмазывал мороженое в жестяную же штучку, куда предварительно закладывалась вафля. Прикрывал мороженое другой вафлей и вытаскивал толстое колесико, как бывает на пишущей машинке, только белое и холодное. На вафлях были написаны имена: Саша, Надя, Вера. Мы сперва их прочитывали, а потом, сжимая постепенно вафли, слизывали выступающее мороженое — желтое, с запахом ванилина, пощипывающее язык. Счастливица обступали те, у кого не было пятака или трех копеек (порции бывали разные) и просили:

— Дай лизнуть!

Им давали, следя, чтобы слизывали не очень помногу и не смели откусывать.

Как ни отдален был мой быт и мои интересы от быта и интересов деревни, я искренне приобщался к ним. Кроме того, высокое уважение к сельскому труду внушал мне отец.

Я помню эпические труды большой крестьянской семьи Аксиньи Ивановны, ужин при свете керосиновой лампы за деревянным столом — еду из одной миски деревянными ложками, благоговейно уважаемую и заслуженную трапезу, не прерываемую излишним словом. Помню еще праздничные хороводы и пение у колодца, отпевание покойников у околицы, свадьбы и пьяную престольную Казанскую с традиционной дракой с соседним Подушкиным.

Мне особенно всегда неприятно читать дачные воспоминания интеллигентов как некое хождение в народ и однократное участие в копке картошки, как некое присоединение к крестьянскому труду.

Я был типичный дачник, городской мальчик, жадно впитывавший деревенские впечатления и любивший деревню, как может любить ее горожанин, т. е. любовью одержимой, возвышенной и поэтической.

В те годы крестьяне работали еще всей семьей от зари до зари. Труд их был тяжел и неблагодарен. Мне странно читать сейчас о веселой жизни счастливых поселян, о которой почти открыто сожалеют наши новые народолюбцы.

Жизнь русской деревни всегда была тяжела и трагична. Русский писатель не может не думать о русской деревне, особенно о последних сорока годах русской жизни, когда все

обостренные процессы в их специально русском, т. е. в самом трагическом и мрачном выражении, обильно были питаемы кровью и потом русского крестьянина.

Периоды исторической ломки, переходные периоды всегда трагичны для поколений, через чью жизнь прошел разлом. Но переломы психологические не всегда связаны с гибелью и обнищанием большей части народа. Кроме того, между переломными эпохами были временные стабилизации и упорядочения. В русской истории XX века перелом следовал за переломом, не давая передышки, наползая один на другой, сливаясь в один нескончаемый страшный болезненный перелом, из которого неизвестно еще когда и неизвестно еще с какими кровавыми потерями выйдет русский народ. Да и выйдет ли раньше, чем перелом не переломит хребет тиранической власти в России и народным чаяниям не откликнется, наконец, так мало ценимый и так тяжело натруженный голос свободного мнения.

До колхозов в летние дни вся деревня в поле... Остаются дома одни ребятишки, да древние старики со старухами. Тихо. Только шмели гудят да поохивают сонные куры, купаясь в пыли.

Праздник летом один — престольный — Казанская. Тут уж дня три вся деревня гуляет.

Папа с мамой, приодевшись, с утра идут в гости к знакомым мужикам. Везде их сажает за стол, угощают. Пожилые выпивают степенно. Мне хозяйки суют ржаные лепешки с картошкой — теплые, рассыпчатые. Все ребятишки жуют целый день эти лепешки, пряники, а кто просто краюхи ржаного хлеба от пуза.

Молодежь, напившись, отправляется драться с Подушкиным. Дерутся по традиции, видно, без особой охоты.

Помню, только раз Саше Мещанинову разбили голову бутылкой. Папа его перевязывал, а он смотрел героем.

Вообще же Шульгино — деревня мирная и народ в ней смирный. Не очень пьянствуют. Не часто дерутся.

Помню, только раз — поймали вора, кажется, конокрада. Били страшно. До смерти забили.

Я впервые тогда увидал самосуд.

Самосуд хуже любого суда. Он сплывает на основе преступления. И это — сплоченные зверей.

Сталин понял круговую поруку самосуда и суть его озверения, заменив у нас суд самосудом.

Как проходила коллективизация в Шульгине, я не видел. Приехали летом 30-го года, а там уже колхоз. У Аксиньи Ивановны ни коровы, ни лошади. Молодежь куда-то стала рассасываться, большинство подалось на московские заводы. Кто в армию ушел, на землю уже не вернулись. В цене стали городские невесты. И местные девки стали поджидать городских женихов.

Шульгино — деревня небогатая, земли мало. До революции и в нэп занимались извозом. А потом постепенно от этого дела отстали, превратились в середняков.

Раскулачили одних Яхонтовых, а каких, не помню. Вся деревня была Мещаниновы, Цыгановы да Яхонтовы.

Тех, у кого дом был под железной крышей, раскулачили. В доме стало правление колхоза. И шульгинский заштатный поп тоже исчез.

У самого входа в деревню — справа от дороги — глубочайший колодец с двускатным навесом, с колесом в полтора человеческих роста.

На колесе хорошо качаться, хотя это строжайше запрещено. Вода здесь холодная и чистая.

По утрам и вечерам постоянно скрипит колесо, звякает цепь и с плеском ползет деревянная бадья на два ведра.

У колодца этого в праздничные вечера после работы девки в городских крепдешинных платьях водят хороводы и тихо поют старинные песни.

Здесь же отпевают покойников. На козлы ставят гроб и старенький священник в облачении помахивает кадилом. Ему прислуживает пропойца-дьячок, которого так и зовут Дьячок, а всех детей его Дьячковы.

От молитвы, от ладанного дыма, смешанного с воздухом полей, становится грустно

и торжественно. Хочется, чтобы подольше не кончалось это простое и возвышенное отпевание усопшей души.

Шульгино одним краем выходит в поле. Другим — примыкает к Ромашкинскому лесу. Там влево дорога на большое село Ромашково, а прямо через кустарники — на Немчиново. Те, кто живет на одном краю, другой называют «тот край», а жителей «техкраевошними». Мальчишки обоих краев между собой воюют.

В первые годы шульгинского житья я не рисковал появляться на «том краю», а как подросток, стал ходить в Ромашкинский лес по ягоды и по орехи.

Лет в 13 я бегал туда каждый день, чтобы встретить круглолицую Машу Мещанинову. Маша, чуть завидит меня, бывало, спешит убежать из дому, но чаще всего мать окликает и велит заняться делом. А дел у Маши, видно, много. было, потому редко удавалось нам видаться.

В радостные часы встречи мы с ней забирались в чашу, собирали ягоды. Она говорила редко, словно речь ей давалась с трудом. Только подставляла сомкнутые губы, когда я ее целовал.

Ребятишки приметили наше общение, Машу стали дразнить мною, и она уже не выходила в лес, когда я проходил мимо ее дома.

Семейные хроники для истинного историка — материал не менее ценный, чем статистические данные, хронологические детали, мемуары политиков и тайные документы. Для исторического же писателя истории семей — главный материал, в котором запечатлена история в ее объемном, т. е. художественном виде.

В периоды, когда история умышленно фальсифицируется и подгоняется под схемы, неизбежно растет интерес к мемуаристике. В этом сказывается потребность людей в подлинной истории, в подлинном осмыслении процесса.

Я — человек московский, городской. И если как-то ощущаю историю нашей деревни, то только через несколько семейных историй, к которым близко прикасался в детстве и позже, во время войны. В частности, это история семьи Мещаниновых из подмосковной деревни Шульгино.

Где-то на пороге нашего века Сергей Мещанинов женился на Аксинье Ивановне, лет которой тогда было не более двадцати.

Сергей был бедняк и, видимо, как и все в Шульгине, московский извозчик.

Вскоре пошли дети. Старшему, Василию, в ту пору, когда мы поселились на даче у Мещаниновых, было лет двадцать шесть. За ним шла Лида, года на три моложе, потом Саша, за ним красавица Мария и дальше — болезненный Петр, крепкий Алексей, Полина, старше меня года на три, и младшие — лет шести Митька и совсем еще маленькая Лелька.

Такое количество живых детей застали мы в середине 20-х годов, когда переехали впервые из города на дачу в Шульгино.

По всем расчетам Аксинье Ивановне в ту пору не было еще пятидесяти, а скорее лет сорок пять. Но глядела она старухой, а может быть, и считала себя таковой, потому и одевалась по-старушечьи. Особенно портило Аксинью Ивановну отсутствие передних зубов. Она, наверное, и смолodu не отличалась красотой, и дочери, Елизавета и Полина пошли в нее, но в лице ее, востроносом и узком, были черты ума и энергии, скрашенные добротой и сентиментальностью.

Именно она, а не Сергей, которого не слышал, чтобы так звали, — домашние — тятя или отец, а чужие — Аксиньин, именно она и оказалась стержнем семьи и, впрягшись в трудную крестьянскую работу, сквозь революции и войны выволакивала свое многочисленное потомство из бедняцкой нищеты к середняцкой относительной сытости.

Можно себе представить, что Аксиньины были до революции из самых бедных. Но Аксинья Ивановна подняла старших детей и с ними в нэповскую пору поставила новый дом-пятистенку, новый двор, купила сельскохозяйственные орудия, завела приличный скот и выбилась к среднему хозяйствованию.

Мещаниновым хватало уже своего хлеба и картошки. А деньги получали они от продажи молока в Москве.

Зимой молоко нам два раза в неделю привозила Аксинья Ивановна.

Надо сказать, что относительная сытость стоила Мещаниновым огромного физического труда, в котором участвовали все дети, кроме двух младших.

Теперь уже, конечно, никто так не работает от зари до зари, как работали русские крестьяне еще сорок лет назад.

У меня нет охоты идеализировать старый крестьянский труд. Но это был труд «личный», оттого и содержал элемент поэзии, как всякая «личная» деятельность. Личное-личностное. Единоличник — единство личности и труда.

Наши почвенники, поганые баре, считают это утратой исконных начал. Но, как во всем, их понимание основано на барском и каком-то гнусном, кривом идеализме. В сущности, на официальном идеализме, но повернутом вспять, хотя ничем и не лучшем.

В основе обоих пониманий труда — официального и почвеннического — лежит идея труда-героизма или труда-удовольствия. Идея людей, к черному труду непричастных.

Можно сколько угодно говорить о труде-удовольствии, но тогда почему же вся Россия от этого труда разбежалась?

Говорят — разбежались от колхозов, от великого перелома. Нет!

Великий перелом, индустриализация открыли путь в город. А колхозы дали возможность отлынивать от тяжелого труда, от всей трудовой крестьянской поэзии.

Какой же это идеализм, если на себя работали от зари до зари, а для общества работать не пожелали, а если работали, то из-под палки. И работать снова стали, как только вновь позволено стало «на себя».

Именно в том-то и смысл нашего времени, что поняли — работать на общество, т. е. быть идеалистом никто в деревне не хочет и не станет. Что работников улащать надо, платить им надо, не то Россия с голоду сдохнет ¹.

После коллективизации начала распадаться большая работающая семья Мещаниновых.

Наконец-то от тяжких для него уз удалось освободиться старшему Василию. Он ушел примаком к богатой некрасивой невесте. Вскоре переехал в Москву. Основательно подорвав здоровье непосильным трудом в юные годы, он умер перед войной.

Лиза вышла замуж в соседние Раздоры за рабочего подмосковного завода. И, кажется, удачно.

За человека много старше ее в Одинцово вышла тихая красавица Маша. Ее постигла послеродовая горячка. И я видал ее похудевшую и подурневшую, с остановившимся взглядом, когда они с мужем приезжали навестить Шульгино.

На завод поступил Саша, вскоре женился на деловитой толстенькой Сане и еще до войны произвел многочисленное потомство, заселявшее постепенно пустеющий дом Мещаниновых.

Слабый здоровьем Петр поступил в техникум. Учиться ему было трудно. Занятия происходили вечером, возвращаться в Шульгино было поздно. И он зимой ночевал у нас в передней. Социальные амбиции моей матери не могли допустить его хотя бы в мою комнату, где был лишний диван.

Алексей был призван в армию.

Поля вышла замуж за шульгинского. К ней заезжал я лет через пятнадцать после войны.

Митька тоже не стал крестьянином. Работает где-то на заводе, женился. Говорят, пьет.

Младшая Леля, красавица, в Марию, принадлежит к неудачливому поколению невест военного времени. Она осталась одинокой. Работает в Москве медсестрой.

Старик Сергей Константинович помер до войны, а Аксинья Ивановна в 1944 году. Она до кончины сохраняла дружбу с моими родителями, отец доставал ей редкий в ту пору пенициллин, когда она заболела воспалением легких. Но лекарства не помогли. Она скончалась, завещав моим родителям желание, чтобы они присутствовали при ее погребении.

Так разбрелась, развеялась большая крестьянская семья. Из десяти членов уже до войны только двое — отец и мать — не утратили связи с землей.

Да и то работали в колхозе лишь номинально. Старик хворал. Да и у Аксиньи Ивановны не было уже ни сил, ни охоты.

Подготовка текста и публикация ГАЛИНЫ МЕДВЕДЕВОЙ

¹ Государство наше, насковзь проворовавшееся, убеждает, улащает — дескать, труд — героизм. И вы все, кто трудитесь, — герои. Заискивает, чтобы прокормить ненужные рати.

Труд-воспроизводство есть нормальная функция человека и может быть назван героизмом, если таковым считать любую человеческую жизнь и с жизнью связанную муку.

Героизмом все же считать можно нечто из ряда вон выходящее и, пожалуй, не связанное с обыкновенной деятельностью поддержания жизни.

Почему-то труд русского крестьянина до колхозов не принято называть героическим.

Рим продержался бы дольше, если бы придумал соревнование и давал ордена за труд.

Труд должен быть «на себя».

Summary

ALES ADAMOVICH. Vixi (I have endured).

It is a confession-narrative of a famous writer and public benefactor, the author of «A War under the Roofs», «Khatin Story», «Punishers»... «DN» was the magazine which once has launched him into the fame. This publication shows us a well-known, but at the same time quite a new artist: he thinks the life over from the height of death, that is eternity. He revalues events and passions of the XX century, which have fallen to the lot of our generation.

GENNADY AIGUI. From the book «To Singing — My Bow».

Gennady Aigui is a well-known in Europe avanguard poet, an original figure of Russian culture, a Russian-writing Chuvash. In this poetical cycle he appeals to Chuvash and Tatar folk-songs, which he embroiders with bizarre poetical designs.

BOZOR SOBIR. An Autumn in the Heart.

Bozor Sobir is a Tadjic poet. A synthesis of Eastern traditions and growing influence of modern Russian poetics is characteristic of his poetry.

IRENA MURAVYEVA. «Lelya, Natasha, Thoma». A long short story.

Though it's about ten years now that the author «has chosen the liberty» and lives abroad, she is chained to the life she had left here with all her essence.

YOURY KAGRAMANOV. The Ukrainian Question.

Whatever kind of divorce takes place, the necessity of the property partition and other practical problems inevitably emerge. But is it not natural in the situation of Russian-Ukrainian «divorce» to muse upon the main thing: what had been taken as the principle of their «marriage» — love or some misunderstanding?

IGOR DEDKOV. «To Declare Guilty and Sentence to Death».

Having read the last Astafiev's novel, our critics flared up for a while and many questions arose — questions to everybody and to ourselves.

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографии-изготовители, указанные в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Анна СЕЛИВЕРСТОВА

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор — 291-62-27, заместитель главного редактора, зав. редакцией — 291-62-27, заместитель главного редактора и секретариат — 202-52-03, отдел прозы — 291-85-10, отдел поэзии — 291-63-63, отдел публицистики — 291-05-09, отдел критики — 291-64-50.

Факс: 291-63-54.

Сдано в набор 29.07.93. Подписано в печать 11.10.93. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21. Усл. кр.-отт. 21,7. Уч.-изд. л. 23,36. Тираж 55 000 экз. Заказ 3956. Цена свободная.

Российский информационно-издательский центр «Республика».

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»
103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.



ДО КОНЦА 1993 ГОДА И В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ЖУРНАЛ «ДРУЖБА НАРОДОВ» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

ПУБЛИЦИСТИКА И КРИТИКА

**Воспоминания первого президента СССР
МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА.**

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: ИЛЛЮЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Портреты лидеров национальных движений в России и странах «ближнего зарубежья».

НАШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА ИЛИ ПОИСКИ ИСТИНЫ?

Серия статей о сектах, религиозных движениях и обществах в современной России.

ДИТЕР ГРО. Россия глазами Европы.

Главы из книги известного немецкого ученого, который исследует, философские концепции и общественные предрассудки, определявшие на протяжении последних трехсот лет взгляды иностранных путешественников на Россию.

ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ. Русские «басмачи».

История возникновения и разгрома Крестьянской армии, собранной русскими переселенцами Ферганской долины для сопротивления большевистскому вторжению в Среднюю Азию.

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Украинский вопрос.

Культурные и исторические корни русско-украинских противоречий.

АЛЕКСАНДР АХИЕЗЕР. Россия — кризисная точка мировой цивилизации.

Философское осмысление российской истории в контексте мирового развития.

ИГОРЬ ИСАЕВ. Геополитические корни авторитарного мышления.

Анализ «евразийской» специфики российского политического мышления и философии власти.

ИГОРЬ ДЕДКОВ. Объявление вины и назначение казни.

«Прочитан Астафьев, критические умы на какое-то время воспламенились, и последовали вопросы, много вопросов, обращенных к себе и к каждому...»

Индекс журнала по каталогу Роспечати (1993) и «Известий» (1994) - 70250. Подписная цена одного номера в текущем году 99 руб., в будущем - 390 руб. Можно оформить подписку в редакции по адресу: Москва, Поварская ул., 52.

Цена свободная

Индекс 70250

ISSN 0012-6756. Дружба народов, 1993, № 10, 1-240